ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

4

1966

В. И. ЛЕНИН

Рисунок художника Н. Н. Жукова

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

МАКС ФРИШ — Homo Faber 6
ЯН ОТЧЕНАШЕК — Хромой Орфей (Окончание) 122

СТИХИ

ТИБЕРИУ УТАН — Стихи 3
ПЕДРО ДЕ ОРАА́ — 19 апреля 121

КРИТИКА

Д. ЗАТОНСКИЙ — Homo Макс Фриш . . . 217
ИТИРО ХАРЮ — О герое японской литературы 228

К 96-ой ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

НЕ ЗНАЮЩИЙ РАВНЫХ СРЕДИ БОРЦОВ 234

4

АПРЕЛЬ

1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

ТРУМЭН КАПОТЕ — Обыкновенное убийство (Окончание) 239
БОРИС СТРЕЛЬНИКОВ — Американская трагедия 259

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

А. БОЧАРОВ — Современный герой в литературе 263

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Л. Новиченко — Разговор о литературах социалистических стран ◇ Е. Челышев — Ткач из Бенареса 266

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Г. Громан — Прощальный свет ◇ С. Ларин — Рассказы Славомира Мрожека . . 272

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

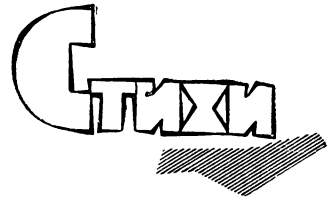
Хроника 276

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

288

На обложке: Гравюра ВЕРНЕРА ШИНКО (ГДР) «Москва».

ТИБЕРИУ УТАН



С РУМЫНСКОГО

Ленин

Покажите мне гору,
видную так же далеко:
с севера и до юга,
с запада до востока,

как Человек-Гора
Владимир Ленин.

Покажите мне реку,
так же дающую жизнь земле,
движение гидроцентралям,
так же несущую без конца
энергию, веру и бодрость
в сердца,
как Человек-Река
Владимир Ленин.

Спойте мне песню,
которая, все обнимая,
так же звучит на всех языках
от края мира до края,

как Человек-Песня
Владимир Ленин.

Перевод В. ЛЕВИКА

Стяг в космосе

Единственная сила на земле, что никогда
не топчет ни цветы, ни города,
единственная сталь, звенящая так чисто,
которой ни к чему злодейство и убийство,
единственный огонь, которому не снится,
что гибнут в нем тома, дома, больницы,
единственный бессмертный факел, ночью
тьму раздирающий над вечностью на клочья,
единственное — лишь для созиданий! —
землетрясение устоев, душ и зданий,
единственная армия, которая готова
лишь пред лицом труда склонить свой стяг
багровый,—
стяг, видный космонавтам из глубин Вселенной,
стяг революции — его вручил нам Ленин.

Перевод Якова БЕЛИНСКОГО

Черешня

Листвою меня облеки, ветвями,
душистой влажною тенью.
Когда бы ствола твоего я коснулся,
черешня, ты бы запела!
И останавливались бы люди,
внимая струны́ искрящейся пенью.

Как плод румяный созревшего лета
на нас с тобою похож — погляди!
Осталась молодость в прошлом где-то,
но жизнь у нас еще впереди.

Ты ветви простерла, а я — стремленья.
Наш ствол, поднимайся сквозь даль столетий!
Мы в землю пустили корней разветвленья,
но корни наши — и в воздухе, в свете.

■ ■ ■

Расстелило под луною море влажные шелка,
чтоб сухими вновь надеть их на заре
и свежий ветер,
отоспавшийся в рыбацкой лодке, выпустить на волю.
Из глубин хрустальных волн, чтоб тебе доставить
радость,
разноцветные ракушки поднимает...
Мы не спим.
А в распахнутые двери, как живое существо,
все тревожащая влага в блестках света —
море, море
нашу комнату и с нею наши души затопляет.

Песня

От пробуждения до сна
слагает песни вся страна.

Навстречу раннему восходу —
ты слышишь — горы их поют,
когда в рассветный час к заводу,
торопится рабочий люд,

когда вершине горной любо
глядеть сквозь облачный разрыв
на молодого лесоруба,
что мирно спит под сенью дуба,
котомку рядом положив.

Смотри, вон там, в лазури звонкой
парит над пихтами орел;
здесь кочегар, склонясь к ребенку,
ладонью жмет его ручонку —
он только что в свой дом вошел.

Смотри, кой-где уж позолота
горит среди березняка.
А вот — смотри! — блеснуло что-то:
прошел герой — и знак почета
на отвороте пиджака.

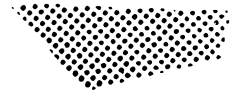
Прислушайся:
как пахнет мятой!
Трава сверкает. Из ключа,
еще по-зимнему лохматый,
прохладу пьет олень рогатый,
от наслажденья трепеща.

Умей смотреть — и песен груду
в лесу и в поле соберешь,
когда весна, подобна чуду,
зеленым зеркалом повсюду
расстелет лен, пшеницу, рожь.

И песни в сердце соберутся,
ты сердцем примешь каждый стих.
Они ликуют и смеются,
они в сердца другие рвутся
и просят написать о них.

Цвети, страна добра и света,
и вместе с нами песню пой.
Пока горит огонь поэта,
пока вращается планета,
мы каждый стих впиваем твой.

Перевод В. ЛЕВИКА



МАКС ФРИШ

HOMO FABER

РОМАН

Перевод с немецкого
Т. ИСАЕВОЙ

Под редакцией В. СТАНЕВИЧ

Первая остановка

Мы вылетели из Нью-Йорка, аэродром Ла-Гардия, с опозданием на три часа. Наш самолет, как обычно на этой линии, был «супер-констэллейшн». ...Я собрался поспать, была ночь. Нас продержали еще сорок минут на взлетной дорожке; снег в свете прожекторов, снежная пороша, метель над взлетной дорожкой, но если что и действовало мне на нервы, мешая спать, то отнюдь не газета, которую раздавала нам стюардесса,— «First Pictures of World's Greatest Air Crash in Nevada» [1], это сообщение я прочел еще днем за обедом,— а только вибрация самолета, у которого опробовали моторы, и, кроме того, молодой немец рядом со мной, я на него сразу обратил внимание, не знаю почему, он привлек мое внимание, когда снимал пальто, когда садился и подтягивал отутюженные брюки, когда вообще ничего не делал, а просто ждал старта, как мы все, и просто сидел в кресле,— блондин с розовой кожей, он сразу представился мне, еще до того, как мы пристегнули пояса. Его фамилию я не расслышал, моторы зарычали один за другим, запущенные на полную мощность.

Я устал до смерти.

Айви тараторила три часа подряд, пока мы ждали отлета, хотя знала, что я ни под каким видом не женюсь.

Я был рад остаться один.

Наконец-то дело пошло на лад.

Я никогда не вылетал во время такой метели; едва наш самолет поднялся, желтых фонарей на земле уже не стало видно, даже их мерцания, как чуть позже и мерцания Манхэттена, такой шел снег.

---

[1] Первые снимки величайшей в мире воздушной аварии в Неваде *(англ.)*.

Я видел только зеленый огонек на крыле нашего самолета, которое сильно покачивалось, а иногда ныряло, и тогда на короткие секунды исчезал во мгле даже этот зеленый огонек и казалось, что ты ослеп.

«Курить разрешается».

Он был из Дюссельдорфа, мой сосед, и не так уж молод, лет тридцати, однако, все-таки моложе меня. Он летел, как он мне сразу сообщил, в Гватемалу, по делам, насколько я понял.

Порывы ветра. Сосед предложил мне сигарету, но я предпочел свою, хотя курить и не хотелось, и, поблагодарив, снова взялся за газету; я отнюдь не испытывал потребности в общении. Пожалуй, я был не очень вежлив. Но у меня осталась позади трудная неделя. Каждый день совещания, мне хотелось покоя, люди утомляют. Потом я вынул из портфеля свои бумаги, решив поработать. К сожалению, как раз в это время разносили горячий бульон, и немца (когда я на его ломаный английский ответил по-немецки, он сразу заметил, что я швейцарец) уже нельзя было остановить. Он говорил о погоде, а в связи с этим о радарах, хотя мало в них смыслил; потом, как это вошло в обычай после второй мировой войны, тут же перешел к европейскому содружеству. Я говорил мало. Когда мы покончили с бульоном, я выглянул в окно, хотя снаружи уже ничего не было видно, только зеленый сигнальный огонек на мокром крыле, да порою дождь искр, да, как обычно, красный отсвет мотора. Мы все еще набирали высоту.

Потом я заснул.

Порывы ветра утихли.

Не знаю, почему он действовал мне на нервы, откуда-то мне было знакомо его лицо, очень немецкое лицо. Закрыв глаза, я силился вспомнить, но тщетно. Я старался забыть это розовое лицо, это мне удалось, я проспал часов шесть, ведь я был так переутомлен,— но едва я проснулся, как почувствовал, что он снова действует мне на нервы.

Он не терял времени. Он уже завтракал.

Я сделал вид, что еще сплю.

Мы находились (я видел это правым глазом) где-то над Миссисипи, летели на большой высоте и совершенно спокойно, наши пропеллеры сверкали на утреннем солнце — обычные диски, их видишь и видишь сквозь них; так же сверкали и крылья, замершие в пустоте, никакой качки, мы неподвижно лежали в этом безоблачном небе, полет — каких были сотни, моторы работали исправно.

— Доброе утро!— сказал он.

Я тоже поздоровался.

— Хорошо поспали?— спросил он.

Я узнал излучины Миссисипи, несмотря на туман внизу — рябь цвета бронзы или меди, освещенная сверху солнцем; было еще раннее утро, я знал эту трассу и закрыл глаза, чтобы поспать еще.

Он читал свой «Ro-Ro-Ro» [1].

Бесполезно было закрывать глаза, я выспался, и мой сосед все же занимал мое воображение, я видел его, так сказать, даже с закрытыми глазами. Нам подали завтрак... В Штатах он был впервые, как я и предполагал, но мнение уже составил себе окончательное и безапелляционное (в общем, он нашел американцев некультурными), хотя кое-что все же должен был признать — например, дружелюбное отношение большинства американцев к немцам.

Я чистил яблоко.

Деление на расу господ и низшие расы, как это делал милейший Гитлер, конечно, нелепость, но азиаты остаются азиатами...

Я ел яблоко.

---

[1] Название дешевой серии романов издательства Ровольт, выходящей в Гамбурге.

Я вынул из чемодана электрическую бритву, чтобы побриться, а главное, чтобы хоть четверть часа побыть одному, я не выношу немцев, хотя Иоахим, мой друг, тоже был немцем... В туалете я подумал, не пересесть ли на другое место,— я просто не испытывал надобности узнать поближе этого господина, а до Мехико-сити, где мой сосед должен был сделать пересадку, оставалось не менее четырех часов. Я решил поменять место, свободные места еще были. Когда я вернулся в салон выбритый, чувствуя себя свободней и уверенней,— не выношу, когда я небрит,— он заявил, что позволил себе поднять мои бумаги с пола, чтобы кто-нибудь на них не наступил, и вручил их мне — само олицетворение вежливости. Засовывая бумаги в портфель, я поблагодарил, пожалуй, слишком приветливо, а он немедля использовал мою благодарность для дальнейших расспросов.

Не работаю ли я в ЮНЕСКО?

Я чувствовал свой желудок, как бывало часто в последнее время,— не резко, не болезненно, я просто чувствовал, что у меня есть желудок, дурацкое ощущение. Может быть, поэтому я был так нетерпим. Я сел на свое место и рассказал ему, чтобы не быть нетерпимым, о своей деятельности — «Техническая помощь слаборазвитым странам», об этом я могу говорить, размышляя в то же время совсем о другом. Не знаю, о чем я думал. ЮНЕСКО — это, видимо, произвело на него впечатление, как все интернациональное: он стал обращаться со мной уже не как со швейцарцем, а внимательно слушал меня, как авторитетное лицо, я бы сказал, слушал даже почтительно, заинтересованный до подобострастия, но все равно он действовал мне на нервы.

Я был рад остановке.

В ту минуту, когда мы вышли из самолета и расстались перед таможней, я понял, о чем думал раньше: его лицо (розовое и пухлое, каким никогда не было лицо Иоахима) все же напомнило мне лицо Иоахима.

Я снова забыл об этом.

Это было в Хьюстоне, штат Техас.

После таможни, после обычной возни с моим киноаппаратом, с которым я, однако, уже объездил полсвета, я отправился в бар, чтобы выпить чего-нибудь, но обнаружил, что мой дюссельдорфец уже тут как тут сидит перед стойкой и даже занял еще один табурет — видимо, для меня! Я сразу вышел и спустился в туалет, а так как ничего другого мне не оставалось, принялся мыть руки.

Стоянка двадцать минут.

В зеркале, пока я в течение нескольких минут мою руки, потом вытираю их, отражается мое лицо, белое как воск, серое, пожелтевшее, с проступающими лиловатыми жилками, отвратительное, как у трупа. Возможно, оно такое из-за неонового света, и я вытираю руки, такие же желтовато-лиловые, затем опять громкоговоритель, обслуживающий все помещения аэропорта, включая и нижний этаж:

— Your attention, please, your attention, please.[1]

Не знаю, что со мной случилось. Мои руки вспотели, хотя в туалете было прямо-таки холодно; на улице же было жарко. Мне ясно только одно: когда я снова пришел в себя, на коленях возле меня стояла толстая негритянка, уборщица, которую я раньше не заметил, теперь она была совсем рядом, я видел ее огромный рот с черными губами, розовые десны, я слышал вещание громкоговорителя, когда еще стоял на четвереньках:

— The plane is ready for departure.[2]

Дважды:

---

[1] Прошу внимания, прошу внимания *(англ.)*.

[2] Самолет готов к отлету *(англ.)*.

— The plane is ready for departure.

Мне знакомы эти объявления.

— All passengers for Mexico—Guatemala—Panama,— вперемежку с ревом моторов: kindly requested,— рев моторов,— gate number five, thank you,[1] — рев моторов.

Я поднялся.

Негритянка все еще стояла на коленях.

Я дал себе клятву больше никогда не курить и пытался подставить лицо под кран, но мешала раковина. Испарина, вот и все, обыкновенное головокружение.

— Your attention please...

Я сразу почувствовал себя лучше.

— Passenger Faber, passenger Faber.[2]

Это был я.

— Please to the Information-desk.[3]

Я слышал это, я окунул лицо в общественную раковину, я надеялся, что они полетят дальше без меня, вода была только чуть-чуть холоднее, чем мой пот, я ничего не соображал, вдруг негритянка рассмеялась, ее грудь всколыхнулась, как пудинг, так она залилась смехом, ее огромный рот, ее курчавые волосы, ее черные с огромным белком глаза — сколок Африки; потом раздалось снова:

— Passenger Faber, passenger Faber!

Я вытер лицо носовым платком, покуда негритянка чистила мне брюки. Я даже причесался, только чтобы потерять время, опоздать, громкоговоритель выкрикивал объявление за объявлением, прибытие, отправление, потом снова:

— Passenger Faber, passenger Faber!

Она уклонялась, не хотела брать деньги, для нее было радостью (pleasure), что я жив, что господь услышал ее молитву, я просто положил перед нею деньги, но она последовала за мной по лестнице, дальше ей, как негритянке, вход был воспрещен — и сунула мне бумажку обратно в руку.

В баре было пусто.

Я взобрался на табурет, закурил сигарету и стал наблюдать, как бармен бросает маслину в холодный стакан, потом наливает в него мартини — обычный жест: большим пальцем он держит цедилку под серебряным сбивателем, чтобы лед не плюхнулся в стакан; я положил на стойку деньги,— мимо окна прокатил на взлетную дорожку самолет «супер-констэллейшн», направляясь к старту. Без меня! Я пил свой сухой мартини, когда громкоговоритель снова прокаркал:

— Your attention, please!

Некоторое время не было слышно ничего, снаружи как раз ревели моторы стартующего «супер-констэллейшн», который с обычным грохотом поднялся и пролетел над нами,— потом снова:

— Passenger Faber, passenger Faber!

Никто не мог знать, что это относится ко мне, и я сказал себе — не могут же они еще ждать — и пошел наверх, чтобы посмотреть на наш самолет. Он стоял, как видно, готовый к отправлению. Но винты были неподвижны. Я вздохнул с облегчением, когда увидел толпу наших пассажиров, шедших через летное поле к самолету,— мой дюссельдорфец, разумеется, впереди. Я ждал запуска винтов. Громкоговоритель, надрываясь, блеял и здесь.

---

[1] Пассажиров, направляющихся в Мексику—Гватемалу—Панаму, просят к выходу номер пять, благодарю вас *(англ.)*.

[2] Пассажир Фейбер *(англ.)*.

[3] Просьба пройти в бюро справок *(англ.)*.

Но на сей раз это касалось не меня.

— Miss Sherbon, Mr. and Mrs. Rosenthal.[1]

Я ждал и ждал, четыре креста пропеллера словно застыли и не думали двигаться, я не мог вынести этого ожидания моей особы и снова спустился на нижний этаж, где спрятался в уборной, заперев двери, когда снова прозвучало:

— Passenger Faber, passenger Faber!

Это был женский голос, я опять покрылся потом и должен был сесть, чтобы не потерять сознания,— вероятно, ноги мои были видны.

— This is our last call.[2]

Дважды:

— This is our last call.

Я и сам не знаю, зачем, собственно, спрятался. Мне было стыдно: вообще, не в моих привычках запаздывать. Я сидел в своем укрытии, пока не уверился, что громкоговоритель оставил меня в покое хотя бы на десять минут. У меня просто не было охоты лететь дальше, я ждал у закрытой двери, пока не раздался рев стартующей машины «супер-констэллейшн» — я знаю этот звук! Потом я потер лицо, чтобы не привлекать внимание своей бледностью, и вышел из кабины — точно я не я; тихонько насвистывая, постоял в холле, купил первую попавшуюся газету — я не имел ни малейшего понятия о том, что, собственно, мне делать в этом Хьюстоне, штат Техас. Удивительно! Все обошлось без меня. Я прислушивался всякий раз, когда раздавался голос громкоговорителя, потом, чтобы заняться хоть чем-нибудь, пошел в почтовое отделение дать телеграмму относительно багажа, который улетел без меня в Мехико, и еще одну телеграмму в Каракас о том, что наш монтаж придется отложить на сутки, потом телеграмму в Нью-Йорк, я как раз засовывал свою шариковую ручку обратно в карман, когда наша стюардесса, держа в руке неизменный список, схватила меня за локоть другой рукой.

— There you are![3]

Я онемел.

— We're late, mister Faber, we're late![4]

С уже ненужными телеграммами в руке, вяло пытаясь привести отговорки, не вызывавшие интереса, я следовал за ней на поле к нашему «супер-констэллейшн», я шел как человек, которого ведут из тюрьмы в суд, на расправу,— упорно глядя себе под ноги, точнее, на трап, который, едва я переступил порог салона, немедленно отцепили и увезли.

— I'm sorry,[5] — сказал я.— I'm sorry.

Все пассажиры, уже пристегнувшие пояса, молча обернулись, а мой дюссельдорфец, о котором я позабыл, сразу предложил мне место у окна — он сохранил его для меня и озабоченно осведомился:

— Что, собственно, приключилось?

Я сказал, что мои часы остановились, и завел их.

Старт как обычно.

Все, что потом рассказывал мой сосед, было довольно интересно,— вообще теперь, когда я не ощущал тяжести в желудке, я находил его несколько симпатичнее; он говорил, что немецкая сигара пока еще не достигла мирового класса, а чтоб сигара была хорошей, сказал он, нужен хороший табак.

Он развернул географическую карту.

Плантация, которую надеялась создать его фирма, во всяком случае, так мне показалось, находилась на краю света. В Гватемале. Из

---

[1] Мисс Шербон, мистер и миссис Розенталь *(англ.)*.

[2] Приглашаем вас в последний раз *(англ.)*.

[3] Вот вы где *(англ.)*.

[4] Мы опаздываем, мистер Фейбер, мы опаздываем *(англ.)*.

[5] Извините *(англ.)*.

Флореса туда добираются только на лошадях, а вот из Паленке (Мексика) можно проехать запросто на джипе.

Даже «нэш», утверждал он, может пройти через джунгли.

Он сам летит туда впервые.

Население: индейцы.

Мне было интересно, поскольку я тоже занимаюсь помощью слаборазвитым странам; мы оба считали, что необходимо провести там дороги, может быть, даже построить маленький аэродром, ведь пути сообщения — это главное. Погрузка в Пуэрто-Барриос — предприятие рискованное, но не лишенное смысла, думалось мне, возможно, тут и впрямь будущее немецкой сигары.

Он сложил карту...

Я пожелал ему успеха.

По его карте (1:500 000) все равно ничего нельзя было разобрать. Ничейная земля — белая; две голубые линии между зелеными государственными границами — реки; единственные названия (красные, прочесть которые можно только в лупу) обозначали развалины поселений майя.

Я пожелал ему успеха.

Его брат, который уже несколько месяцев живет там, внизу, видно, не в ладах с климатом, чему я охотно верю: низменность, тропики, сырость, сезон дождей, солнце всегда светит отвесно.

На этом наш разговор оборвался.

Я курил, глядя в окно, под нами — синий Мексиканский залив, маленькие кучевые облака, их лиловые тени на зеленоватом море, игра красок, как обычно,— я уже много раз фотографировал все это,— и я закрыл глаза, чтобы наверстать хоть немножко сна, украденного у меня Айви; сейчас наш полет протекал совершенно спокойно, мой сосед был тоже спокоен.

Он читал роман.

Я ни во что не ставлю романы — так же как и сны, но, кажется, мне снилась Айви, во всяком случае я чувствовал себя угнетенным, это было в игорном доме в Лас-Вегасе (где я в действительности никогда не был). Хаос, вдобавок громкоговорители, все время выкрикивавшие мое имя, столпотворение синих, красных, желтых автоматов, на них можно выигрывать деньги, лотерея, я ждал, вокруг — люди в чем мать родила, я ждал развода (причем в действительности никогда не был женат), откуда-то появился и профессор О., мой почтенный преподаватель из швейцарского Политехнического института, но чрезмерно сентиментальный, он все время плакал, не осушая глаз, хотя он математик и вдобавок еще профессор электродинамики, мне было стыдно, но главная нелепость состояла в том, что я был женат на дюссельдорфце! Я хотел протестовать, но не мог раскрыть рта, не заслонив его рукой,— ведь у меня только что выпало множество зубов, и все они перекатывались, как галька, во рту...

Не успел я проснуться, как уже понял, что произошло.

Под нами открытое море.

Из строя вышел левый мотор: неподвижный пропеллер, как неподвижный крест в безоблачном небе,— больше ничего.

Под нами, как уже сказано, Мексиканский залив.

Наша стюардесса, девочка лет двадцати — во всяком случае, по внешнему виду,— схватила меня за левое плечо, чтоб разбудить, но я знал все раньше, чем она успела объяснить, протягивая мне зеленый спасательный жилет; мой сосед уже застегивал свой спасательный жилет сосредоточенно, как во время учебной тревоги.

Мы летели на высоте по крайней мере двух тысяч метров.

Конечно, никакие зубы у меня не выпали, даже тот на штифте, четвертый справа наверху, был на месте, я чувствовал облегчение, даже радость.

Впереди пилот:

— There is no danger at all...[1]

Это все только меры предосторожности, наш самолет вполне может лететь и с двумя моторами, мы находимся на расстоянии восьми с половиной миль от мексиканского берега, курс на Тампико, всех пассажиров убедительно просят сохранять спокойствие и пока не курить.

— Thank you![2]

Все сидели, как в церкви, все в зеленых спасательных жилетах, я проверял языком, правда ли, что мои зубы не качаются, все остальное меня не волновало.

Время 10.25.

Если бы мы не опаздывали из-за бурана в Северных Штатах, мы бы уже приземлились в Мехико-сити, я сказал это своему дюссельдорфцу, просто чтобы что-нибудь сказать.

Никакого ответа.

Я спросил его, который час.

Никакого ответа.

Остальные три мотора работали исправно, о посадке не могло быть и речи, я видел, что мы продолжаем держать высоту, разглядел в дымке нечто вроде лагуны, за нею болото. Еще никаких признаков Тампико. Я узнал бы Тампико. Я знал Тампико и прежде — я еще тогда отравился там рыбой, чего не забуду до конца своих дней.

— Тампико,— сказал я,— самый дерьмовый город в мире. Вот увидите, в гавани воняет либо рыбой, либо керосином!

Он ощупывал свой спасательный жилет.

— Право же,— сказал я,— советую вам, не ешьте там рыбы, ни под каким видом!

Он попытался улыбнуться.

— У местных жителей, конечно, иммунитет,— сказал я,— но наш брат — дело другое.

Он кивнул, видимо не слыша. Я, кажется, прочел целую лекцию относительно амеб, а в основном — о гостиницах в Тампико. Как только я замечал, что он не слушает, мой дюссельдорфец, я хватал его за рукав, хотя обычно это не в моих привычках. Наоборот, ненавижу эту манеру — хватать друг друга за рукав. Но иначе он просто не слушал. Я подробно рассказал ему историю моего скучного отравления рыбой в Тампико в 1951 году, следовательно, шесть лет назад,— тем временем мы летели, как оказывается, вовсе не вдоль залива, а нежданно-негаданно повернули в глубь страны. Так, значит, вовсе не в Тампико! Я лишился дара речи, я решил спросить у стюардессы.

Курить опять разрешено!

Может быть, посадочная площадка в Тампико слишком мала для нашего «супер-констэллейшн» (в прошлый раз я летел на «ДС-4») или они получили указание, невзирая на забарахливший мотор, дотянуть до Мехико-сити, к Сьерра-Мадре-Ориенталь, чего я никак не мог понять. Наша стюардесса — я схватил ее за локоть, что, как уже сказано, не в моих привычках,— не успела ответить — ее позвали к пилоту.

В самом деле, мы набирали высоту.

Я старался думать об Айви.

Мы набирали высоту.

Под нами все еще болота, ровные и унылые, между ними полосы земли, пески, болота, частью зеленые, а местами розоватые, цвета губ-

[1] Никакой опасности нет *(англ.)*.

[2] Благодарю вас *(англ.)*.

ной помады, почему — я не мог объяснить, собственно, не болота, а лагуны, и там, где отражается солнце, они блестят, как металлические пластинки, точнее, как станиоль, во всяком случае у них металлический блеск, потом снова бледная голубизна (как глаза Айви), с желтыми отмелями, с пятнами, точно пролитые лиловые чернила, темные, вероятно подводные растения, один раз какое-то устье — коричневое, как американский кофе с молоком, отвратительное, целые квадратные мили одних лагун. И у дюссельдорфца тоже было ощущение, что мы набираем высоту.

Пассажиры опять заговорили.

Порядочной карты, которые в самолетах швейцарской авиакомпании всегда под рукой, здесь не было, и если что и действовало мне на нервы, так это их идиотская информация: курс на Тампико, а машина летит в глубь страны, набирает высоту, как уже было сказано, с тремя моторами; я наблюдаю за тремя сверкающими дисками, которые временами как бы приостанавливаются, но это лишь оптический обман — черное мелькание, как обычно. Для тревоги нет оснований, только смешно видеть на полном ходу самолета застывший в неподвижности крест одного из пропеллеров.

Мне было жаль нашу стюардессу.

Она обязана была обходить ряд за рядом и осведомляться у каждого пассажира, как он себя чувствует в своем спасательном жилете. Стоило ответить шуточкой — и ее улыбка гасла.

— А можно ли плавать в горах? — спросил я.

Order[1] есть order.

Я держал ее за руку около запястья, эту юную особу, которая могла бы быть моей дочерью, и (конечно, в шутку!) сказал ей, подняв палец, что это она заставила меня лететь, да, именно, не кто иной, как она!

— There is no danger, Sir, no danger at all,— сказала она.— We're going to land in Mexico-City in about one hour and twenty minutes.[2]

Это она говорила каждому пассажиру.

Я отпустил ее, чтобы она могла снова улыбаться и исполнять свои обязанности, проверять, у всех ли пассажиров закреплены ремни. Вскоре она получила order подать ленч, хотя время ленча еще не наступило... К счастью, погода нам благоприятствовала. Почти безоблачно, но ветер порывистый, как обычно в предгорьях, температура нормальная, наша машина теряла устойчивость, проваливалась, потом вновь находила равновесие, выравнивалась, набирала высоту и опять ныряла, качая крыльями. Несколько минут самолет шел совершенно ровно, затем опять толчок, так что крылья качнулись, и опять болтанка, покуда машина не выровнялась, точно все, раз и навсегда, пришло в полный порядок, потом она снова завихляла, как обычно при порывах ветра.

Вдали синие горы.

Сьерра-Мадре-Ориенталь.

Под ногами красная пустыня.

Немного спустя — нам как раз подавали ленч, моему дюссельдорфцу и мне, обычные juice[3] и белоснежный сандвич с зеленым салатом — внезапно отказал второй мотор и, разумеется, возникла паника, неизбежная, несмотря на ленч на коленях, кто-то вскрикнул.

С этого мгновения все пошло очень быстро...

Видимо, опасаясь, что заглохнут и остальные моторы, они решились на вынужденную посадку. Так или иначе, мы падали, громкогово-

[1] Приказ *(англ.)*.

[2] Никакой опасности, сэр. Примерно через час двадцать минут мы приземлимся в Мехико-сити *(англ.)*.

[3] Сок *(англ.)*.

ритель трещал и щелкал, так что в указаниях, которые нам давались, нельзя было разобрать ни слова.

Моя первая забота: куда деть ленч?

Мы снижались, хотя, как было сказано, и двух моторов вполне достаточно, чтобы лететь; неподвижные шасси в воздухе, как обычно перед посадкой, и я просто поставил свой ленч на пол, в проходе, хотя мы находились еще на высоте не менее пятисот метров.

Теперь порывов ветра не было.

"No smoking".[1]

Что нашей машине при посадке угрожает опасность разбиться вдребезги или вспыхнуть, это я понимал и удивлялся своему спокойствию.

Я не думал ни о ком.

Как уже сказано, все шло чрезвычайно быстро, под нами пески, долина между холмами, видимо скалистыми, все совершенно голо — пустыня.

В сущности, только напряженное ожидание!

Мы снижались, как если бы под нами находилась посадочная площадка: я прижался лицом к окну — ведь эти посадочные площадки обычно видишь только в последние мгновения, потому что закрылки уже выпущены. Я удивлялся, что они еще не появляются. Наш самолет, видимо, избегал виражей, чтобы не проваливаться; мы летели над равниной, наша тень летела под нами, она мчалась быстрее, чем мы, так мне казалось, серый лоскут трепыхался на красноватом песке.

Потом скалы.

Теперь мы опять набирали высоту.

Потом, к счастью, пески, но пески с агавами, оба мотора работали вовсю. Несколько минут мы летели примерно на высоте дома. Потом шасси убрали. Итак, приземление на брюхо! Мы летели, как летят обычно на большой высоте,— ровно и без шасси, но, как уже сказано, на высоте дома, я знал, что никакой площадки не будет, и все же прижимался лицом к окну.

Вдруг снова выбросили шасси, наш самолет пошел вниз, хотя никакой посадочной площадки не было. Ощущение, словно в желудок ударили кулаком. Скольжение, спуск, как в лифте, в последнее мгновенье мои нервы сдали, так что во время вынужденной посадки я видел только трепещущие агавы с обеих сторон, затем — лицом в ладони и ничего, только слепой удар, рывок, стремительное падение в беспамятство.

И тишина.

Прямо скажем, нам чертовски повезло, никто даже не открыл аварийной двери — я тоже нет, никто не шевельнулся, мы висели, наклонившись вперед, на своих поясах.

— Go on[2],— сказал штурман.

Никто не шевельнулся.

— Go on.

К счастью, мы не загорелись, надо было сказать пассажирам, что они могут расстегнуть спасательные жилеты, но трапа, как обычно, нам, конечно, не подкатили, снаружи только жара, как из открытой печи, обжигающий воздух.

Я был невредим.

Наконец-то веревочная лестница!

Пассажиры единодушно — не понадобилось и order — столпились под крылом самолета, все молчали, как будто разговаривать в пустыне было строжайше воспрещено.

Наш «супер-констэллейшн» стоял слегка накренясь вперед, ничего страшного, только передние колеса шасси осели, погрузившись в песок,

[1] Не курить *(англ.)*.

[2] Выходите *(англ.)*.

но они даже не были поломаны. Четыре пропеллерных креста сверкали на фоне пронзительно-синего неба, хвостовые части, как уже сказано, тоже. Никто не шевелился, очевидно все ждали, что летчик что-нибудь скажет.

— Well! — сказал он.— There we are![1]

Он смеялся.

Вокруг — ничего, кроме агав, песка, красноватых гор в отдалении,— дальше, чем казалось из самолета, но прежде всего песок и снова песок, желтоватый, мерцание горячего воздуха над ним, воздух как расплавленное стекло.

Время 11.05.

Я завел свои часы.

Экипаж вынес шерстяные одеяла, чтобы защитить шины колес от солнца, а мы, в своих зеленых спасательных жилетах, стояли вокруг. Не знаю почему, никто не снял спасательного жилета.

Не верю ни в предопределение, ни в рок, я техник и привык опираться на формулы теории вероятности. При чем тут предопределение? Должен признать, не будь вынужденной посадки в Тамаулипасе (2.IV), все сложилось бы иначе, я не познакомился бы с молодым Хенке, я, может быть, никогда больше не услышал бы о Ганне, я и сегодня еще не знал бы, что у меня есть дочь. Трудно даже представить себе, насколько все сложилось бы иначе, не будь вынужденной посадки в Тамаулипасе. Может быть, Забет была бы еще жива. Не спорю: то, что все сложилось именно так, было больше, чем случайность, это была целая цепь случайностей. Но при чем здесь предопределение?!

Мне не требуется никакой мистики, чтобы допустить возможность невероятного события, мне достаточно математики.

На языке математики:

Различие между вероятным событием (что из 6.000.000.000 раз правильная шестигранная кость при бросании упадет приблизительно 1.000.000.000 раз определенной гранью) и невероятным событием (что при бросании той же самой кости она из 6 раз подряд все 6 раз упадет одной и той же гранью) не в существе, а лишь в частоте событий, причем с самого начала эта частота проявляется как вероятность. Таким образом, когда наступает невероятное событие, в этом нет ничего сверхъестественного, никакого чуда, ничего похожего на чудо, как того хотелось бы невеждам. Ведь когда мы говорим о вероятности, мы всегда включаем сюда и понятие невероятности, пусть даже как крайний случай, на границе возможного, и если уж невероятное событие наступает, у нас нет никаких оснований для потрясения, для изумления, для мистики.

Эрнст Мэлли «Вероятность и необходимость», затем Ганс Райхенбах «Теория вероятности», затем Уайтхед и Рассел «Принципы математики», затем Мизес «Вероятность, статистика и достоверность».

Наше пребывание в мексиканской пустыне Тамаулипас продолжалось четыре дня и три ночи, в общей сложности восемьдесят пять часов, о которых мало что можно рассказать. Грандиозным происшествием (как явно полагает любой собеседник, когда я об этом говорю) оно не было. Вдобавок слишком жарко. Разумеется, я сразу вспомнил диснеевский фильм, который действительно был грандиозным, и сразу же взял-

[1] Ну-с! Вот мы и прибыли *(англ.)*.

ся за свой киноаппарат, но ничего сенсационного и в помине не было, изредка мелькала ящерица, пугавшая меня, и какая-то разновидность песчаных пауков — вот и все.

Нам оставалось только ждать.

Первое, что я сделал в пустыне Тамаулипас: я представился дюссельдорфцу, потому что он заинтересовался моим аппаратом, я показал ему оптику.

Остальные читали.

К счастью, вскоре выяснилось, что он тоже играет в шахматы, а так как я обычно путешествую с карманными шахматами, мы были спасены; он немедленно раздобыл два пустых ящика из-под кока-колы, мы уселись в сторонке, чтобы не слышать разговоров остальных пассажиров, в тени хвостовой части, раздетые, в одних башмаках (из-за раскаленного песка) и в шортах.

День пролетел быстро. Незадолго до сумерек показался самолет, военный, он долго кружил над нами, ничего не сбросил и исчез (что я и заснял) в северном направлении, в стороне Монтеррея.

Ужин: сандвич с сыром и полбанана.

Я ценю шахматы за то, что можно часами не разговаривать. Можно даже не слушать, когда говорит партнер. Смотришь на доску, и если не проявляешь стремления к более близкому знакомству и весь сосредоточен на игре,— в этом нет ничего неучтивого.

— Ваш ход,— говорил он.

То, что Иоахим, мой друг, вот уже двадцать лет не подававший о себе вестей, не просто его знакомый, а даже родной брат, выяснилось случайно. Когда среди черных агав на горизонте появилась луна (это я тоже заснял), еще можно было играть в шахматы, так было светло, но вдруг стало слишком холодно. Чтобы выкурить по сигарете, мы, увязая в песке, отошли от самолета, и я сознался, что совершенно равнодушен к пейзажам, уже не говоря о пустыне.

— Вы шутите,— сказал он.

Он считал все это необычайным «переживанием».

— Пошли спать,— сказал я.— Hotel «Super-Constellation». Holiday in desert with all accommodations![1]

Я находил, что стало слишком холодно.

Я уже не раз спрашивал себя, что, собственно, люди имеют в виду, когда говорят о необычайных «переживаниях». Я — техник и привык видеть вещи такими, какие они есть. Я вижу все, о чем говорят люди, и очень даже ясно,— ведь я не слеп. Я вижу Луну над пустыней Тамаулипас, более яркую, чем обычно,— ну что же, и все-таки она небесное тело, спутник Земли, который вращается вокруг нашей планеты, результат гравитации, интересно, да, но при чем здесь «переживание»? Я вижу зубчатые скалы, черные на фоне Луны, возможно, они и выглядят, как горбатые тела допотопных зверей, но я знаю — это скалы, горная порода, камни, вероятно, вулканического происхождения, только следовало бы рассмотреть их и уточнить. Чего же мне бояться? Допотопных зверей больше не существует. Зачем же выдумывать их? Я не вижу и окаменевших ангелов — очень жаль,— так же, как и демонов; я вижу то, что вижу: обычные формы эрозии, да еще свою длинную тень на песке, но никаких призраков. К чему эта женская чувствительность? Не вижу я и потопа — только песок, освещенный луной, волнуемый ветром, как вода, что меня нисколько не поражает, я нахожу это не фантастичным, а вполне объяснимым: я не знаю, как выглядят проклятые души. Может быть, как черные агавы в ночной пустыне. Но то,

---

[1] Отель «Супер-констэллейшн». Каникулы в пустыне со всеми удобствами *(англ.)*.

что вижу я — это агавы, растения, которые цветут один-единственный раз, а потом умирают. Затем я знаю (если даже в данное мгновение это и выглядит именно так), что я не первый и не последний человек на земле, я не способен испытать потрясение от мысли, что я последний человек на земле, раз это не так. Зачем же впадать в истерику? Горы есть горы, даже если они при известном освещении выглядят как нечто иное, все равно они — Сьерра-Мадре-Ориенталь, и мы находимся не в царстве мертвых, а в пустыне неподалеку от Тамаулипаса в Мексике, примерно в шестидесяти милях от ближайшей дороги, что, конечно, неприятно, но при чем же здесь «переживание»? Самолет для меня есть самолет, я не вижу в нем никакой птицы вымершей породы, только «супер-констэллейшн» с поврежденным мотором, ничего больше, и пусть луна освещает его, как ей угодно. Почему я должен переживать то, чего вовсе нет? И еще я не могу заставить себя слушать вечность; я не слышу ничего, кроме журчания песка при каждом шаге. Подкашиваются ноги? Но я знаю — через семь, восемь часов опять взойдет солнце. Конец света? Как так?! Я не способен воображать всякую чепуху, просто чтобы пощекотать себе нервы. Я вижу песчаный горизонт, белесый в зеленой ночи, примерно в двадцати милях отсюда, и не понимаю, каким образом там — в направлении Тампико — может начинаться потусторонний мир. Я знаю Тампико. Я отказываюсь испытывать страх из-за пустой фантазии, вернее, становиться фантазером из пустого страха. Это просто мистика.

— Пойдемте,— сказал я.

Герберт стоял и все еще «переживал».

— Кстати,— сказал я,— вы не родственник некоего Иоахима Хенке, который когда-то учился в Цюрихе?

Это пришло мне в голову совсем внезапно, когда мы стояли, сунув руки в карманы брюк, подняв воротники; мы как раз собирались влезть в самолет.

— Иоахим,— сказал он,— это мой брат.

— Нет?! — сказал я.

— Да,— сказал он,— конечно, я же говорил вам, что еду навестить брата в Гватемалу.

Мы невольно рассмеялись.

— Как мир тесен!

Ночи мы проводили в самолете, дрожа в своих пальто под шерстяными одеялами.

Экипаж варил чай, пока хватало воды.

— Как же он поживает, Иоахим? — спросил я.— Ведь уже двадцать лет я ничего о нем не слыхал.

— Спасибо,— сказал он,— спасибо...

— В свое время,— сказал я,— мы очень дружили.— То, что я узнал, было весьма обычным. Женитьба, ребенок (этого я, как видно, не расслышал, иначе потом не осведомлялся бы снова). Затем война, плен, возвращение на родину, в Дюссельдорф. Я был поражен, как быстро идет время, как стареешь.

— Мы очень встревожены,— сказал он.

— Чем?

— Он единственный белый там, внизу,— сказал он,— и вот уже два месяца никаких сведений.

И тогда он рассказал мне все.

Большинство пассажиров уже спало, приходилось говорить шепотом, верхний свет давно уже погасили, чтобы сберечь батареи, нас попросили выключить и маленькую лампочку над сиденьем, было темно, только снаружи свечение песка да крыло самолета в свете луны, блестящее, холодное.

— То есть как бунт? — спросил я.

Я старался успокоить его.

— То есть как бунт? — повторил я.— Может быть, его письма просто затерялись в пути?

Кто-то попросил нас наконец замолчать.

Сорок два пассажира в одном «супер-констэллейшн», который не летит, а стоит в пустыне. Самолет, чьи моторы закутаны шерстяными одеялами (дли защиты от песка) и каждое колесо тоже обернуто шерстяным одеялом, пассажиры — совсем такие, как во время полета, они спят в своих креслах, склонив головы, чаще всего открыв рты, но при этом — мертвая тишина, а снаружи — четыре ярких креста пропеллеров, белый блеск луны на крыльях тоже, и все недвижимо — забавное зрелище!

Кто-то говорил во сне.

Проснувшись утром, я выглянул в окно, увидел песок, непосредственную близость песка, и на секунду даже испугался непонятно почему.

Герберт снова читал свой дешевый романчик «Ro-Ro-Ro».

Я заглянул в памятную книжку.

3.IV — монтаж в Каракасе!

На завтрак был juice, к нему два бисквита, к ним — уверения, что съестные припасы уже на пути сюда и напитки тоже, никаких причин для беспокойства; лучше бы они этого не говорили, теперь, конечно, все будут целый день ждать шума моторов.

Опять сумасшедшая жара!

В салоне было еще жарче.

Что мы слышали: ветер, писк мышей, живущих в песке, правда, видно их не было, шуршанье ящериц, но главное — ровный, упорный ветер, от которого, как я уже говорил, песок не вздымался, а только тихонько струился, непрестанно стирая наши следы.

И снова все выглядело так, будто здесь никого и не было — не было сорока двух пассажиров и пяти человек экипажа.

Мне хотелось побриться.

Снимать вообще было нечего.

Мне не по себе, когда я небрит — не из-за окружающих, а из-за самого себя. Когда я небрит, я чувствую себя чем-то вроде растения и невольно хватаюсь за подбородок. Я извлек свою бритву, я испробовал все возможное, точнее, невозможное, ведь без электрического тока моим аппаратом не добьешься ничего, я знал, но именно это меня нервировало: в пустыне нет ни тока, ни телефона, ни штепселя — ничего.

Однажды в полдень мы услышали мотор.

Все, кроме меня и Герберта, стояли на песке под палящим солнцем в дозоре, ведя наблюдение за лиловым небом, желтоватым песком, серым чертополохом и рыжей горной цепью, но доносилось лишь тонкое жужжание обыкновенного «ДС-7», который, отсвечивая, блестел там, в высоте, белый как снег. Он держал курс на Мехико-сити, куда мы должны были прибыть вчера в это время.

Настроение было самое гнусное.

У нас, к счастью, были шахматы.

Многие пассажиры последовали нашему примеру, оставшись только в башмаках и трусиках; дамам приходилось труднее, некоторые сидели, задрав юбки и в бюстгальтерах, белых, голубых или розовых, закутав голову блузкой, как тюрбаном.

Многие жаловались на головную боль.

Кого-то рвало.

Мы опять сидели в сторонке, Герберт и я, в тени, под хвостовой частью, которая, как и крылья, слепила глаза, отражая залитый солнцем

песок, так что и в тени мы находились, точно под лучами прожектора, и, как всегда, за шахматами, разговаривали мало.

Один раз я спросил:

— Значит, Иоахим уже не женат?

— Нет,— сказал он.

— Развелся?

— Да,— сказал он.

— Мы с ним много играли в шахматы — тогда.

— Вот как,— сказал он.

Односложность его ответов подстегивала меня.

— На ком же он женился?

Я спрашивал уже просто так, чтобы убить время, мне действовало на нервы запрещение курить, я держал сигарету во рту незажженной, потому что Герберт слишком долго думал, хотя должен бы видеть, что положение его безнадежно, ведь у меня было преимущество — ферзь,— и лишь после долгого молчания, тоже мимоходом, как спрашивал и я, он произнес имя Ганны.

— Ганна Ландсберг, полуеврейка из Мюнхена.

Я не сказал ничего.

— Вам ходить,— сказал он.

Кажется, я ничего не дал ему заметить. По рассеянности я закурил сигарету, что было строжайше запрещено, и немедленно погасил ее. Я делал вид, что размышляю над ходом, и терял фигуру за фигурой.

— Да в чем дело? — засмеялся он.— В чем дело?

Мы не доиграли партии до конца, я сдался и перевернул доску, чтобы заново расставить фигуры. Я даже не отважился спросить, жива ли Ганна. Мы играли несколько часов подряд, не проронив ни слова, но время от времени были вынуждены передвигать наши ящики из-под кока-колы, чтобы оставаться в тени, по существу же мы опять сидели на все еще раскаленном песке. Мы потели, как в зауне [1], молча склонившись над моими дорожными шахматами, над кожаной доской, которая, к сожалению, линяла от капель нашего пота.

Пить больше было нечего.

Почему я не спрашивал, жива ли Ганна, не знаю, может быть, боясь услышать, что Ганна умерла.

Я высчитывал, сколько лет ей сейчас.

Я не мог ее себе представить.

К вечеру, незадолго до сумерек, наконец пришел обещанный самолет — спортивная машина, долго кружившая над нами, прежде чем она наконец решилась сбросить парашют: три мешка и два ящика, которые надо было подобрать в радиусе трехсот метров,— мы были спасены. «Карта бланка» — хорошее пиво, это вынужден был признать даже немец Герберт, когда мы, держа в руках консервные банки с пивом, стояли среди пустыни — общество в бюстгальтерах и нижнем белье,— потом снова заход солнца, который я снял на цветную пленку.

Мне снилась Ганна.

Ганна в роли сестры милосердия, верхом на лошади!

На третий день наконец появился первый вертолет, чтобы забрать хотя бы аргентинскую маму с ее двумя детьми, слава тебе господи, а заодно захватить почту; вертолет ждал почту около часа.

Герберт сейчас же бросился писать в Дюссельдорф.

Каждый пассажир сидел и писал.

Надо было писать хотя бы для того, чтобы люди добрые не приставали — неужели у вас нет ни жены, ни матери, ни детей? Я извлек на

[1] Финская баня с парильней.

свет свой «гермес-бэби» (машинка еще и сегодня полна песка) и вставил лист бумаги с перебивкой через интервал, так как вознамерился написать Вильямсу; я отстукал дату, передвинул каретку — дальше нужно писать обращение:

«My dear!..»[1]

Значит, я писал Айви. Давно уже у меня назрела потребность разобраться, что к чему, навести порядок. Наконец-то я располагал покоем и временем, покоем целой пустыни...

«My dear!..»

Что я торчу в пустыне, в шестидесяти милях от населенного мира,— для такого сообщения много времени не понадобилось. Что здесь жара, что я цел и невредим и тому подобное, и еще несколько деталей для вящей наглядности: ящики из-под кока-колы, шорты, вертолет, знакомство с шахматистом — всего этого мало, чтобы заполнить письмо. А дальше? Синеватый горный хребет вдали. А дальше? Вчера было пиво. А дальше? Я даже не мог попросить ее прислать мне сюда пленку, я знал, что Айви, как всякую женщину, собственно говоря, интересует только то, что я чувствую, в крайнем случае, что думаю, раз уж я ничего не чувствую, а в этом я был уверен. На Ганне, которую я любил, я не женился. Для чего же мне жениться на Айви? Но сформулировать это, не оскорбив женщину, нелегко, черт возьми! Ведь Айви ничего не знала о Ганне, и потом она все же славный парень, хоть и принадлежит к той разновидности американок, которые считают, что должны выйти замуж за любого мужчину, взявшего их к себе в постель. Притом Айви была замужем решительно и безоговорочно, не знаю уж, в который раз, а ее муж, чиновник из Вашингтона, и не помышлял о разводе, оттого что любил Айви. Подозревал ли он, зачем Айви регулярно летает в Нью-Йорк, я не знал. Она говорила ему, что ходит к психиатру, и, кстати, туда она ходила.

Так или иначе, надо мной не капало, и я не мог понять, зачем Айви, женщине вполне современных взглядов, понадобился брак со мной. Все равно последнее время у нас были сплошные скандалы из-за всякой чепухи. Скандал по поводу того, что лучше — «студебеккер» или «нэш»! Стоило только вспомнить об этом, и моя машинка мигом застучала как бы сама собой; напротив, теперь уж я должен был поглядывать на часы, чтобы успеть закончить письмо, пока вертолет еще здесь.

Его мотор уже был запущен...

Не я, Айви захотела этот «студебеккер»; прежде всего цвет: спелого помидора — по ее мнению, по-моему — ярко-малиновый; это был ее вкус, отнюдь не мой, ведь техническая сторона ее не занимала... Айви работала манекенщицей, по-моему она выбирала себе платья под цвет машины или под цвет своей губной помады или наоборот, уж не знаю. Помню только ее вечные упреки, что у меня вообще нет вкуса и что я не хочу на ней жениться. При всем том, как уже сказано, она была славным парнем. Но то, что я намеревался продать ее «студебеккер», она считала возмутительным, вернее, характерным для меня, как и то, что я ни одной секунды не думаю о ее гардеробе, который так здорово гармонирует с малиновым «студебеккером», это тоже характерно для меня, потому что я эгоист, изверг, варвар в вопросах вкуса и по отношению к женщине. Я знал наизусть ее упреки, был сыт ими по горло. То, что я ни в коем случае не женюсь, я утверждал достаточно часто, по крайней мере давал понять, а под конец так и заявил, притом очень решительно, на аэродроме, когда нам пришлось ждать три часа этот «супер-констэллейшн». Айви даже расплакалась, следовательно, мои слова дошли до нее. Но, может быть, Айви нужно было прочесть это черным по белому. Если бы мы сгорели при этой вынужденной посадке, она отлично прожила бы и

[1] Моя дорогая *(англ.)*.

без меня! И написал я ей это (слава богу, с интервалом), полагаю, достаточно ясно, чтобы избежать ненужного свидания.

Вертолет был готов к старту...

Я уже не успел перечитать свое письмо, просто сунул его в конверт, заклеил и отдал, а потом смотрел, как отлетает вертолет.

Постепенно мы обрастали бородами.

Я тосковал по электрическому току...

Эта история становилась все более скучной, я бы даже сказал, скандальной, учитывая, что сорока двух пассажиров и пять человек экипажа давно уже следовало вызволить из этой пустыни, ведь большинство из нас летело по неотложным делам.

Как-то раз я все же спросил:

— А она еще жива?

— Кто? — спросил он.

— Ганна, его жена.

— Ах, вот вы о ком...— сказал он, поглощенный тем, как отразить мой гамбит, а тут еще его свист, который и без того действовал мне на нервы, тихонький свист, без мелодии, просто шипенье, как из вентиля.

Невольно я опять спросил:

— А где же она живет теперь?

— Понятия не имею,— сказал он.

— Но она жива?

— Я беру!

— Ты не знаешь?

— Нет,— сказал он,— но я беру.— Он повторял свои слова, как собственное эхо.— Я беру...

Наша партия была для него важнее.

— Может быть, уже слишком поздно,— сказал он,— может быть, уже слишком поздно.

Он имел в виду шахматы.

— Значит, она успела эмигрировать?

— Да,— сказал он,— успела.

— Когда?

— В тысяча девятьсот тридцать восьмом,— сказал он,— в последнюю минуту.

— Куда?

— В Париж,— сказал он,— потом, вероятно, дальше, потому что года через два мы были в Париже. Кстати, лучшее времечко за всю мою жизнь. Перед тем, как я попал на Кавказ. Sous les toits de Paris! [1]

Больше из него ничего нельзя было вытянуть.

— Старик, слушай,— сказал он,— мое дело пропащее, если я сейчас не обменяю фигуру!

Мы играли все с меньшим удовольствием.

Как стало известно позже, восемь вертолетов американских ВВС ждали на мексиканской границе официального разрешения высшего начальства, чтобы забрать нас.

Я чистил свою «гермес-бэби».

Герберт читал.

Нам оставалось только ждать.

Несколько слов о Ганне:

Я никак не мог жениться на Ганне, тогда, с 1933 года до 1935 года, я был ассистентом в швейцарском Политехническом институте, в Цюрихе работал над диссертацией (о так называемых Максвелловских демо-

[1] Под крышами Парижа *(франц.)*.

нах[1]) и зарабатывал триста франков в месяц, женитьба отпадала по экономическим соображениям, не говоря обо всем прочем. И Ганна ни разу не упрекнула меня за то, что дело не дошло до свадьбы. Я-то был готов. В сущности, сама Ганна не захотела тогда выйти за меня.

Мое решение изменить маршрут деловой поездки по личным мотивам и сделать крюк через Гватемалу, только чтобы повидать друга молодости, возникло на новом аэродроме в Мехико-сити, более того, возникло в самую последнюю минуту. Я уже стоял у ограды, последние рукопожатия, и просил Герберта передать поклон его брату, если только Иоахим еще помнит меня; тем временем, разумеется, обычные восклицания громкоговорителя:

— Your attention, please, your attention, please. All passengers for Panama — Caracas — Pernambuco...[2] — Это опять был «супер-констэллейшн». Меня просто мутило при мысли о том, что надо снова садиться в самолет, снова пристегивать пояс. Герберт сказал:

— Старик, тебе пора идти!

В деловых кругах я слыву чрезвычайно добросовестным, можно даже сказать, педантичным человеком, во всяком случае, еще ни разу не бывало, чтобы мне взбрело в голову задержаться при служебной поездке, не говоря уже о том, чтобы менять маршрут,— но часом позже я уже летел вместе с Гербертом.

— Старик! — сказал он.— Ну и номер ты отколол!

Я и сам не знаю, что со мной было.

— На сей раз турбины подождут меня,— сказал я,— я тоже ждал их, теперь пусть турбины подождут меня!

Конечно, это не резон.

Уже в Кампече нас встретил зной, липкое солнце и клейкий воздух, вонь ила, разлагающегося на солнце, и когда вытираешь пот с лица, кажется, что ты сам воняешь рыбой. Я не сказал ничего. В конце концов пот уже не вытираешь, а сидишь с закрытыми глазами и дышишь с закрытым ртом, прислонившись головой к стене, вытянув ноги. Герберт был убежден, что поезд уходит каждый понедельник — судя по дюссельдорфскому путеводителю, там так напечатано черным по белому, но, как выяснилось после пятичасового ожидания, не по понедельникам, а по вторникам.

Я не сказал ни слова.

В гостинице, по крайней мере, есть душ, полотенце, которое пахнет камфарой, как обычно в этих местах, и когда хочешь принять душ, жуки длиною с палец падают с заплесневевшей занавески, я топил их в стоке, однако они снова выкарабкивались. Тогда я давил их пяткой, чтобы наконец принять душ.

Эти жуки мне снились.

Я твердо решил расстаться с Гербертом и на следующий день улететь обратно — дружба дружбой, но...

Желудок опять давал себя знать.

Я лежал в чем мать родила...

Воняло всю ночь.

И Герберт лежал совершенно голый...

Кампече все-таки еще город, селение, с электрическим током, так что можно побриться, и с телефоном, но на всех проводах уже торчат

---

[1] Максвелловский демон — гипотетическое сознательное существо, введенное знаменитым английским физиком Джеймсом Максвеллом (1831—1879) для иллюстрации некоторых законов кинетической теории газов. Термин сохранился в истории науки.

[2] Всех пассажиров, следующих на Панаму — Каракас — Пернамбуко *(анг.)*.

ауры, они ждут, пока умрет с голода собака, издохнет осел, падет лошадь, тогда они спархивают вниз... Мы приехали как раз в то время, когда они терзали такой комок требухи — целая стая черно-лиловых птиц с кровавыми кишками в клювах, их не отогнать, они не улетают, даже когда проходит машина; они только оттаскивают падаль на другое место, не взлетая, а только подпрыгивая, и все это посреди рынка.

Герберт купил ананас.

Я, как уже сказано, решил улететь обратно в Мехико-сити. Я был в отчаянии. Почему я этого не сделал, не знаю.

Полдень настал как-то вдруг.

Мы стояли на дамбе, где воняло меньше, но зато там было еще жарче, оттого что не было тени, и ели наш ананас, мы наклонялись вперед, так с него капало, потом по камням вниз, чтобы ополоснуть липкие пальцы; теплая вода тоже была липкая, не сладкая, но соленая, и пальцы воняли водорослями, заправочным маслом, ракушками и всяческой гнилью вообще, так что их немедленно пришлось вытереть носовым платком. Вдруг — рокот мотора! Я стоял оцепенев. Мой «ДС-7» на Мехико-сити, он пролетел как раз над нами, потом над заливом, потом свернул в открытое море, где точно растворился в горячем небе, как в голубой кислоте.

Я не сказал ни слова.

Не знаю, как прошел этот день.

Он прошел.

Наш поезд (Кампече — Паленке — Коатцокоалкос) оказался лучше, чем можно было ожидать. Дизель и четыре вагона с air-condition [1], так что мы забыли о жаре, а вместе с жарою и о нелепости всего нашего путешествия.

Помнит ли меня Иоахим?

Поезд то и дело останавливался посреди перегона, в ночи, мы не имели понятия, почему нигде ни огонька, только при отсвете далекой грозы можно было распознать, что вокруг джунгли, местами — топи, вспышки молнии за сплетением черных деревьев, наш паровоз свистит и свистит в ночную тьму. Открыть окно и увидеть, что, собственно, происходит, нельзя... Вдруг он трогался снова. Тридцать километров в час, хотя дорога прямая, как шнур. Так или иначе, мы были довольны, что продвигаемся вперед.

Как-то раз я спросил:

— А почему, собственно, они развелись?

— Понятия не имею, кажется, она стала коммунисткой...

— Поэтому?

Он зевнул.

— Не знаю,— сказал он,— не ладилось у них. Я не спрашивал.

Как-то раз, когда наш поезд снова остановился, я подошел к двери вагона и выглянул наружу. Там был зной, о котором мы забыли, сырой мрак и тишина. Я спустился на ступеньку. Тишина и зарницы. Впереди нас поперек прямой линии рельсов стоял буйвол, вот и все. Он стоял как чучело, ослепленный прожектором нашего паровоза, остолбеневший. Лоб и шея у меня сразу опять вспотели. Паровоз свистел и свистел. Вокруг — ничего, кроме зарослей. Через несколько минут буйвол (если только это был буйвол) медленно вышел из лучей прожектора, потом я услышал шуршанье в зарослях, треск сучьев, потом топот, всплеск воды, не видимой в темноте...

Потом мы снова тронулись дальше.

— А у них есть дети? — спросил я.

— Дочь...

---

[1] Кондиционированный воздух *(англ.)*.

Мы устроились на ночь: под головами — куртки, ноги протянуты на пустые сиденья напротив.

— Ты ее знал?

— Да,— сказал я.— А что?

Немного погодя он уже храпел...

На рассвете — все еще заросли, восходящее солнце над плоским горизонтом джунглей, цапли, вспархивавшие белыми стаями перед нашим медленным поездом, заросли без конца, необозримые, кое-где кучка индейских хижин, спрятавшихся под деревьями с воздушными корнями, иногда одинокая пальма, а вообще больше лиственные деревья, акации и какие-то неизвестные растения. В основном кустарник, прямотаки «допотопные» папоротники, и все кишит желтыми птицами, снова солнце точно за матовым стеклом, испарения, зной прямо виден.

Мне снились сны... (Не про Ганну!)

Когда мы снова остановились на путях — это был Паленке, вокзальчик, где никто не садится и не выходит, кроме нас. Клочок земли, там где кончаются рельсы, сигнал «стоп», дальше ничего, даже нет второй колеи (если я правильно запомнил), мы трижды спрашивали, Паленке ли это.

Тотчас же снова заструился пот.

Поезд ушел, а мы продолжали стоять с нашим багажом, словно здесь был конец света, по крайней мере конец цивилизованного мира, а о джипе, который должен был нас ждать, чтобы отвезти господина из Дюссельдорфа на плантацию, разумеется, не было ни слуху, ни духу.

— There we are!

Я рассмеялся.

Все же тут оказалась улочка, и через полчаса, которые нас основательно вымотали, из-за кустов вышли дети, потом погонщик ослов, конечно, индеец, он взял наш багаж, я оставил себе только свой желтый портфель на молнии.

Пять дней провисели мы в Паленке.

Мы висели в гамаках (все время), пиво было все время под рукой, и потели, как будто потение было смыслом и целью нашей жизни, не способные ни на какие решения, в общем очень довольные, так как пиво «Юкатека» было замечательное. Лучше швейцарского и немецкого. Мы висели в своих гамаках и пили, чтобы потеть дальше, и я не представлял себе, чего же мы, собственно, хотим.

А хотели мы, чтобы пришел джип!

Если не повторять себе этого непрерывно, то об этом забываешь, да и вообще мы говорили мало — странное состояние.

Джип, да, но откуда?

Разговоры только вызывали жажду.

У хозяина нашей крохотной гостиницы («Лакруа») был «лэндровер» — видимо, единственное средство передвижения в Паленке, но он был нужен ему самому, чтобы привозить с вокзала пиво или постояльцев — людей, которые находят какой-то интерес в индейских развалинах, любителей пирамид; сейчас там был только один-единственный молодой американец, он слишком много говорил, но, к счастью, целый день отсутствовал — изучал руины, которые, как он полагал, следует осмотреть и нам.

Вот еще!

Каждый шаг вызывал пот, потерю влаги тут же надо было восстанавливать пивом, я чувствовал себя прилично, только пока висел в гамаке, босиком, не шевелясь и куря — в единственно возможном состоянии — апатии. Даже слух о том, что плантация по ту сторону границы уже несколько месяцев как покинута, не взволновал нас, мы посмотрели друг на друга, Герберт и я, и глотнули пива.

Наш единственный шанс: «лэндровер»!

Он целыми днями стоял перед гостиницей...

Но, как уже сказано, он был нужен хозяину!

Только после захода солнца (оно, собственно говоря, не заходит, а, изнуренное, угасает в испарениях) становилось прохладнее, так что можно было хоть потрепаться о будущем немецкой сигары. Я лично считал это просто смехотворным — и наше так называемое путешествие, и все вообще. Бунт местных жителей! В это я не верил ни одной минуты! Для этого здешние индейцы слишком кротки, миролюбивы, даже ребячливы. Целыми вечерами сидят они в своих белых соломенных шляпах на корточках, неподвижные, как грибы,— им хорошо и без света! Солнце ли, луна ли, им достаточно и этого освещения, женственный народ, угрюмый, но при этом безобидный.

Герберт спросил, о чем я думаю.

— Ни о чем!

— Что же нам делать?

— Принять душ.

Я принимал душ с утра до вечера, я ненавижу пот, оттого что кажешься себе больным. (Я никогда не болел ничем, кроме кори.) Наверно, Герберт считал, что я плохой товарищ, раз я ни о чем не думаю, но было просто слишком жарко, чтобы я мог о чем-нибудь думать, или надо было думать обо всем и верить всему — как Герберт.

— Пошли в кино! — сказал я.

Герберт поверил всерьез, что в Паленке, который состоит из одних индейских хижин, есть кино, и взбесился, когда я захохотал.

Дождя все не было.

Зарницы сверкали каждую ночь. В Паленке есть дизель-мотор, он дает электрический ток, но в 21 час его выключают, так что мы внезапно повисали во тьме джунглей и видели только вспышки зарниц, синеватые, как свет кварцевой лампы, да еще красных светляков, позже луну, какую-то осклизлую, звезд не было — из-за тумана. Иоахим не пишет писем, просто потому, что слишком жарко, я его понимаю; он висит в своем гамаке, как мы, зевая, или же он умер — тогда, полагаю, тоже думать нечего, только ждать, пока мы получим джип, чтобы переправиться через границу и убедиться во всем воочию.

Герберт орал на меня:

— Джип! Откуда?!

Потом сразу принимался храпеть.

Но обычно, как только выключали дизель-мотор, воцарялась тишина; в лунном свете паслась лошадь, за той же загородкой, совсем бесшумно — козуля, подальше — черная свинья, индейский петух, который не переносил сверкания зарниц и пронзительно верещал, подальше гуси — внезапно растревоженные индейским петухом, они тоже гоготали, внезапный шум, тревога, затем снова тишина, зарницы над равниной, только пасущуюся лошадь слышно было всю ночь.

Я думал об Иоахиме...

Но что именно?

Я просто не спал.

Только наш сосед, любитель развалин, болтал очень много, и, если прислушаться, довольно занимательно — о толтеках, запотеках, ацтеках, которые хотя и возводили храмы, но колеса не знали. Он приехал из Бостона, он был музыкантом. Порой он действовал мне на нервы, как все художники, которые несомненно мнят себя более глубокими, высшими существами, просто потому, что не знают, что такое электричество.

Наконец засыпал и я.

Утром каждый раз меня будил странный шум — не то индустриальный, не то музыкальный рокот, которого я не мог себе объяснить, не

громкий, но неистовый, вроде стрекота цикад, металлический, однообразный, вероятно какая-то механика, но я не мог угадать, что именно, а позже, когда мы шли в деревню завтракать, шум прекращался и ничего нельзя было понять. Мы являлись единственными посетителями единственной pinte [1], где всегда заказывали одно и то же: Huevos a la mexicana [2] под острым соусом, но, вероятно, не вредным, к нему tortilla [3] и пиво. Хозяйка, индианка, матрона с черными косами, считала нас исследователями. Ее волосы напоминали оперенье, черные с синеватым отливом, зубы очень белые, когда она улыбалась, глаза тоже черные и кроткие.

— Спроси же ее,— сказал Герберт,— знает ли она моего брата и когда она видела его в последний раз.

Но что можно было узнать?

— Она помнит автомобиль,— сказал я,— вот и все...

Попугай тоже не знал.

— Gracies, hi-hi.[4]

Я говорил с ним по-испански.

— Hi-hi, gracies, hi-hi!

На третье или четвертое утро, когда мы, как обычно, завтракали, окруженные глазевшими на нас детьми майя, которые, впрочем, не попрошайничали, а просто стояли возле нашего стола и время от времени смеялись, Гербертом внезапно овладела идея, что в деревне, этом курятнике, если его основательно обследовать, должен найтись какой-нибудь джип, где-нибудь за хижиной, где-нибудь в зарослях тыквы, или бананов, или кукурузы. Я не останавливал его. По-моему, это была глупость, как и все остальное, впрочем, но мне было все равно, я висел в своем гамаке, а Герберт не показывался целый день.

Даже снимать мне было лень.

Кроме пива «Юкатека», которое было восхитительно, но все вышло, в Паленке имелся только ром, отвратительный, и кока-кола, которую я терпеть не могу...

Я пил ром и спал.

Так или иначе, я часами не думал ни о чем...

Герберт вернулся только в сумерки, бледный от усталости, он обнаружил речушку и купался в ней, потом видел двух мужчин с кривыми саблями (так он утверждал), которые шли через кукурузное поле,— индейцы в белых штанах и белых соломенных шляпах, такие же, как и мужчины в деревне, но с кривыми саблями в руках.

О джипе, разумеется, ни слова!

Мне кажется, он перетрусил.

Я побрился, пока еще давали электрический ток, а Герберт снова рассказывал свои жуткие истории, которые я уже знал наизусть; позже, так как пива больше не было, мы пошли в кино — проводником был наш любитель развалин, отлично знавший свой Паленке; кино в самом деле имелось — закуток с навесом из рифленого железа; сперва короткометражка — Гарольд Ллойд, лазание по крышам в манере двадцатых годов; затем основной фильм — любовные страсти в высшем мексиканском свете, супружеская измена с «кадиллаком» и браунингом, все — на фоне мрамора, все в вечерних туалетах. Мы хохотали до упаду, до судорог, в то время как четверо или пятеро индейцев неподвижно сидели перед сморщенным полотном экрана — в

---

[1] Харчевня *(исп.)*.
[2] Яйца по-мексикански *(исп.)*.
[3] Лепешки *(исп.)*.
[4] Спасибо — хи-хи *(исп.)*.

больших соломенных шляпах на головах, быть может довольные, быть может и нет, этого никак не узнаешь, непроницаемые, как монголы... Наш новый приятель, музыкант из Бостона, как уже сказано, американец французского происхождения, был очарован Юкатаном и никак не мог понять, почему мы не интересуемся развалинами; он спросил, что мы здесь делаем.

Мы пожали плечами...

Мы посмотрели друг на друга, Герберт и я, каждый предоставлял другому сказать, что мы ждем джип.

Не знаю, за кого он нас принял.

У рома есть преимущество перед пивом; он не вызывает пота, зато болит голова наутро, когда снова доносится необъяснимый шум, то ли рояль, то ли мотор, да еще пенье, и всякий раз между шестью и семью часами; и всякий раз я решаю выяснить, в чем дело, но забываю в течение дня.

Здесь забываешь все.

Однажды мы вздумали искупаться, но Герберт не нашел своего мифического ручья, мы внезапно оказались перед развалинами и застали нашего художника за работой. Среди груды камней, долженствующих изображать храм, пылала адова жара. Но он был озабочен только одним: ни капли пота на бумагу! Он едва поздоровался, мы ему мешали. В чем состояла его работа: он накладывал кальку на каменные рельефы, а затем часами водил по ней темным мелком — бессмысленное, сумасшедшее занятие,— и все, чтобы снять копии. Он утверждал решительно и упорно, что эти иероглифы и рожи богов фотографировать нельзя, тогда они сразу умирают. Мы ушли.

Я не специалист по истории искусства...

После лазания по пирамидам, исключительно от скуки,— ступени у них слишком круты, соотношение между высотой и шириной ступеней здесь как раз обратное, так что задыхаешься,— я в полуобморочном состоянии прилег где-то в тени так называемого храма, раскинув ноги и руки, тяжело дыша.

Влажный воздух...

Липкое солнце...

Я лично решил вернуться, если мы до завтрашнего дня не найдем джипа... Было нестерпимо душно, пахло тленом и гнилью, чирикали птицы с длинными синими хвостами, кто-то использовал храм под уборную, отсюда и мухи. Я пытался заснуть, но чириканье и гомон — как в зоопарке, когда не знаешь, кто, собственно, свистит, мяучит, выводит трели, вроде модной музыки,— возможно, обезьяны, птицы, быть может, какая-то разновидность кошек — неизвестно. Пыл страсти или страх смерти — неизвестно!..

Я опять чувствую свой желудок. (Я слишком много курю!)

— Когда-то, в одиннадцатом или тринадцатом веке, здесь будто бы стоял целый город,— сказал Герберт,— город племени майя.

Мне-то что. Пусть!

На мой вопрос, продолжает ли он еще верить в будущность немецкой сигары, Герберт уже не дал ответа: он храпел, не успев закончить разговора про религию майя, про их искусство и прочее.

Я предоставил ему храпеть.

Я снял башмаки — пусть змеи снуют туда и сюда, мне нужен воздух, у меня сердце колотилось от жары, я дивился нашему бостонцу, который мог работать на беспощадном солнцепеке и жертвовал для этого отпуском, своими сбережениями, только бы привезти домой иероглифы, которые никто не сможет расшифровать...

Люди чудаки!

Взять хотя бы народ вроде этих майя — не зная колеса, они строят храмы и пирамиды в лесной чащобе, где все замшело и крошится от сырости. Зачем?

Я и себя не понимал.

Неделю назад я должен был приземлиться в Каракасе и сегодня (не позже) вернуться в Нью-Йорк. А вместо этого я торчу здесь, чтобы сказать «Здравствуй» другу юности, который женился на подруге моей юности.

Зачем?

Мы ждали «лэндровер», который ежедневно доставлял сюда нашего любителя развалин, а вечером отвозил его обратно, со свертками кальки. Я решил разбудить Герберта и сказать ему, что со следующим поездом, уходящим из этого Паленке, уеду.

Шныряют птицы...

Ни одного самолета!

Стоит отвернуться, чтобы не видеть этого неба словно из матового стекла, и чудится, будто ты на берегу моря, будто наша пирамида — остров или корабль, а вокруг море, но это только чащоба, безбрежная, зеленовато-серая, плоская, как океан, чащоба!

Вдобавок полная луна, лиловая к вечеру.

Герберт продолжал храпеть.

Диву даешься, как они умудрились приволочь сюда эти плиты, не зная ни колеса, ни блоков для подъема тяжестей, не зная даже, что такое свод! Не говоря об украшениях, которые мне так или иначе не нравятся, оттого что я за целесообразность. Я нахожу эти развалины очень примитивными — в противовес нашему любителю развалин, который любит народ майя как раз за то, что они понятия не имели о технике, зато они имели богов; Марсель находит восхитительным то, что они каждые пятьдесят два года начинают новое летоисчисление, а именно: вдребезги разбивают всю свою утварь, гасят огни во всех очагах, потом разносят огонь из храма по всей местности, начинают все сызнова. Народ, который просто-напросто снимается с места, покидает (неразрушенными!) свои города, перекочевывает только по велению религии и в пятидесяти—ста километрах, в тех же самых джунглях, строит новый город и храм. Марсель находит, что это исполнено глубочайшего смысла, хоть и бесхозяйственно, что это прямо-таки гениально, глубокомысленно (profond), причем говорит он все это вполне серьезно.

Иногда я не мог не думать о Ганне.

Когда я разбудил Герберта, он вскочил.

— Что случилось?

Когда он увидел, что ничего не случилось, он снова захрапел, чтобы не скучать.

О машине ни слуху ни духу!

Я пытаюсь себе представить — что, если бы вдруг не стало машин, как во времена этих майя? О чем-нибудь надо же думать. Я решил, что ребячество — изумляться тому, как они доставили сюда эти каменные плиты. Они просто установили сходни и потом волокли по ним камни, идиотский износ человеческой силы, в этом-то и проявлялась их примитивность. Но с другой стороны, их астрономия! Наш любитель развалин сообщил, что по их календарю солнечный год исчисляется в 365,2420 дней вместо 365,2422 дня. И все же они со своей математикой, а наличия ее нельзя не признать, не создали никакой техники, вот почему и были обречены на гибель.

Наконец-то «лэндровер»!

Чудо свершилось, когда любитель развалин услышал, что нам надо добраться до Гватемалы. Он пришел в восторг. Он тут же вытащил свой календарик, чтобы подсчитать, сколько дней отпуска у него еще оста-

лось. В Гватемале, сказал он, пропасть этих самых городов майя, почти не раскопанных, и, если мы возьмем его с собой, он сделает все возможное, чтобы заполучить «лэндровер», пользуясь своей дружбой с хозяином гостиницы. И он его заполучил. (Сотня песо за день.)

Мы укладывались. Было воскресенье, жаркая ночь с осклизлой луной, а странный шум, который будил меня каждое утро, оказался музыкой, бренчаньем допотопной маримбы — стукотня, лишенная тембра, ужасающая музыка, прямо-таки эпилептическая. Какой-то праздник, связанный с полнолунием. Каждое утро до работы они тренировались и вот теперь наконец наяривали для танцев — пять индейцев неистово колотили молоточками по своему инструменту вроде деревянного ксилофона, длинного, как стол.

Я разбирал и чистил мотор, чтобы не случилось аварии в джунглях, и у меня не было времени смотреть на их пляски. Я лежал под нашим «лэндровером». Женщины рядами сидели вокруг площади, большинство с сосунками у смуглой груди, танцоры потели и глотали кокосовое молоко. Всю ночь подходил народ. По-моему, целые племена; на девушках были не обычные наряды, а готовые американские платья в честь праздника луны — обстоятельство, волновавшее нашего художника Марселя в течение нескольких часов. Меня заботило другое! У нас не было ни оружия, ни компасов, ничего. Фольклор меня не интересовал. Я укладывал вещи в наш «лэндровер». Ведь кто-нибудь должен был это делать, и я охотно это делал, только бы наконец уехать.

Ганна была вынуждена покинуть Германию. Она изучала историю искусства у профессора Вёльфлина — предмет, чуждый мне; но в остальном мы быстро сошлись, не помышляя о женитьбе. И Ганна тоже не думала о браке. Мы оба были слишком молоды, мои родители, хотя и находили Ганну очень симпатичной, как уже сказано, были озабочены тем, как отзовется на моей карьере брак с полуеврейкой,— заботливость, которая меня раздражала, даже приводила в бешенство. Я был готов жениться на Ганне, я чувствовал себя обязанным это сделать, именно принимая во внимание те времена. Ее отец, мюнхенский профессор, был арестован, это была пора чудовищных измышлений, и я просто не мог бросить Ганну на произвол судьбы. Я не был трусом, а кроме того, мы действительно друг друга любили. Я хорошо помню эти дни, съезд партии в Нюрнберге. Мы слушали радио — обнародование немецких расовых законов. В сущности, сама Ганна не захотела тогда выйти за меня, я-то был готов. Когда Ганна сообщила мне, что должна покинуть Швейцарию в двухнедельный срок,— я служил тогда офицером в Туне,— я немедленно поехал в Цюрих и отправился с Ганной в иностранный отдел полиции, хотя моя военная форма все равно не могла ничего изменить; тем не менее мы проникли к шефу. Я и сейчас еще помню, как он разглядывал справку, которую предъявила Ганна, и распорядился, чтобы принесли ее досье; Ганна сидела, я стоял. Потом его благожелательный вопрос: «Может быть, фрейлейн — невеста господина офицера?» — и наше замешательство. Мы должны понять: Швейцария — маленькая страна, в ней слишком тесно для бесчисленных беженцев, право убежища, да, но у Ганны ведь было достаточно времени, чтобы эмигрировать, ускорить отъезд. Наконец приносят досье, и тогда выясняется, что имелась в виду вовсе не Ганна, а эмигрантка с той же фамилией, которая уже успела выехать за океан. Облегченный вздох с обеих сторон! В приемной я уже взял свои офицерские перчатки, свою офицерскую фуражку, когда Ганну снова подозвали к окошечку,— Ганна побелела как мел. Оказывается, она должна уплатить еще десять раппенов — почтовые расходы за письмо, ошибочно посланное по ее адресу. Возмущению Ганны

не было границ! Я находил, что это просто анекдот! К сожалению, мне в тот же вечер надлежало вернуться в Тун, к моим рекрутам; и тогда, в пути, я принял твердое решение жениться на Ганне, если ей откажут в праве на жительство. Вскоре (если память мне не изменяет) ее старик отец умер в заключении. Как уже сказано, я был готов жениться. Сам не знаю почему, но этого не произошло. Ганна всегда была крайне щепетильна и неуравновешенна — неожиданные вспышки темперамента; как говорил Иоахим: маниакально-депрессивный психоз. А ведь Иоахим видел Ганну всего раз или два, она не хотела иметь ничего общего с немцами. Я клялся ей, что Иоахим мой друг, не наци, но тщетно. Я понимал ее недоверие, но мне было нелегко, не говоря о том, что наши интересы и вкусы не всегда совпадали. Я называл ее одержимой мечтательницей, жрицей искусства, зато она называла меня «Homo Faber». Иногда у нас происходили скандалы, например, когда мы возвращались из театра, куда она меня постоянно таскала. С одной стороны, у Ганны была склонность к коммунизму, чего я не выносил, с другой стороны — к мистике, чтобы не сказать — к истерии. А уж я — такой, как есть, я принадлежу к типу людей, прочно стоящих обеими ногами на земле. Тем не менее, по-моему, мы были очень счастливы вдвоем, и я, право, не знаю, почему тогда дело не дошло до женитьбы. Просто не дошло, и все! В отличие от моего отца, я, думается, не был антисемитом. Я был только слишком молод и, как большинство мужчин моложе тридцати лет, еще не созрел для отцовства. Я, как уже было сказано, еще работал над диссертацией и жил у родителей, чего Ганна никак не могла понять. Мы встречались всегда в ее комнатушке. В это время пришло предложение от фирмы «Эшер-Вайс» — небывалая удача для молодого инженера, и если что-либо и тревожило меня, то отнюдь не багдадский климат, а исключительно Ганна, жившая в Цюрихе. Она тогда ждала ребенка. Она открылась мне как раз в тот день, когда я пришел после первых переговоров с фирмой «Эшер-Вайс», решив поступить к ним на службу в Багдаде, и как можно скорее. Ее утверждение, что я до смерти перепугался, я отрицаю и теперь, я только спросил: «Ты уверена?» Так или иначе, вполне деловой и разумный вопрос. Я почувствовал себя одураченным только ее безапелляционностью и спросил: «А у врача ты была?» Тоже вполне деловой и разумный вопрос. Она не была у врача, она и так знает. Я сказал: «Подождем еще две недели». Она рассмеялась, оттого что была совершенно уверена. Как видно, Ганна уже давно знала, но не говорила мне. Только в этом смысле я чувствовал себя круглым дураком. Я положил руку на руку Ганны. В ту минуту я не совсем отдавал себе отчет во всем, что произошло, это правда. Я пил кофе и курил. Как она была разочарована! Правда я не плясал от радости, что стану отцом, но для этого политическое положение было слишком серьезным. Я спросил: «А есть у тебя врач, к которому ты могла бы пойти?» Разумеется, я думал только о том, чтобы ее обследовали. Ганна кивнула. «Это не сложно,— сказала она,— это-то можно уладить!» Я спросил: «Что именно?» Позднее Ганна утверждала, что я почувствовал облегчение от того, что она не хочет оставлять ребенка, и даже пришел в восторг и поэтому обнял ее за плечи, когда она расплакалась. Она сама не захотела больше об этом говорить. И тогда я рассказал ей о предложении фирмы «Эшер-Вайс», о службе в Багдаде, о призвании инженера вообще. Это ни в каком случае не было направлено против ее ребенка — я даже сказал ей, сколько буду зарабатывать в Багдаде. И дословно, буквально: «Если ты хочешь оставить твоего ребенка, тогда мы, конечно, должны пожениться!» А потом ее упрек: зачем я сказал «должны»! Я спросил искренне и прямодушно: «Хочешь ты, чтобы мы поженились, да или нет?» Она покачала головой, но я так и не знал, как ее понять. Я подробно обсудил это с Иоахимом — во время нашей шахматной партии, Иоахим

разъяснил мне вопрос с медицинской точки зрения, что, как известно, не проблема, потом с юридической, что, как известно, тоже не проблема, если получить соответствующее заключение. Потом он набил трубку — взгляд на шахматы: ведь Иоахим был принципиально против советов. Свою помощь (он был медиком и сдавал государственные экзамены) он обещал, если мы оба — девушка и я — обратимся к нему за содействием. Я был ему очень благодарен, несколько смущен, но рад, что он не раздул из этого целую историю. Он только сказал: «Твой ход!»

Я сообщил Ганне, что все это не проблема. Ганна сама вдруг решила покончить со всем. Она уложила свои чемоданы — ее вдруг осенила безумная идея вернуться в Мюнхен. Я старался образумить ее. Но она твердила одно: «Конец!» Я, видите ли, сказал «твоего ребенка», вместо того, чтобы сказать — «нашего ребенка». Вот этого Ганна не могла мне простить.

Путь от Паленке до плантации самолетом едва составляет семьдесят миль, ну, скажем, сто — сущий пустяк, когда есть хоть что-либо похожее на дорогу, чего в данном случае, разумеется, не было. Единственная дорога в нужном нам направлении кончалась у развалин, она просто терялась во мхах и папоротниках.

Все же мы продвигались вперед.

Тридцать семь миль в первый день.

Мы менялись у руля.

Девятнадцать миль во второй день.

Мы ехали, просто ориентируясь по небу, причем, конечно, зигзагами, там, где нас пропускала чаща, в которой, правда, есть просветы, чего издали не видно; много прогалин, даже стада, но без пастухов, к счастью, больших болот там не встретишь.

Зарницы.

Дождя нет и в помине.

Дребезжание нашей канистры действовало на нервы, я часто останавливался и закреплял ее, но после получасовой езды по корням и сгнившим деревьям она опять дребезжала.

Марсель насвистывал.

Хотя он сидел сзади и его здорово швыряло, он свистел, как мальчишка, радовался, как школьник, и часами пел свои французские детские песенки: «Il était un petit navire»[1].

Герберт, скорее, был молчалив.

Об Иоахиме мы почти не говорили...

Герберт совершенно не выносил ауров, но ведь, пока мы живы, они не причиняют нам вреда, только воняют, чего же еще ждать от стервятников, пожирающих падаль, они уродливы, они всегда летают стаями, а если заняты делом, сигналь не сигналь, все напрасно, они только вспархивают и подпрыгивают вокруг растерзанной падали, не желая ее бросать... Однажды, когда Герберт сидел за рулем, им овладела настоящая ярость, он вдруг дает полный газ. Вперед! Раз! И врезается в черную свору, в самую гущу, прошел насквозь, да так, что черные перья только завихрились!

Потом все это налипло нам на колеса.

Приторная вонь сопровождала нас еще несколько часов, наконец мы справились с отвращением. Эта дрянь прилипла к узорчатым желобкам наших покрышек, и ничего не помогало, скрепя сердце пришлось отдирать ее голыми руками. Со всех покрышек — одна, другая!.. К счастью, у нас был ром! Без рома мы, пожалуй, повернули бы обрат-

[1] Жил да был кораблик *(франц.)*.

но не позже чем на третий день,— не из страха, а просто из благоразумия.

Мы понятия не имели, где находимся.

Где-то на восемнадцатом градусе широты...

Марсель распевал «Il était un petit navire» или же болтал всю ночь напролет: о Кортесе и Монтесуме (это еще полбеды, исторические факты), о гибели белой расы (было просто слишком жарко и сыро, чтобы возражать ему), о катастрофической победе западной техники (Кортес — в роли техника, ведь у него был порох), об индейской душе и еще бог весть о чем, целые лекции о неизбежном возврате старых богов (после того, как будет сброшена водородная бомба!), о вымирании смерти (дословно!) благодаря пенициллину, об уходе души из цивилизованных стран нашей планеты, о душе в maquis [1], и тому подобное. Герберт проснулся при слове maquis, которое он понимал, и спросил:

— Что он говорит?

Я сказал:

— Трепотня художника!

Но мы не стали оспаривать его теорию относительно Америки, не имеющей будущего: The American Way of Life [2], их попытка косметизировать жизнь, но жизнь не дает себя косметизировать!..

Я старался заснуть.

Меня прорвало лишь тогда, когда Марсель высказался по поводу моей деятельности, вернее деятельности ЮНЕСКО: техник — это последнее издание белых миссионеров, индустриализация — последнее евангелие вымирающей расы, уровень жизни — заменитель смысла жизни.

Я спросил его, не коммунист ли он.

Марсель отрицал это.

На третий день, когда мы опять продирались сквозь кустарники, по бездорожью, просто в направлении Гватемалы, я почувствовал, что сыт по горло.

Я был за то, чтобы вернуться.

— Потому что идиотизм,— сказал я,— ехать дальше просто наугад, пока у нас не кончится бензин!

Герберт достал свою карту.

Особенно мне действовали на нервы черные ящерицы, в каждой колдобине, каждом болотце, в каждой однодневной лужице ящерицы так и кишат, вообще этот инстинкт размножения, всюду воняет плодовитостью, тлением.

Куда ни плюнь — зародыши, ростки!

Я уже знал ее, эту карту, 1 : 500 000, даже под лупой не видно ничего, только белая бумага — синяя речушка, граница, прямая, как шнурок, пунктирная линия параллелей и пустая белизна. Я был за то, чтобы вернуться!.. Я не боялся (чего же!), но ехать было бессмысленно, только в угоду Герберту мы поехали дальше, к сожалению! Ведь вскоре мы действительно увидели речку, точнее, русло речки, которая не могла быть ничем иным, как Рио-Усуманситой,— границей между Мексикой и Гватемалой. Местами пересохшая, местами полная воды, она, казалось, едва текла, но переправиться через нее было нельзя, однако должны же существовать места, где можно перейти и вброд, и Герберт не давал нам покоя: я хотел искупаться, но он гнал машину вдоль берега, пока мы не нашли место, где можно было перебраться через речку и где, как выяснилось позже, перебрался Иоахим.

---

[1] Буквально: лес, заросли *(франц.)*. Этим же словом обозначалось французское Сопротивление.

[2] Американский образ жизни *(англ.)*.

Я купался.

Марсель тоже купался, и мы лежали в воде, закрыв рот, чтобы не наглотаться воды. Она была мутная и теплая, она воняла, каждое движение оставляло пузырьки, но все-таки — вода. Надоедали только бесчисленные стрекозы, и Герберт, который все торопил ехать дальше, и еще мысль о том, что здесь, наверно, водятся змеи.

Герберт остался на берегу.

Наш «лэндровер» до коленчатого вала увяз в мергеле (если только это был мергель). Герберт заправлялся.

Тучи мотыльков.

Когда я увидел в воде заржавленную канистру, это навело меня на мысль, что Иоахим тоже (кто же еще?) заправлялся на этом месте, но я не сказал ни слова, а продолжал купаться, пока Герберт пытался вывести наш «лэндровер» из жидкого мергеля...

Я был за то, чтобы вернуться.

Я не выходил из реки, хотя мне вдруг стало противно: насекомые, паразиты, пузырьки на коричневой воде, ленивое мерцанье солнца, когда лежишь навзничь в воде и смотришь вверх, небо — сплошная зелень, неподвижные опахала листьев с метр длиною, между ними акации филигранной работы, лишайники, цепкие воздушные корни, тоже неподвижные, иногда красная птица пролетит туда и обратно через реку, а вообще мертвая тишина (особенно когда Герберт не пытался дать полный газ), на белесом небе солнце, точно в вате, липкое и горячее, затянутое испарениями, в радужном кольце.

Я был за то, чтобы вернуться.

— Потому что — нелепица,— сказал я,— потому что мы никогда не найдем эту проклятую плантацию!..

Я был за то, чтобы голосовать.

Марсель тоже считал, что надо вернуться, ведь его отпуск подходил к концу, все сводилось только к тому, чтобы убедить Герберта — который тем временем добился своего: наш «лэндровер» на самом деле стоял на другом берегу,— убедить его, что нелепо ехать дальше, раз нет и намека на дорогу. Сначала он меня обругал, так как не мог опровергнуть мои доводы, потом смолк и стал слушать, и я, вероятно, настоял бы на своем, если бы не Марсель, который выпалил:

— Voilà les traces d'une Nasch!.. [1]

Мы приняли это за шутку.

— Mais regardez! — звал он.— Sans blague... [2]

Заскорузлые колеи частью были размыты, их вполне могла бы оставить и телега, но поглубже, в воде, можно было распознать отпечатки покрышек.

Мы напали на след.

В противном случае я бы не поехал, как уже было сказано, и все (я не могу отделаться от этой мысли) сложилось бы по-другому.

Теперь возврата нет.

(К сожалению!)

На утро четвертого дня мы увидели двух индейцев, они шли через поле, держа в руках кривые сабли, точно такие, как те двое, которых Герберт уже видел в Паленке и принял их за разбойников. А кривые сабли были просто серпами.

Затем первые поля с посевами табака.

Надежда до наступления ночи добраться на плантацию привела нас в еще более нервное состояние, вдобавок жара, какой еще не было. Повсюду, кругом табачные поля, между ними канавы, ровные, как шнур, явное дело рук человеческих, но нигде ни единого человека.

[1] Вот следы «нэша» (*франц.*).

[2] Да вы посмотрите! Без шуток (*франц.*).

Мы опять потеряли след...

Опять поиски: мы искали отпечатки покрышек.

Вскоре солнце зашло. Мы влезли в наш «лэндровер» и, сунув пальцы в рот, засвистели, что было сил. Должно быть, мы находились совсем рядом с плантацией, мы свистели и сигналили, а солнце уже садилось в зеленый табак, отечное, в дымке испарений, омерзительное, как пузырь, полный крови, как почка или что-то в этом роде.

Такой же была и луна.

Не хватало еще, чтобы мы потеряли друг друга, когда стемнеет,— ведь каждый из нас в поисках покрышечных следов куда-то двинулся. Мы распределили участки, каждый должен был обойти свой. Кто найдет хоть что-нибудь, отдаленно напоминающее след покрышки, даст знать свистом.

Свистели только птицы.

Мы искали и при лунном свете, пока Герберт не наткнулся на ауров, ауров, сидевших на подохшем осле. Герберт орал и проклинал их и швырял камнями в черных птиц с безудержной яростью. Отвратительно. Глаза осла были выклеваны — две красные дырки, язык тоже. Теперь, пока Герберт все еще швырял камнями, они старались вытащить кишки через задний проход.

Это была наша четвертая ночь.

Пить было уже нечего.

Я устал до смерти, земля как раскаленная, я присел на корточки, уткнув голову в руки, потея в голубоватом лунном свете. Вокруг кишели светляки.

Герберт ходил взад и вперед.

Спал только Марсель.

Я вдруг перестал слышать шаги и посмотрел в сторону Герберта: он стоял возле мертвого осла, он уже не бросал камни, а смотрел на снующих птиц. Стоял и смотрел.

Они жрали всю ночь...

Когда луна наконец опустилась в табак, а испарения над полями перестали напоминать молоко, я все же заснул, но ненадолго.

И опять солнце.

Осел лежал обглоданный, ауры насытились и торчали на деревьях вокруг, как чучела, а мы снова поехали вперед, без дороги. Герберт, как представитель и племянник «Хенке-Бош и К°», которой принадлежали эти поля, взял ответственность на себя и сел за руль; все так же молча, он повел машину напрямик, через табак, это было идиотство — полосы раздавленного табака за нами, но нам не оставалось ничего другого, ведь на наши гудки и свист, которые мы то и дело повторяли, никто не отзывался.

Солнце вставало.

Потом группа индейцев — служащие «Хенке-Бош и К°, Дюссельдорф» сказали нам, что их сеньор умер. Мне пришлось перевести, Герберт не понимал по-испански. То есть как умер? Они пожали плечами. Их сеньор умер, сказали они, и один стал показывать нам дорогу, он бежал индейским шагом рядом с нашим «лэндровером».

Остальные продолжали работать.

Значит, о бунте нет и речи!

Это был американский барак, крытый рифленым железом. Единственная дверь оказалась запертой изнутри. Оттуда доносилось радио. Мы стучали и кричали, чтобы Иоахим открыл нам.

— Nuestro señor ha muerto... [1]

---

[1] Наш сеньор умер *(исп.)*.

Я взял гаечный ключ из нашего «лэндровера» и взломал дверь. Я не узнал его. К счастью, он сделал это, заперев окна,— ауры на деревьях вокруг, ауры на крыше, но они не могли проникнуть внутрь. Его было видно в окно. Хотя индейцы ежедневно выходили на работу, им не пришло в голову взломать дверь и снять повешенного... Он повесился на проволоке. Меня удивило, откуда его радио, которое мы сразу выключили, берет энергию, но не это теперь было главным.

Мы сфотографировали и похоронили его.

Индейцы (о чем я и упомянул в своем докладе правлению) выполняли все приказания Герберта, хотя он тогда еще не знал испанского, они сразу признали Герберта своим господином. Я пожертвовал еще полтора дня, стараясь убедить Герберта, что никакого бунта и в помине не было, его брат просто не вынес здешнего климата, что мне вполне понятно. Не знаю, что именно Герберт вбил себе в голову, но его невозможно было переубедить, он твердо решил, что он-то выдержит этот климат. Нам надо было возвращаться. Конечно, жаль было Герберта, но о том, чтобы остаться, нечего было и думать, да это и не имело смысла. Марселю тоже пора было в Бостон, на работу, и мне настало время двигаться, точнее, вернуться в Паленке — Кампече — Мехико, чтобы лететь дальше, не говоря уж о том, что мы обязались не позже чем через неделю вернуть «лэндровер» любезному хозяину гостиницы «Лакруа». Меня ждали мои турбины. Не знаю, что вообразил Герберт, ведь он не знал ни одного испанского слова, как уже сказано, и я считал, что не потоварищески и даже безответственно бросать его здесь — единственного белого. Мы умоляем его, но напрасно. У Герберта был «нэш-55», который я тщательно осмотрел. Машина стояла у индейской хижины, защищенная от дождя только навесом из листьев. Она, как видно, уже давно не была в употреблении, исцарапанная, загаженная, но исправная. Я сам осмотрел ее. Тогда мотор еще был в порядке, хоть и загрязненный. Я проверил мотор, и горючее тоже еще было. Иначе мы, разумеется, не оставили бы Герберта одного. У нас просто не было времени — ни у Марселя, ни у меня. Марселя ждали его оркестранты — у нас, в конце концов, тоже были свои обязанности, понимал это Герберт или не понимал, он пожал плечами, не возражая, и едва помахал нам, когда, уже сидя в «лэндровере», мы с Марселем еще раз попытались уговорить его и ждали. Он покачал головой. Кроме того, очевидно, собиралась сильная гроза, нам пора было ехать, пока еще сохранились наши собственные следы.

Еще и сегодня для меня остается загадкой, почему Иоахим и Ганна поженились и почему они не дали знать мне, отцу ребенка, что он появился на свет.

Я могу рассказывать только то, что знаю.

Это было, когда аннулировали еврейские паспорта. Я дал себе слово ни в коем случае не бросать Ганну на произвол судьбы и остался верен ему. Иоахим согласился быть свидетелем и, так сказать, шафером. Моим обеспокоенным буржуазным родителям было на руку, что мы не затеяли свадьбы с экипажем и прочей помпой. Только Ганна все еще сомневалась, правильно ли будет, если мы поженимся, правильно ли для меня. Я отнес бумаги в надлежащее ведомство, извещение о нашем браке было напечатано в газете. Даже в случае развода, говорил я себе, Ганна все же останется швейцарской подданной, и у нее будет паспорт. Откладывать дальше я не мог, мне пора было приступать к своим обязанностям в Багдаде. Это было утром в субботу, когда после нелепого завтрака у моих родителей, которым все же недоставало церковного перезвона, мы наконец отправились в бюро записей гражданского состояния, чтобы зарегистрироваться. Там кишмя кишело вступающими в брак, как всегда

по субботам,— отсюда это бесконечное ожидание; мы сидели в приемной, все в обычных костюмах, в окружении белых невест и женихов, выглядевших как официанты. Ганна вышла, но я не подумал ничего дурного, мы беседовали, курили, и когда, наконец, чиновник вызвал нас, Ганны не оказалось на месте. Мы пошли ее искать и нашли на лестнице, ее нельзя было уговорить, она не хотела идти в комнату записей. Она не может! Я убеждал ее — часы пробили одиннадцать,— я просил Ганну отнестись к браку по-деловому. Она мотала головой и плакала. Ведь я женюсь, только чтобы доказать, что я не антисемит, твердила она, и ничего нельзя было с ней поделать. Следующая неделя, моя последняя в Цюрихе, прошла отвратительно. Ганна не захотела выйти за меня замуж, а у меня не было выбора, я должен был согласно договору ехать в Багдад, Ганна все же проводила меня на вокзал, и мы простились. Она обещала, что тут же, сразу после моего отъезда пойдет к Иоахиму, предложившему врачебную помощь, и на этом мы расстались. Было решено, что наш ребенок не должен появиться на свет.

Больше я никогда о ней не слышал.

Это было в 1936 году.

Я спросил тогда Ганну, понравился ли ей мой друг Иоахим. Она находила его довольно симпатичным. Мне никогда и в голову не пришло бы, что Ганна и Иоахим поженятся.

Мое пребывание в Венесуэле (два месяца назад) продолжалось всего два дня; оказалось, что турбины еще лежат в порту, все еще запакованные в ящики, и о монтаже не может быть и речи.

20.IV. Вылет из Каракаса.

21.IV. Прибытие в Нью-Йорк, аэродром Айдлуайлд.

Айви взяла меня в оборот. Узнав, когда я приеду, она приперла меня к стенке — невозможно было отвертеться. Разве она не получила моего письма? Она поцеловала меня, не отвечая, она уже знала и о том, что я через неделю должен вылететь по делам в Париж. От нее пахло виски.

Я не говорил ни слова.

Мы сидели в нашем «студебеккере», и Айви повела машину к моему дому. Ни слова о моем письме из пустыни! Айви купила цветы, хотя я к цветам равнодушен, да еще омара, да еще сотерн, чтобы отпраздновать мое возвращение из пустыни, вдобавок снова ее поцелуи, пока я проглядывал свою корреспонденцию.

Ненавижу объяснения.

Я не рассчитывал еще раз увидеть Айви, и уж во всяком случае не в этой квартире, которую она называет «нашей квартиркой».

Допускаю, что я принимал душ бесконечно долго...

Скандал начался, когда Айви пришла с мохнатой простыней, я вытолкал ее, к сожалению, применив силу,— ведь она любит насилие, тогда она имеет право кусать меня...

К счастью, зазвонил телефон!

Когда я условился о встрече с Диком, который поздравил меня с возвращением, условился сыграть с ним партию в шахматы, Айви заявила, что я грубый варвар, изверг, эгоист и чудовище, что я лишен всяких чувств.

Я конечно рассмеялся.

Она принялась колотить меня кулаками, всхлипывая, но я поостерегся применить силу — ведь этого ей и надо.

Может быть, Айви и любит меня.

(Уверен в женщинах я не был никогда.)

Когда через четверть часа я позвонил Дику и сообщил, что, к сожалению, прийти не смогу, Дик уже расставил фигуры на доске, я изви-

нился, мне было неловко, я ведь не мог сказать, отчего и почему, я сказал только, что с гораздо большим удовольствием сыграл бы с ним партию.

Айви снова зарыдала.

Это было в 18.00, и я отлично знал, как пройдет наш длинный вечер, если мы никуда не отправимся. Я предложил французский ресторан, потом китайский, потом шведский. Тщетно! Айви упрямо и невозмутимо утверждала, что не голодна. Я же утверждал: «А я да!» Айви сослалась на омара в холодильнике и на свое спортивное платье, которое не подходит для шикарного ресторана. Кстати, как мне нравится ее платье? Я уже держал в руках нашего омара, чтобы выбросить его в мусоропровод. Не допущу, чтобы мной командовал омар.

Айви тотчас обещала быть благоразумной.

Я положил омара обратно в холодильник, Айви согласилась на китайский ресторан, но и я вынужден был признать, что она слишком заревана, необходим make-up [1].

Я ждал...

Моя квартира на Западной стороне Центрального парка давно уже стала для меня слишком дорогой: две комнаты с садом на крыше, местоположение в своем роде исключительное, но уж очень дорого, если ты не влюблен...

Айви спросила, когда я вылетаю в Париж.

Я промолчал.

Я стоял в садике и приводил в порядок последнюю заснятую пленку — я надписывал ролики, как обычно... Смерть Иоахима, говорить об этом у меня не было ни малейшего желания: ведь Айви его и не знала, а Иоахим был моим единственным настоящим другом.

Почему я так молчалив?

Вот Дик, например, славный малый, тоже шахматист, по-моему, очень образованный, во всяком случае более образованный, чем я, занятный человек, которым я восхищаюсь (только в шахматы я не уступаю ему) и даже завидую, но он из тех, с кем отношения не станут интимнее, даже если он спасет тебе жизнь.

Айви все еще причесывалась.

Я рассказывал о нашей вынужденной посадке...

Айви красила ресницы.

Уже одно то, что мы еще раз вместе пойдем в ресторан после того, как в письмах расстались, приводило меня в бешенство. Но, казалось, Айви и понятия не имеет о том, что мы расстались!

Внезапно я почувствовал, что с меня хватит!

Айви красила ногти и мурлыкала.

Вдруг я услышал собственный голос у телефона: справляюсь, можно ли получить место на пароход в Европу, маршрут безразличен, чем скорее, тем лучше!

— Как так пароход? — спросила Айви.

Очень сложно в это время года получить билет на пароход, отправляющийся в Европу, я и сам не знаю, отчего мне взбрело в голову не лететь (может быть, оттого, что Айви мурлыкала и делала вид, будто ничего не произошло). Я сам был поражен. Мне повезло: одно место в каюте туристского класса как раз освободилось. Айви слышала, как я заказываю билет, и вскочила, чтобы прервать мой разговор, но я предусмотрительно положил трубку.

— It's okay [2],— сказал я.

Айви онемела, чем я насладился сполна. Я закурил сигарету. Айви слышала и время отправления парохода.

---

[1] Косметика *(англ.)*.

[2] Все в порядке *(англ.)*.

«Eleven o'clock tomorrow morning». [1]

Я повторил, когда мне сказали.

— You're ready? [2] — спросил я и, как обычно, подал ей пальто. Айви уставилась на меня, потом внезапно швырнула пальто куда-то в угол комнаты и затопала ногами вне себя от злости... Она с трудом устроила все так, чтобы провести неделю на Манхэттене, со мной — сейчас она созналась в этом,— и мое внезапное решение не лететь, как обычно, а уже завтра утром отплыть на пароходе и через неделю быть в Париже, расстроило все ее планы.

Я поднял ее пальто.

Я же написал ей черным по белому, что все кончено, она просто не поверила. Она считала, что я у нее под каблуком и, если мы проведем неделю вместе, все опять будет по-старому, так она полагала, вот почему я рассмеялся.

Может быть, я был низок.

Она тоже.

Она заподозрила, что я боюсь лететь, это было трогательно и, несмотря на то, что я, конечно, никогда в жизни не боялся летать, я сделал вид, что боюсь. Хотел облегчить ей все это. Я не хотел быть низким. Я врал и говорил то, что делало мое решение понятным Айви. Я обрисовал ей (сегодня уже дважды) вынужденную посадку в Тамаулипасе и как чуть было не...

— Oh, honey,— сказала она,— stop it! [3]

Достаточно дефекта в моторе, что, конечно, не обязательно, достаточно одной-единственной пустяковой аварии, сказал я, и какое будет иметь значение для меня, что из 1000 полетов, которые я совершил, 999 прошли благополучно, какое мне дело до того, что в тот самый день, когда я рухну в море, 999 других самолетов приземлятся вполне благополучно?

Она задумалась.

— А разве пароход не может пойти ко дну?

Я считал и подсчитывал вероятности аварий, пока Айви не поверила мне, она даже снова села и созналась, что сама никогда не справилась бы с подобными вычислениями, она поняла, почему я решил не лететь.

Она попросила у меня прощения.

Думаю, что за свою жизнь я налетал не меньше 100.000 миль, без каких-либо аварий. О том, чтобы бояться полета, не могло быть и речи. Я только делал вид, пока Айви не попросила меня никогда больше не летать.

Я должен был поклясться...

Больше никогда!

Айви была потешна. Ей захотелось читать по моей руке, она вдруг поверила, что я боюсь лететь, и встревожилась за мою жизнь! Мне стало жаль ее: по-моему, она была вполне искренна, говоря о короткой линии жизни на моей ладони (кстати, мне уже стукнуло 50), и даже всплакнула, но пока она расшифровывала мою левую руку, я провел правой по ее волосам, что было ошибкой.

Я почувствовал ее горячий затылок.

Айви двадцать шесть лет.

В конце концов я обещал ей пойти к врачу, я чувствовал ее слезы на своей левой руке, я понимал, что выгляжу нелепо, видел себя со стороны, но ничего нельзя было изменить: Айви, при ее темпераменте, верила в то, что говорила, и, хотя лично я, разумеется, не верю в предсказания, я должен был ее утешать, как если бы уже рухнул с самолета,

---

[1] Завтра в одиннадцать утра *(англ.)*.

[2] Ты готова *(англ.)*.

[3] Ах, милый, перестань *(англ.)*.

разбился вдребезги, обуглился до неузнаваемости; конечно, я смеялся, но должен был гладить ее и утешать, как утешают молодую вдову, и я целовал ее.

Случилось именно то, чего я не хотел.

Часом позже мы сидели рядышком — Айви в халатике, который я подарил ей на рождество,— ели омара и пили сотерн. Я ненавидел ее.

И себя тоже.

Айви мурлыкала, точно в насмешку.

Я написал ей, что все кончено, и мое письмо (я видел) лежало у нее в сумке.

Теперь она мстила.

Я был голоден, но от омара меня мутило, он был мне противен, Айви находила его божественным, а мне была противна ее нежность, ее рука на моем колене, ее рука на моей руке, ее локоть на моем плече, ее плечо возле моей груди, ее поцелуй, когда я наливал вино,— это было невыносимо, и я прямо сказал, что ненавижу ее.

Айви не поверила.

Я стоял у окна и ненавидел все то время, которое провел на этом Манхэттене, прежде всего — свою квартиру. Я бы поджег ее! Когда я отошел от окна, Айви все еще не была одета. Вместо этого она подала два грейпфрута и спросила, не хочу ли я кофе.

Я попросил ее одеться.

Когда она проходила мимо меня, чтобы вскипятить воду для кофе, она дала мне щелчок по носу. Как шуту. Не хочу ли я в кино, спросила она из кухни, словно была готова отправиться сию минуту, в халатике и чулках.

Теперь она играла в кошки-мышки.

Я сдержался и не сказал ни слова, собрал ее туфли, белье, все ее тряпки (я и без того не выношу вида подобных розовых предметов) и бросил все это в соседнюю комнату, чтобы Айви могла еще раз совершить свой бесконечный туалет.

Да, я хотел пойти в кино!

Кофе я выпил с удовольствием.

Мое решение отказаться от этой квартиры было непоколебимо, так я и заявил.

Айви не возражала.

У меня возникла потребность побриться — не потому, что это было нужно, а просто так. Чтобы не ждать Айви. Но моя бритва испортилась, я переходил от розетки к розетке — она не жужжала.

Айви считала, что я и без того «что надо»!

Но не в этом дело!

Айви — в шляпе и пальто...

Разумеется, я был «что надо», не говоря о том, что у меня в ванной комнате имелась еще другая бритва, старая, однако действующая, но, как уже сказано, не в этом было дело, и я сел разбирать новую бритву. Каждый аппарат может когда-нибудь отказать. Это действует мне на нервы, пока не узнаю, в чем дело.

— Вальтер,— сказала она,— I'm waiting [1].

Точно наш брат никогда не ждал!

— Technology! [2] — сказала она, и не просто без понимания, как обычно женщины — к этому я привык, а еще и язвительно, что мне отнюдь не помешало разобрать аппарат на составные части. Я хотел знать, в чем дело.

---

[1] Я жду *(англ.)*.

[2] Техника *(англ.)*.

■

Опять-таки чистая случайность решила мое будущее — всего-навсего нейлоновая нитка в маленькой бритве; так или иначе, чистая случайность, что мы еще не ушли, когда раздался телефонный звонок из морской пограничной службы, очевидно, повторный — первый я слышал час назад, но не мог взять трубку,— во всяком случае решающий звонок! Мое место на пароходе не может быть оформлено, если я немедленно, до 22 часов, не приеду с паспортом. Я хочу сказать одно: не займись я разборкой бритвы, этот звонок не застал бы меня, мое путешествие на пароходе не состоялось бы, а если и состоялось — во всяком случае не на этом пароходе, на котором была Забет, и мы никогда не встретились бы, моя дочь и я.

■

Часом позже я сидел в баре, внизу, на берегу Гудзона, с пароходным билетом в кармане — довольный, после того, как видел свой пароход, его освещенные окна, мачты, и краны, и красные дымовые трубы под прожекторами,— и радовался жизни, как юноша, я уже давно так не радовался. Мое первое путешествие на пароходе! Я выпил пива и съел бутерброд с горячей котлетой, мужчина среди мужчин, с котлетой, обильно смазанной горчицей, так как почувствовал, что голоден, едва остался один, я сдвинул шляпу на затылок, я слизывал пену с губ, поглядывал на бокс по телевидению, вокруг стояли докеры, большинство из них негры. Я закурил сигарету и спросил себя, чего, собственно, мог бы хотеть от жизни даже юноша.

Айви ждала дома.

К сожалению, мне надо было вернуться туда, уложить вещи, но это было не к спеху. Я съел второй бутерброд по-гамбургски.

Я думал об Иоахиме.

У меня было чувство, как будто я начинаю новую жизнь,— возможно, только оттого, что я еще никогда не совершал путешествия по морю; во всяком случае, я радовался этому путешествию.

Я просидел там до полуночи.

Я надеялся, что Айви уже не ждет, что она потеряла терпение и ушла из моей квартиры, злясь на меня (я это знал) за то, что я вел себя как хам, но иначе от Айви нельзя было избавиться; я расплатился и пошел пешком, чтобы еще на полчаса увеличить свои шансы и не встретиться с Айви; я знал, что она настойчива. Кроме этого я мало что знал о ней. Она католичка, манекенщица, терпит любые анекдоты — обо всем на свете, только не о римском папе, быть может, она лесбиянка, быть может, холодна, у нее потребность соблазнять меня, потому что она считает меня эгоистом, она не глупа, но немножко извращена, так мне кажется; забавная, и при всем том — свой парень в доску, пока дело не коснется вопросов пола.

Когда я вошел в свою квартиру, она сидела в пальто и шляпке, улыбаясь, без упреков, хотя я заставил ее просидеть больше двух часов.

— Everything okay? [1] — спросила она.

В бутылке еще оставалось вино.

— Everything okay,— сказал я.

Пепельница была полна, ее лицо заревано, я налил в наши стаканы поровну и попросил прощения за то, что так себя вел. Забудем и поставим точку! Я невыносим, когда переутомлен, а переутомлен я всегда.

Сотерн был тепловатый...

Когда мы чокнулись налитыми до половины стаканами, Айви пожелала мне (она стояла) счастливого пути, счастливой жизни вообще.

[1] Все в порядке *(англ.)*.

Мы выпили стоя, как на дипломатическом приеме. В общем и целом, сказал я, мы красиво проводили вместе время. Айви тоже так считала. Наши уик-энды на лоне природы, на Файр-Айленде, и наши вечера здесь, в садике на крыше...

— Поставим точку! — сказала и Айви.

Она выглядела восхитительно, вдобавок, олицетворенное благоразумие, у нее фигура мальчишки, только очень женственная грудь, а бедра узкие, как и положено манекенщице.

Так мы стояли и прощались.

Я целовал ее...

Она, правда, не ответила ни на один поцелуй.

Я обнимал ее, ничего не желая, кроме последнего поцелуя, но все же ощущал ее тело, она отвернула голову. Я целовал ее наперекор ей, назло, а Айви курила, очевидно не намереваясь расставаться со своей сигаретой; я целовал ее ухо, ее длинную прямую шею, ее виски, ее горькие волосы.

Она стояла, как настоящая кукла-манекен.

Она не только курила свою сигарету, словно это была последняя сигарета в ее жизни, до конца, до самого фильтра,— в другой руке она, кроме того, держала пустой стакан.

Не знаю, как это случилось опять...

Мне кажется, Айви старалась, чтобы я себя возненавидел, и соблазняла меня только для того, чтобы я себя возненавидел, унижать меня доставляло ей ту единственную радость, которую я мог ей дать.

Иногда я боялся ее.

Мы опять сидели, как несколько часов назад.

Айви хотелось спать.

Я еще раз позвонил Дику — ничем другим я не мог себе помочь: было уже далеко за полночь. Теперь у Дика оказались гости, я попросил его всей оравой приехать к нам. Их было слышно по телефону, его гостей, гомон пьяных голосов. Я упрашивал его. Но Дик был безжалостен. Только когда Айви повисла на телефоне, Дик снизошел до дружеской услуги — не оставлять меня с Айви наедине.

Я ужасно устал.

Айви причесывалась в третий раз.

Наконец, когда я заснул в качалке, они явились — семь или девять мужчин, причем троих пришлось, точно инвалидов, вытаскивать из лифта. Один забастовал, узнав, что тут есть женщина: одной для него было слишком много или слишком мало. Пьяный в дым, ругаясь, он стал спускаться по лестнице, шестнадцать этажей. Дик представил меня:

— This is a friend of mine... [1]

Мне кажется, Дик и сам не знал всех своих собутыльников, кого-то он не досчитывался. Я объяснил, что один повернул обратно. Дик полагал себя ответственным за то, чтобы никто из его приятелей не потерялся, и пересчитывал их по пальцам, но после длительной проверки было установлено, что одного человека все же недостает.

— He's lost,— сказал он,— anyhow...[2]

Конечно, я старался воспринимать все это как милую шутку, включая и разбитую вдребезги индейскую вазу, которая, вдобавок, принадлежала не мне.

Айви нашла, что я лишен юмора.

Даже час спустя я по-прежнему не имел понятия, кто такие эти люди. Один якобы был знаменитым артистом. Для доказательства он грозился сделать стойку на руках, на перилах нашего шестнадцатого

[1] Это мой друг *(англ.)*.

[2] Потерялся, ну да ладно *(англ.)*.

этажа, но нам удалось его удержать, при этом бутылка виски упала на улицу — конечно, он не был артистом, они сказали это, просто чтобы разыграть меня, не знаю только зачем. К счастью, бутылка ни в кого не попала! Я немедленно спустился вниз, готовый увидеть внизу толпу людей, санитаров, кровь, полицию, прибывшую, чтобы арестовать меня. Но ничего подобного не было. Когда я вернулся в свою квартиру, они встретили меня взрывом хохота, никакая бутылка вообще не падала вниз.

Не знаю, что было правдой.

Когда мне понадобилось в уборную, дверь оказалась запертой. Я взял гаечный ключ и взломал дверь. Один из них сидел на полу и курил, он поинтересовался, как меня зовут.

И так всю ночь.

— В вашем обществе можно умереть,— сказал я,— можно умереть, а вы и не заметите... Ни намека на дружбу. Умереть можно в вашем обществе! — кричал я.— И зачем нам вообще разговаривать друг с другом? — кричал я.— К чему?! — Я сам слышал свой крик.— К чему все это общество, если человек может отправиться на тот свет, а вы все и не заметите?!.

Я был пьян.

Так продолжалось до утра, не знаю, когда они ушли и как. Только Дик еще лежал в моей комнате.

В 9.30 мне уже следовало быть на борту.

У меня болела голова, я укладывал вещи и был рад, что Айви мне помогает, я опаздывал, я попросил Айви еще раз сварить ее вкусный кофе, она была трогательна и даже проводила меня на пароход. Конечно, она плакала. Кто был у Айви кроме мужа, я не знал, об отце и матери она не упомянула ни разу, помню только ее забавное изречение: «I'm just a dead-end-kid» [1]. Она была родом из Бронкса, кроме этого я действительно ничего не знал об Айви, сначала я принимал ее за танцовщицу, потом за кокотку, и то и другое оказалось неверным — Айви, должно быть, действительно работала манекенщицей.

Мы стояли на палубе.

Айви в своей шляпке-колибри.

Айви обещала все уладить и с квартирой, и со «студебеккером». Я отдал ей ключи. Я поблагодарил ее, когда раздался гудок и громкоговоритель вновь и вновь стал призывать провожающих покинуть судно. Я поцеловал ее. Айви теперь в самом деле пора было уходить. Наши сирены беспрерывно выли, так что приходилось затыкать уши. Айви последней спустилась по трапу.

Я помахал ей.

Мне стоило труда овладеть собой, хотя я был рад, когда сбросили тяжелые тросы. День стоял безоблачный, я был рад, что все сложилось так удачно.

Айви тоже помахала мне...

«Славный парень!» — подумал я, хотя никогда не понимал Айви. Я стоял на цоколе крана, когда маленькие черные буксиры потащили нас в море. Еще раз завыли сирены. Я снимал (новым телеобъективом) машущую Айви, простым глазом уже нельзя было разобрать лиц. Я снимал отплытие, сначала Манхэттен, потом чаек, которые нас провожали.

Нам надо было не хоронить Иоахима (так я часто думаю), а сжечь его. Но теперь уже ничего не поделаешь. Марсель был совершенно прав: огонь чист, земля — грязь. Достаточно одной-единственной грозы (как

[1] Я просто заблудившийся ребенок *(англ.)*.

мы убедились на обратном пути) — все превращается в гниль, полную зародышей, скользких, как вазелин,— лужи в красных отблесках утра словно лужи грязной крови, месячной крови, лужи, полные ящериц, ничего кроме черных головок с извивающимися вздрагивающими хвостиками, кишащими, как сперматозоиды,— совершенно такие же, ужасно!

(Я хочу, чтобы меня кремировали!)

Когда мы с ним возвращались, днем мы вообще не останавливались, только ночью, потому что было слишком темно ехать без луны. Шел дождь. Он журчал всю ночь, мы с Марселем включили фары, хотя стояли на месте и все вокруг бурлило и плескалось, как во время потопа, земля перед нашими фарами дымилась, дождь был теплый, тяжелый. Без ветра. В конусе света, отбрасываемом фарами, мы видели деревья, неподвижные, сплетения воздушных корней, которые на свету лоснились, точно кишки. Я был рад, что не один, хотя реальных оснований для опасности не было. Вода все текла. Мы не спали ни минуты. Мы сидели, каждый в своем углу, как в парилке, голые — ощущение мокрой одежды на теле было невыносимо. А ведь это была только вода, как я все время повторял себе, никаких поводов для отвращения. К утру дождь перестал, внезапно, точно душ, когда его закроют, но с растений капало, бульканье, капанье не прекращалось. Потом утренняя заря! Ни намека на прохладу! Утро было жаркое, парило, солнце еще более липкое, чем обычно, листья блестели, и мы тоже были мокрые от пота, от дождя и машинного масла, скользкие, как новорожденные. Я вел машину. Не знаю, как мы на своем «лэндровере» перебрались через речку, но мы перебрались, просто непостижимо, как мы проплыли по этой тепленькой водице с тухлыми пузырьками. Брызги грязи летели во все стороны, когда мы проезжали через лужи, лужи, озаренные утренней зарей, и Марсель сказал: «Tu sais que la mort est une femme? — Я посмотрел на него.— Et que la terre est une femme!»[1] — сказал он. И последнее мне было понятно, это выглядело именно так, именно так, и я против воли громко рассмеялся, как смеются над непристойностью.

Девушку с белокурым конским хвостом я увидел впервые вскоре после отплытия — пассажирам предложили собраться в столовой, там распределялись места за столиками. Мне, собственно, было все равно, кто будет сидеть за моим столом, тем не менее я надеялся попасть за мужской стол, на каком языке там будут говорить, мне тоже было все равно. Но о выборе не могло быть и речи. Стюард уже составил план — французский бюрократ, неблагосклонный, когда вы не понимали по-французски, чересчур болтливый, когда это его устраивало, charmant[2] без удержу. Мы ждали, целая вереница пассажиров, передо мной оказалась молодая девушка в черных ковбойских штанах, почти моего роста, англичанка или скандинавка, я не мог видеть ее лица, видел только ее белокурый, точнее, рыжеватый конский хвост, который мотался при каждом движении головы. Конечно, я оглядывался по сторонам, нет ли знакомых: ведь это могло быть. Я действительно надеялся на мужской стол. Девушку я заметил только потому, что ее конский хвост мотался перед моим лицом не менее получаса. Ее лица, как уже сказано, я не видал. Я сделал попытку угадать, какое у нее лицо, чтобы убить время, как убиваешь время, решая кроссворд. Впрочем, молодежи я почти не видел. Девушка была (я отлично помню) в черном

[1] Ты знаешь, что смерть — женщина? И земля тоже женщина *(франц.)*.

[2] Очаровательный *(франц.)*.

закрытом свитере, на шее бусы из обыкновенного дерева, эспадрильи, все довольно дешевое. В общем — экзистенциалистский стиль. Она курила, зажав под мышкой толстую книгу, а из заднего кармана ковбойских штанов торчала зеленая гребенка. Это дурацкое ожидание просто вынудило меня рассматривать ее. Она была, вероятно, очень молода — молод был и пушок на шее, и движения, и маленькие уши, которые покраснели, когда стюард позволил себе пошутить, она только пожала плечами. Первая или вторая очередь — ей было все равно.

Она попала в первую; я — во вторую.

Тем временем уже скрылась последняя полоска американского берега, Лонг-Айленд, вокруг ничего, кроме воды; я отнес свой аппарат вниз, в каюту, где в первый раз увидел своего попутчика, молодого, крепкого, как дерево, мужчину, Лазаря Левина, агронома или фермера из Израиля. Я предложил ему нижнюю койку. Когда я вошел в каюту, он сидел на верхней, согласно ticket — билету, но нам обоим, я думаю, стало удобнее, когда он пересел на нижнюю койку, чтобы разобрать свои пожитки. Лавина, а не человек. Я включил свою бритву, ту самую, которая вчера не работала. Я побрился, потому что утром, в суете, не успел. Господин Левин изучал в Калифорнии сельское хозяйство. Я брился и почти не разговаривал.

Потом опять вышел на палубу...

Смотреть было не на что, кругом вода, я стоял и наслаждался своей недосягаемостью, вместо того чтобы позаботиться о шезлонге.

Я еще не знал всех порядков.

Чайки следовали за пароходом...

Я не мог себе представить, как я проведу пять дней на пароходе, я ходил взад и вперед, руки в карманах, то подталкиваемый ветром, почти паря в воздухе, то против ветра, с таким трудом, что приходилось наклоняться вперед, а брюки хлопали... Удивительно, откуда у других пассажиров шезлонги, и каждый снабжен фамилией. Когда я спросил стюарда, ни одного свободного уже не было.

Забет играла в пинг-понг.

Она играла на славу, тик-так, тик-так, мячик стремительно летал туда и обратно. Одно удовольствие смотреть. Сам я уже много лет не играл.

Она меня не узнала.

Я поклонился ей.

Она играла с молодым человеком. Возможно, друг или жених. Она переоделась и теперь была в зеленой юбке колоколом, это шло ей больше, чем мальчишеские штаны, если считать, что это та же самая молодая особа.

Во всяком случае другой такой видно не было.

Бар, который я неожиданно обнаружил, пустовал, хоть шаром покати. В библиотеке имелись только романы, кое-где столы для игры в карты, что тоже пахло скукой, снаружи было ветрено, но все же менее скучно — хотя бы ощущалось движение.

Собственно говоря, двигалось только солнце...

Иногда на горизонте — грузовое судно.

В четыре часа — чай.

Время от времени я останавливался около игроков в пинг-понг, и каждый раз, когда я видел ее спереди, я спрашивал себя, действительно ли это та самая девушка, чье лицо я старался угадать, ожидая распределения столиков. Я стоял у большого окна на прогулочной палубе, курил и делал вид, что смотрю на море. Когда я смотрел на нее сзади, то, судя по рыжеватому конскому хвосту, это, несомненно, была она, но спереди она оставалась для меня загадкой. Глаза цвета морской воды, сероватые, какие бывают часто у рыжеволосых. Она

сняла шерстяную кофточку, потому что проиграла, и засучила рукава блузки. Один раз она чуть не сбила меня с ног, чтобы поймать мяч. И даже не извинилась. Девушка просто не замечала меня.

Иногда я проходил мимо.

На палубе стало холодно, даже мокро из-за брызг пены, и стюард сложил шезлонги. Волны шумели теперь гораздо громче, и вдобавок — стук пинг-понга с нижней палубы, тик-так, тик-так. Потом заход солнца, меня знобило. Когда я опускался в каюту за пальто, мне пришлось еще раз пройти по прогулочной палубе, я поднял девушке мяч, не навязчиво, как мне кажется, не напрашиваясь на знакомство; она поблагодарила коротко и по-английски (вообще она говорила по-немецки), вскоре ударили в гонг, призывавший первую очередь.

Первый день наконец прошел.

Когда я с пальто и киноаппаратом вернулся, чтобы снять заход солнца, обе ракетки лежали на зеленом столе.

■

Разве что-нибудь изменится от того, что я докажу свое неведение, докажу, что не знал правды, да и не мог знать? Я погубил своего ребенка и не могу ничего ни вернуть, ни исправить!

Зачем же я рассказываю? Я не был влюблен в девушку с рыжеватым конским хвостом, она просто попалась мне на глаза, только и всего. Я и подозревать не мог, что она — моя дочь, ведь я даже не знал, что я отец. При чем же здесь рок? Я не был влюблен, наоборот: она показалась мне более чужой, чем любая другая девушка, как только мы с ней заговорили; одно то, что мы вообще заговорили — моя дочь и я,— уже невероятная случайность. С таким же успехом мы могли просто пройти мимо друг друга. При чем же здесь рок? Могло ведь быть и совсем по-иному.

■

Уже в самый первый вечер, после того, как я снял заход солнца, мы играли в пинг-понг, в первый и последний раз. Говорить было трудно: я совсем забыл, что человек может быть так молод. Я разъяснял ей устройство моего аппарата, но ей это было скучно, как и все, что я говорил. Наша партия пинг-понга проходила лучше, чем я мог ожидать, ведь я не играл десятки лет. Только ее подача была более ловкой, она резала. Раньше я тоже умел резать, но теперь мне не хватало тренировки, поэтому я был слишком медлителен. Она резала, где только могла, но не всегда удачно, я сопротивлялся. В пинг-понге все зависит от уверенности в себе, и только. Я не был таким уж старым, как думала эта девушка, и так уж быстро — гоп-гоп! — как она воображала, дело не пошло. Я не спеша подмечал, как надо брать ее мячи. Наверно, ей было скучно со мной: ее послеобеденный партнер, юнец с усиками, конечно, играл куда авантажнее. Вскоре я стал багровым, мне приходилось часто нагибаться, но и девушке пришлось снять шерстяную кофточку и даже засучить рукава блузки, чтобы отбивать атаки, она то и дело нетерпеливо откидывала назад свой конский хвост. Едва рядом в качестве зрителя возник ее дружок с усиками, ухмыляясь, руки в карманах, я отдал свою ракетку; она поблагодарила, не предложив мне доиграть партию до конца, и я, в свою очередь, поблагодарил ее и взял свою куртку.

Я не стал ей навязываться.

Я беседовал со множеством разных людей, отнюдь не с одной Забет — больше всего с мистером Левином. И даже со старыми девами — стенографистками из Кливленда, которые считали своим долгом повидать Европу, или с американским священником-баптистом из Чикаго, духовным лицом, но веселым парнем.

Я не привык к бездеятельности.

Перед сном, чтобы подышать воздухом, я совершал прогулку по всем палубам. Один. Если я встречал ее в темноте — случайно — рука об руку с ее приятелем по пинг-понгу, она делала вид, что не замечает меня, словно я ни в коем случае не должен был знать, что она влюблена.

А мне-то что!

Я прогуливался, как уже сказано, чтобы подышать воздухом.

Она думала, что я ревную.

Утром, когда я в одиночестве стоял у поручней, она подошла ко мне и спросила, где мой друг. Мне было безразлично, кого, собственно, она считает моим другом — израильского агронома или чикагского баптиста, она решила, что я чувствую себя одиноким, хотела быть внимательной и не сдалась, пока не вовлекла меня в болтовню о мореплавании, о радаре, о том, что земля круглая, об электричестве, энтропии — словом, о вещах, о которых не имела понятия. Глупенькой она отнюдь не была. Немногие из тех, кому я разъяснял теорию так называемых демонов Максвелла, столь быстро схватывали все, как эта молоденькая девушка, которую я называл Забет, потому что, по-моему, Элизабет — имя немыслимое.

Она мне нравилась, но я не флиртовал, нисколько. Я говорил, как учитель, и боялся ее улыбки. Забет понятия не имела о кибернетике, и, как всегда, когда об этом говоришь с профанами, все сводилось к тому, чтобы опровергнуть кучу ребяческих представлений о роботах. Недоброжелательство человека к машине сердит меня, оно так же ограниченно, как и ее избитая аргументация: человек не машина... Я объяснил ей, что представляет собой современная кибернетика, основанная на информации: наши действия являются ответом на так называемые информации, точнее, импульсы, хотя это автоматические ответы, по большей части не подчиненные нашему желанию, рефлексы, с которыми машина справляется не хуже, чем человек, если не лучше... Забет нахмурилась (как обычно, когда шутка ей не нравилась), затем рассмеялась. Я сослался на книгу Норберта Винера: «Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, M. J. T. 1948» [1].

Конечно, я имел в виду не тех роботов, которых изображают в иллюстрированных журналах, а быстродействующую счетную машину, называемую также электронным мозгом, построенную на электронно-лучевых трубках, и машина эта уже превзошла человеческий мозг. За одну минуту она производит 2.000.000 сложений и вычитаний! В таком же темпе справляется с вычислением бесконечно малых величин, логарифмы она выводит скорее, чем мы успеваем прочесть результат, и задача, решение которой раньше потребовало бы целой жизни какого-нибудь математика, решается машиной в течение нескольких часов, и решается надежнее, ибо она, машина, ничего не забывает, она схватывает все прибывающие информации лучше, чем может усвоить и охватить их человеческий мозг. Но главное — машина ничего не чувствует, она не ведает ни страха, ни надежды, которые только мешают, никаких желаний, она работает согласно чистой логике, и поэтому я утверждаю: «Робот познает точнее, чем человек, он знает о будущем больше, чем мы, ибо он вычисляет, а не философствует и не мечтает,— его ведут собственные выводы, он не может ошибиться; робот не нуждается в предчувствиях».

Забет нашла, что я чудной.

Немножко, казалось мне, я ей все-таки нравился, во всяком случае она кивала мне, когда встречала на палубе. Она лежала в своем шезлонге и сразу бралась за книгу, но махала мне рукой:

---

[1] «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине» *(англ.)*.

— Хэлло, мистер Фейбер!

Она называла меня мистером Фейбером, потому что я, привыкнув к английскому произношению моей фамилии, представился ей именно так. Но вообще-то мы говорили по-немецки.

Я часто оставлял ее в покое.

Собственно говоря, мне надо было работать...

Смешное состояние — путешествовать на пароходе. Пять дней без машины! Я привык работать или водить свою машину. Когда ничто не бежит, не двигается, отдых для меня не в отдых, все непривычное действует на нервы, и поэтому я не мог работать. Плывешь и плывешь, двигатели на ходу, стучат день и ночь, их слышишь, их чувствуешь, плывешь без пауз, но движется только солнце, точнее — луна. Хоть наш корабль покачивается и вспенивает волны, вполне могло бы оказаться иллюзией, что ты едешь, горизонт остается горизонтом, и мы остаемся в середине круга, как будто не движемся, только волны скользят мимо, прочь, делая не знаю сколько узлов в час,— во всяком случае, довольно быстро. Но вообще ничто не меняется — только становишься старше.

Забет играла в пинг-понг или читала.

Я бродил почти целыми днями, хотя все равно не встретишь того, кого нет на борту; за десять лет я не прошел столько, сколько на этом пароходе; иногда баптист снисходил до детской игры. И мы сбивали кегли, просто чтобы скоротать время. У меня было пропасть времени, но я даже не успевал просмотреть газеты.

«News of Today...» «President Eisenhower Says...» [1]

Движется только солнце.

Мне-то что! Пусть!

Важно сбить кеглю и быть уверенным, что не может прийти никто, кого нет на борту, например, Айви. Ты просто недосягаем.

Погода стояла хорошая.

Однажды утром, когда я завтракал с баптистом, Забет садится за наш стол, что меня искренне радует. Забет в своих черных ковбойских штанах. А ведь кругом достаточно свободных столов — я имею в виду тот случай, если бы девушка меня не выносила. Они говорят о парижском Лувре, которого я не знаю, а тем временем я чищу яблоко. Она здорово говорит по-английски. Я снова просто ошеломлен — до чего же она молода! Спрашиваешь себя: неужели и ты был когда-то так молод? Она твердо убеждена: человека, который не бывает в Лувре оттого, что Лувр для него ничего не значит, просто не существует. Забет думает, что я потешаюсь над ней.

А тем временем надо мною потешается баптист.

— Мистер Фабер,— говорит он,— инженер!

Если что и волнует меня, то отнюдь не его плоские шутки насчет инженеров, а только его флирт с девушкой, которая не ради него села за наш стол, рука, которую он кладет на ее локоть, потом на ее плечо, потом снова на ее локоть — его мясистая рука. Почему он то и дело прикасается к девушке? Только оттого, что он знаток Лувра?

— Listen,[2] — повторяет он.— Listen...

Забет:

— Yes, I'm listening... [3]

Притом ему нечего сказать, этому баптисту, весь Лувр нужен ему только для того, чтобы касаться девушки, этакая гариковская манера, и вдобавок улыбочки по моему адресу.

— Go on! — говорит он мне.— Go on! [4]

---

[1] Новости дня... Президент Эйзенхауэр сказал *(англ.)*.

[2] Слушайте *(англ.)*.

[3] Да, я слушаю *(англ.)*.

[4] Продолжайте *(англ.)*.

Я придерживаюсь такой точки зрения: профессия техника, который управляет фактами,— во всяком случае, профессия мужская, если вообще не единственная профессия для мужчины. Я констатирую, что мы находимся на пароходе, а пароход тоже творение техники.

— True,— говорит он,— very true! [1]

При этом он держит девушку за руку, все время прикидывается очень внимательным и сосредоточенным, чтобы не отпускать ее руки.

— Go on! — говорит он.— Go on!

Девушка хочет меня поддержать и, так как я не знаю луврских скульптур, переводит разговор на моих роботов, но у меня не было охоты рассказывать про них, и я наконец сказал, что статуи и прочее (для меня) всего-навсего — предки роботов. Первобытное человечество старалось аннулировать смерть, изображая человеческое тело, а мы — создавая замену человеческого тела. Техника вместо мистики!

К счастью, пришел мистер Левин.

Когда выясняется, что мистер Левин тоже никогда не был в Лувре, застольная беседа меняет направление — слава богу! Мистер Левин вчера осматривал машинное отделение нашего парохода, и вот разговор раздваивается: баптист и Забет продолжают толковать о Ван-Гоге, Левин и я говорим о дизель-моторах, причем я, хоть и заинтересован дизель-моторами, не теряю девушку из виду, она внимательно слушает баптиста и в то же время берет его руку и кладет ее на стол рядом с собой, как салфетку.

— Why do you laugh? [2] — спрашивает он меня.

— Я смеюсь просто так.

— Van Gogh is the most intelligent fellow of his time,— говорит он мне.— Have you ever read his letters? [3]

На это Забет:

— Он правда очень много знает.

Как только мы, мистер Левин и я, заговариваем об электричестве, оказывается, что он решительно ничего не знает, наш баптист, наш тетерев на току, он тоже чистит свое яблоко и помалкивает.

В конце концов речь заходит об Израиле.

Позднее, на палубе, Забет (без всякого нажима с моей стороны) выразила желание посмотреть машинное отделение, именно со мной. Я только сказал, что как-нибудь тоже осмотрю его. Я ни в коем случае не хотел быть назойливым. Она удивилась, отчего у меня нет шезлонга, и тут же предложила мне свой — ведь она все равно условилась поиграть в пинг-понг.

Я поблагодарил, и вот ее уже нет.

С этих пор я часто сиживал в ее шезлонге; стюард, едва завидев меня, выносил его, расставлял и здоровался со мной, как с мистером Пайпером, так как на ее шезлонге значилось: «Мисс Э. Пайпер».

Я говорил себе, что, вероятно, каждая молодая девушка чем-то напоминает мне Ганну. Эти дни я опять часто думал о Ганне. Что такое сходство? Ганна была брюнетка, Забет — белокурая, точнее, рыжеватая, и я находил, что мои сравнения действительно притянуты за волосы. Я занимался этим от безделья. Забет молода, как когда-то была молода Ганна, и говорит на том же литературном верхнегерманском языке, но в конце концов, твердил я себе, существуют целые народности, говорящие на верхнегерманском. Часами лежал я в ее шезлонге, упираясь ногами в белые подрагивавшие перила, и смотрел поверх них на море. К сожалению, у меня не было с собой специальной литературы, романы я читать

[1] Верно. Совершенно верно *(англ.)*.

[2] Почему вы смеетесь *(англ.)*.

[3] Ван-Гог — один из самых умных людей своей эпохи. Вы когда-нибудь читали его письма *(англ.)*.

не могу, лучше уж размышлять о том, откуда эта вибрация, отчего ее нельзя избежать, этой вибрации, или высчитывать, сколько лет сейчас Ганне, есть ли у нее уже седые волосы... Я закрывал глаза, чтобы поспать. Если ли бы Ганна была на палубе, я, без сомнений, сразу узнал бы ее. Я подумал: «А может быть, она на палубе!» Я поднялся и стал бродить между шезлонгами, не веря всерьез, что Ганна действительно может быть на палубе. Просто так, времяпрепровождение! Все-таки (должен сознаться) я боялся, что это возможно, и произвел смотр множеству дам, которые теперь далеко не молодые девушки, я разглядывал их преспокойно. Это ведь можно делать, когда носишь темные очки, стоишь и куришь и производишь смотр, а те, кого ты спокойно и деловито рассматриваешь, не могут этого заметить. Я пытался определить их возраст, что было не так просто. Меньше внимания я обращал на цвет волос, больше на ноги, на ступни, если они были открыты, прежде всего на руки и губы. То тут, то там я обнаруживал довольно сочные губы, тогда как шея напоминала морщинистую кожу ящерицы. Я мог предполагать, что Ганна все еще очень красива, я имею в виду — достойна любви. К сожалению, их глаз не было видно, оттого что на всех сплошь темные очки. Всякое отцветшее старье, все, что, вероятно, никогда и не расцветало, тоже лежало здесь — американки, творения косметики. Я был уверен только в одном: так Ганна не будет выглядеть никогда.

Я снова сел.

Свист ветра в трубе...

Пенящиеся волны...

Фрахтер на горизонте...

Мне было скучно, отсюда и эти мудрствования насчет Ганны; я лежал, упершись ногами в белые перила, которые непрерывно вибрировали. Я не видел Ганны, не видел, как уже сказано, даже когда закрывал глаза.

Двадцать лет — срок немалый.

Вместо нее (я открыл глаза, оттого что кто-то задел мой шезлонг) — опять эта юная особа, девица по имени Элизабет Пайпер.

Партию в пинг-понг она закончила.

Самое сильное, просто завораживающее впечатление производило на меня то, как она, желая выразить несогласие, отбрасывает назад свой конский хвост (причем Ганна никогда не носила конский хвост!) или как она пожимает плечами, хотя ей далеко не все равно, а просто так, из гордости. Но прежде всего легкое, стремительное движение бровей, морщинка между ними, когда она находит мою шутку плоской, хоть и смеется ей... Это производило на меня впечатление, но не очень занимало. Это нравилось мне. В конце концов бывают движения, жесты, которые нравятся, потому что ты когда-то видел их. Но я всегда ставлю под вопрос сходство — по опыту. Сколько раз мы ржали, мой брат и я, когда люди, которые не могли этого знать, отмечали наше поразительное сходство. А мой брат был приемышем. Если кто-нибудь (к примеру) правой рукой через голову почесывает левый висок, это поражает меня, я сразу вспоминаю своего отца, но никогда в жизни мне не приходит в голову счесть этого человека братом моего отца только оттого, что он так чешется. Я приверженец здравого смысла. Я не баптист и не спирит. Как мог я предположить, что какая-то девушка, которую зовут Элизабет Пайпер,— дочь Ганны. Если бы тогда, на пароходе (или позже), у меня возникло хоть малейшее подозрение, что между молодой девушкой и Ганной, которая после истории с Иоахимом — что вполне понятно — не выходила у меня из головы, действительно существует связь, я, разумеется, сразу спросил бы: «Кто ваша мать? Как ее зовут? Откуда она?» Не знаю, как бы я себя повел, во всяком случае иначе, само

собой разумеется, во мне ведь нет ничего патологического, я не извращенный человек.

Все казалось таким естественным...

Безобидное дорожное знакомство...

Один раз у Забет был легкий приступ морской болезни; вместо того чтобы выйти на палубу, как рекомендуется, она решила вернуться к себе в каюту, ее вырвало в коридоре; ее дружок с усиками уложил ее в постель, точно был ее мужем. К счастью, я присутствовал при этом. Забет, в черных ковбойских штанах, отвернув лицо, оттого что конский хвост не позволяет лежать иначе, лежит неподвижно — раскинув руки, разбросав ноги, бледная как мел. Он держит ее руку. Я тут же открыл иллюминатор, чтобы дать доступ воздуху, и предложил ей воды...

— Большое спасибо! — сказал молодой человек, пристроившись на краю ее койки, он расшнуровал ей эспадрильи, изображая самаритянина. Как будто тошнота была у нее в ногах!

Я остался в каюте.

Красный пояс был ей тесен, совершенно очевидно, но я счел, что не наше дело расстегивать ей пояс.

Я представился ему.

Едва мы подали друг другу руки, как он снова уселся на край ее койки. Возможно, он на самом деле был ее другом. Когда Забет лежала вот так, это была уже настоящая женщина, а не ребенок; я взял одеяло с верхней койки — ведь ее могло знобить — и накрыл ее.

— Спасибо! — сказал он.

Я просто ждал, пока молодой человек тоже решит, что нам здесь больше нечего делать и надо оставить девушку одну.

— Chiao[1] — сказал он.

Я видел его насквозь, он хотел затеряться где-нибудь на палубе, чтобы затем, без меня, вернуться к ней в каюту. Я предложил ему сыграть в пинг-понг... Он не был таким уж тупицей, как я полагал, хотя отнюдь не был симпатичен. Для чего носят усики? Пинг-понг не состоялся, оба стола были заняты; вместо этого я втянул его в разговор о турбинах, протекавший, разумеется, на верхнегерманском литературном языке, он оказался по профессии графиком, художником, но дельным малым. Как только он заметил, что болтовней о живописи, театре и тому подобном меня не возьмешь, он заговорил толково, без жеманства — швейцарец, как выяснилось...

Не знаю, что Забет в нем нашла.

У меня лично нет оснований для чувства неполноценности, я не гений, однако человек, занимающий видное положение, но я все меньше, все хуже переношу этих юнцов, их тон, их гениальничанье, причем все сводится к сплошным фантазиям и мечтам о будущем, благодаря чему они кажутся себе столь значительными, им в высокой степени наплевать на то, что мы уже сделали в этом мире, и если им перечисляешь свои достижения, они только вежливо ухмыляются.

— Я не хочу задерживать вас! — сказал я.

— Вы меня извините?

— Пожалуйста,— сказал я.

Когда я принес таблетки, которые мне помогли, Забет отказалась меня впустить в каюту. Смешная девочка, она ведь была одета, как я увидел в дверную щель. Я уже раньше обещал ей таблетки, только потому и пришел. Она взяла таблетки через дверную щель. Был ли он у нее в каюте, не знаю. Я уговаривал девушку действительно принять таблетки. Я ведь только хотел помочь ей, потому что держать за ручки и расшнуровывать эспадрильи — это еще не помощь. Меня, право же, не интере-

[1] Привет *(итал.)*.

совало, была ли такая девушка, как Забет (ее непосредственность оставалась для меня загадкой), когда-нибудь близка с мужчиной или не была, я просто спрашивал себя: что мне тогда было известно о ней?

Семестр в Йельском университете, scholarship [1], теперь едет домой, к маме, которая живет в Афинах, а господин Пайпер — все еще в Восточной Германии, ведь он все еще придерживается коммунистических убеждений, ее основная забота сейчас — найти дешевую гостиницу в Париже, а потом она хочет при помощи автостопа, то есть на попутных машинах, добраться до Рима (что я считал безумием), и вообще она еще не знает, кем станет, детским врачом, или искусствоведом, или чем-нибудь еще, пожалуй, стюардессой, чтобы можно было много летать, ей во что бы то ни стало хочется побывать в Индии и Китае. Забет дала мне (в ответ на мой вопрос) сорок лет, а когда я сообщил, что мне под пятьдесят, это ее тоже не удивило. Ей самой было двадцать. Но самое сильное впечатление на нее произвело то, что я был свидетелем первого атлантического перелета Линдберга (1927 год) и мне в то время было двадцать лет. Она несколько раз принималась подсчитывать, прежде чем поверила. По-моему, ее нисколько не удивило бы, расскажи я ей в том же тоне про Наполеона. Чаще всего я стоял у перил — не мог допустить, чтобы Забет (в большинстве случаев в купальном костюме) сидела на полу, в то время как я лежу в шезлонге. Это был бы чересчур дядюшкин стиль, и наоборот, Забет в кресле, тогда как я, скрестив ноги, торчу рядом, на корточках,— было бы столь же комично...

Я отнюдь не хотел навязываться.

Я играл в шахматы с мистером Левином, всецело поглощенным сельским хозяйством, с другими пассажирами, которые максимум после двадцатого хода получали мат; это было скучно, но я предпочитал скучать, чем докучать девушке, и действительно подходил к Забет, только когда мне было что сказать.

Я запретил ей становиться стюардессой.

Забет обычно была погружена в чтение своей объемистой книги, и когда она говорила о Толстом, я серьезно спрашивал себя, что, собственно, такая девушка может знать о мужчинах. Я лично Толстого не читал. Разумеется, она дразнила меня, заявляя:

— Вот вы опять говорите, как Толстой!

А она была поклонницей Толстого.

Однажды в баре я рассказал вдруг — не знаю почему — о моем друге, который не вынес, и как мы нашли его в комнате с запертой, к счастью, дверью, иначе ауры растерзали бы его, точно сдохшего осла.

Забет показалось, что я преувеличивал.

Я пил третью или четвертую рюмку перно, смеялся и описывал, как это выглядит, когда человек висит на проволоке, обе ноги над полом, точно он парит.

Стул перевернулся.

У него была борода.

Зачем я это рассказывал — понятия не имею! Забет нашла, что я — циник, оттого что я не мог не смеяться; но, право же, он окоченел и был как кукла.

И потом я много курил.

Его лицо — черное, налитое кровью.

Он вращался, как пугало на ветру...

Кроме того, от него воняло.

Ноги у него были лиловые, кожа серая, руки бледные, похожие на губку.

Я его не узнал.

---

[1] Стипендия *(англ.)*.

Язык тоже синеватый...

Пожалуй, рассказывать и не о чем — просто несчастный случай, он вращался в струях теплого воздуха, как я уже говорил, одутловатый, отечный...

Мне вовсе и не хотелось рассказывать.

Его руки — они окостенели, как две палки...

К сожалению, моя пленка, отснятая в Гватемале, еще не проявлена, этого нельзя описать, нужно видеть, как это выглядит, когда человек вот так висит.

Забет — в своем синем вечернем платье...

Иногда он внезапно возникал перед моими глазами, мой друг (будто мы его вовсе не похоронили), возникал внезапно — может быть, оттого, что в этом баре тоже звучало радио, а он даже не выключил своего.

Так оно было.

Когда мы его обнаружили, как уже сказано, звучало радио. Негромко. Сначала мы еще думали, что кто-то говорит в соседней комнате, но там не было соседней комнаты, мой друг жил совсем один, и только когда зазвучала музыка, мы заметили, что это радио, разумеется мы его сразу выключили, потому что не подходило — танцевальная музыка...

Забет стала задавать вопросы:

— Зачем он это сделал?

— Он не сказал, он просто висел, как кукла, и вонял, как уже сказано, и кружился в теплом ветре...

Так оно было.

Я встал, опрокинув стул, шум, гам — весь бар смотрит, но девушка подняла стул, как будто так и надо, и хотела проводить меня в каюту, но я не разрешил.

Мне хотелось выйти на палубу.

Мне хотелось быть одному...

Я был пьян.

Если бы я тогда назвал имя и фамилию — Иоахим Хенке,— все выяснилось бы. Видимо, я не упомянул даже имени, а рассказывал просто об одном друге, который повесился в Гватемале,— трагический несчастный случай.

Однажды я решил снять ее.

Когда Забет наконец это заметила, она высунула мне язык, и я снял ее с высунутым языком, пока она, сердито, не шутя, отчитывала меня. Что, собственно, я вбил себе в голову? Она спросила меня напрямик:

— Чего вы от меня хотите?

Это было перед обедом.

Мне следовало спросить Забет, не магометанка ли она, раз ее нельзя снимать, или это просто суеверие. Что она нос задирает, эта девушка? Я готов был вынуть пленку вместе со снимками машущей мне Айви, и подержать ее на солнце, чтобы пленка засветилась. Пожалуйста! Больше всего раздражало то, что все утро меня преследовало воспоминание о ее тоне, и я спрашивал себя, за кого эта девушка меня принимает, говоря:

— Вы следите за мной целый день, мистер Фейбер! Мне это неприятно!

Я был ей несимпатичен.

Несомненно, я и не питал никаких иллюзий — просто позже, после обеда, напомнил ей, что обещал сказать, когда пойду осматривать машинное отделение.

— Сейчас? — спросила она.

Ей надо дочитать главу.

— Пожалуйста! — сказал я.

Я списал ее со счета. Не обижаясь. Я всегда придерживался этого правила, я сам себе не нравлюсь, когда бываю в тягость другим, и в мои привычки никогда не входило бегать за женщинами, которым я не по душе. Говоря откровенно, мне это было не нужно... Машинное отделение такого судна по объему равняется целой фабрике, главное место в нем занимает большая дизельная установка, а кроме того генераторы электрического тока, устройства для подогрева воды и вентиляция. Пусть даже для профессионала здесь нет ничего необычного, я все же нахожу устройство корабельного корпуса достойным внимания, не говоря о том, что всегда приятно видеть машины, когда они работают. Я объяснил Забет устройство главного пульта управления, не вдаваясь в подробности, и вкратце объяснил, что такое киловатт, что такое гидравлика, что такое ампер — вещи, которые Забет, конечно, проходила в школе и успела забыть, но теперь без особого труда опять вспоминала. Но самое сильное впечатление на нее произвели трубы, независимо от их назначения, и большая лестничная клетка, сквозь которую, на высоте пяти-шести этажей, виднелось небо, будто обнесенное решеткой. Забет занимало, что машинисты, которых она находила очень милыми, все время трудятся, всю свою жизнь плавают по океану, не видя океана. Я заметил, как они пялили глаза на девушку (которую, очевидно, принимали за мою дочь), когда она лазила по железным лестницам.

— Ça va, mademoiselle? Ça va? [1]

Забет лазила, как кошка.

— Pas trop vite, ma petite!.. [2]

Я находил их мужские подмигивания наглыми, но Забет просто не замечала этого. Она была в черных ковбойских штанах, простроченных нитками, некогда белыми, с зеленой гребенкой в заднем кармане, ее рыжеватый конский хвост болтался за спиной, лопатки под черным свитером, впадина на прямой гибкой спине, мальчишеские бедра и ляжки в черных штанах, ее щиколотки — я находил все это красивым, но не возбуждающим желания. Только очень красивым! Мы стояли у стеклянного окошечка мотора, устройство которого я ей кратко объяснял, засунув руки в карманы брюк, чтобы не взять ее за руку или за плечо — как баптист недавно за завтраком.

Я не хотел прикасаться к девушке.

Вдруг мне показалось, что я самый настоящий старик...

Я схватил ее за бедра, когда она оступилась у нижней ступеньки, и одним махом поставил на пол. Бедра у нее были удивительно невесомые и вместе с тем сильные — я прикоснулся к ним, как к баранке моего «студебеккера»,— грациозные и точно такие же по диаметру, всего секунда — и Забет уже стояла на железной лестничной площадке, ничуть даже не покраснев, она поблагодарила за ненужную помощь и вытерла руки связкой пестрой ветоши. Для меня тоже ничего возбуждающего в этом не было, и мы пошли дальше, к большим валам гребных винтов, которые я тоже хотел ей показать. Проблемы, связанные с коэффициентом трения, скручиванием, вибрационной усталостью стали и т. п.,— об этом я думал лишь про себя, в тишине, точнее, в грохоте и шуме, при котором нельзя было говорить. Я только объяснил девушке, где мы сейчас находимся. Мы находились там, где валы гребных винтов выходят наружу из корпуса судна и вращают винты. Приходилось орать.

— Приблизительно восемь метров под поверхностью моря! — Хотелось быть точным.— Приблизительно! — орал я.— А может быть, всего

[1] Идет на лад, барышня, идет *(франц.)*.

[2] Не так быстро, крошка *(франц.)*.

шесть метров! — Ссылка на значительное давление воды, которое должна выдержать эта конструкция, оказалась лишней. Ее ребяческая фантазия уже перекинулась на рыб в открытом море, в то время как я разъяснял ей конструкцию...— Вот! — крикнул я, взял ее руку и положил ее на семидесятимиллиметровую заклепку, чтобы она лучше поняла мои объяснения.

— Акулы?..

Больше я не разобрал ни слова.

— Какие акулы? — проорал я в ответ.— Понятия не имею! — Я показывал пальцем на конструкцию, но взгляд у нее уже был отсутствующим.

Мне хотелось чем-то увлечь ее.

Наше путешествие приближалось к концу, мне было жаль — вот уже последний флажок на карте Атлантики, осталось семь сантиметров, один вечер, одна ночь и еще одно утро.

Мистер Левин уже укладывал вещи.

Разговор о чаевых...

Я представлял себе, как мы через двадцать четыре часа будем прощаться. «Прощайте, теперь кто куда, прощайте! Наилучшие пожелания и немножко юмора, мистер Левин, желаю удачи в сельском хозяйстве!» И нашему баптисту: «Много радостей в Лувре!» И девушке с рыжеватым конским хвостом и неясным будущим: «Желаю счастья!» Мне было не по себе, когда я думал о том, что мы больше никогда не услышим друг о друге.

Я сидел в баре...

Дорожные знакомства!

Я становился сентиментальным, хотя мне это не свойственно, был дан большой бал — вероятно, так принято, это был последний вечер на борту и случайно мой пятидесятый день рождения, о чем я, конечно, не говорил.

В этот же день я впервые сделал предложение.

А сидел я с мистером Левином, которого балы и танцы тоже мало интересуют. Я пригласил его (не выдавая причины) выпить бургундского, лучшее вино, которое можно было получить на борту. (Ведь только один раз тебе исполняется пятьдесят лет, думал я.) «Бон» 1933 года — вино, превосходное по букету, но, к сожалению, слабоватое и слегка мутное, что, кстати, было безразлично мистеру Левину, ему нравится даже калифорнийское бургундское. Вино меня разочаровало. (Откровенно говоря, я представлял себе празднование своего пятидесятилетия несколько иначе!) Но вообще я был доволен, Забет появилась только так, на минутку, чтобы выпить глоток своего лимонного сока — Citron-pressé, а потом снова танцоры — ее художник с усиками, вперемежку с морскими офицерами в белой парадной форме, щеголеватыми, как в опере, Забет в своем неизменном синем платье, не безвкусном, но дешевеньком, чересчур детском... Я подумывал, не пойти ли спать, я чувствовал тяжесть в желудке, к тому же мы сидели слишком близко к музыке, адский шум и трескотня, да еще этот пестрый, разношерстный карнавал, куда ни глянь — лампионы в чаду, в дыму сигар и сигарет, расплывчатые, как солнце в Гватемале, всюду бумажные змеи, гирлянды, зеленые и красные джунгли шутовства. Мужчины в смокингах, черные, как ауры, чье оперение лоснится точно так же...

Об этом я не хотел думать.

Послезавтра я в Париже — вот и все примерно, о чем я мог думать на этой ярмарке. Пойду к врачу, обследую свой желудок.

Это был смешной вечер...

Мистер Левин стал прямо-таки забавным — ведь он не привык к вину — и вдруг набрался смелости, стал танцевать с Забет, этот вер-

зила. Она доходила ему до груди, а он, чтобы не запутаться в бумажных змеях, нагибал голову, обращаясь к нему, Забет смотрела куда-то вверх. У мистера Левина не было темного костюма, кроме того, он танцевал все под мазурку — ведь он родился в Польше, вырос в гетто и т. д... Забет приходилось становиться на цыпочки, чтобы ухватиться за его плечо, как школьнице в трамвае, когда она хочет подержаться за поручни. Я сидел и вертел стакан с бургундским, решив не сентиментальничать из-за дня своего рождения, и пил. Немцы — те пили преимущественно шампанское. Я невольно думал о Герберте — точнее, о будущности немецкой сигары и о том, что он поделывает там один, среди индейцев.

Потом я вышел на палубу.

Я был совершенно трезв и, когда Забет меня разыскала, сразу сказал ей, что она простудится в своем легком вечернем платье. Грустно ли мне? — хотелось ей знать. Оттого, что я не танцевал. Я нахожу их забавными, сегодняшние танцы, забавно глядеть на эти экзистенциалистские судороги и прыжки, где каждый пляшет сам по себе, выделывает собственные коленца, путается в собственных ногах, трясясь, как от озноба, все несколько эпилептично, но весело, очень темпераментно, должен признать, только я так не могу.

Отчего бы мне грустить?

Англии еще не видно.

Затем я дал ей свою куртку, чтобы она не простудилась, ее конский хвост ни за что не хотел оставаться сзади — так было ветрено.

Красные трубы в свете прожекторов...

Забет находила, что это ужасно здорово — в такую ночь на палубе, когда все тросы стонут и на спасательных лодках — паруса, а из трубы — дым...

Музыка была едва слышна.

Мы заговорили о созвездиях — обычная тема, покуда не узнаешь, кто из двух собеседников разбирается хуже другого. Все остальное — вопрос настроения, а этого я терпеть не могу. Я показал ей комету, которая в те дни была видна на севере. Еще немного, и я сказал бы ей, что сегодня день моего рождения. Вот, мол, откуда и комета. Но это не годилось даже для шутки: комету видно было уже несколько дней, хотя и не так отчетливо, как этой ночью, но видно минимум с 26.IV. Итак, о дне моего рождения 29.IV я не сказал ничего.

— У меня есть два желания,— сказал я, прощаясь.— Во-первых, чтобы вы не стали стюардессой.

— Во-вторых?

— Во-вторых, чтобы вы не ехали автостопом в Рим! Серьезно! Лучше я оплачу вам поезд или самолет.

Тогда я ни на мгновение не думал, что мы поедем в Рим вместе, Забет и я,— ведь я ничего не забыл в Риме.

Она рассмеялась мне в лицо.

Она поняла меня неправильно.

После полуночи, как обычно, подали холодную закуску. Я утверждал, что голоден, и повел Забет вниз, потому что она дрожала, несмотря на мою куртку. Я это видел. У нее дрожал подбородок.

Внизу все еще продолжался бал...

Ее предположение, что я грустен оттого, что одинок, расстроило меня. Я привык путешествовать один. Как всякий настоящий мужчина, я живу своей работой. Больше того: я не хочу ничего другого и считаю себя счастливым, живя один; с моей точки зрения, это единственно возможное состояние для мужчины, я наслаждаюсь тем, что просыпаюсь в одиночестве, что могу не произносить ни слова. Где та женщина, которая способна это понять? Уже один вопрос о том, как я спал, вызывает

у меня раздражение, потому что в мыслях я уже далеко, я привык думать вперед, а не назад, точнее, привык планировать. Нежности вечером — да, но нежности утром для меня невыносимы, и после трех-четырех дней, проведенных вместе с женщиной, говоря откровенно, я всегда начинал лицемерить. Чувств по утрам не выносит ни один мужчина. Уж лучше самому мыть посуду!

Забет смеялась...

Завтрак с женщиной — да, в виде исключения, во время каникул, завтрак на балконе, но дольше трех недель, признаюсь, я этого никогда не выносил, так и быть, во время каникул, когда все равно не знаешь, куда себя деть целый божий день, но через три недели я уже тоскую по турбинам. Умение женщин бездельничать по утрам — например, еще не одевшись, женщина способна переставлять цветы в вазе и при этом вести разговоры о любви и браке,— этого, полагаю я, не выносит ни один мужчина, или он лицемерит. Я вспомнил об Айви. «Айви» значит «плющ», и для меня так зовут всех женщин. Я хочу быть один! Уже самый вид комнаты для двоих, если это не в гостинице, которую вскоре покинешь, а просто комнаты для двоих, как постоянное местожительство, так на меня действует, что я начинаю мечтать об Иностранном легионе...

Забет нашла, что я циник.

Но все именно так, как я сказал.

Я больше не говорил об этом, хотя мистер Левин, по-моему, все равно не понял ни слова. Он прикрыл стакан рукой, когда я хотел его долить, а Забет, найдя, что я циник, ушла танцевать... Я не циник. Я просто вполне деловой человек, чего женщины совершенно не выносят. Я не бесчеловечен, как утверждает Айви, и не возражаю против брака; обычно женщины сами видят, что я для этого не гожусь. Я не могу все время испытывать чувства. Одиночество для меня — единственно возможное состояние... Кроме того, я не хочу сделать женщину несчастной, а ведь женщины именно к этому и склонны — быть несчастными. Допускаю: одиночество не всегда приятная штука, и не всегда бываешь в форме. Впрочем, я заметил, что женщины, как только наш брат не в форме, тоже теряют форму, а как только им становится скучно, начинаются упреки, что ты бесчувственный. Тогда уж, откровенно говоря, я предпочитаю скучать один. Сознаюсь: я не всегда расположен смотреть телевизор (хотя и не сомневаюсь, что телевидение в ближайшие годы станет гораздо лучше).

Я не всегда бываю в настроении, но именно тогда я предпочитаю быть один. Самые счастливые минуты моей жизни — это когда я, покинув общество, оказываюсь в своей машине, вставляю ключ, нажимаю кнопку, прикуриваю от электрической зажигалки, включаю радио и сцепление. На людях я устаю, даже мужчины меня утомляют. Что касается настроения, то, как уже сказано, оно для меня не существует. Иногда расчувствуешься, но тут же берешь себя в руки. Признак переутомления! Износ — точно как у стали. Чувства, как я установил,— результат переутомления, вот и все, во всяком случае у меня. Тогда сдаешь! Тогда не помогает и писание писем, чтобы не быть в одиночестве. Это ничего не меняет — потом все равно слышишь только собственные шаги в пустой квартире. Или еще того хуже — радиодиктор, который рекламирует корма для собак, порошок для печенья и бог весть что еще, а потом внезапно умолкает: «До свидания, до завтра!» А всего два часа ночи! Тогда остается джин, хотя вообще, просто так, я джин не люблю, да еще голоса с улицы, точнее автомобильные гудки, грохот подземки, время от времени — рокот самолетов. Это уж все равно! Бывает, что я просто засыпаю, газета на коленях, сигарета на ковре. С трудом овладеваешь собой. Зачем? Где-то поздняя радиостанция еще передает симфонию. Я ее выключаю. Что дальше? Тогда я просто стою среди

комнаты со стаканом джина, который я не люблю, и пью; стою, чтобы не слышать шагов в моей квартире, ведь это только мои собственные шаги. Все это не трагично, но трудно. Нельзя сказать самому себе: «Спокойной ночи»...

Разве это достаточная причина, чтобы жениться?

Забет, вернувшись после танца, чтобы выпить лимонного сока, подтолкнула меня: мистер Левин, этот верзила, спал, улыбаясь, как если бы и во сне видел всю эту ярмарку — бумажные змеи, воздушные шары, танцующие пары должны были их сталкивать, чтобы шары с треском лопались.

О чем я все время думаю? — спросила она.

Я не знал.

А она о чем думает? — спросил я.

Она-то знала и сразу ответила:

— Вы должны жениться, мистер Фейбер!

Потом — снова ее друг, который искал ее на всех палубах, чтобы пригласить на танец; его взгляд, брошенный на меня...

— Ну конечно, пожалуйста! — сказал я.

Я оставил себе только ее сумочку.

Я знал точно, о чем я думаю. Для этого нет слов. Я покачивал стакан с вином, подносил его к носу и не хотел думать о том, как соединяются мужчина с женщиной, и все же невольно внезапное представление об этом — удивление, ужас, как в полусне. Почему именно так? Если подумать, если со стороны: почему именно нижней частью живота? Когда сидишь вот так, и смотришь на танцующих, и представляешь себе все вполне реально, это кажется невозможным для людей. Почему именно так? Абсурд, нелепость... Когда самого тебя не влечет, не понуждает инстинкт, кажешься себе сумасшедшим только потому, что у тебя могло возникнуть подобное представление, прямо-таки извращенным.

Я заказал пива...

Может быть, это я такой.

Танцующие пары были заняты тем, чтобы, танцуя, удерживать апельсин двумя носами...

Каково это Лазарю Левину?

Он храпел не шутя, да еще приоткрыв рот — точно красноватый рот рыбы за зеленым стеклом аквариума!

Я думал об Айви.

Когда я обнимаю Айви, я в это время думаю: «Надо будет проявить пленку, позвонить Вильямсу!» Я мог бы решать в уме какую-нибудь шахматную задачу, пока Айви говорит: «I'm happy, oh dear, so happy. oh, dear, oh, dear!» [1]. Я чувствую ее десять пальцев на своем затылке, я вижу эпилептически-счастливую судорогу ее рта и картину на стене, которая опять висит криво, я слышу лифт, я вспоминаю, какое у нас сегодня число, я слышу ее вопрос: «You're happy?» [2]. И я закрываю глаза, стараясь думать об Айви, которую обнимаю, и по недосмотру целую собственный локоть. Потом все как бы забывается. Я забываю позвонить Вильямсу, хотя все время думал об этом. Я стою у открытого окна и наконец курю сигарету, пока Айви готовит чай, и вдруг оказывается, что я знаю, какое сегодня число. Точно никогда ничего и не было. Потом я слышу, что кто-то вошел в комнату, и оборачиваюсь — это Айви в халатике, она принесла наши две чашки, тогда я подхожу к ней и говорю: «Айви!» И целую ее — ведь она славный парень, свой в доску, хотя и не может понять, что я бы предпочел остаться один.

---

[1] Я счастлива, милый, так счастлива, ах, милый, милый *(англ.)*.

[2] Ты счастлив *(англ.)*.

Вдруг наш пароход остановился.

Мистер Левин вдруг проснулся, хотя я не вымолвил ни слова, и осведомился, не в Саутгемптоне ли мы.

Снаружи огни...

Вероятно, Саутгемптон.

Мистер Левин поднялся и пошел на палубу.

Я пил свое пиво и пытался вспомнить, было ли с Ганной (тогда) тоже все так нелепо, бывало ли нелепо всегда.

Все устремились на палубу.

Когда Забет вернулась в зал бумажных змей, чтобы взять свою сумочку, я удивился: она простилась со своим другом и села рядом со мной. Это лицо Ганны-девушки! Она попросила сигарету, опять полюбопытствовала, над чем я ломаю голову, и хоть что-нибудь должен же я был сказать. Я поднес ей зажигалку, озарившую ее юное лицо, и спросил, не выйдет ли она за меня замуж.

Забет покраснела.

Это я серьезно?

Почему бы и нет?

Снаружи шла выгрузка, которую следовало посмотреть; было холодно, но долг обязывал, дамы дрожали в своих вечерних платьях, туман, ночь полна огней, мужчины в смокингах, они стараются согреть своих дам, обнимая их, прожекторы освещают выгрузку, кавалеры в пестрых бумажных колпаках, грохот кранов, но все в тумане; световые сигналы на берегу...

Мы стояли, не прикасаясь друг к другу.

Я сказал то, чего вовсе не хотел сказать, но что сказано, то сказано; я наслаждался нашим молчанием, я был опять совершенно трезв, а о чем я думал — ни малейшего понятия, вероятно, ни о чем.

Моя жизнь лежала в ее руке...

На минуту появился мистер Левин, он не помешал, наоборот, мы даже были рады, Забет тоже, так мне, по крайней мере, казалось, я держал ее под руку, мы стояли, болтая с мистером Левином, который проспался после бургундского, обсуждали чаевые и тому подобное. Наш пароход не меньше часа стоял на якоре; уже занимался день. Мы опять остались одни, последние на мокрой палубе, и Забет спросила меня, всерьез ли, правда ли то, что я сказал, я поцеловал ее в лоб, потом в холодные, трепещущие веки, она дрожала всем телом, потом в губы, и тогда я испугался. Она была мне более чужой, чем любая встреченная мною девушка. Ее полуоткрытый рот — нет, это было невозможно, я поцелуями осушал ее влажные от слез глаза, сказать было нечего, это было невозможно.

На следующий день Гавр.

Шел дождь, и я стоял на верхней палубе, когда чужая девушка с рыжеватым конским хвостом прошла по сходням, держа свой багаж в обеих руках, почему она и не могла мне помахать. Думается, она видела, что я машу ей. Мне хотелось заснять ее, я все еще махал, но уже не видел ее в толпе. Позже, в таможне, как раз когда мне предстояло открыть свой чемодан, я еще раз увидел ее рыжеватый конский хвост; она тоже кивнула и улыбнулась, вещи у нее были в обеих руках, она экономила на носильщике и тащила слишком большую тяжесть. Но я не мог ей помочь, она исчезла в толчее.

Наш ребенок! Но тогда я не мог этого знать, и все-таки у меня буквально сдавило горло, когда я увидел, как она исчезла в толпе. Она мне нравилась. Больше я ничего не знал. В скором поезде на Париж я мог бы еще раз пройти по всем вагонам. Зачем? Ведь мы простились.

В Париже я сразу позвонил Вильямсу, чтобы хоть устно отчитаться перед ним. Он поздоровался и сказал, что у него нет времени выслу-

шивать мои объяснения... Париж был таким, как обычно, неделя сплошных совещаний, я, как обычно, жил на набережной Вольтера, опять в своей комнате с видом на Сену и на Лувр, который я еще никогда не осматривал, хотя он как раз напротив моего окна.

Вильямс был какой-то странный...

— It's okay! — говорил он.— It's okay! — повторял он, пока я делал отчет о своей короткой поездке в Гватемалу, которая, однако, как выяснилось в Каракасе, не вызвала задержки, ведь наши турбины еще не были готовы для монтажа, уже не говоря о том, что сюда, в Париж, на совещания — а они самое важное событие текущего месяца — я прибыл своевременно, без опоздания.— It's okay! — сказал он еще раз, уже когда я рассказывал о чудовищном самоубийстве друга моей юности.— It's okay! — И в заключение спросил: — What about some holidays, Walter? [1]

Я не понял его.

— You're looking like...[2] — сказал он.

Тут нас прервали.

— This is Mr. Faber, this is... [3]

Может быть, Вильямсу не понравилось, что я не прилетел, а, в виде исключения, приехал на пароходе, не знаю: его намек на то, что мне очень нужен отдых, каникулы, мог быть сделан только в ироническом смысле, он же видел, как я загорел, и после обжорства на пароходе я менее тощий, чем обычно, к тому же загорелый.

Вильямс был какой-то странный.

Позже, после совещания, я пошел в ресторан, малейшее воспоминание о Вильямсе раздражало меня. Обычно он не был мелочен. Может быть, он вообразил, что я завел в Гватемале или еще где-нибудь в пути любовную интрижку — love-affair? Его улыбка огорчила меня, ведь в деловых вопросах я, как уже сказано,— олицетворение добросовестности; никогда еще — и Вильямс это отлично знал — я из-за женщины не пришел на совещание хоть получасом позже. Этого за мной просто не водилось. Но в первую очередь меня раздражало его недоверие, или черт его знает, что это было, когда он твердил: «It's o'key!» это настолько занимало меня, что официант тоже стал обращаться со мной, как с идиотом.

— «Beaune», monsieur, c'est un vin rouge. [4]

— It's okay— сказал я.

— Du vin rouge,— повторил он,— du vin rouge avec des poissons? [5]

Я просто забыл, что заказывал, моя голова была занята другим: никакого основания краснеть из-за этого, просто меня взбесил этот официант (как будто он обслуживал какого-нибудь дикаря), он лишал меня уверенности. В конце концов, у меня нет оснований для чувства неполноценности, я справляюсь со своей работой, я не честолюбив и не стремлюсь быть изобретателем, но полагаю, что стою не меньше, чем какой-нибудь баптист из Огайо, который потешается над инженерами, и то, с чем справляется наш брат инженер, более полезно. Я руковожу монтажами, которые обходятся в миллионы, за мной числится уже ряд электростанций, работал и в Персии, и в Африке (Либерия), и в Панаме, Венесуэле, Перу, я не с луны свалился, как явно полагает этот официант.

— Voilà, monsieur! [6]

---

[1] А как насчет того, чтобы немного отдохнуть, Вальтер *(англ.)*.
[2] Вид у вас такой, будто... *(англ.)*.
[3] Это мистер Фейбер, а это... *(англ.)*.
[4] «Бон», мосье, это красное вино *(франц.)*.
[5] Красное вино, красное вино с рыбой *(франц.)*.
[6] Вот, мосье *(франц.)*.

Прямо театр, когда они показывают бутылку, потом откупоривают, потом наливают глоток на пробу, спрашивают:

— Il est bon? [1]

Я ненавижу чувство неполноценности.

— It's okay! — сказал я, не давая себя запугать. Я, конечно, заметил привкус пробки, но не пожелал пререкаться.— It's okay!

Меня занимало другое.

Я оказался единственным посетителем — ведь был еще ранний вечер,— и раздражало меня исключительно зеркало напротив, зеркало в золотой раме. Стоило мне поднять глаза, и я видел себя, так сказать, в виде фамильного портрета: Вальтер Фабер — как он ест салат, в золотой раме. У меня были круги под глазами, в остальном же я был загорелый, как уже сказано, далеко не такой тощий, как обычно, наоборот, я выглядел превосходно. Скажем прямо (это я знал и без зеркала), мужчина в расцвете сил, седой, но спортивный — ведь не обязательно быть красавцем. То, что мой нос несколько длинен, занимало меня в период полового созревания, с тех пор — никогда; с тех пор я знал немало женщин, которые избавили меня от необоснованного чувства неполноценности, и если что и раздражало меня, то исключительно это заведение: куда ни глянь — зеркала, отвратительно, вдобавок бесконечное ожидание рыбы. Я решительно выразил недовольство, хотя спешить было некуда, но возникло ощущение, что официант не принимает меня всерьез, не знаю почему, этот пустой зал с пятью официантами, которые перешептываются, и один-единственный посетитель — Вальтер Фабер, который крошит хлеб в золотых рамах, куда ни глянь. Рыба, когда она наконец появилась, была превосходна, но не пришлась мне по вкусу, сам не знаю, что со мной творилось.

«You are looking like...»

Только из-за этого идиотского замечания Вильямса (а он ко мне хорошо относится, я знаю!) я все вновь и вновь, вместо того, чтобы есть рыбу, смотрел в эти смехотворные зеркала, которые в общей сложности показывали меня в восьми экземплярах.

Конечно, стареешь...

Конечно, скоро появится лысина...

Я не привык ходить к врачам, никогда в жизни не болел, исключая аппендицита,— я смотрелся в зеркало только потому, что Вильямс сказал: «What about some holidays, Walter?» Притом я же загорел, как никогда. В глазах девушки, которой хочется стать стюардессой, я был солидным господином — допустим, однако, не уставшим от жизни, наоборот; я даже забыл пойти к врачу в Париже, как себе наметил.

Я чувствовал себя вполне нормально.

На следующий день (в воскресенье) я отправился в Лувр, но девушки с рыжеватым конским хвостом там не было, хотя я битый час проболтался в этом Лувре.

Мой первый опыт с женщиной, самый первый, я, собственно, забыл, то есть просто не вспоминаю, когда не хочу. Она была женой моего учителя, который — незадолго до того, как я получил аттестат зрелости — несколько раз брал меня к себе домой на конец недели, я помогал ему проверять корректуру нового издания его учебника, чтобы подработать. Моей заветнейшей мечтой был велосипед, купленный по случаю,— он мог быть любого возраста, лишь бы передвигался. Я должен был чертить тушью теорему Пифагора и другие геометрические фигуры, так как по геометрии и математике был лучшим учеником. Его супруга — разумеется, с точки зрения моего тогдашнего возраста — была

[1] Хорошее *(франц.)*.

пожилой дамой, очевидно лет сорока, с больными легкими, и когда она целовала мое мальчишеское тело, она казалась мне помешанной или сукой, при этом я называл ее по-прежнему «фрау профессор». Это было нелепо. Но потом я всякий раз забывал об этом — только когда учитель входил в класс и молча клал тетради на кафедру, я пугался, что он все узнал и теперь об этом узнает весь мир. Обычно он вызывал меня первым, если надо было раздать тетради, и я должен был выйти на середину класса — как единственный ученик, который не сделал ни одной ошибки. Она умерла тем же летом, и я забыл о ней, как забываешь о воде, которую выпил где-то, испытывая жажду. Конечно, я казался себе плохим, оттого что забыл, и я заставлял себя раз в месяц ходить на ее могилу. Я незаметно вынимал несколько цветов из своего портфеля и быстро клал их на могилу, на которой еще не было памятника, только номер; при этом мне становилось стыдно, потому что я всякий раз радовался, что это кончилось.

Только с Ганной это никогда не было нелепым.

Была весна, но шел снег, когда мы сидели в Тюильри, неожиданно налетела вьюга, снег из ясного голубого неба, мы не виделись почти целую неделю, и она была рада тому, что мы снова увиделись — из-за сигарет, вероятно она была без гроша.

— Я никогда не верила,— сказала она,— будто вы не ходите в Лувр.

— Во всяком случае редко.

— Редко! — засмеялась она.— Да я позавчера вас видела в античном отделе и вчера тоже.

Она действительно была ребенком, хотя и курила беспрерывно, она действительно считала случайностью нашу встречу в Париже. Она была опять в своих черных брюках, эспадрильях и в курточке с капюшоном, разумеется, без головного убора, только развевался рыжеватый конский хвост, а шел снег, как уже сказано, падал прямо с ясного неба.

— Неужели вам не холодно?

— Нет,— сказала она.— А вам?

В 16.00 у меня опять было назначено совещание.

— Выпьем кофе? — сказал я.

— О! — сказала она.— С большим удовольствием!

Когда, подгоняемые свистком полицейского, мы переходили площадь Согласия, она взяла меня под руку. Этого я не ожидал. Нам пришлось бежать бегом: полицейский уже подымал свой белый жезл, целая свора машин готова была ринуться на нас; спасенные, стоя рука об руку на тротуаре, мы заметили, что я потерял шляпу — она лежала там, в коричневом месиве, уже раздавленная чьими-то шинами. «Eh bien!»[1] — сказал я и под руку с девушкой пошел вперед, без головного убора, среди метели, как юноша.

Забет была голодна.

Чтобы не поддаться самонадеянности, я сказал себе, что наша встреча радует ее потому, что у нее почти нет денег; она поглощала пирожные так, что едва успевала поднять глаза или произнести слово. Отговорить ее от идеи добраться до Рима при помощи «автостопа» было невозможно, у нее даже имелась программа: Авиньон, Ним, Марсель — не обязательно, но обязательно Пиза, Флоренция, Сиена, Орвието, Ассизы и бог весть что еще, она в то утро уже сделала попытку, но, видно, не на той улице.

— А ваша мама об этом знает?

Она решительно заявила:

[1] Ну что ж *(франц.)*.

— Да!

— А вашу маму это не тревожит?

Я еще сидел, только потому, что надо было расплатиться, но уже готов был идти — портфель на коленях; именно теперь, когда Вильямс вел себя так странно, мне не хотелось опаздывать на совещание.

— Конечно, тревожит,— сказала девушка, подбирая ложечкой последние остатки пирожного: только правила приличия удерживали ее от того, чтобы вылизать тарелку еще и языком, она засмеялась:— Мама всегда тревожится.

Потом добавила:

— Пришлось обещать ей, что я не поеду с первым встречным, но это же ясно, я ведь не дурочка.

Тем временем я расплатился.

— Спасибо,— сказала она.

Я не решался спросить: «А что вы делаете сегодня вечером?» Я все меньше понимал, что же наконец она за девушка. Беспечная — да, но в каком смысле? Может быть, она действительно позволяет каждому мужчине приглашать ее, мысль, которая меня возмутила, но заставила приревновать, пробудила во мне прямо-таки сентиментальность.

— Увидимся ли мы еще? — спросил я и тут же добавил: — Если нет, то пожелаю вам всего хорошего.

Мне действительно пора было идти.

— Вы еще побудете здесь?

— Да,— сказала она,— у меня же есть время.

Я уже встал.

— Если у вас есть время, не окажете ли вы мне услугу?

Я поискал свою потерянную шляпу.

— Мне хотелось бы пойти в оперу, но у меня еще нет билета.

Я сам удивился своей находчивости — разумеется, я еще никогда не был в опере, но Забет, с ее знанием людей, ни на секунду не усомнилась в моих словах и, хотя я даже не знал, что́ идет в оперном театре, взяла у меня деньги на билеты, готовая оказать мне услугу.

— Если вы не прочь составить мне компанию,— сказал я,— возьмите два и встретимся здесь в семь часов.

— Два?

— Говорят, спектакль великолепный.

Это я слышал от мистера Вильямса.

— Мистер Фейбер,— сказала она,— я же не могу этого принять.

На совещание я пришел с опозданием.

Я действительно не узнал профессора О., а он вдруг стоит передо мной:

— Куда вы так спешите, Фабер, куда это?

И лицо у него вовсе не такое уж бледное, просто оно совершенно другое. Я знаю только одно: это лицо мне знакомо. Его смех знаком тоже, но откуда? Он, должно быть, заметил.

— Вы что же, забыли меня? — Его смех стал ужасным, отвратительным.— Да, да,— смеется он,— кое-что пришлось пережить!

Его лицо уже не лицо, а череп, обтянутый кожей, даже с мускулами, которые создают мимику, и эта мимика напоминает мне профессора О., но это череп, его улыбка несоразмерно огромна, она искажает лицо, чересчур огромна в соотношении с глазами, которые ушли далеко в глубину.

— Господин профессор! — говорю я и еле сдерживаюсь, чтобы не сказать: «А, понимаю, мне уже говорили, что вы умерли». И вместо этого: — Ну, как дела? — Никогда он не был таким приветливым, я его очень ценил, но таким приветливым, как сейчас, когда я уже открыл дверцу такси, он не был никогда.

— Весна в Париже! — смеется он, и не поймешь, почему он все время смеется, я знаю его как профессора швейцарского Политехнического института в Цюрихе, а не как клоуна, но едва он открывает рот, кажется, что он смеется.— Да, да,— смеется он,— теперь дело опять пошло на лад! — При этом он вовсе не улыбается, не улыбается же череп мертвеца, это только кажется, и я извиняюсь, что в спешке не сразу узнал его. У него животик, чего раньше никогда не было, прямо как воздушный шар, он вздувается из-под ребер — а вообще он тощий, кожа похожа на пергамент или глину, глаза живые, но поблескивают где-то в глубине, уши оттопырены. Я рассказываю что попало.— Куда же вы так спешите? — смеется он и спрашивает, не выпью ли я с ним аперитив. Приветливость его, как я уже говорил, чересчур подчеркнутая, он был моим профессором, тогда, в Цюрихе, я его уважал и ценил, но у меня действительно нет времени для аперитива.

— Милый господин профессор,— так я его никогда не называл,— милый господин профессор! — говорю я, потому что он берет меня за локоть и я знаю то, что известно каждому, но он-то, видимо, не знает.

Он смеется.

— Ну что ж, тогда в другой раз! — говорит он, а я определенно знаю, что этот человек уже умер, и говорю:

— С удовольствием! — затем сажусь в такси.

На совещании не было ничего интересного.

Профессор О. всегда служил для меня образцом, он, правда, не был Нобелевским лауреатом, не стяжал мировой славы, как другие цюрихские профессора Политехнического института, тем не менее — серьезный специалист. Никогда не забуду, как мы в белых рабочих халатах стоим вокруг него и хохочем над его «открытием».

— Свадебного путешествия (так он всегда говорил) — вполне достаточно, потом вы найдете все необходимое в литературе, в публикациях, изучите иностранные языки, господа, но путешествовать, господа, это пахнет средневековьем. У нас уже сегодня, не говоря о завтрашнем или послезавтрашнем дне, имеются превосходные средства коммуникации, которые доставят вам на дом весь божий мир, поэтому ездить с места на место — атавизм... Вы смеетесь, господа, но это так, переезжать с места на место просто атавизм, настанет день, когда уже не будет никакого передвижения и только новобрачные будут разъезжать по белу свету на дрожках, а кроме них — ни одна живая душа. Вы смеетесь, господа, но вы еще доживете до этого!

И вот он вдруг в Париже, стоит рядом со мной.

Может быть, поэтому он все время улыбался. Может быть, вовсе не правда, что у него (как говорят) рак желудка, и он улыбается оттого, что, по слухам, врачи вот уже два года считают, будто он не протянет больше двух месяцев, и он смеется над ними,— ведь он так уверен, что мы с ним еще увидимся.

Совещание продолжалось ровно два часа.

— Вильямс! — сказал я.— I changed my mind! [1]

— What's the matter? [2]

Пока Вильямс отвозил меня в гостиницу, я изложил ему, что надумал сделать маленький перерыв в работе, маленькие каникулы в честь весны — так, недельки на две, маленькое путешествие в Авиньон, Пизу, Флоренцию, Рим; он отнюдь не нашел это странным, напротив, Вильямс был великолепен, любезнее, чем обычно, он сразу же предложил свой «ситроен» — ведь он на следующий день улетает в Нью-Йорк.

— Walter,— сказал он,— have a nice time! [3]

---

[1] Я передумал *(англ.)*.

[2] Что случилось *(англ.)*.

[3] Вальтер, желаю приятно провести время *(англ.)*.

Я побрился и переоделся. На тот случай, если с оперой выгорит. Я явился гораздо раньше условленного времени, хотя шел пешком по Елисейским полям. Кстати, я зашел в кафе поблизости — стеклянная терраса, инфраотопление, я едва успел получить свой перно, как чужая девушка с рыжеватым конским хвостом прошла мимо, не видя меня, тоже намного раньше, я мог бы окликнуть ее...

Она зашла в кафе напротив и села за столик.

Я был счастлив и пил перно не торопясь, наблюдая за ней через стекло террасы,— как она заказывает, как ждет, как курит, как она один раз взглянула на часы. Она была в черной куртке с капюшоном, с деревяшками и шнурами, под курткой — синее вечернее платье, молодая особа, одевшись для оперы, подкрашивает губы. Она пила лимонный сок. Я был счастлив, как никогда в этом Париже, и ждал официанта, чтобы расплатиться и уйти напротив, к девушке, которая меня ждет! При этом я был почти рад, что официант заставляет меня ждать, хотя и поворчал. Я не мог быть счастливее, чем сейчас.

С тех пор, как мне стали известны все обстоятельства и прежде всего факт, что молодая особа, сопровождавшая меня в оперу, оказалась тем самым ребенком, которого мы (Ганна и я) только из личных соображений, совершенно независимо от политического положения, не захотели иметь,— я беседовал с самыми разными людьми о том, как они относятся к искусственному прекращению беременности, и убедился, что в основном все они разделяют мою точку зрения. Аборт в наши дни —дело вполне понятное. Рассуждая по существу, до чего бы мы дошли без абортов? Именно прогресс в медицине и технике обязывает сознательно мыслящего человека к принятию новых мер. Тройной прирост человечества за одно столетие. Раньше — никакой гигиены. Зачинать и рожать детей, чтобы они умирали на первом году жизни, как того желает природа,— более примитивно, но отнюдь не более этично. Борьба с родильной горячкой. Кесарево сечение. Инкубаторы для недоношенных. Мы относимся к человеческой жизни серьезнее, чем к ней относились прежде. Иоганн Себастьян Бах произвел на свет тринадцать детей (или около того), из них не выжило и 50 процентов. Люди не кролики, прогресс имеет свою логику: мы сами должны регулировать этот вопрос. Нашей земле угрожает перенаселенность. Мой полковой врач побывал в Северной Африке и говорил дословно вот что: «Если народ здесь поймет, что нельзя отправлять естественную нужду возле собственного жилья, и перестанет это делать, можно считать, что население в течение двадцати лет удвоится. Природа действует так во всем: перепроизводство ради сохранения вида. У нас имеются другие средства, чтобы обеспечить сохранение вида. Жизнь священна! Естественное перепроизводство (если мы и впредь будем рожать, как животные) приведет к катастрофе, не к сохранению вида, а к его уничтожению. Сколько людей может прокормить земля? Повышение уровня жизни возможно. Задача ЮНЕСКО: индустриализация слаборазвитых государств, но не безграничная. Перед политикой стоят совсем новые проблемы. Обратимся к статистике: снижение заболеваний туберкулезом, например, благодаря профилактике, с 30 до 8 процентов. Добрый господь бог! Он делал это при помощи чумы, эпидемий, мы изъяли эпидемии из его рук. Вывод: мы должны изъять из его рук и размножение. Ни малейшего основания для угрызений совести, напротив: достоинство человека заключается в том, чтобы поступать разумно и самостоятельно принимать решения. Если нет, мы заменим чуму, эпидемии войной. Хватит романтики! Люди, которые принципиально отвергают прекращение беременности,— безответственные романтики. Конеч-

но, это следует делать не по легкомыслию, а исходя из твердой принципиальной установки. Надо смотреть фактам в лицо, например тому факту, что проблема сырья важна для существования человечества. Поощрение рождаемости в фашистских государствах, да и во Франции тоже — полное безобразие. Мы обязаны смотреть фактам в лицо. Все дело в жизненном пространстве. Не будем забывать и автоматику: нам вовсе не нужно столько людей. Было бы разумнее повысить общий жизненный уровень. Все остальное приведет к войне, к тотальному уничтожению. Невежество, неосведомленность все еще чрезвычайно распространены. Именно моралисты и приносят самое большое зло. Прекращение беременности есть достижение культуры, только в джунглях живое размножается и гибнет по воле природы. Человек планирует. Сколько несчастий еще и сейчас происходит из-за романтики; множество неудачных браков заключается только из страха перед прекращением беременности. Разница между предохранительными средствами и вмешательством? В обоих случаях — это желание человека не иметь ребенка. А сколько детей действительно желанны? То, что женщина хочет иметь ребенка, раз он уже зачат, нечто совсем другое, это автоматизм инстинкта, она забывает, что хотела этого избежать, вдобавок — ощущение власти над мужчиной, материнство как средство борьбы, с помощью которого женщина утверждает себя экономически. При чем же тут рок? Смехотворно ссылаться на рок, когда речь идет о механически-физиологических явлениях, даже недостойно современного человека. Дети — это то, чего мы хотим, а точнее — не хотим. Женщине вредно? Для ее физиологии — отнюдь нет, если только не вмешивается халтурщик, для психики — лишь постольку, поскольку данная особа подвержена религиозным и моральным предрассудкам. Мы отвергаем природу, как кумир, божество. Тогда уж давайте будем последовательны! Никакого пенициллина, никакого громоотвода, никаких очков, никакого ДДТ, никаких радаров и т. д. Мы живем в век техники, человек — властитель природы, человек — инженер, а кто возражает, пусть не пользуется и мостом, который построила не природа. Тогда уж будьте последовательны и отвергайте любое вмешательство, тогда умирайте хоть от воспаления слепой кишки! Потому что судьба! Тогда никакой электролампы, никаких моторов, никакой атомной энергии, никакого наркоза, тогда уж давайте прямо в джунгли!

О нашем путешествии по Италии могу сказать одно: я был счастлив, оттого что и девушка, мне кажется, была счастлива, несмотря на разницу лет.

Она издевалась над юнцами.

— Мальчишье! — говорила она.— Ты не можешь себе представить: кажется, будто я их мать, и это ужасно!

Погода стояла фантастическая.

Только ее одержимость искусством, мания все осматривать были мне не по душе. Попав в Италию, мы не пропустили ни одного населенного пункта, в каждом приходилось останавливаться. Пиза, Флоренция, Сиена, Перуджа, Ареццо, Орвието, Ассизы. Я не привык так путешествовать. Во Флоренции я взбунтовался, откровенно обозвав ее Фра-Анжелико халтурщиком. Потом я поправился: наивным. Она не спорила, напротив, она была восхищена: для нее чем наивнее — тем лучше.

Чем я действительно наслаждался, так это кампари!

Пожалуй, еще попрошайками с мандолиной...

Но по-настоящему меня интересовало дорожное строительство, наводка мостов, новый выпуск «фиатов», новый вокзал в Риме, новый моторный вагон, новая пишущая машинка «оливетти».

Музеи — не для меня.

Я сидел на площади Святого Марка, пока Забет, по-моему, из чистого упрямства, осматривала весь собор, и пил свое кампари, как обычно. За последние дни, начиная с Авиньона, я вдоволь насмотрелся всякой всячины — только чтобы быть поближе к ней. Я не видел причин для ревности, и все же я ревновал. Я же не знаю, какие мысли у такой вот молодой девушки. Я ее шофер, что ли? Тогда ладно, тогда я вправе выпить стаканчик кампари, пока моя госпожа не выйдет из ближайшей церкви. Я бы не возражал быть ее шофером, если бы не то, что случилось в Авиньоне. Порой я сомневался: кем, собственно, я должен ее считать? Её идея: на попутных машинах — до Рима! Хотя она, в конечном счете, и не осуществила ее, сама идея вызывала во мне ревность. То, что произошло в Авиньоне, не могло ли произойти у нее с любым мужчиной?

Я думал о женитьбе упорно, как никогда...

Чем больше я ее любил, тем меньше хотел толкать эту девочку на определенный путь. Я надеялся со дня на день, что когда-нибудь поговорю с ней, я твердо решил быть откровенным, только я боялся, что она не поверит мне, вернее, высмеет меня... Она все еще находила, что я циник,— должно быть, даже нахал (не по отношению к ней, а к жизни вообще) и вдобавок чересчур насмешлив, чего она просто не выносила, и часто я просто не знал, что и сказать. Слушала ли она меня вообще? У меня даже возникло чувство, что я не понимаю молодежи. Нередко я казался себе мошенником. А почему? Я не хотел разрушать ее веры в то, например, что Тиволи — лучшее из всего, что я видел на свете, и несколько часов в Тиволи — счастье в квадрате, но только я-то не мог этому верить. Ее постоянное беспокойство, что я не принимаю ее всерьез, было напрасным, наоборот, я не принимал всерьез самого себя, постоянно ревновал, хотя и старался быть молодым. Я спрашивал себя, может быть, теперешняя молодежь (1957) совсем другая, чем в наше время, и констатировал, что совсем не знаю, какая она, нынешняя молодежь. Я наблюдал за девушкой. Я ходил с ней в некоторые музеи, только чтобы быть рядом, хотя бы только затем, чтобы видеть Забет отраженной в витрине, за которой разложено несметное количество этрусских черепков, ее юное лицо, ее серьезность, ее радость. Забет не допускала, что я ничего в этом не смыслю и, с одной стороны, питала беспредельное доверие ко мне просто оттого, что я на тридцать лет старше, чисто детское доверие, а с другой стороны, не испытывала ни малейшего уважения. Меня раздражало то, что я жду от нее уважения. Забет слушала, когда я рассказывал о том, что узнал на собственном опыте, однако так, как слушают старика: не перебивая, вежливо, но и не увлекаясь. В лучшем случае, она прерывала меня, предвосхищая мой рассказ и таким образом намекая, что я это уже рассказывал. Тогда мне становилось стыдно. Вообще для нее существовало только будущее и немножко настоящее, но опыт прошлого ее, как и всех молодых людей, не занимал. Ее ничуть не интересовало, что все это уже бывало и чему-то научило нас, стариков, точнее, могло бы научить. Я хотел выяснить, чего же Забет ждет от будущего, и убедился, что она сама не знает, она просто радуется жизни. А мог ли я ожидать от будущего еще чего-то, что мне было бы неизвестно? Для Забет все обстояло совсем иначе. Она радовалась Тиволи, маме, завтраку, будущему, тому, что она когда-нибудь будет иметь детей, своему дню рождения, пластинке — всему, что ясно, и прежде всего всему, что неясно, чего еще нет. Это, пожалуй, вызывало мою ревность, но не скажу, чтобы я, в свою очередь, не способен был радоваться,— это неверно: я радовался каждому мгновению, которое давало какой-то повод для радости. Я не кувыркаюсь, не пою, но радуюсь и я. И не только хорошему обеду! Может быть, я

не всегда умею это выразить. Много ли на свете людей, которых интересует твоя радость и твои чувства вообще? Забет считала, что я преувеличиваю или ломаюсь. Но больше всего меня радовала ее радость. Я поражался тому, как мало ей нужно, чтобы запеть, пожалуй, даже, ничего, она раздвигала занавеси, констатировала, что дождя нет, и пела. К сожалению, я как-то раз упомянул о том, что чувствую тяжесть в желудке: и вот она решила, что я постоянно чувствую тяжесть в желудке, и стала по-матерински опекать меня, словно я был несовершеннолетним. И в этом отношении оно не все время было легким, наше путешествие, часто комичным; я наводил на нее скуку своим жизненным опытом, а она делала из меня старика, с утра до ночи ожидая от меня патетики.

В большой крытой галерее (Museo Nazionale [1]) я отказался подчиниться ее «Бедекеру» [2], взгромоздился на парапет и попытался читать итальянскую газету, я был сыт по горло этими коллекциями каменных развалин и обломков. Я забастовал. Но Забет все еще была убеждена, что я ее разыгрываю, признаваясь, что я ничего не смыслю в искусстве. Она опиралась на изречение своей мамы, что только человек ограниченный, обыватель, не способен почувствовать произведение искусства.

— Снисходительная мама! — сказал я.

Итальянская пара, проходившая в это время по большой крытой галерее, интересовала меня куда больше, чем все статуи, особенно отец, который нес на руках спящего ребенка.

Кроме них — ни души.

Птицы чирикали, а вообще — мертвая тишина.

Потом, когда Забет оставила меня одного, я сунул в карман газету, которую все равно не мог прочесть, и остановился перед первой попавшейся статуей, чтобы проверить изречение ее мамы. «Только ограниченный обыватель не способен почувствовать произведение искусства!» По-моему, мама заблуждалась.

Мне просто было скучно.

В маленькой галерее (застекленной) мне повезло: большая группа немецких туристов, которую сопровождал католический священник, столпилась перед барельефом, точно здесь произошла катастрофа; меня взяло любопытство и, когда Забет нашла меня («Вот ты где, Вальтер, а я думала, ты сбежал к своему кампари!»), я пересказал ей то, что недавно услышал от священника о «Рождении Венеры». Во-первых, я находил восхитительной девушку-флейтистку. «Восхитительно» — не то слово для такого барельефа... Забет находила его умопомрачительным. Можно прямо-таки взбеситься, рехнуться, это предел, это гениально! Сногсшибательно!

К счастью, подошли еще люди...

Я не выношу, когда мне подсказывают, что именно я должен чувствовать; тогда, несмотря на то, что я отлично вижу, о чем речь,— я кажусь себе слепым.

Голова спящей Эринии.

Это было моим открытием (в том же зале, слева), я сделал его без помощи баварского священника; названия, я, правда, не знал, что мне нисколько не мешало, наоборот, обычно мне мешают названия, я все равно не разбираюсь в античных именах и потом, чувствуешь себя, как на экзамене... Тут и я нашел: великолепно, совершенно великолепно, впечатляет, отлично, глубоко впечатляет. Это была каменная головка девушки, лежащая так, что на нее смотришь сверху, как на голову спящей рядом женщины.

[1] Национальный музей *(итал.)*.
[2] Путеводитель.

— Что же ей снится?

Возможно, полагается не так подходить к произведениям искусства, но это интересовало меня больше, чем вопрос, четвертый это или третий век до Р. Х. Когда я еще раз посмотрел на «Рождение Венеры», Забет вдруг говорит:

— Стой, не двигайся!

— В чем дело? — спрашиваю я.

— Стой на месте,— говорит она.— Когда ты стоишь там, она гораздо красивее отсюда, эта Эриния, невероятно, как много это значит!

Я тоже должен убедиться в этом. Забет настаивает, чтобы мы поменялись местами. В самом деле, разница есть, что меня, однако, не удивляет: ведь дело в освещении. Если Забет (или кто-нибудь) встанет у «Рождения Венеры», то на Эринию падает тень и от этого одностороннего освещения лицо спящей Эринии кажется более живым, бодрствующим, даже яростно-мстительным.

— С ума сойти,— сказала она.— Как это много значит!

Мы еще раз или два поменялись местами, потом я предложил двинуться дальше — ведь есть еще целые залы, заполненные статуями, которые Забет желала осмотреть.

Я был голоден.

Говорить о Ristorante [1] было бесполезно. Я не получил ответа даже на вопрос о том, откуда Забет черпает все свои ученые слова: архаично, линейный, эллинский, декоративный, поясной, натуралистический, экспрессивный, кубистический, аллегорический, композиционный и т. д., целый словарь highbrow [2]. Только у выхода, где уже не на что было смотреть, кроме сводов из античного кирпича — простоватая, но вполне пристойная штукатурная работа, которая меня заинтересовала,— она ответила на мой вопрос, проходя через турникет, мимолетно, как обычно, когда речь шла о маме:

— От мамы.

Когда мы сидели в каком-нибудь ресторане, каждый раз девушка нравилась мне по-новому, ее радость от салата, ее детская манера поглощать булочки, ее любопытство ко всему окружающему. Она жевала булочку за булочкой и смотрела по сторонам. Мне нравилось ее ликование по поводу hors d'oeuvre [3], нравилась ее резвость.

Что касается ее мамы...

Мы ощипывали артишоки, окунали листок за листком в майонез и обсасывали листок за листком, а тем временем я узнал кое-что относительно этой умной дамы, которая была ее мамой. Я не слишком любопытствовал, откровенно говоря, так как вообще терпеть не могу интеллектуальных дам. Я узнал: мама изучала, собственно, не археологию, а филологию, но работает в археологическом институте, ведь ей надо зарабатывать на жизнь, она же развелась с г-ном Пайпером,— я ждал, держа в руке стакан, чтобы чокнуться: г-н Пайпер вовсе не интересовал меня, человек, по убеждению живущий в Восточной Германии! Я поднял стакан и перебил:

— Твое здоровье!

Мы выпили...

Позже я узнал.

Мама тоже когда-то была коммунисткой, но несмотря на это с господином Пайпером дело не клеится, отсюда и развод, это я могу понять, а теперь мама работает в Афинах, оттого что нынешнюю Западную Германию она ненавидит, это я тоже могу понять, Забет же не страдала

---

[1] Ресторан *(итал.)*.

[2] Утонченно-интеллектуальный *(англ.)*.

[3] Закуска *(франц.)*.

от этого развода, наоборот: она ела с превосходным аппетитом, пока об этом рассказывала, и прихлебывала белое «орвието», которое я всегда нахожу чересчур сладким, но это ее любимое вино — «орвието аббокато»... Она не слишком любила своего отца, да и потом г-н Пайпер вовсе не ее папа — ведь мама до него уже была один раз замужем, следовательно, Забет дитя от первого брака, ее маме не везло с мужчинами, так мне казалось, может быть оттого, что она слишком интеллектуальна, подумал я, но, конечно, не сказал, а потребовал еще полбутылки «орвието аббокато», а потом разговор зашел о всевозможных других вещах, об артишоках, о католицизме, о cassata [1], о спящей Эринии, об уличном движении — этом бедствии нашего времени — и о том, как добраться до Аппиевой дороги...

Забет — и ее «Бедекер»:

«Аппиева дорога — царица дорог — заложена цензором Аппием Клавдием в 312 году до Рождества Христова и вела из Террачины в Капую, откуда позднее была подведена до Бриндизи.

Мы, как настоящие пилигримы, прошагали километра три по Аппиевой дороге и теперь лежали на могильном холме из камня и щебня, поросшем сорняками, о котором, к счастью, ничего не сказано в «Бедекере». Мы лежали в тени пинии и курили сигареты.

— Вальтер, ты спишь?

Я наслаждался тем, что не должен ничего осматривать.

— Слушай-ка,— сказала она,— там, напротив, Тиволи.

Забет — как обычно, в своих ковбойских штанах, с некогда белой строчкой, в ее некогда белых эспадрильях, хотя я купил ей пару итальянских туфель еще в Пизе.

— Тебя правда это не интересует?

— Меня это правда не интересует,— сказал я,— но я все осмотрю, любимая. Чего только не сделаешь во время свадебного путешествия!

Забет снова нашла, что я циник.

Мне было достаточно того, что я лежал в траве, какое мне дело, тут ли, там ли это Тиволи. Главное — ее голова на моем плече.

— Ты непоседа — и четверти часа не посидишь спокойно!..

Она встала на колени и посмотрела вокруг.

Послышались голоса...

— Можно? — спросила она и сложила при этом губы как для плевка.— Можно?

Я потянул ее вниз за ее конский хвост, но она воспротивилась. Мне тоже было обидно, что мы здесь уже не одни, но ничего не поделаешь, хоть я и мужчина. Вечно эта ее смешная идея: «Ты же мужчина!» Видимо, она ждала, что я вскочу и примусь швырять камни, чтобы прогнать этих людей, как стадо коз. Она была вполне серьезно разочарована — девочка, с которой я обращался, как с женщиной, или женщина, с которой я обращался, как с девочкой, я и сам не знал.

— Я считаю,— сказала она,— что это наше место!

Очевидно, это были американцы, я слышал только голоса, целое общество, бродившее вокруг нашей могилы; судя по голосам, вероятно, стенографистки из Кливленда.

— Oh, isn't it lovely! [2]

— Oh, this is the Campagna? [3]

— Oh, how lovely here! [4]

— О! — И т. д...

---

[1] Мороженое *(итал.)*.

[2] О, какая прелесть *(англ.)*.

[3] О, значит, это и есть Кампанья *(англ.)*.

[4] О, как здесь прелестно *(англ.)*.

Я приподнялся, чтобы пошпионить из-за кустов. Лиловые прически дам вперемежку с лысинами мужчин, снявших свои панамы. Прямо вылазка из богадельни! — подумал я, но ничего не сказал.

— Наш могильный холм, видимо, все же знаменитый холм,— сказал я.

А Забет — с негодованием:

— Слушай-ка, их становится все больше и больше!

Она стояла, я снова лежал в траве.

— Подумай, целый автобус!

Забет стоит надо мной, точнее, около меня: я вижу ее эспадрильи, ее голые щиколотки, ее бедра, которые и в этом ракурсе очень стройны, ее бедра в туго облегающих ковбойских штанах; она держит обе руки в карманах, стоя вот так — около меня. Ее талии не видно в таком ракурсе. Дальше ее грудь, плечи, подбородок, губы, над ними сразу ее ресницы, ее надбровные дуги, бледные, как мрамор, потом ее волосы в ярко-синем небе — кажется, будто они могут запутаться в ветвях черной пинии,— ее рыжеватые волосы. Так она стояла, а я лежал в траве, было ветрено. Стройная и прямая, молчаливая, как статуя.

— Хэлло! — крикнул кто-то снизу.

Забет — очень неприветливо:

— Хэлло!

Забет не могла с ними примириться.

— Нет, подумай только, эти типы устраивают пикник!

И тогда, точно назло осаждающим могилу американцам, она легла мне на грудь, словно намереваясь заснуть, но ненадолго. Она приподнялась, опираясь на локоть, и спросила, не тяжелая ли она.

— Нет,— сказал я,— ты легкая...

— Но?

— Никаких «но»! — сказал я.

— Все-таки ты о чем-то думаешь!

Ни малейшего понятия, о чем я думал,— о чем-нибудь думаешь всегда, но я в самом деле не знал, о чем. А о чем думала она? Она попросила сигарету и не ответила.

— Ты слишком много куришь,— заметил я.— Когда я был в твоем возрасте...

Чем больше мы сближались — девушка и я,— тем реже я вспоминал об ее сходстве с Ганной. С того вечера в Авиньоне — ни разу. Я только удивлялся, как мне вообще могло прийти в голову, что она похожа на Ганну. Я пристально разглядывал ее. Ни намека на сходство! Я поднес ей зажигалку, хотя был убежден, что она стала курить слишком рано, ребенок — двадцать лет!..

И потом ее постоянное поддразнивание:

— Ты такой же, как все папы.

Может быть, я еще раз подумал о том, что для Забет, когда она вот так кидается мне на грудь и разглядывает мое лицо, я, собственно говоря, старик.

— Вальтер,— сказала она,— значит, это алтарь Людовика, та штука, которая мне так понравилась утром, безумно знаменитая штука!

Я разрешал ей поучать меня.

Мы сняли башмаки, наши голые ноги ощущали теплую землю, я наслаждался тем, что лежу босиком, и вообще всем.

Я думал о нашем Авиньоне (отель «Генрих IV»).

Забет со своим «Бедекером» была осведомлена с самого начала, что я инженер, что я еду в Италию отдохнуть. Несмотря на это, она читала мне вслух:

— Аппиева дорога заложена цензором Аппием Клавдием в 312 году до Рождества Христова.

— Царица дорог...

Еще и сегодня я слышу ее бедекеровский голос.

— Самая интересная часть дороги начинается там, где сохранена и поныне древняя мостовая. Слева — великолепные своды акведука Марция (смотри стр. 216).

Она все время листала книгу.

Потом мой вопрос:

— Как, собственно, зовут твою маму?

Она не дала себя перебить.

— В нескольких минутах ходьбы находится гробница Цецилии Метелла — известнейшие руины Кампаньи, круглое строение двадцати метров в диаметре, на четырехугольном основании, облицованное травертином. Надпись на мраморной доске гласит: «Цецилия Кретичи f(iliae) [1] Метеллы Красси, дочь Метеллы Кретиуса, невестка Триумвира Красса. Внутри (П. д. ч.) находятся усыпальницы».

Она помолчала и задумалась.

— П. д. ч., а что это значит?

— Пожалуйста, давайте чаевые,— сказал я,— но я тебя спросил о другом.

— Прошу прощения.

Она захлопнула свой «Бедекер».

— О чем же ты спросил?

Я схватил ее «Бедекер» и раскрыл его.

— Вон там, напротив, это и есть Тиволи?

На равнине перед Тиволи, должно быть, находился аэродром, хотя и не значившийся на картах «Бедекера»; все время гудели моторы, точно такое же вибрирующее жужжание, как над моим садом на крыше близ Центрального парка,— то и дело «ДС-7» и «супер-констэллейшн», они стремительно пролетали над нашей пинией, с выброшенными шасси, идущие на посадку.

— Там, вероятно, аэродром,— сказал я.

Это меня в самом деле интересовало.

— О чем ты спросил? — повторила она.

— Как же все-таки зовут твою маму?

— Пайпер,— ответила она.— Как же еще?

Я, конечно, имел в виду имя, не фамилию.

— Ганна.

Она уже снова поднялась и подглядывала из-за кустов, руки в карманах, рыжеватый конский хвост на плече. Что касается меня — она ничего не заметила.

— My goodness! [2] — сказала она.— Сколько они там внизу способны сожрать — этому конца не видно! А теперь еще и фрукты!

Она топнула ногой, как ребенок.

— Боже мой! Мне необходимо на минутку уединиться!

Потом мой вопрос:

— Мама когда-нибудь училась в Цюрихе?

— Что?

— Когда?

Я продолжал расспрашивать, хотя девушке, как уже сказано, нужно было уединиться. Последовал ответ, несколько раздраженный, но исчерпывающий:

— Вальтер, но я же не могу этого знать!

А мне, конечно, были нужны точные данные.

— Тогда меня еще не было! — заявила она.

---

[1] Дочь *(лат.)*.

[2] Боже мой *(англ.)*.

Ее забавляло, что я хотел все знать. Она и не подозревала, что значат для меня ее ответы. Это забавляло Забет, но ей все-таки необходимо было уединиться. Я сел, я взял ее за руку, чтобы она не убежала.

— Пожалуйста,— сказала она,— ну, пожалуйста!

Мой последний вопрос:

— И ее девичья фамилия — Ландсберг?

Затем я отпустил ее руку. Опустошенный. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы усидеть на месте. Вероятно, с улыбкой. Я надеялся, что теперь она убежит.

Вместо этого она села и в свою очередь стала задавать вопросы:

— Значит, ты знал маму?

Я кивнул.

— Да нет же, правда?

Я просто не мог говорить.

— Вы были знакомы,— сказала она,— когда мама еще училась?

Она находила, что это здóрово, чертовски здóрово.

— Слушай,— сказала она, убегая,— ну об этом я ей, конечно, напишу, мама будет рада...

Теперь, когда я все знаю, мне кажется невероятным, что тогда, после разговора на Аппиевой дороге, я сразу же не понял всего. О чем я думал те десять минут, пока девушка отсутствовала, не знаю, должно быть, нечто вроде подведения итогов, вот именно. Охотнее всего я пошел бы на аэродром. А может статься, я вообще ничего не думал. Неожиданного тут ведь ничего не было. Только подтверждение. Я очень ценю чувство уверенности — раз есть уверенность, это становится даже занятным. Забет — дочь Ганны! И тут же мысль: о женитьбе не может быть и речи. При этом мне ни на минуту не пришло в голову, что Забет может быть моим ребенком. Теоретически это было возможно, но я не думал об этом. Точнее — я не верил этому. Конечно, я думал об этом. Наш будущий ребенок тогда, вся история перед тем, как я расстался с Ганной, наша договоренность, что Ганна пойдет к врачу, к Иоахиму... Конечно, я думал об этом, но я просто не мог поверить, уж слишком невероятно, что эта девушка, которая сейчас карабкается на наш могильный холм,— мой ребенок.

— Вальтер,— спросила она,— что случилось?

Забет, которая ничего не подозревала.

— Знаешь ли,— сказала она,— ты тоже слишком много куришь!

Потом разговор об акведуке...

Лишь бы говорить!

Мое объяснение о сообщающихся сосудах.

— Да, да,— сказала она,— это мы проходили!

Ее смех, когда я сказал, что древние римляне, попади им в руки мой эскиз на папиросной коробке, сэкономили бы минимум 90 процентов трудовых затрат, возводя свои сооружения.

Мы опять лежали в траве.

Над нами самолеты...

— Знаешь что,— сказала она,— вовсе незачем тебе улетать обратно.

Это был наш предпоследний день.

— Когда-нибудь мы все же должны расстаться, детка, так или иначе...

Я наблюдал за ней.

— Конечно,— сказала она. Снова села и сорвала травинку, глядя в пространство. Мысль о том, что мы расстаемся, ее не трогала, ничуть не трогала. Она не сунула травинку в рот, а обернула ее вокруг пальца, как кольцо, и сказала:

— Конечно.

Никакой мысли о свадьбе!

— Интересно, мама тебя еще помнит?

Это забавляло ее.

— Маму студенткой я не могу себе представить,— сказала она. Мама — студентка, говоришь ты, в каморке под самой крышей... об этом мама никогда не рассказывала.

Это забавляло ее.

— А какая она была?

Я держал ее голову обеими руками так, чтобы она не могла пошевельнуться, как держишь голову собаки. Я ощущал ее силу, которая, однако, не помогала ей освободиться, силу ее затылка. Мои руки были словно тиски. Она закрыла глаза. Я не целовал ее. Я только держал ее голову. Как вазу — легкую, хрупкую, постепенно тяжелевшую.

— Вальтер,— сказала она,— ты делаешь мне больно...

Мои руки держали ее голову, пока она не открыла глаза, медленно, чтобы увидеть, чего я, собственно, хочу; я и сам не знал.

— Серьезно,— сказала она,— ты делаешь мне больно!

Теперь очередь была за мной, следовало что-то сказать; она опять закрыла глаза, как собака, когда ее крепко держишь.

Потом мой вопрос...

— Оставь меня! — сказала она.

Я ждал ответа.

— Нет,— сказала она,— ты не первый мужчина в моей жизни, ты же знал!

Ничего я не знал.

— Нет,— сказала она,— не беспокойся.

Она так тщательно отвела с висков прижатые волосы — словно волосы сейчас занимали ее больше всего. Она вытащила гребенку из своих черных ковбойских штанов, чтобы причесаться, и стала рассказывать, вернее, не рассказывать, а только так — делилась кое-чем:

— He's teaching in Yale. [1]

В зубах у нее была заколка.

— Другого,— сказала она, держа заколку в зубах и расчесывая конский хвост,— ты видел.

Очевидно, она подразумевала пинг-понговского юнца.

— Он хотел на мне жениться,— сказала она,— но это была ошибка с моей стороны, знаешь ли, он мне совсем не нравится.— Потом ей понадобилась заколка, она вынула ее изо рта, который так и не закрывала, хотя не произнесла ни слова, пока не кончила причесываться. Тогда она подула на гребешок, бросила взгляд на Тиволи — она была готова.

— Пошли? — спросила она.

Собственно, и мне уже не сиделось здесь, я хотел встать, взять свои ботинки, надеть их; сперва, конечно, носки, потом ботинки, чтобы можно было уйти.

— Ты считаешь, что я гадкая?

Я не считал ничего.

— Вальтер! — сказала она.

Я взял себя в руки.

— I'ts okay! — сказал я.

Потом пешком обратно, по Аппиевой дороге.

Мы уже сидели в машине, когда Забет еще раз начала («Ты считаешь, что я гадкая?») и хотела знать, о чем я все время думаю, но я вставил ключ и завел мотор.

— Давай,— сказал я,— не будем говорить!

Теперь мне хотелось ехать.

Пока мы сидели в машине и еще не тронулись, Забет рассказывала

---

[1] Он преподает в Йельском университете *(англ.)*.

о своем папе, о разводе, о воине, о маме, об эмиграции, о Гитлере, о России...

— Мы даже не знаем,— сказала она,— жив ли еще папа.

Я выключил мотор.

— «Бедекер» у тебя? — спросила она.

Она изучала карту.

— Это арка Сан-Себастиано,— сказала она,— теперь направо, и мы выедем в Сан-Джованни-ин-Латерано.

Я опять включил мотор.

— Я знал его,— сказал я.

— Папу?

— Иоахима,— сказал я.— Да...

Я поехал, как было приказано: к арке Сан-Себастиано, потом направо, пока перед нами опять не оказалась церковь.

Снова осмотр.

Возможно, я трус. Я уже не решался ни говорить об Иоахиме, ни спрашивать. Высчитывал про себя (я болтал, кажется, больше, чем обычно, без пауз), пока расчеты не сошлись, как мне того хотелось: она могла быть только ребенком Иоахима! Как именно я высчитывал, не знаю; я передвигал даты так и сяк, пока счет действительно не сошелся. В пиццерии, когда Забет ненадолго вышла, я еще раз проверил на бумаге свои расчеты. Они сходились — ведь у меня были даты (сообщение Ганны о том, что она ждет ребенка, и мой отъезд в Багдад), я подобрал их так, что расчет сошелся, точно мне был известен день рождения Забет, остальное по элементарному подсчету. Камень свалился у меня с сердца. Я знаю, что в тот вечер девушка находила меня более веселым, чем обычно, даже остроумным. Мы сидели до полуночи в этой пиццерии. Между Пантеоном и площадью Колонны, где певцы с гитарами, после того как они кончат попрошайничать перед туристским рестораном, едят свою пиццу, запивая ее стаканом кьянти; я платил круг за кругом, и настроение стало весьма приподнятым.

— Вальтер,— сказала она.— Вот здорово у нас получается!

Мы возвращались к себе в отель на виа Венето в отличном настроении, не пьяные, а как-то воодушевленные; в отеле нам открыли большую стеклянную дверь и в вычурном лепном холле тотчас же вручили ключи от комнат.

— Мистер Фабер, мисс Фабер! Покойной ночи!

Не знаю, сколько я простоял в своей комнате, не задергивая занавесей, эдакая шикарная гранд-отельная комната, чересчур большая, чересчур высокая. Я стоял, не раздеваясь. Я стоял, как робот, который получил команду «Умойся!», но не функционирует.

— Забет,— спросил я,— что случилось?

Она вошла, не постучавшись, и остановилась на пороге.

— Ну же! — сказал я.

Она стояла босая, в своей желтой пижаме, сверху черная куртка с капюшоном, она не хотела входить, только пожелать мне спокойной ночи. Я видел ее заплаканные глаза.

— Почему я больше не должен любить тебя?— спросил я.— Из-за Гарди или как там его?..

Вдруг она разрыдалась...

Потом она заснула, я ее укрыл, окно осталось распахнутым, ночь была прохладной. Тепло, по-видимому, успокоило ее, она действительно спала крепко, несмотря на шум с улицы, несмотря на ее страх, что я уйду. Должно быть, на этой улице был рядом светофор — оттого и шум, мотоциклы, взвывавшие на холостом ходу, а потом гудевшие, хуже всего какая-то «альфа-ромео», которая все время возвращалась, и всякий

раз на бешеной скорости, как на гоночном старте, ее гудки между домами, едва три минуты бывало тихо; время от времени перезвон колоколов какой-то римской церкви, потом снова гудки, скрежет тормозов, стоп, полный газ на холостом ходу, бессмысленное, дерьмовое мальчишество, потом опять выхлопы, металлический грохот, как видно, это действительно была одна и та же «альфа-ромео», которая всю ночь напролет кружила вокруг нас. Мне уже совсем не хотелось спать. Я лежал рядом с Забет, даже пыльных башмаков и галстука я не снял, но я не мог пошевельнуться, ее голова лежала на моем плече. Сквозь занавеси пробивался свет дуговой лампы, которая то и дело качалась, и я лежал, как на дыбе,— ведь я не мог шевельнуться. Спящая девушка положила руку мне на грудь, точнее, на мой галстук. Она натягивала его, и он мешал мне, мой галстук. Я слышал бой часов, час за часом, пока Забет спала, черный комочек с жаркими волосами и жарким дыханием, я был не в силах думать о том, что же дальше. Потом снова эта «альфа-ромео», ее гудки в улочках, торможение, полный газ на холостом ходу, сигналы, металлический грохот в ночи.

В чем же моя вина? Я встретил ее на пароходе, когда мы ждали распределения столиков, девушка с мотающимся конским хвостом, она стояла передо мной. Я обратил на нее внимание. Я заговорил с ней, как люди обычно заговаривают друг с другом на таком пароходе. Я не преследовал девушку, не морочил ей голову, наоборот: я говорил с ней проще, более искренне, более откровенно, чем обычно, например, про свое холостяцкое бытие. Я предложил ей руку и сердце, не будучи влюблен, и мы сразу поняли, что это чепуха, и распрощались. Зачем я искал ее в Париже? Мы пошли вместе в оперу, а потом еще ели мороженое, потом я отвез ее, не задерживая, в ее дешевый отель на Сен-Жермен, я предложил ей совершить поездку со мной, вместо того чтобы путешествовать при помощи автостопа, так как у меня был «ситроен» Вильямса, а в Авиньоне, где мы в первый раз переночевали, мы жили, разумеется, в одной гостинице, но даже на разных этажах. Ведь все другое могло навести на мысль о намерении, которого у меня не было. Я ни одного мгновения не думал, что дойдет до этого. Я помню только, была ночь 13.V, затмение Луны — для нас неожиданное. Я не читал газет, и мы этого не ожидали. Я сказал:

— Что это с Луной?

Мы ужинали на воздухе, было примерно 10 часов, время встать из-за стола — ведь мы хотели рано утром ехать дальше. Простой факт, что три небесных тела— Солнце, Земля, Луна — случайно оказались на одной прямой (что и вызвало затмение Луны), лишил меня покоя, как будто затмение Луны было для меня каким-то непостижимым явлением. Когда я заметил круглую тень Земли на полной Луне, я расплатился за кофе и мы рука об руку поднялись на террасу над Роной, а потом целый час, по-прежнему рука об руку, стояли в ночи и следили за Луной. И я еще объяснял девушке, каким образом Луна, полностью закрытая тенью Земли, все же излучает свет и мы отчетливо видим ее, даже отчетливее, чем при новолунии, не в виде светящегося диска, как обычно, а явственно, как шар, как мяч, как небесное тело, как огромную массу в пустой вселенной — оранжевую. Не припомню всего, что я наговорил за час. Девушка впервые поверила тогда (это я помню), что я отношусь всерьез к нам обоим, к нашим отношениям, и поцеловала меня так, как еще никогда не целовала. Надо сказать, что зрелище затмения было скорее подавляющим: масса чудовищных размеров, которая висит, точнее, несется там, в пространстве, это наводит на вполне реальное, ощутимое представление, что и мы, то есть Земля, так же висим, точнее, несемся во

тьме. Кажется, я говорил о смерти и жизни, и мы оба были взволнованы, потому что еще никогда не видели такого ярко выраженного затмения Луны, я — тоже не видел, и в первый раз у меня появилось смутное ощущение, что девушка, которую я до сих пор считал ребенком, влюблена в меня. Во всяком случае, в ту ночь, после того, что мы до озноба простояли на террасе, она пришла в мою комнату...

А потом встреча с Ганной.

(3.VI. в Афинах.)

Я ее узнал, еще не проснувшись. Она говорила с сестрой милосердия. Я знал, где я, и хотел спросить, сделана ли уже операция, но я спал, изнуренный донельзя, меня мучила жажда, а я не мог этого сказать. Но я слышал ее голос, она говорила по-гречески. Мне принесли чай, но я не в силах был взять чашку: я спал, и слышал все, и знал, что я сплю, и знал: когда я проснусь, будет Ганна.

И вдруг тишина...

Мой страх, что девочка умерла...

Вдруг я лежу с открытыми глазами — белая больничная комната, у окна стоит дама, она думает, что я сплю и не вижу ее. Ее седые волосы, маленькая фигурка. Она ждет, засунув руки в карманы жакета, и смотрит в окно. Кроме нее в комнате никого. Чужая. Ее лица не видно, только затылок, только коротко остриженные волосы. Она то и дело вынимает носовой платок, чтобы высморкаться, но тут же сует его обратно, сжимая в комок нервной рукой. Помимо этого — ни одного движения. На ней очки, черные очки в черепаховой оправе. Она могла бы сойти за врача, за адвоката — в общем, за кого-то в этом роде. Она плачет. Потом ее рука скользит под очки, как будто она прячет лицо. Прячет долго. Но вот она опускает руку, чтобы еще раз развернуть мокрый носовой платок, потом опять прячет его и ждет, она смотрит в окно, но там ничего не видно, только жалюзи. У нее спортивная, даже девичья фигура, если бы не седые волосы. Потом она вынимает его еще раз, свой носовой платок, чтобы протереть очки, и тогда наконец я вижу ее лицо, смуглое, если бы не синие глаза — оно могло быть лицом индианки.

Я сделал вид, что сплю.

Ганна с седыми волосами!

Видимо, я на самом деле еще раз заснул — на полминуты или на полчаса, пока моя голова не стукнулась об стенку, я испугался, и она увидела, что я не сплю. Она не сказала ни слова, только посмотрела на меня.

— Ну как?— спросил я.

Ганна продолжала курить.

— Будем надеяться на лучшее,— сказала она,— сделан укол, будем надеяться на лучшее.

— Она жива?

— Да,— говорит Ганна.

Она и не думала здороваться.

— Доктор Элетеропулос как раз был здесь,— говорит она,— он считает, что это не черная гадюка...

Она налила мне чашку чая.

— На вот,— сказала она,— выпей чашку чая.

Мне и в голову не приходило (я не притворяюсь), что мы уже двадцать лет не говорили друг с другом; мы обсуждали операцию, которая была сделана час назад, только ее. Мы вместе ждали дальнейших сведений от врача.

Я пил чашку за чашкой.

— Ты знаешь,— говорит она,— что они тебе тоже сделали инъекцию?

Я этого не заметил.

— Только десять кубиков, только профилактически,— говорит она,— из-за слизистой оболочки рта.

Ганна вообще чрезвычайно деловита.

— Как это случилось?— спрашивает она.— Вы сегодня были в Коринфе?

Меня знобило.

— А где твоя куртка?

Моя куртка лежала на берегу моря.

— С каких пор вы в Греции?

Я удивлялся Ганне. Мужчина, товарищ, не мог бы спрашивать более деловито. И я пытался отвечать так же деловито. Зачем сто раз уверять, что я не виноват? Ведь Ганна и без того не упрекала, она просто спрашивала, устремив взор в окно. Она спрашивала, не глядя на меня.

— Что у тебя было с девочкой?

В то же время она очень нервничала, я это видел.

— Значит, это не черная гадюка?— спросил я.

— Пей чай!

— С каких пор ты носишь очки?— спросил я.

■

Змеи я не видел, я только услышал, как Забет вскрикнула. Когда я подбежал, она лежала без сознания. Я видел, как Забет упала, и бросился к ней. Она лежала на песке, она упала и потеряла сознание, подумал я. Потом я увидел ранку от укуса, над грудью, маленькую, три точки, почти рядом,— и сразу все понял. Она едва кровоточила. Конечно, я тут же высосал яд из ранки, как предписано, я знал, что следует наложить повязку выше области сердца. Но как? Укус был повыше левой груди. Я знал, надо немедленно вырезать, выжечь место укуса. Я кричал, звал на помощь, но я стал задыхаться еще до того, как выбрался на дорогу, неся пострадавшую на руках, я увязал в мягком песке; вдобавок — отчаяние, когда я увидел проехавший мимо «форд». Я кричал, громче кричать я не мог. Но «форд» проехал мимо. Я стоял и задыхался с бесчувственной девушкой на руках, она становилась все тяжелее, я уже едва держал ее — ведь она ничем не могла мне помочь... Это была настоящая проезжая дорога, но никакого транспорта... Я перевел дух, потом пустился дальше по дороге — гравий на битуме — сначала бегом, потом медленнее, все медленнее, босиком. Был полдень. Я плакал и шел все вперед, пока наконец не появилась эта двухколесная тележка. От моря, вверх. Рабочий говорил только по-гречески, но сразу все понял, увидев рану. Я сидел на трясущейся тележке, нагруженной влажной галькой, девушка у меня на руках, в том виде, как она была, когда это случилось, а именно: в купальном костюме (бикини), вся в песке. Гальку так трясло, что я должен был по-прежнему держать Забет на руках; трясло и меня. Я попросил рабочего ехать скорее. Осел двигался не быстрее пешехода. Это была скрипучая тележка, с расшатанными колесами, каждый километр казался вечностью, я сидел так, что видел дорогу позади нас. Но машин — ни единой. Я не понимал, что говорит грек, зачем он остановился у колодца, привязал осла; кроме этого он делал мне знаки, чтобы я подождал. Я умолял его ехать дальше, не терять времени, я не знал, что он задумал, когда он оставил меня одного на тележке с галькой, с пострадавшей девушкой, которой была необходима сыворотка. Я снова пососал ранку. Очевидно, он пошел к хижинам просить о помощи. Я не знал, как он себе представляет ее, эту помощь, в виде травы, или заговора, или еще чего-нибудь. Он посвистал, потом зашагал

дальше, из хижин ему не ответили. Я подождал несколько минут, потом снова пустился вперед с девушкой на руках, сначала опять бегом — и опять задохнулся. Я просто изнемогал. Я положил ее на обочину дороги, потому что бежать все равно было бессмысленно: не мог же я нести ее до Афин. Либо появится машина, которая нас подберет, либо не появится. Когда я снова пососал ранку над грудью, я увидел, что к Забет медленно возвращается сознание, ее глаза широко раскрыты, но не видят, она только жалуется на жажду, голос совсем хриплый, пульс очень замедленный, потом рвота, вдобавок — пот. Теперь я увидел синевато-красную опухоль вокруг ранки. Я бросился искать воду. Вокруг ничего, кроме дрока, чертополоха, оливковых деревьев на высохшем поле, ни единого человека, несколько коз в тени, я мог звать и кричать сколько угодно — был полдень, мертвая тишина, я встал на колени возле Забет; она была в сознании, только очень сонная, как парализованная. К счастью, я издали увидел грузовик, так что успел выбежать на дорогу; он затормозил — грузовик с ворохом длинных железных труб. Он ехал не в Афины, а в Мегару, все-таки в нужном направлении. Я сидел рядом с шофером, больная девушка лежала у меня на руках. Лязг длинных труб, кроме того убийственный темп — едва тридцать километров в час по прямой дороге. Моя куртка осталась на берегу моря, деньги — в куртке. В Мегаре, где он остановился, я дал шоферу, который тоже знал только греческий язык, мои часы «Омега», чтобы он немедленно ехал дальше, не сгружая труб. В Элевсине, где он заправлялся горючим, опять задержались на четверть часа. Я никогда не забуду этой дороги. Боялся ли он, что я потребую у него обратно свои часы «Омега», если поеду дальше на более скором транспорте, или вообразил еще что-нибудь, не знаю, так или иначе, он два раза не дал мне пересесть на другие машины. Один раз это был автобус, «пульман», в другой раз — лимузин, который я остановил, помахав рукой. Мой шофер что-то сказал им по-гречески, и те уехали. Он непременно хотел быть нашим спасителем, но шофером оказался никудышным. При подъеме в Дафни мы едва ползли. Забет спала, и я не знал, откроет ли она еще когда-нибудь глаза. Наконец предместье Афин, но ехали мы все медленнее — светофоры, обычные пробки; наш грузовик, с длинными, торчащими во все стороны трубами, был неповоротливее всех остальных машин, которым не нужна была сыворотка; отвратительный город, столпотворение трамваев и повозок, запряженных ослами; конечно, наш шофер не знал, где больница, ему приходилось спрашивать, у меня создалось впечатление, что он не найдет ее никогда, я закрывал глаза или смотрел на Забет, которая дышала замедленно. (Все больницы находились на другом конце Афин.) Так как шофер был из деревни, он не знал даже названия улиц, которые нам указывали, а я понимал только: Леофорес, Леофорес, я пытался помочь, но я даже не умел читать, и мы бы никогда не нашли больницы, если бы молодой парнишка не вскочил на подножку,чтобы показать дорогу.

Потом приемный покой...

Сплошные вопросы по-гречески...

Наконец сестра милосердия, которая понимает по-английски, особа с сатанинской выдержкой и хладнокровием; ее главная забота — наши удостоверения личности!

■

Врач, который осмотрел девушку, успокоил нас. Он понимал по-английски, но отвечал по-гречески: Ганна переводила мне, он объяснил нам самое главное: это был аспид, а не гадюка. По мнению врача, я поступил правильно и разумно, доставив пострадавшую в больницу. О народных средствах (вырезании или прижигании, тугой повязке пораженной части

тела) он, как профессионал, был невысокого мнения; надежно только введение сыворотки в течение трех-четырех часов после укуса, хирургическое вмешательство — только как крайняя мера.

Он не знал, кто я такой.

Я тоже был хорош: потный и пыльный, как тот рабочий на тележке с галькой, да еще ноги в дегте, уже не говоря о рубашке, прямо бродяга, босой, без куртки; врач взглянул на мои ноги и препоручил меня сестре милосердия, он говорил только с Ганной, пока Ганна не представила меня.

— Mister Faber is a friend of mine. [1]

Успокаивало меня вот что: смертность от укуса змеи (гадюк и аспидов всех видов) не превышает 3—10 процентов, даже при укусе кобры не более 25 процентов, хотя это совершенно не соответствует суеверному страху перед змеями, еще сохранившемуся повсюду.

Ганна тоже несколько успокоилась.

Но я не хотел уходить из больницы, не повидав Забет, я настаивал на том, чтобы увидеть девушку хотя бы на минуту (врач немедленно дал согласие), а Ганна вела себя весьма странно: она не оставляла меня ни на минуту в палате, как будто я хотел украсть у нее дочь.

— Пойдем,— говорит Ганна,— теперь она спит.

Может быть, счастье, что девочка не узнала нас. Она спала с открытым ртом (обычно она так не спит) и была очень бледна, ее ухо казалось мраморным, дыхание было ускоренным, но равномерным, так сказать, не тревожным, и когда я стоял у ее кровати, она повернула голову в мою сторону. Но она спала.

— Пойдем,— говорит Ганна,— оставь ее!

Я предпочел бы поехать в какую-нибудь гостиницу. Почему я этого не сказал? Может быть, Ганне тоже было бы приятнее. Мы даже не поздоровались за руку. В такси, когда это дошло до моего сознания, я сказал:

— Приветствую тебя!

Она улыбнулась, как обычно, над моими неудачными шутками,— морщинка на лбу, между бровями.

Уж очень она похожа на свою дочь.

Я, конечно, ничего не сказал.

— Где ты познакомился с Эльзбет,— спрашивает она,— на пароходе?

Забет писала о пожилом господине, который на пароходе, недалеко от Гавра, сделал ей предложение.

— Это верно? — спрашивает она.

Наш разговор в такси — сплошные вопросы без ответов.

Почему я называю ее Забет? Это вместо ответа на мой вопрос «А почему Эльзбет?» Тем временем она обращает мое внимание на театр Диониса. Почему я называю ее Забет? Да потому, что Элизабет, по-моему, невозможное имя. Тем временем она снова обращает мое внимание на очередные разрушенные колонны. Почему именно Элизабет? Я никогда бы так не назвал ребенка. Тем временем у светофоров обычные пробки. Ничего не поделаешь, теперь ее зовут Элизабет, по желанию отца... Тем временем Ганна разговаривает с шофером, который обругал пешехода,— у меня такое впечатление, что мы просто катаемся по кругу, и это действует мне на нервы, хотя теперь у нас вдруг оказалось сколько угодно времени. Затем ее вопрос.

— Ты когда-нибудь виделся еще с Иоахимом?

Я находил, что Афины — отвратительный город,— Балканы: я не мог себе представить, где тут живут люди, провинциальный городишко,

[1] Мистер Фабер — мой друг *(англ.)*.

кое-где даже деревня, левантийская деревня, толчея посреди улицы, потом снова глушь, развалины вперемежку с имитацией большого города, отвратительно! Мы остановились вскоре после ее вопроса.

— Здесь? — спрашиваю я.

— Нет,— говорит она,— я сейчас вернусь.

Это был институт, где Ганна работает; а мне пришлось ждать в такси, без единой сигареты, я пробовал читать надписи и вынужден был признать, что я просто неграмотный и совершенно пропащий человек.

Потом едем обратно в город...

Когда Ганна вышла из института, я, откровенно говоря, не узнал ее, иначе, разумеется, я открыл бы перед ней дверцу такси.

Потом ее квартира.

— Я пойду вперед,— говорит она.

Ганна идет вперед, дама с седыми, коротко остриженными волосами, в роговых очках, чужая, но мать Забет, точнее, Эльзбет (так сказать, моя теща), и меня просто удивляет, что мы так запросто — на «ты».

— Проходи же,— говорит она,— устраивайся поудобнее.

Встретиться снова, после двадцати лет — на это я не рассчитывал, Ганна тоже, впрочем она права — уже двадцать один год, а не двадцать лет, по правильному подсчету.

— Проходи же,— говорит она,— садись.

У меня болят ноги.

Я, конечно, знал, что она рано или поздно повторит свой вопрос («Что у тебя было с девочкой?»), и я мог бы поклясться ей: «Ничего!» — причем без обмана, ведь я сам в это не верил, видя перед собой Ганну.

— Вальтер,— говорит она,— почему ты не садишься?

Упорно продолжаю стоять...

Ганна подняла жалюзи.

«Главное, чтобы девочка была спасена!» — я повторял это про себя беспрерывно, когда что-нибудь говорил или молчал, и курил Ганнины сигареты. Она убрала книги с кресла, чтобы я мог сесть.

— Вальтер,— спрашивает она,— ты голоден?

Ганна в роли матери...

Все смешалось у меня в голове.

— Красивый вид,— говорю я,— у тебя отсюда. Значит, это и есть знаменитый Акрополь?

— Нет,— сказала она,— это Ликабеттос.

У нее и тогда была эта привычка, мания даже в мелочах быть совершенно точной: «Нет, это Ликабеттос!»

Я ей так и говорю:

— Ты не изменилась!

— Ты находишь? — спрашивает она.— А ты изменился?

Ее квартира — квартира ученого (я это тоже высказал; позже, в каком-то разговоре о мужчинах, Ганна процитировала мое тогдашнее замечание насчет квартиры ученого, как доказательство того, что я вообще считаю науку и духовную жизнь монополией мужчин): по стенам сверху донизу книги, письменный стол завален черепками с этикетками, в остальном я на первый взгляд не заметил ничего антикварного, наоборот: мебель вполне современная, что удивило меня, знавшего вкусы Ганны.

— Ганна,— говорю я,— а ты стала передовой!

Она только улыбнулась.

— Это вполне серьезно!

— Как всегда? — спрашивает она.

Иногда я не понимал ее.

— А ты, как всегда, передовой? — спрашивает она, и я был рад, что Ганна по крайней мере улыбается.

Я уже видел, понимал — обычные угрызения совести, какие испытываешь, не женившись на девушке, здесь ни к чему. Я не был нужен Ганне. Она обходилась без собственной машины и без телевизора тоже, но была вполне довольна.

— Красивая у тебя квартира,— сказал я.

В разговоре я упомянул о ее муже.

— Ах, да, Пайпер,— сказала она.

Но и он ей был не нужен — очевидно даже экономически. Она уже много лет живет собственным трудом (каким именно, я, признаться, и сегодня точно не представляю себе), не роскошно, но живет. Я это видел. Ее платья могли бы выдержать конкуренцию даже с платьями Айви, а, за исключением допотопных стенных часов с потрескавшимся циферблатом, ее квартира, как уже сказано, была вполне современна.

— А как тебе живется? — спрашивает она.

На мне была чужая куртка, которую мне одолжили в больнице, куртка, которая была мне велика, я ощущал это все время,— слишком широкая, ведь я худой, и, кроме того, слишком короткая, рукава, словно в мальчиковой курточке. Как только Ганна вышла в кухню, я тут же снял ее, но и моя рубашка не годилась — ведь она была в крови.

— Если хочешь, прими ванну, пока я готовлю обед...

Она накрывала на стол.

— Да,— говорю я.— Я вспотел...

Она была трогательна и в то же время очень деловита: она зажгла газовую горелку и объяснила, как ею пользоваться, как ее тушить, и принесла чистое мохнатое полотенце, мыло.

— Ну, что твои ноги? — спросила она.

А сама тем временем орудует без передышки.

— Зачем в гостиницу? — спрашивает она.— Ведь ты можешь жить здесь, само собой разумеется.

Я чувствовал, что очень небрит.

Ванна наполнялась страшно медленно, из нее валил пар; Ганна пустила холодную воду, точно я сам не мог этого сделать; я сидел на табуретке, словно гость, и смотрел, ноги у меня очень болели. Ганна открыла окошечко, сквозь пар я видел только ее движения, они не изменились, нисколько.

— Я всегда полагал, что ты злишься на меня из-за того, что было тогда,— говорю я.

Ганна только удивилась.

— Почему злюсь? Оттого, что мы не поженились? — говорит она.— Это было бы несчастьем.

Она просто насмехалась надо мной.

— Серьезно, Вальтер,— говорит она,— ты действительно думал, что я злюсь вот уже двадцать один год подряд?

Моя ванна наполнилась.

— Почему несчастьем? — спрашиваю я.

Кроме этого раза мы больше не говорили об истории с женитьбой. Ганна права — у нас были другие заботы.

— Ты знала, что смертность от укуса змеи не превышает 3—10 процентов?

Меня лично это удивляло.

Ганна ни во что не ставит статистику, я это заметил сразу. Тогда — в ванной комнате — она дала мне произнести целую речь о значении статистики, а потом сказала:

— Твоя ванна остынет.

Не знаю, сколько я пролежал тогда в ванне, положив забинтованные ноги на край,— думал о статистике, думал об Иоахиме, который повесился, думал о будущем, думал, покуда меня не зазнобило, я сам

не знал, о чем думал, так сказать, не мог решиться узнать, о чем я думаю. Я видел флакончики, тюбики, коробочки, множество дамских принадлежностей, я больше не мог представить себе Ганну — Ганну тогда, Ганну сегодня, вернее, ни одну из них. Меня знобило, но мне не хотелось снова надевать окровавленную рубаху. Я не ответил, когда Ганна меня позвала.

— Что с тобой случилось?

Я и сам не знал.

— Чаю или кофе?

Я измучился за этот день, отсюда и моя нерешительность — вообще это не в моем характере, отсюда и мои мудрствования (ванна — подобие саркофага, этрусского!), прямо-таки бред от знобящей нерешительности.

— Да,— говорю я,— иду.

Честно говоря, я не имел намерения видеться с Ганной. Сразу же после нашего приезда в Афины я хотел отправиться на аэродром.

Мой отпуск кончался.

Как переправить одолженный мне Вильямсом «ситроен», который стоит в Бари, обратно в Париж, было для меня загадкой. Я даже не знал названия гаража!

— Да,— кричу я,— иду!

И остаюсь лежать.

Аппиева дорога...

Мумия в Ватикане...

Мое тело под водой...

Я отрицаю самоубийство — это ведь ничего не меняет, все равно ты жил на свете, но в этот час я желал только одного: не жить бы мне никогда!

— Вальтер,— спрашивает она,— ты идешь?

Я не закрыл дверь ванной, и Ганна (так я тогда подумал) могла просто войти и зарубить меня сзади топором, я лежал с закрытыми глазами, чтобы не видеть своего старого тела...

Ганна звонила по телефону.

Почему все это не обошлось без меня?!

Потом, вечером, я опять говорил как ни в чем не бывало. И без притворства: все неважно, главное, чтобы Забет была спасена. Благодаря сыворотке. Я спрашивал Ганну, почему она не верит в статистику, а вместо этого верит в судьбу и тому подобное.

— Брось ты свою статистику! — говорит она.— Вот если бы у меня было сто дочерей и всех укусила змея, тогда да! Тогда я потеряла бы только от трех до десяти дочерей. Удивительно мало! Ты совершенно прав.

И рассмеялась.

— Но у меня один-единственный ребенок! — говорит она.

Я не возражал, но все-таки мы чуть не поссорились — вдруг сдали нервы. Началось с моего замечания.

— Ганна,— говорю я,— ты ведешь тебя, как наседка!

Это просто сорвалось у меня с языка.

— Прости, пожалуйста,— сказал я,— но так оно и есть.

Только потом я сообразил, что вызвало мое раздражение. Я вышел из ванной; Ганна — у телефона; она звонила в больницу, пока я сидел в ванне, она говорила с Эльзбет.

Я невольно все слышал.

Ни слова обо мне...

Она говорила так, будто существовала только она, Ганна, мать, которая тоскует по Забет и радуется, что девушка чувствует себя немножко лучше и даже может ответить; они говорили по-немецки, пока я не

вошел в комнату, тогда Ганна перешла на греческий. Я не понимал ни слова. Потом она положила трубку.

— Ну, как она? — спрашиваю я.

Ганна, видимо, успокоилась...

— Ты сказала,— спрашиваю я,— что я здесь?

Ганна берет сигарету.

— Нет,— говорит она.

Ганна вела себя очень странно, а мне просто не верилось, что девушка не спросила про меня: казалось, я по меньшей мере имею право знать, о чем они говорили.

— Идем,— говорит Ганна.— Съедим чего-нибудь.

Больше всего меня бесила ее улыбка, как будто я не имел права знать все.

— Иди сюда,— говорит Ганна,— садись.

Но я не садился.

— Почему тебя оскорбляет, когда я говорю со своим ребенком? Почему? — спрашивает она.

В самом деле (вероятно, это присуще всем женщинам, как бы интеллектуальны они ни были), она вела себя, как наседка, которая хочет спрятать своего цыпленка под крыло; вот откуда и мое замечание про наседку. Слово за слово, Ганна разъярилась совсем по-бабьи, такой я ее никогда не видел.

— Это мой ребенок, не твой!

Вот тогда я спросил.

— Значит, правда, что ее отец — Иоахим?

Никакого ответа.

—Оставь меня! — говорит она.— Чего ты все еще от меня хочешь? Я полгода не видела Эльзбет, и вдруг этот звонок из больницы, я приезжаю и нахожу ее без сознания, не знаю, что случилось.

Я взял свои слова обратно.

— А ты,— говорит она,— о чем тебе говорить с моей дочерью? Что тебе вообще от нее надо? Что у тебя с ней?

Я видел, как она дрожит.

Ганну отнюдь не назовешь старухой, но, конечно же, я видел ее вялую кожу, тени под глазами, виски с гусиными лапками, я их не замечал, но я их видел. Ганна стала более худой, более хрупкой. Пожалуй, с годами она стала даже лучше, особенно лицо, но кожа на шее напоминает кожу ящерицы. Я снова взял свои слова обратно.

Я понял, что Ганна привязана к своему ребенку, что она считала дни до возвращения девочки домой и что матери нелегко, когда ее единственная дочь впервые уходит из дому.

— Ведь она уже не ребенок,— говорит Ганна.— Я сама отправила ее в эту поездку, ведь рано или поздно она должна начать собственную жизнь, и ясно, что рано или поздно она не вернется домой...

Я не прерывал Ганну.

— Так уж устроена жизнь,— сказала она,— мы не можем удержать ее своими руками, и ты, Вальтер, тоже не можешь!

— Знаю! — сказал я.

— Зачем же ты пытаешься?

Я не всегда понимал Ганну.

— Жизнь уходит с детьми,— говорит она.

Я осведомился, довольна ли она своей работой.

— Так уж устроена жизнь,— говорит она.— Мы не можем вступать в брак со своими детьми.

Мой вопрос остается без ответа.

— Вальтер,— спрашивает она,— сколько тебе теперь лет?

Именно тогда она и сказала: у нее не сто дочерей, а одна-единственная (что мне было известно), и у ее дочери только одна жизнь (что мне тоже было известно), как у каждого человека, и у нее, Ганны, тоже только одна жизнь, неудавшаяся жизнь, и у меня тоже (знаю ли я об этом?) только одна-единственная жизнь.

— Ганна,— сказал я,— мы это знаем.

Наш обед остыл.

— Отчего неудавшаяся? — спрашиваю я.

Ганна курит, вместо того чтобы обедать.

— Ты мужчина, я женщина, это разница, Вальтер!

— Надеюсь! — смеюсь я.

— У меня уже не будет детей...

Она сказала это в течение вечера дважды.

— Чем я занимаюсь? — говорит она.— Ты же видишь: работаю с черепками. Вот это, вероятно, была ваза. Крит. Я склеиваю осколки прошлого...

Я нахожу, что жизнь Ганны отнюдь не назовешь неудавшейся. Наоборот. Я не знаю ее второго мужа, этого Пайпера, они познакомились в эмиграции. Ганна почти не упоминает о нем (что еще и сейчас меня удивляет), хотя и носит его фамилию: д-р Ганна Пайпер. Ганна всегда делала только то, что ей казалось правильным. А уж одно это для женщины, по-моему, просто здорово! Она жила как хотела. Почему они не поладили с Иоахимом, она так и не сказала. По ее словам, он славный человек. Ничего похожего на упреки — просто она всех мужчин поголовно считает нелепыми. Может быть, Ганна слишком многого ждала от мужчин, а мне кажется, она любит мужчин. Но если уж упрекать, так только себя; если бы Ганна могла или вынуждена была жить еще раз, она любила бы мужчин совсем по-иному. Она находит вполне естественным (говорит Ганна), что все мужчины ограниченны, и раскаивается только в собственной глупости, в том, что каждого (не знаю, сколько их было) считала исключением. Притом Ганна, по-моему, отнюдь не глупа. Однако она считает, что это так. Она считает, что глупо, когда женщина ждет от мужчины понимания. Мужчина (говорит Ганна) хочет видеть в женщине загадку, собственное непонимание возбуждает, воодушевляет его. Мужчина слушает только себя, заявляет Ганна, поэтому жизнь женщины, которая ждет от мужчины понимания, непременно сложится неудачно. Мужчина смотрит на себя как на владыку жизни, женщина же — только его зеркало. Владыке незачем учиться языку угнетенных, а женщина вынуждена усвоить его язык. Но напрасно она старается научиться языку своего господина, она владеет только одним языком, который всегда делает ее неправой.

Ганна жалеет, что стала доктором филологических наук.

— Пока бог — мужчина, а не супружеская чета,— говорит Ганна,— жизнь женщины останется такой же, как теперь, а именно: достойной сожаленья, женщина — пролетарий мироздания, как бы элегантно она ни была одета.— Мне казалось смешной женщина пятидесяти лет, философствующая, как подросток, женщина вполне привлекательная, которая выглядит еще так безупречно, как Ганна, к тому же незаурядная личность, дама с такой наружностью. Я видел, как обращались с Ганной в больнице, иностранка, живет в Афинах всего три года, прямо-таки профессор, чуть не лауреат Нобелевской премии! Мне было жаль ее.

— Вальтер, ты же ничего не ешь.

Я взял ее за руку.

— Эх ты, пролетарий мироздания!

Ганна не пожелала улыбнуться, она ждала, чтобы я отпустил ее руку.

— Где же,— спрашивает она,— вы побывали в Риме?

Я доложил.

Как она взглянула на меня...

Можно было подумать, что я привидение — так смотрела на меня Ганна, когда я докладывал о Риме,— чудовище, с хоботом, с когтями, монстр, который пьет чай.

Я никогда не забуду этого взгляда.

Она не проронила ни слова...

Я опять заговорил — молчание было невыносимо — о смертности от укуса змей, о статистике вообще.

Ганна словно оглохла.

Я не смел взглянуть ей в глаза, когда хотя бы на секунду (дольше я не мог) думал о том, что я обнимал Забет, точнее, думал о том, что Ганна ее мать, мать моей возлюбленной, которая сама была моей возлюбленной.

Уж не знаю, что я говорил.

Ее рука (я обращался, так сказать, только к ее руке) была удивительной: маленькая, как рука ребенка, старше, чем сама Ганна, нервная и вялая, вообще не рука, а нечто увечное, мягкое, и увядшее, и костлявое, воск с веснушками, собственно не безобразная, наоборот: какая-то милая, но какая-то чужая, какая-то ужасная, печальная, слепая; я говорил, говорил, я молчал, я пытался представить себе руку Забет, но тщетно; я видел только ту, что лежала рядом с пепельницей на столе,— человеческая плоть с жилками под кожей, которая выглядит, как скомканная папиросная бумага, такая же мятая, но глянцеватая.

Я сам устал до смерти.

— В сущности, она еще ребенок,— сказала Ганна.— Или ты думаешь, она уже была близка с мужчиной?

Я посмотрел Ганне в глаза...

— Я же ей этого желаю,— сказала она,— да, я ей этого желаю!

Вдруг она принялась убирать со стола.

Я помогал.

Что касается статистики, то Ганна не желала о ней знать, потому что верит в судьбу, в рок, я это сразу заметил, хотя Ганна об этом не говорила. Все женщины склонны к суеверию, но Ганна — человек высокообразованный, вот почему меня это удивляет. Она говорит о мифах, как мы о теплопроводности, как о законе физики, который подтверждается опытами,— и говорит совершенно будничным тоном. Без удивления. Эдип и сфинкс, изображенные по-детски на битой вазе, Афина, Эринии, точнее Евмениды, или как их там всех зовут, для нее — реальности; она запросто может встрять со всем этим в серьезную беседу. Хотя я действительно в мифологии и вообще в беллетристике не силен, я все равно не хотел спорить, у нас и без того хватало практических забот.

5.VI мне следовало быть в Париже.

7.VI — в Нью-Йорке.

10.VI (самое позднее) — в Венесуэле...

Ганна работает в археологическом институте. Боги входят в ее job [1], об этом нельзя забывать, твердил я себе, вероятно, и наш брат, сам того не замечая, имеет какой-нибудь профессиональный заскок. Слушая Ганну, я невольно улыбался.

— Ну, ты, со своими богами!

Тогда она сразу умолкла.

— Ведь я бы не уехал, не будь твердо установлено,— сказал я,— что девочка спасена, можешь мне поверить.

Ганна как будто вполне овладела собой. Она мыла посуду, пока я

[1] Работа *(англ.)*.

кратко излагал свои деловые обязательства, а я вытирал посуду, совсем как двадцать лет назад, вернее, как двадцать один год назад.

— Ты находишь?

— А разве ты не находишь? — говорю я.

Как именно Ганна высчитала, как у нее получилось, что это было двадцать один год назад,— не знаю, но я придерживался этого, чтобы она каждый раз не поправляла меня.

— Красивая у вас кухня,— говорю я.

Вдруг она снова спрашивает:

— Ты больше не встречался с Иоахимом?

Рано или поздно я должен был сказать, что Иоахима нет в живых, но не сегодня же, не в первый же вечер.

Я говорил, о чем попало.

А наши ужины — тогда, в ее каморке!

— Ты помнишь госпожу Оппикофер?

— А что? — спрашивает она.

— Просто так,— говорю я.— Она всегда стучала палкой от щетки, когда я после десяти часов задерживался в тебя в каморке...

Посуда была вымыта и вытерта.

— Вальтер,— спрашивает она,— хочешь кофе?

Воспоминания смешны.

— Да,— говорю я,— через двадцать лет над ними можно посмеяться.

Ганна поставила кипятить воду.

— Вальтер,— спросила она,— ты выпьешь кофе?

— Да,— сказал я,— охотно.

Я не вижу, почему ее жизнь не удалась. Наоборот, по-моему, просто здорово, если человеку удается прожить примерно так, как ему однажды взбрело в голову. Откровенно говоря, я удивлялся, глядя на нее. Никогда не поверил бы, что история искусств и филология так хорошо оплачиваются. При этом, даже не скажешь, что Ганна неженственна. Работать ей к лицу. Кажется, она работала, еще будучи женой Иоахима. Переводы и прочее, и в эмиграции тоже. В Париже, после развода с Иоахимом, она работала в издательстве. Когда пришли немцы, она бежала в Англию, и там одна растила своего ребенка. Иоахим был врачом в России, поэтому помогать ей не мог. Ганна работала немецким диктором в Би-би-си. Еще и сейчас она британская подданная. Г-н Пайпер, по-видимому, обязан ей жизнью. Ганна вышла за него замуж, недолго раздумывая, как только его выпустили из лагеря,— тут сказалось ее старое пристрастие к коммунистам. Но в г-не Пайпере она разочаровалась, он оказался не коммунистом, а делягой. Как говорит Ганна: «Верен официальной линии до предательства, еще недавно готов был оправдывать концентрационные лагеря!» Ганна смеется: «Мужчины!..» Он готов подчиняться любому лозунгу, лишь бы снимать свои фильмы. В июне 1953 года Ганна ушла от него. Он и не заметит, если сегодня провозгласит то, что вчера отрицал, или наоборот, он просто утратил самостоятельное отношение к действительности. Ганна рассказывает о нем неохотно, но чем меньше это меня интересует, тем подробней. Ганна считает типичным для мужчин определенного сорта такое отношение к жизни, как у г-на Пайпера.

— Слепой, как курица,— заявляет Ганна,— человек, лишенный контакта. Раньше у него был хоть юмор, теперь он смеется только над Западом.— Ганна его не упрекает. Собственно, смеется она только над самой собой, точнее, над своей любовью к мужчинам.

— Так отчего же ты считаешь, что твоя жизнь не удалась,— говорю я,— ты себе это внушаешь, Ганна...

Теперь она и меня обзывает слепой курицей.

— Я вижу только то, что есть на самом деле,— говорю я,— твою квартиру, твою научную работу, твою дочь — ты должна бога благодарить!

— При чем здесь бог?!

Ганна — такая же, как прежде: она отлично все понимает. Но эта ее приверженность к словам! Как будто дело в словах. Говоришь о самых серьезных вещах, и вдруг она придирается к какому-нибудь слову.

— Вальтер, с каких пор ты стал верить в бога?

— Ну-ка,— говорю я,— свари кофе!

Ганна отлично знает, что с богом я не в ладах. В конце концов, она и сама не относится к этому серьезно.

— Почему тебе пришло в голову, что я религиозна? — спрашивает она.— Ты полагаешь, что женщине в период климакса ничего другого не остается?

Я заварил кофе.

Я не мог себе представить, что будет, когда Забет вернется из больницы. Забет, Ганна и я — в одной комнате, например, в этой кухне: Ганна, которая замечает, как мне приходится сдерживать себя, чтобы не поцеловать девочку или хотя бы не обнять ее за плечи, и Забет, которая обнаруживает, что я (как жулик, который снял обручальное кольцо) в действительности принадлежу ее маме, хотя держу руку на ее, Забет, плече.

— Только пусть не идет в стюардессы, я всячески старался отговорить ее.

— Почему?

— Потому что о стюардессе не может быть и речи,— говорю я,— это не для такой девушки, как Забет, она же, в конце концов, не первая встречная девица.

Кофе был готов.

— А почему бы ей не стать стюардессой?

Но я знал, что и Ганна, мать, отнюдь не в восторге от этой ребячьей идеи, она упорствует, только желая показать, что это меня не касается.

— Вальтер, это ее дело!

И еще:

— Вальтер, ты ей не отец!

— Знаю! — говорю я.

Этой минуты, когда мы сели и когда все хлопоты были окончены, я боялся с самого начала — теперь она наступила.

— Ну же,— говорит она.— Начинай!..

Все оказалось легче, чем я ожидал, почти обыденно.

— Расскажи мне,— говорит она,— что же было.

Я поразился ее спокойствию.

— Можешь себе представить мой испуг,— говорит она,— когда я прихожу в больницу и вижу тебя, ты там сидишь и спишь...

Ее голос нисколько не изменился.

В каком-то смысле все происходило так, будто и не было никаких двадцати лет, вернее, будто все это время, несмотря на разлуку, мы провели вместе. А то, чего мы не знали друг о друге,— нечто чисто внешнее, не заслуживающее внимания. Карьера и тому подобное. Так что же мне было рассказывать? Но Ганна ждала.

— Тебе с сахаром? — спрашивает она.

Я заговорил о своей профессии...

— Как это случилось, что ты путешествовал вместе с Эльзбет?

Ганна — женщина, но совсем другая, чем Айви и остальные женщины, которых я знал, нельзя и сравнивать; и другая, чем Забет, хотя дочь во многом на нее похожа. Ганна более родная — особенно сейчас, когда она смотрит на меня без враждебности.

Я даже удивился.

— Ты любишь ее? — спрашивает она.

Я пил кофе.

— Когда ты узнал, что я ее мать?

Я пил кофе.

— Ты же еще не знаешь, что Иоахим умер...

Я ведь не хотел этого говорить.

— Умер? — спрашивает она.— Когда?

Я дал себя увлечь, теперь было поздно отступать, мне пришлось рассказать — притом в первый же вечер! — все, что произошло в Гватемале. Ганна хотела знать все, что знал я об его возвращении из России, об его работе на плантации,— после того, как они развелись, она ничего об Иоахиме не слышала,— в заключение я все-таки не сказал, что Иоахим повесился, а соврал: ангина пекторис. Я удивлялся ее сдержанности.

— А девочке ты сказал? — спросила она.

Потом наше бесконечно долгое молчание.

Она опять просунула руку под роговые очки, словно желая спрятать лицо, я казался себе чудовищем.

— Ты же не виноват,— сказала она.

От того, что Ганна даже не плакала, было еще тяжелей. Она поднялась.

— Да,— сказала она,— пойдем спать.

Была полночь, примерно, часы-то я отдал, но все равно казалось, что время остановилось.

— Ты ляжешь в комнате Эльзбет.

Мы стояли в ее комнате.

— Ганна,— говорю я,— скажи мне правду, он ее отец?

— Да! — говорит она.— Да!

В эту минуту я почувствовал облегчение, у меня не было оснований предполагать, что Ганна лжет, и в эту минуту (будущее все равно было неясно) я считал: главное, что девушке ввели сыворотку. Теперь она спасена.

Я протянул Ганне руку.

Мы стояли, усталые до того, что ноги подкашивались, Ганна тоже, я думаю. Собственно, мы уже пожелали друг другу спокойной ночи, когда Ганна еще раз спросила:

— Вальтер, что у тебя было с Эльзбет?

Притом она определенно знала.

— Послушай,— говорит она,— скажи мне!

Не знаю, что я ответил.

— Да или нет? — спрашивает она.

Что сказано, то сказано...

Ганна еще улыбалась, как если бы не слышала, я почувствовал облегчение, что наконец это сказано, даже бодрость, но по меньшей мере облегчение.

— Ты сердишься на меня? — спрашиваю я.

Я предпочел бы спать на полу, но Ганна настояла на том, чтобы я хорошенько отдохнул, постель уже была застлана чистыми простынями — все для дочери, которая полгода пробыла на чужбине, новая пижама, ее Ганна убрала; цветы на ночном столике, шоколад — это осталось.

— Ты на меня сердишься? — снова спрашиваю я.

— У тебя все есть? — говорит она.— Мыло там.

— Я не мог знать,— говорю я.

— Вальтер,— говорит она,— нам пора спать.

Она, кажется, не сердилась, она даже еще раз пожала мне руку. Она нервничала — только и всего, и без толку суетилась. Я слышал, как она прошла на кухню, где все уже было прибрано.

— Могу я чем-нибудь помочь?

— Нет,— говорит она.— Теперь спи!

Комната Забет небольшая, но милая, много книг и здесь. Вид на Ликабеттос, я еще долго стоял у открытого окна.

У меня не было пижамы.

Не в моих привычках рыться в чужой комнате, но фото стояло как раз на виду, на книжной полке, в конце концов я сам знал Иоахима, ее отца, я взял его фото с полки.

Снято в 1936 году, в Цюрихе.

Я, собственно, намеревался лечь в постель и ни о чем больше не думать, но у меня, как уже сказано, не было пижамы, только моя грязная рубашка...

Наконец Ганна прошла в свою комнату.

Вероятно, было около двух часов ночи, я сидел на чистой постели, как сидят на скамьях сквера бездомные, ссутулившись, наклонившись вперед, я всегда думал, глядя на них,— как зародыши в чреве,— но не спал.

Я вымылся.

Один раз я постучал в стенку.

Ганна сделала вид, что спит.

Ганна не хотела говорить со мной; в течение вечера она как-то сказала, чтобы я замолчал: все становится таким мелким, незначительным, когда об этом говоришь!

Может быть, Ганна в самом деле спала.

Ее письма из Америки — я имею в виду письма Забет,— лежали на столе, целая связка, со штемпелем Йельского университета, одно из Гавра, потом открытки с видами из Италии, я прочел одну из них, потому что она упала на пол. Привет из Ассиз (без упоминания моей персоны), тысяча поцелуев маме, сердечно обнимаю...

Я выкурил еще одну сигарету.

Потом попытался выстирать рубашку.

Не знаю, отчего я вообразил, что все преодолено, во всяком случае, что худшее позади, и как я мог подумать, что Ганна спит.

Я стирал как можно тише.

Должен сознаться, порой, минут на пятнадцать, я просто забывал, что происходит, все представлялось мне сном: вот так иной раз снится, что ты приговорен к смерти, ты знаешь, что этого не может быть наяву, просто надо проснуться.

Я повесил мокрую рубашку на окно.

Я разглядывал лицо Иоахима, мужественное лицо, симпатичное, но сходства с Забет я, говоря по правде, не нашел.

— Ганна,— окликнул я ее,— ты спишь?

Ответа нет.

Меня знобило — я ведь был без рубахи, мне не пришло в голову взять халат Забет, который висел на двери, я его видел.

Вообще ее девичьи вещи!

Ее флейта на книжной полке...

Я потушил свет.

Вероятно, Ганна уже давно всхлипывала, зарывшись лицом в подушку, пока не выдержала. Я испугался, когда услышал, моя первая мысль: «Она солгала, и все-таки отец — я». Она плакала все громче, наконец я подошел к ее двери и постучал.

— Ганна,— сказал я,— это я.

Она заперла дверь на ключ.

Я стоял и слышал только ее плач, напрасны были мои просьбы, чтобы она вышла в коридор и объяснила, что случилось, в ответ ничего, кроме плача, сперва тихого, потом все более громкого, он не прекращался, а когда прекращался, было еще хуже; я прикладывал ухо к двери, не зная, что думать, вдруг у нее просто слабел голос, она только тихо подвывала, поэтому мне было легче, когда она снова начинала рыдать.

У меня не было перочинного ножа, ничего...

— Ганна,— говорю я,— открой!

Когда мне удалось кочергой приоткрыть дверь, Ганна возмутилась. Она даже закричала, когда увидела меня. Я стоял голый до пояса, может быть, поэтому. Разумеется, мне было жаль ее, и я оставил дверь в покое.

— Ганна,— сказал я,— ведь это я!

Ей хотелось быть одной.

■

Только сутки назад (а мне это представляется как бы воспоминанием юности!) мы еще сидели в Акрокоринфе, Забет и я, и ждали восхода солнца. Я этого никогда не забуду! Мы приехали из Патраса и вылезли в Коринфе, чтобы осмотреть бесчисленные колонны какого-то храма. Потом ужинали в пансионате поблизости. В остальном Коринф просто курятник. Когда выяснилось, что комнат нет, уже смеркалось. Забет нашла, что я здорово придумал — двинуться дальше в ночь, просто так, и спать под смоковницей. Собственно, я это сказал шутя, но, так как Забет находит, что это блестящая идея, мы действительно отправляемся на поиски смоковницы куда глаза глядят. Затем лай овчарок — тревога, стада в ночи. Судя по тявканью, этих тварей было изрядное количество, но там, выше, куда они нас загоняют, нет уже ни одной смоковницы, только чертополох и, кроме того, ветер. О сне не могло быть и речи! Я и не думал, что ночь в Греции окажется такой холодной, июньская ночь, даже сыро. И вдобавок ни малейшего представления, куда она нас приведет, узенькая тропинка среди скал, уходящая ввысь, каменистая, пыльная и поэтому в лунном свете белая как мел. Забет находит: как снег! И оба мы находим — как кефир. И еще — черные скалы над нами. «Как уголь!» — нахожу я, но Забет опять находит другое сравнение. И так мы беседуем, шагая по тропинке, которая ведет все выше. Рев осла в ночи. «Как будто настраивают виолончель!» — находит Забет, я нахожу: «Как несмазанные тормоза!» Кроме этого — мертвая тишина: псы наконец умолкли, перестав слышать наши шаги. Белые хижины Коринфа — как будто рассыпали сахарницу рафинада! Я нахожу другое сравнение, просто чтобы продолжить игру. Последний черный кипарис. «Как восклицательный знак»,— находит Забет; я оспариваю: «У восклицательного знака острие не наверху, а внизу». Мы бродим всю ночь. Не встретив ни одного человека. Один раз нас испугал козий колокольчик, потом опять тишина над черными скалами, которые пахнут мятой,— тишина, сердцебиение и жажда, ничего кроме ветра в сухих травах. «Как будто рвут шелк!» — находит Забет; я ломаю голову, но часто ничего не могу придумать, тогда одно очко в пользу Забет согласно правилам игры. Забет почти всегда что-нибудь придумает. Башни и зубцы средневековой крепости — как кулисы в опере! Мы проходим ворота за воротами, нигде не слышно журчанья воды, мы слышим только эхо наших шагов, отраженное турецкими стенами, а когда мы останавливаемся — мертвая тишина. Наши лунные тени — как ножницы,— находит Забет. Мы играем обычно до двадцати одного очка, как в пинг-понге, тогда партия окончена, потом новая партия, и внезапно, еще среди ночи, оказываемся на вершине горы. Нашей кометы больше не видно. Вдали — море. Как цинковая жесть, нахожу я, а Забет находит, что холодно, но все же это блестящая идея — один раз переночевать не в отеле. Это ее

первая ночь под открытым небом. Я обнимаю Забет — она дрожит,— пока мы дожидаемся восхода солнца. Ведь перед восходом солнца всегда особенно холодно. Потом мы вместе выкуриваем нашу последнюю сигарету; о наступающем дне, который для Забет означает возвращение домой, мы не вымолвили ни слова. Около пяти часов забрезжил первый свет — как фарфор! С каждой минутой становится светлее море и небо, но не земля; там, где должны находиться Афины, виднеются черные острова среди светлых бухт и несколько маленьких утренних облаков над ними — как пуховка с розовой пудрой, находит Забет, а я молчу, и опять теряю очко. 19 : 9 в пользу Забет. Воздух в этот час — как осенние цветы! А по-моему, как целлофан, и за ним — ничего. И вот уже можно разглядеть прибой на берегу: как пивная пена! Забет находит: «Как рюш!» Я беру обратно свою пивную пену, я говорю: «Как стеклянная вата», но Забет не знает, что такое стеклянная вата. И вот уже первые сияющие лучи на море: как снопы, как копья, как трещины в стекле, как дароносица, как снимок обстрела электронами. Но для каждого тура засчитывается только одно очко, незачем приводить целый десяток сравнений; вскоре восходит солнце, ослепительное, «как первая плавка в доменной печи!» — говорю, а Забет молчит и в свою очередь теряет очко.

Я никогда не забуду, как она сидит на этой скале, глаза закрыты, как она молчит и нежится в лучах солнца. Она счастлива, говорит она, и я никогда не забуду море, которое просто на глазах становится более темным, синим, лиловым, море Коринфа и другое — Адриатическое море,— красный цвет пашен, медно-зеленые оливы, их утренние тени на красной земле, первое тепло, и Забет, которая меня обнимает, как будто я подарил ей все это, и я никогда не забуду, как Забет пела.

■

На столе я увидел завтрак, приготовленный Ганной, и ее записку: «Скоро приду, Ганна». Я ждал. Я чувствовал, что очень небрит и перерыл всю ванную в поисках лезвия — ничего, кроме флакончиков, пудрениц, губных помад, тюбиков, лака для ногтей, заколок для волос; в зеркале я увидел свою рубашку — противней, чем вчера, кровяные пятна немного побледнели, зато расплылись.

Я ждал по меньшей мере час.

Ганна вернулась из больницы.

— Как она себя чувствует? — спрашиваю я.

Ганна какая-то очень странная.

— Я решила,— говорит она,— что тебе надо выспаться...

Потом без всяких оговорок:

— Я хотела побыть с Эльзбет наедине, не обижайся, я двадцать лет была с девочкой одна.

Я — ни слова.

— Это не упрек,— говорит она,— но ты должен понять. Я хотела побыть с ней наедине. Только это. Я хотела поговорить с ней.

— Что же она говорила?

— О всякой всячине.

— Обо мне? — спрашиваю я.

— Нет, она говорила о Йеле, только о Йеле, об одном молодом человеке по имени Гарди, но сплошную ерунду.

То, что рассказала Ганна, мне не понравилось: внезапные изменения пульса, вчера — ускоренный, сегодня — замедленный, ее покрасневшее лицо, и суженные зрачки, и затрудненное дыхание, как говорит Ганна...

— Я хочу ее видеть,— говорю я.

Ганна считает, что сначала надо купить рубашку.

С этим я вынужден согласиться.

Ганна у телефона.

— Все в порядке,— говорит она,— пришлют машину из института, чтобы мы могли поехать в Коринф, забрать ее вещи, понимаешь, и твои вещи тоже, твои ботинки и куртку.

Ганна — настоящий manager [1].

— Все в порядке,— говорит она,— такси заказано.

Ганна все время мечется — туда-сюда, разговор невозможен, она высыпает пепельницы, потом опускает жалюзи.

— Ганна,— спрашиваю я,— почему ты на меня не смотришь?

Пожалуй, она этого не замечала, но это было именно так. Сегодня утром Ганна ни разу на меня не взглянула. Разве я виноват, что все так получилось? Что правда, то правда, Ганна не делала мне упреков, ни в чем не обвиняла, она только вытряхивала пепельницы после вчерашнего вечера.

Больше я не мог выдержать.

— Слушай,— говорю я,— неужели мы не можем поговорить?

Я схватил ее за плечи.

— Слушай,— говорю я,— посмотри на меня!

Ее тело — я испугался, когда взял ее за плечи,— нежнее, чем у дочери, более хрупкое, не знаю, возможно, Ганна стала меньше ростом, но ее глаза стали более красивыми, я хотел, чтобы она на меня смотрела.

— Вальтер,— говорит она,— ты делаешь мне больно!

Все, что я говорил, была чепуха, я видел по ее лицу, что говорю чепуху, но только я считал молчание еще более невыносимым. Я держал ее голову в ладонях. Чего я хочу? Я не думал о том, чтобы поцеловать Ганну. Почему она сопротивлялась? Понятия не имею, что я говорил. Я только видел ее глаза, полные отчаяния, ее серо-белые волосы, ее лоб, ее нос, все ее тонкие черты, изящные, благородные (право, не знаю, как определить), более женственные, благородные, чем у дочери, ее кожу под подбородком, как у ящерицы, гусиные лапки на висках, ее глаза, не усталые, а только полные отчаяния, более красивые, чем прежде.

— Вальтер,— говорит она,— ты ужасен.

Это она сказала два раза.

Я поцеловал ее.

Ганна только смотрела на меня, расширив глаза, пока я не опустил рук, она молчала и даже не пригладила волосы, она молчала — она проклинала меня.

Потом пришло такси. Мы поехали в город купить свежую рубашку, вернее, покупала Ганна, ведь у меня не было денег, я ждал в такси, чтобы не показываться в старой рубашке. Ганна была трогательна: через минуту она даже вернулась, чтобы узнать мой размер! Потом мы отправились в институт, где Ганна, как было договорено, получила институтскую машину, «оппель», а потом дальше — к морю, чтобы забрать платье Забет и мой бумажник, вернее, мою куртку (прежде всего из-за паспорта), и мой киноаппарат.

Ганна вела машину.

В Дафнии, недалеко от Афин, есть рощица, где я, полагаю, мог бы сменить рубашку, но Ганна покачала головой и поехала дальше; я развернул пакет.

О чем нам было говорить!

Я стал рассуждать об экономическом положении Греции, я видел перед Элевсином большую строительную площадку «Greek Government Oil Refinery» [2], все здесь отдано немецким фирмам; Ганну теперь (да и вообще никогда) это не интересовало, но наше молчание тоже было невыносимо. Только раз она спросила:

---

[1] Директор-распорядитель *(англ.)*.

[2] Греческий государственный нефтеочистительный завод *(англ.)*.

— Ты не знаешь, как называется то местечко?

— Нет.

— Теодори?

Я не знал; мы приехали из Коринфа автобусом и вылезли там, где нам понравилось море, в 76 километрах от Афин, это я знал; я запомнил километровый столбик в эвкалиптовой аллее.

Ганна у руля молчала.

Я ждал удобного случая, чтобы сменить рубашку,— в машине мне не хотелось этого делать.

Проезжаем Элевсин.

Проезжаем Мегару.

Я говорил о своих часах, которые отдал шоферу грузовика, и о времени вообще; о часах, которые могли бы заставить время бежать обратно...

— Стоп! — сказал я.— Здесь...

Ганна затормозила.

— Здесь? — спросила она.

Я только хотел показать ей откос, на который должен был положить Забет, пока не появился грузовик с трубами, откос, как и всякий другой, поросший чертополохом, среди чертополоха — красные маки, потом совершенно прямая дорога, по которой я пытался нести ее бегом, черная, гудрон с галькой, потом колодец возле оливкового дерева, каменистые поля, белые хижины, покрытые рифленым железом.

Опять был полдень.

— Пожалуйста,— попросил я,— поезжай медленнее.

То, что казалось вечностью, когда я шел босиком, на «оппеле» заняло едва две минуты. В остальном все как вчера. Только тележка с ослом и галькой больше не стояла у цистерны. Ганна верила мне на слово; не знаю зачем, я хотел ей все показать; место, где взбиралась наверх тележка с галькой, с которой капала вода, было очень легко найти — остались следы колес и ослиных копыт.

Я думал, Ганна подождет в машине.

Но Ганна вышла, потом пешком по горячей гудронированной дороге пошла за мной — я искал пинию, потом мы спустились вниз, где-то через дрок; я не мог понять, почему Ганна не хотела подождать в машине.

— Вальтер,— сказала она,— следы!

Но, полагаю, мы приехали сюда не ради случайных кровавых следов, а чтобы найти мой бумажник, мою куртку, мой паспорт, мои собственные башмаки...

Все лежало на месте, неприкосновенно.

Ганна попросила сигарету...

Все как вчера!

Прошло только двадцать четыре часа; тот же песок, тот же прибой, слабый, набегают маленькие волны, которые едва догоняют друг друга, то же солнце, тот же ветер среди дрока — разница только в том, что стоит рядом со мной не Забет, а Ганна, ее мать.

— Здесь вы купались?

— Да,— говорю я.

— Красиво здесь...— говорит она.

Это было страшно.

■

Что касается несчастного случая, то скрывать мне нечего. Тут мелко. Шлепаешь вброд по меньшей мере тридцать метров, пока можно поплыть, и в то мгновение, как я услышал ее крик, я был по меньшей мере метрах в пятидесяти от берега. Я вижу, что Забет вскочила. Кричу:

— Что случилось?

Она мчится; после бессонной ночи в Акрокоринфе мы спали на песке, потом мне захотелось войти в воду, чтобы побыть минутку наедине, пока она спит. Перед тем как уйти, я еще прикрыл ей плечи бельем от палящего солнца, но не стал будить ее. Здесь мало тени, только одинокая пиния. Вот в лощине мы и расположились, желая поспать. Но потом, как и следовало ожидать, тень, точнее, солнце, перекочевало, видимо, от этого я и проснулся, потому что внезапно вспотел, вдобавок — полуденная тишина, и я испугался; возможно, мне что-то приснилось или почудилось, будто я слышу шаги. Нет, мы совершенно одни. Может быть, я услышал тележку с галькой или как гальку сгребают лопатой. Но я не вижу ничего, Забет спит, никакого основания для страха, только слабое шипенье волн, которые пробегают по гальке, иногда галька тихо перекатывается, прямо позванивает, а кроме этого — тишина да время от времени — пчела. Я раздумывал — стоит ли плавать при сердцебиении. Минуту я стоял в нерешительности. Забет почувствовала, что рядом с ней уже никто не лежит, и потянулась не просыпаясь. Я посыпал песок ей на затылок, но она продолжала спать. В конце концов я пошел в воду, решив поплавать. В то мгновение, когда Забет вскрикнула, я был по меньшей мере в пятидесяти метрах от берега.

Забет бежала, не отвечая.

Слышала ли она меня, не знаю. Тогда я пытаюсь бежать в воде! Я кричу, чтобы она остановилась. Я сам, когда наконец выбираюсь из воды,— как парализованный. Я ковыляю за ней, пока она не останавливается ..

Забет наверху, на откосе.

Она прижимает правую руку к левой груди, ждет и не отвечает мне, пока я тоже взбираюсь на откос (я не отдавал себе отчета в том, что я голый) и приближаюсь к ней; потом эта бессмыслица — она тихо отступает от меня, пятится, хотя я всего-навсего хочу ей помочь, и наконец падает на спину, навзничь (несмотря на то, что я сразу останавливаюсь!), падает навзничь со склона.

Вот как случилось это несчастье.

Высота меньше двух метров — человеческий рост, но, когда я к ней подхожу, она лежит без сознания на песке. Как видно, ушибла затылок. Только потом я вижу след укуса — три маленькие капли крови, которые я сразу вытираю, я тут же надеваю штаны, рубашку, не обуваюсь, потом с девушкой на руках бегу вверх, на дорогу, где проносится, не слыша меня, «форд».

■

Ганна стояла на этом злосчастном месте; курила, пока я все рассказывал — подробно, как только мог,— и показывал откос; держалась она удивительно, как настоящий друг, хотя я сознавал, что в глубине души она, мать, проклинает меня, но, с другой стороны, здраво рассуждая, я действительно же не был виноват.

— Пойдем,— говорит она,— возьми свои вещи.

Не будь мы уверены, что девочка спасена, мы, конечно, не беседовали бы так — там, на пляже.

— Ты знаешь,— говорит она,— что она твой ребенок?

Я знал.

— Пойдем,— говорит она,— возьми свои вещи.

Мы стояли с вещами в руках, я нес запыленные башмаки, Ганна — черные ковбойские штаны нашей дочери.

Я не знал, что бы я мог сказать.

— Пойдем,— говорит она,— нам пора!

Потом я спросил:

— Почему ты скрыла от меня?

Она не ответила.

Опять голубоватый зной над морем — как вчера в это время, полдень, плоские волны едва догоняют друг друга и только растекаются пеной, потом — звяканье гальки, тишина, и все повторяется снова.

Ганна поняла меня буквально:

— Ты забываешь, что я замужем.

И еще:

— Ты забываешь, что Эльзбет тебя любит.

Я не способен был сразу разобраться во всем этом; но ведь какой-нибудь выход, думал я, всегда находится.

Мы еще долго стояли там.

— Отчего бы мне не найти работу в Греции? — сказал я.— Инженеры требуются повсюду, ты видела; Греция тоже индустриализируется.

Ганна поняла меня правильно: не романтика, не моральная сторона, а только сторона практическая — общее жилье, общие расходы, общий возраст. Почему бы и нет? Ганна знала все, когда я этого еще и предполагать не мог. Она знала все уже двадцать лет назад, тем не менее она была поражена больше меня.

— Ганна,— спрашиваю я,— отчего ты смеешься?

Какое-то будущее всегда ведь наступает, жизнь еще никогда не останавливалась, она идет дальше!

— Да,— говорит она,— но, может быть, без нас.

Я положил ей руку на плечо.

— Пойдем,— говорит она,— не забывай, что мы женатые люди. Вальтер, не прикасайся ко мне!

Потом снова в машине.

Ганна была права, я всегда что-нибудь забываю, но даже когда она мне напомнила, я все равно, при всех обстоятельствах решил перевестись в Афины или уволиться и переехать в Афины, хотя еще и не мог себе представить, как сложится наша совместная жизнь... Я привык искать решение, пока оно не найдется... Ганна дала мне сесть за руль, я еще никогда не водил «оппель-олимпию». Ганна тоже всю ночь не спала, теперь она сделала вид, что спит.

В Афинах мы купили цветов.

Было около трех часов дня.

В приемной нас попросили подождать. Мы еще ничего не знали, Ганна развернула бумагу и вынула цветы.

А потом это лицо сестры милосердия!

Ганна стояла у окна, как вчера, мы не обменялись ни словом, даже не смотрели друг на друга.

Потом появился доктор Элетеропулос.

Все по-гречески, но я понимаю все.

Она умерла в начале третьего.

...Потом мы у ее кровати, Ганна и я, этому просто нельзя поверить, наша девочка с закрытыми глазами, совсем как когда она спит, но белая, как гипс, ее длинное тело под простыней, ее руки вытянуты вдоль бедер, наши цветы у нее на груди, я говорю это не в утешение, а как правду: она спит! Я и сейчас еще не могу поверить.

— Она спит,— говорю я, вовсе не Ганне, которая вдруг кричит на меня, Ганне с ее маленькими кулаками, возникшей передо мной, я ее не узнаю, я не сопротивляюсь, я не чувствую, как ее маленькие кулаки бьют меня по лицу. Что это может изменить! Она кричит и бьет меня по лицу, пока у нее уже нет сил, я только прикрываю рукой глаза.

■

Как теперь установлено, смерть нашей дочери последовала не от змеиного яда, действие которого, благодаря введению сыворотки, было

успешно приостановлено. Ее смерть оказалась следствием недиагностированной фрактуры основания черепа — compressio cerebri,— вызванной падением с невысокого откоса. Повреждение arteria meningica media,[1] так называемая эпидуральная гематома, которая при хирургическом вмешательстве (как мне сказали) могла быть легко устранена.

Записано в Каракасе, 21.VI—8.VII.

Вторая остановка

Афины, больница. Заметки начаты 19.VII.

Они забрали мою «гермес-бэби» и заперли в белый шкаф, потому что обед, потому что мертвый час. Приходится писать от руки! Я ненавижу писать от руки! Я сижу на кровати, голый до пояса, и мой маленький вентилятор (подарок Ганны) жужжит с утра до вечера, а помимо этого — мертвая тишина. Сегодня опять 40 градусов в тени, эти тихие часы (13.00—17.00) — самые плохие часы. К тому же у меня очень мало времени, чтобы вести дневник. Ганна посещает меня ежедневно, я пугаюсь всякий раз, когда раздается стук в белую двустворчатую дверь; Ганна в черном — в моей белой комнате. Отчего она никогда не садится? Она каждый день бывает на кладбище и каждый день в институте — это все, что я сейчас знаю о Ганне. То, что она стоит у открытого окна, когда я должен лежать, действует мне на нервы, ее молчание — тоже. Может она простить? Могу я что-либо исправить? Я даже не знаю, что Ганна делала с тех пор; ни слова об этом. Я спрашивал, отчего Ганна не садится. Я не понимаю Ганну, ее улыбку, когда я спрашиваю, ее взгляд мимо меня, иногда я боюсь, как бы она не сошла с ума. Сегодня шесть недель.

8.VI. Нью-Йорк.

Обычный Saturday-party[2] Вильямса. Я не хотел идти, но вынужден был, то есть никто не мог меня заставить, но я все-таки пошел. Я не знал, куда девать себя. К счастью, меня ожидало сообщение, что турбины для Венесуэлы наконец готовы, можно приступать к монтажу, значит, я лечу туда как можно скорее. Все же я спрашивал себя, справлюсь ли я с заданием. Когда Вильямс, оптимист, положил руку мне на плечо, я кивнул, и все же спрашивал себя, справлюсь ли я...

— Come on, Walter, have a drink![3]

Как обычно — слоняешься.

— Roman holidays, oh, how marvellous![4]

Я никому не сказал, что моя дочь умерла, ведь никто не знает, что эта дочь существовала, и я не ношу траур в петлице — не хочу, чтоб меня расспрашивали, это их не касается.

— Come on, Walter, another drink![5]

Я пью гораздо больше, чем следует.

— Walter has trouble,— рассказывает Вильямс гостям.— Walter can't find the key of his home![6]

Вильямс полагает, что я должен играть роль — уж лучше комическую, чем никакую. Нельзя же просто стоять в углу и жевать миндаль.

---

[1] Средняя мозговая артерия *(лат.)*.
[2] Званый вечер в субботу *(англ.)*.
[3] Давай, Вальтер, выпьем *(англ.)*.
[4] Отпуск в Риме — до чего ж чудесно *(англ.)*.
[5] Давай, Вальтер, выпьем еще по одной *(англ.)*.
[6] У Вальтера неприятность, он не может найти ключ от своей квартиры *(англ.)*.

— Fra Angelico, oh, I just love it! [1]

Все понимают больше, чем я.

— How did you enjoy the Masaccio fresco? [2]

Я не знаю, что отвечать.

— Semantics! You've never heard of semantics? [3]

Право, я кажусь себе идиотом...

Я жил в отеле на Таймс-сквер. Табличка с моей фамилией еще висела на дверях квартиры, но Фреди, швейцар, не знал, где мой ключ. Айви должна была его сдать; я звонил в собственную дверь. Я был беспомощен. Все открыто — учреждения, и кино, и подземка, только не моя квартира. Небоскребы казались мне надгробиями (это, впрочем, я находил и раньше). Потом прогулка на экскурсионном катере — просто чтобы убить время. Я даже слушал громкоговоритель, точно не прожил до этого целых одиннадцать лет на Манхэттене! Рокфеллеровский центр, небоскреб Эмпайр Стейт-билдинг, здание ООН и т. д. Потом — в кино. Потом подземкой, как обычно,— экспресс, в центр без пересадки, на площадь Колумба, хотя от станции «Индепендент» ближе до моего дома, но я за одиннадцать лет ни разу не делал пересадки и вышел там, где выходил всегда, и, как обычно, зашел в китайскую прачечную, где меня еще помнят.

— Хэлло, мистер Фейбер! — Потом с тремя рубашками, прождавшими меня несколько месяцев, я вернулся обратно в отель, где мне нечего было делать и откуда я много раз звонил к себе домой — разумеется, безуспешно! Потом — увы! — сюда.

— Nice to see you,[4]— и т. д. А перед тем я зашел в гараж спросить, существует ли еще мой ««студебеккер», но незачем было спрашивать, я увидел его издалека, машина цвета губной помады во дворе среди черных «брэндмауеров».

Потом, как уже сказано,— сюда.

— Walter, what's the matter with you? [5]

Эти субботние сборища я всегда ненавидел. Мне не дано быть остроумным. И все же мне вовсе не нужна чья-то рука на моем плече...

— Walter, don't be silly! [6]

Я знал, что не справлюсь с заданием. Я был пьян, я это тоже знал. Они думали, я не замечаю. Я их знал. Если ты исчезнешь, если тебя больше не будет с ними, они этого не заметят. Меня уже не было здесь. Я шел по ночной Таймс-сквер (в последний раз, надеюсь), чтобы еще раз позвонить из телефонной будки по собственному номеру,— я еще и сегодня не понимаю, кто мог снять трубку.

— This is Walter,[7] — говорю я.

— Who? [8]

— Walter Faber,— говорю я.— This is Walter Faber.

Растерянное молчание.

— Sorry,— говорю я.

Может быть. я набрал не тот номер, я открываю огромный справочник Манхэттена, отыскиваю свой собственный номер и делаю еще одну попытку.

— Who's calling? [9]

— Walter,— говорю я.— Walter Faber.

---

[1] Фра-Анжелико, о, я обожаю его *(англ.)*.
[2] Как вам понравились фрески Мазаччио *(англ.)*.
[3] Семантика! Вы никогда не слышали о семантике *(англ.)*.
[4] Рады вас видеть *(англ.)*.
[5] Вальтер, что с вами *(англ.)*.
[6] Вальтер, не глупите *(англ.)*.
[7] Это Вальтер *(англ.)*.
[8] Кто *(англ.)*.
[9] Кто говорит *(англ.)*.

Отвечает тот же голос, что и раньше, поэтому я некоторое время молчу, я ничего не понимаю.

— Yes, what do you want? [1]

Собственно, ничего со мной не случится, если я отвечу. Я собираюсь с духом, прежде чем тот, другой, положит трубку, и спрашиваю просто так, чтобы сказать что-нибудь: какой это номер?

— Yes, this is Trafalgar 4-55-71 [2].

Я пьян.

— That's impossible! [3] — говорю я.

Может быть, моя квартира сдана другому, может быть, изменили номер, все возможно, допускаю, но от этого мне не легче.

— Trafalgar 4-55-71,— говорю я.— That's me! [4]

Я слышу, как он прикрывает рукою трубку и с кем-то говорит (с Айви?), и потом слышу хохот.

— Who are you? [5]

Я отвечаю вопросом:

— Are you Walter Faber? [6]

Наконец он положил трубку, я сидел в баре, у меня кружилась голова. Виски мне больше не хотелось; немного погодя попросил бармена отыскать номер мистера Вальтера Фабера и набрать этот номер, что он и сделал; он передал мне трубку. Я слышал длинные гудки, наконец там взяли трубку:

— Trafalgar 4-55-71. Hello!

Я положил трубку, не проронив ни слова.

Операция навсегда избавит меня от болезненных явлений. Статистика показывает, что эта операция удается в 94,6 случаев из ста, и нервирует меня исключительно ожидание — со дня на день. Я не привык болеть. И вот что еще нервирует меня — когда Ганна меня утешает; ведь она не верит в статистику. Я-то действительно полон надежды, к тому же доволен, что это будут делать не в Нью-Йорке, или Дюссельдорфе, или Цюрихе,— я должен видеться с Ганной, точнее, говорить с ней. Я не знаю, что Ганна делает. Спит она? Ест ли? Она ежедневно ходит в институт (с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00) и ежедневно на могилу нашей дочери. Что еще кроме этого? Я прошу Ганну присесть. Почему она ничего не говорит? Если даже Ганна садится — не проходит и минуты, как ей уже что-то нужно, пепельницу или зажигалку, она поднимается и опять стоит. Если Ганна не может меня выносить, зачем она приходит? Она поправляет мне подушки. Если бы это был рак, они немедля оперировали бы меня, это ясно, я объяснил это Ганне и убедил ее, надеюсь. Сегодня нет уколов. Я женюсь на Ганне.

9.VI. Лечу в Каракас.

На этот раз лечу через Майами и Мериду, в Юкатан, откуда почти ежедневная связь с Каракасом, и делаю остановку в Мериде. (Желудочные боли.)

Потом еще раз в Кампече.

(От Мериды — $6^1/_2$ часов автобусом.)

Маленький вокзал — узкоколейка, кактусы между шпалами, два месяца назад я уже дожидался здесь поезда вместе с Гербертом Хенке

[1] Да, что вам угодно *(англ.)*.
[2] Да, это Трафальгар 4-55-71 *(англ.)*.
[3] Не может быть *(англ.)*.
[4] Это мой номер *(англ.)*.
[5] А вы кто будете *(англ.)*.
[6] А вы что, Вальтер Фабер *(англ.)*.

и сидел, прислонившись головой к стене, закрыв глаза, раскинув руки, вытянув ноги, и вот я сижу опять, и все, что случилось после того ожидания на этом вокзале, представляется мне галлюцинацией — здесь ничего не изменилось.

Липкий воздух...

Запах рыбы и ананасов...

Тощие собаки...

Мертвые собаки, которых никто не зарывает, ауры на крышах над рынком, зной, гнилостная вонь с моря, тусклое солнце над морем, а над сушей — сверкание синевато-белых молний, как свет кварцевой лампы.

Снова поезд!

Свидание с Паленке было мне даже приятно, здесь ничего не изменилось. Веранда с нашими гамаками, наше пиво, наша pinte с попугаем, меня узнают, даже дети еще узнают меня, я покупаю и раздаю мексиканские сласти, даже выезжаю посмотреть развалины, где все равно ничего не изменилось, где нет ни одного человека, шныряют птицы, как тогда, все в точности так, как было два месяца назад, и ночь — тоже, после того как смолкает дизель-мотор в Паленке; индюк за оградой перед верандой, его пронзительные крики, оттого что его раздражает сверканье зарниц, козуля, черная свинья у колышка, луна, словно застланная ватой, лошадь, пасущаяся в ночи...

И повсюду одна бесполезная мысль:

«Если бы сейчас было тогда!» Всего два месяца назад, в течение которых здесь ничего не изменилось. Почему сейчас не может быть апрель, а не июнь? А все остальное — галлюцинация?

Потом — наедине с «лэндровером»...

Я говорю с Гербертом.

Я говорю с Марселем.

Я купаюсь в реке Усумасинта — вот она изменилась; в ней стало больше воды, пузырьков на воде нет, так как она бежит быстрее, и весьма сомнительно, удастся ли мне еще раз переправиться здесь на «лэндровере» и не утонуть...

Удалось.

Герберт изменился, это видно с первого взгляда, у Герберта борода, но кроме того — он стал недоверчив.

— Старик, чего тебе здесь надо?

Герберт подозревает, что я прибыл по поручению его семьи, точнее, фирмы, чтобы вернуть его в Дюссельдорф, и не верит, что я приехал просто повидать его; но он ошибается, у меня не так уж много друзей.

Он сломал свои очки.

— Почему ты не починишь их? — спросил я.

Я починил ему очки...

Из-за ливня мы сидим в бараке, как в некоем ноевом ковчеге, без света, оттого что батарея, которая в свое время питала радио Иоахима, давно отказала, а то, что сообщают с Большой Земли, Герберта нисколько не интересует — даже сообщения о событиях в Германии, воззвание гёттингенских профессоров; не говоря уже о личных делах.

Я осведомляюсь об его «нэше».

Герберт ни разу не был в Паленке!

Еще тогда я привез бензин, пять канистр, чтобы он мог в любое время уехать, но он и не думает об этом.

Он только ухмыляется в бороду.

Мы вообще не понимали друг друга.

Чего стоит его ухмылка, когда он видит, что я бреюсь старым лезвием из-за отсутствия тока, оттого что не хочу ходить с бородой, оттого что мне ведь надо ехать дальше.

У него лично нет никаких планов!

Его «нэш-55» стоял под навесом из засохших листьев, как и в прошлый раз, даже ключ еще торчал; очевидно, эти индейцы и не представляют себе, как заводится мотор, все было невредимо, но баснословно запущено, и я сразу принялся за дело.

— Если тебе это доставит удовольствие,— говорит он,—пожалуйста!

Герберт пошел охотиться на игуан.

Мотор оказался очень загрязненным из-за проливных дождей, все надо отчистить, все замусоренное и осклизлое, пахнет цветочной пыльцой, которая налипла на машинное масло и разлагается, но я рад работе...

Вокруг дети из племени майя.

Они целыми днями наблюдают, как я разбираю мотор, кладу банановые листья на землю, на них — машинные детали...

Зарницы, дождя нет.

Матери тоже глазеют — они, как видно, никогда не перестают рожать и держат своего последнего сосунка у коричневой груди, подпираемой новой беременностью; так они стоят, покуда я чищу мотор, и глазеют, не говоря ни слова, да я их и не понял бы.

Герберт — со связкой игуан...

Они живые, но они совершенно неподвижны, пока к ним не прикоснешься, морды у них как у ящериц и обмотаны соломой — ведь они кусаются; когда их отваришь, вкус у них как у курицы.

Вечером — лежим в гамаках.

Пива нет, только кокосовое молоко...

Зарницы.

Я боюсь, как бы не украли чего-нибудь, чего нельзя заменить, но Герберта это не трогает. Он убежден, что они не прикоснутся к деталям. Теперь уже ни слова о бунтах! Они работают — даже старательно, говорит Герберт, они послушны, хотя убеждены, что все это ни к чему.

Он ухмыляется в бороду.

Будущность немецкой сигары!

Я спрашиваю Герберта, что, собственно, он думает — намерен он остаться здесь или вернется в Дюссельдорф, какие у него планы...

— Nada! [1]

Как-то раз я упомянул о том, что встретился с Ганной, что я женюсь на Ганне, но я не знаю, слышал ли меня Герберт.

Герберт — индеец!

Зной...

Светляки...

Потеешь, как в парильне.

На следующий день пошел дождь — вдруг; лил всего четверть часа, потом снова солнце, но вода так и стояла коричневыми озерами; я вытолкал «нэш-55» из-под навеса, чтобы работать на воздухе, не мог же я знать, что как раз здесь образуется озеро. Я не видел в этом ничего смешного, в отличие от Герберта. Вода доходила до коленчатого вала, не говоря уже о частях разобранного мотора, которые я разложил на земле. Я пришел в отчаяние, увидев это. Чтобы успокоить меня, Герберт дал мне двадцать индейцев, но вел себя так, точно его не касалась эта рубка деревьев, которую я организовал. Я потерял целый день, пока собрал только составные части мотора,— шлепал по мутным лужам, прощупывал теплую тину и грязь, и все я должен был делать сам,— ведь Герберт не выказывал никакого интереса.

— Брось! — сказал он только.— Зачем?

Я поставил двадцать индейцев копать канавы, чтобы вода наконец стекла, только тогда удалось найти некоторые части, и все-таки это было

[1] Никаких *(исп.)*.

очень трудно, ведь их уже успело затянуть в болото, просто поглотило.

И снова это его «Nada!».

Я не препятствовал ему пороть чепуху, не отвечал.

Без «нэш-55» Герберт пропал. Я не позволял себе заразиться его настроением и работал.

— Куда ты годишься без машины? — сказал я.

Когда я наконец собрал мотор и машина заработала, он усмехнулся и сказал: «Браво!» — больше ничего, он хлопнул меня по плечу, заявил, что теперь его «нэш-55» — мой, он мне его дарит.

— На что он мне! — сказал Герберт.

Образумить его было невозможно. И вот Герберт — в роли регулировщика, пока я, чтобы еще раз все проверить, сижу за рулем и сигналю; вокруг дети, матери в белых рубахах, все с грудными младенцами, позже и мужчины — они стоят в зарослях, все со своими кривыми ножами, они уже несколько месяцев не слышали звука мотора, я сигналю и даю полный ход — холостой бег колес, Герберт машет. Я торможу, сигналю, Герберт машет: «Светофор открыт!», индейцы (их становится все больше) глазеют на нас, они не смеются, пока мы валяем дурака, они молчаливо, даже благоговейно следят за нами, а мы (по сути говоря — зачем?) изображаем уличное движение в городе Дюссельдорфе.

Дискуссия с Ганной — о технике. Ганна говорит — техника это уловка, попытка так устроить мир, чтобы избавиться от переживаний. Мания техника — заставить вселенную служить себе, но он, как партнер, слабее в этой игре, он не может с ней сладить; уловка техника — сопротивляясь вселенной, создать новую вселенную, например, изменив темп жизни, избавиться от переживаний (что Ганна под этим подразумевает — не знаю). Техника отчуждена от мира (что Ганна подразумевает — не знаю). Ганна не упрекает меня. Ганна не считает непостижимым то, как я себя вел с Забет. Я пережил (по мнению Ганны) такие отношения, о которых понятия не имел, и ложно истолковал их, убедив себя, что влюблен. Это заблуждение не было случайным, напротив, это заблуждение — часть меня (?), как и моя профессия, как вся моя жизнь. Мое заблуждение заключается в том, что мы, техники, пытаемся прожить без смерти. Дословно: ты обращаешься с жизнью не как с созиданием, а как со сложением, у тебя нет чувства времени, оттого что нет чувства смерти. Жизнь — это созидание во времени. Ганна признает, что не может объяснить своей мысли. Ведь жизнь не только материя, ее не осилишь техникой. Моя ошибка в отношении Забет — повторение,— я вел себя как будто старости нет. Отсюда противоестественность. Мы не можем упразднить старость, женясь на собственных детях.

20.VI. Прибыл в Каракас.

Наконец дело пошло на лад; турбины были доставлены на место назначения, так же как и необходимая рабочая сила. Я держал себя в руках насколько мог, и то, что теперь, когда монтаж наконец начался, я сам выбыл из строя из-за желудочных болей, было неудачей, но ничего не поделаешь. В мой прошлый приезд (15 и 16.IV) я был «в форме», но все остальное не было готово. Это моя вина, раз я не мог наблюдать за монтажом; мне пришлось лежать в гостинице больше двух недель, а это не шутка. В Каракасе я надеялся получить письмо от Ганны. Телеграмма в Афины, которую я тогда отправил, тоже осталась без ответа. Я хотел написать Ганне и начинал множество писем; но я понятия не имел, куда

Ганна запропастилась, и мне не оставалось ничего другого (хоть что-нибудь должен же я был делать в этой гостинице!), как заняться составлением доклада, не адресуя его никому.

С монтажом все в порядке — и без меня.

Наконец сестра милосердия дала мне зеркало — я испугался. Я всегда был тощим, но не таким, как теперь, не как тот старик индеец, который в Паленке показывал нам сырой склеп. Я в самом деле несколько напуган. Я не имею обыкновения смотреться в зеркало, разве когда бреюсь. Я причесываюсь без зеркала, однако всегда знаешь, как выглядишь, точнее, как выглядел. Нос всегда слишком длинный, однако уши никогда не бросались в глаза. Правда, на мне пижама без ворота, вот почему эта слишком длинная шея и жилы на шее, когда я поворачиваю голову, и впадины между жилами, ямы, которые тоже никогда не бросались мне в глаза. А мои уши — как у обритого каторжника! Не могу же я допустить всерьез, что мой череп стал меньше. Я спрашиваю себя: может быть, мой нос стал более симпатичным, и прихожу к выводу, что носы никогда не бывают симпатичными, скорее они нелепы, прямотаки непристойны! Наверно, тогда, в Париже (два месяца назад!), я выглядел не так, иначе Забет не пошла бы со мной в оперу, а кожа у меня еще и сейчас загорелая, только на шее несколько бледновата. И поры точно на ощипанной куриной шее. Мой рот мне все еще симпатичен, не знаю почему, рот и глаза, они, впрочем, не карие, как я всегда полагал, потому что так значится в паспорте, а зеленовато-серые. Все остальное вполне могло бы принадлежать любому человеку, переутомленному работой. Что касается моих зубов, их я всегда проклинал. Как только встану с постели, пойду к зубному врачу — по поводу камня, а возможно, и по поводу гранулемы. Болей я не чувствую, только пульсацию в надкостнице. Волосы я всегда носил короткие, это более практично, на висках они нисколько не поредели, сзади тоже Поседел я, собственно, уже давно — серебристый блондин, это меня не тревожит. Когда я лежу на спине и держу зеркало над собой, я все еще выгляжу так же, как раньше, только немного похудел, разумеется, от диеты. Возможно, виноват еще и белесый свет, проникающий сквозь жалюзи в комнату. он делает человека бледным, так сказать, с примесью загара, не белым, а желтым. Худо только с зубами. Я всегда за них боялся, как бы ни лечил. Время разрушает их. Да и вообще человек! Конструкция — куда ни шло, но материал неудачен. Плоть — не материал, она — проклятие.

P. S. Мне кажется, никогда еще не было столько смертных случаев, как за последние четверть года. Вот и профессор О., с которым я еще неделю назад беседовал в Цюрихе,— тоже умер.

P. P. S. Только что побрился, потом сделал массаж. Смешно! Чего только не вообразишь от безделья! Ни малейшего повода для страха. Мне недостает только движения и свежего воздуха. Вот и все.

9—13.VII. На Кубе.

Вот что привело меня в Гавану — пересадка на другой самолет, я ни за что не хотел лететь через Нью-Йорк. На «КЛМ» из Каракаса, потом на самолете «кубана» в Лиссабон. Я остался на четыре дня.

Четыре дня безделья — только смотрел...

Эль Прадо.

Старая улица со старыми платанами. Как Рамбла в Барселоне, вечером Корсо, аллея красивых людей — неправдоподобно, я иду, иду, больше мне делать нечего...

Желтые птицы, их гомон, когда наступают сумерки.

Все хотят почистить мне ботинки.

Полуиспанка-полунегритянка показывает мне язык, потому что я любуюсь ею,— ее розовый язык на коричневом лице, я смеюсь и кланяюсь, она тоже смеется, ее белые зубы в красном цветке ее рта (если можно так выразиться) и ее глаза, но мне ничего от нее не нужно.

— How do you like Habana? [1]

Меня бесит, что они все время принимают меня за американца, только оттого, что я белый; сутенеры попадаются на каждом шагу:

— Something very beautiful! D'you know what I mean? Something very young! [2]

Все гуляют, все смеются.

Все как сон.

Белые полисмены — курят сигары; матросы с военных кораблей — курят сигары; юнцы,— бедра в узких штанах.

Castillo del Morro [3] (Филиппа II).

Мне чистят ботинки.

Я принимаю решение жить по-другому.

Я радуюсь...

Я покупаю сигары — два ящичка.

Закат...

Голые мальчишки в море, их тела, солнце на мокрых телах, жара, я сижу и курю сигару, над белым городом стоят грозовые облака — черно-лиловые; и последний солнечный луч над небоскребами.

Эль Прадо.

Зеленые сумерки, продавцы мороженого; на ограде под фонарями сидят девушки (группами) и смеются.

Тамалес.

Тамалес — это маис, завернутый в листья банана, закуска, которую продают на улицах; ее жуют на ходу, не теряют времени.

Я не нахожу себе места. А почему?

Мне совсем нечего было делать в Гаване.

Я отдыхаю в отеле — все как обычно, душ, потом раздетый — на кровать, ветер вентилятора, я лежу и курю сигары. Я не запираю дверь, в коридоре девушка убирает и поет, тоже полуиспанка-полунегритянка, я курю без передышки.

Желание...

Почему она просто не войдет!

А я устал, я так устал, что не могу подняться и взять пепельницу; я лежу на спине и курю сигару, держу ее так, чтоб белесый пепел не падал,— отвесно.

«Партагас».[4]

Когда я опять иду по Прадо, все снова как галлюцинация: сплошь красивые девушки, мужчины тоже очень красивы, удивительные люди, смесь негров с испанцами, я не перестаю глазеть: их прямая и плавная походка, девушки в синих юбках колоколом, белые платки на головах, браслеты, как у негритянок, их голые спины совсем того же цвета, как и тень под платанами, так что с первого взгляда видишь только юбку, синюю или лиловую, белый платок и белые зубы, когда они смеются, белки их глаз; их серьги поблескивают...

«Карибский бар».

Я уже опять курю.

Ромео и Джульетта.

---

[1] Как вам нравится Гавана *(англ.)*.

[2] Очень красивая! Понимаете, что я имею в виду? Совсем молоденькая *(англ.)*.

[3] Мавританский дворец *(исп.)*.

[4] Название сигары.

Молодой человек, которого я сначала принял за сутенера, настаивает на том, чтобы заплатить за мое виски,— ведь он стал отцом.

— For the first time! [1]

Он обнимает меня, причем повторяет без конца:

— Isn't it a wonderful thing? [2]

Он представился и спрашивает, как меня зовут, сколько у меня детей, главное — сыновей, а я отвечаю.

— Five. [3]

Он немедленно хочет заказать пять виски.

— Walter,— говорит он,— you're my brother! [4]

Не успели мы чокнуться, а его уже нет, он пошел угощать виски других людей, спрашивать, сколько у них детей, главное, сыновей.

Все как полоумные.

Наконец гроза; я сижу один, под аркадой, в желтой качалке, вокруг рокот и журчанье, внезапный ливень с ветром, внезапно из аллеи исчезают люди, все это как тревога, хлопают ставни, брызги над мостовой, как внезапно выросшая грядка белых нарциссов (в основном под фонарями).

Я качаюсь и смотрю.

Я счастлив, что я здесь, что я сейчас здесь...

Время от времени душ под аркадой, лепестки-конфетти, и еще запах нагретой листвы и ощущение внезапной прохлады на коже, время от времени молнии, но плеск воды громче всякого грома, я качаюсь и смеюсь; ветер; рядом со мной качаются пустые кресла, кубинский флаг.

Я свищу.

Я зол на Америку!

Я свищу. Я качаюсь и зябну...

«The American Way of Life!»

Я решаю жить по-другому...

Вспышки молний, после них ты как слепой; одно мгновенье видишь пальму сернисто-зеленого цвета, облака — лиловые, синеватые, как сварочные огни, море и дребезжание рифленого железа, моя детская радость, даже наслаждаюсь... Я пою.

«The American Way of Life!»

Уже одно то, как они едят и пьют, эти белесые типы, которые не знают, что такое вино, эти пожиратели витаминов, которые пьют остывший чай и жуют вату, этот кока-кольный народ, который я больше не могу выносить.

Притом я живу на их деньги!

Вот мне чистят ботинки.

На их деньги!

Семилетний парнишка, который однажды уже чистил мне ботинки, теперь как вытащенный из воды котенок, я ерошу его курчавые волосы.

Его усмешка...

Они не черные, его волосы, скорее серые, как зола, коричневато-серые, молодые, на ощупь как конский волос, но курчавые и короткие, под ними — детская макушка, теплая, как у остриженного пуделя, когда его гладишь.

Он усмехается и продолжает чистить...

Я люблю его.

Его зубы...

Его молодая кожа.

---

[1] Впервые *(англ.)*.

[2] Разве это не чудесно *(англ.)*.

[3] Пять *(англ.)*.

[4] Вальтер... ты мне брат *(англ.)*.

Его глаза напоминают мне Хьюстон, Техас, негритянку-уборщицу, ставшую на колени возле меня, когда мне было дурно в туалете, белок ее больших глаз — они вообще совсем другие, красивые, как глаза зверей.

Мы болтаем о марках автомобилей.

Его руки так и летают.

Людей больше нет, кроме нас, парнишки да меня, кругом потоп, он сидит на корточках и наводит глянец на мои ботинки — шлеп, шлеп!

«The American Way of Life!»

Чего стоит одна их некрасивость по сравнению со здешними людьми, их розовато-сосисочная кожа, отвратительно, они живут потому, что существует пенициллин,— вот и все, притом их повадки, точно они счастливы, потому что американцы, потому что им все дозволено, притом они всего-навсего долговязые верзилы, шумливые парни вроде Дика, которого я считал для себя образцом! Как они стоят, привалясь плечом к стене, левая рука в кармане брюк, в правой руке — стакан, непринужденные, ангелы-хранители, хозяева человечества; а их похлопыванье по плечу, их оптимизм, пока они не напились, тогда — судорожные рыданья, распродажа белой расы, притом — вакуум между ляжками!

Я зол на себя.

(Если бы можно было начать жизнь сначала!)

Ночью — письмо Ганне...

На следующий день я поехал на побережье, было безоблачно и жарко, полдень, слабый прибой. Набегают волны, звенит галька, каждый пляж напоминает мне Теодори.

Я плачу.

Вода — прозрачная, видно дно, я плыву, опустив лицо в воду, чтобы видеть дно; моя тень на морском дне — лиловая лягушка.

Письмо Дику.

Что может предложить Америка: комфорт, наилучшее в мире оборудование — ready for use[1], весь мир — американизированный вакуум, куда бы они ни проникли — всюду highway[2], мир между двумя стенами с плакатами; их города, которые вовсе не города — иллюминация, шум-звон, а на утро видишь пустые подмостки, их инфантильность — реклама оптимизма, полотнища неоновых огней — защита от смерти...

Потом я взял лодку.

Мне хотелось побыть одному.

Даже когда они в купальных костюмах, по ним видно, что у них есть доллары, их голоса (как на Аппиевой дороге), их резиновые голоса повсюду, зажиточная чернь!

Письмо Марселю.

Марсель прав: их искусственное здоровье, их искусственная молодость, их женщины, которые не могут примириться с тем, что стареют, их косметика даже на покойниках, вообще их порнографическое отношение к смерти, их президент, который должен улыбаться вам с каждой обложки, как румяный бэби, в противном случае они его не выберут еще раз, их непристойная моложавость.

Я греб и уплыл далеко.

И в море жара...

Я очень одинок.

Я перечел свои письма Дику и Марселю и разорвал их, потому что они недостаточно деловые. Белые клочки писем на воде; белые волосы у меня на груди.

---

[1] Готово к услугам *(англ.)*.

[2] Шоссе *(англ.)*.

Очень одинок.

Позже, как школьник, я рисую женщину на горячем песке и ложусь в эту женщину, которая только песок, и громко говорю с нею...

Дикарка!

Я не знал, что делать с этим днем, с собою, нелепый день, я понятия не имею, как он прошел, сумерки, которые прямо-таки были похожи на вечность, голубые, невыносимые, но прекрасные, но бесконечные — и вот я снова сижу на ограде в Прадо (вечером), с закрытыми глазами. Я пытаюсь осознать, что я в Гаване, что сижу на ограде Прадо. Я не могу этого осознать. Страшно.

Все хотят чистить мои ботинки...

Сплошь красивые люди, я любуюсь ими, как незнакомыми зверями, их белые зубы в сумерках, их коричневые плечи и ноги, их глаза, их смех, оттого что они рады жить, оттого что праздничный вечер, оттого что они прекрасны.

Наслаждение смотреть на них...

Желание...

Вакуум между бедрами...

Я существую теперь только для чистильщиков!

Сутенеры...

Продавцы мороженого...

Их перевозочные средства — комбинация детской коляски с буфетом и половиной велосипеда, а сверху балдахин из ржавых жалюзи. Карбидное освещение, вокруг зеленые сумерки и синие юбки колоколом.

Лиловая луна...

Потом эта история в такси: был еще ранний вечер, но я больше не мог вынести и, как покойник среди живых, прогуливался по Корсо. Я хотел вернуться в гостиницу, принять снотворное, я помахал такси, и вот когда я распахиваю дверцу, там уже сидят две дамы, одна черная, другая блондинка; я говорю:

— Sorry! — захлопываю дверцу, но driver [1] выскакивает и зовет меня.

— Yes, Sir! — кричит он и снова распахивает дверцу.— For you, Sir! [2]

Я невольно рассмеялся над таким «сервисом» и сел в машину...

Наш разорительный ужин.

Затем конфуз.

Я знал, что когда-нибудь это случится; потом я лежу в своей гостинице — без сна, но спокойный. Жаркая ночь, время от времени я подставляю под душ свое тело, на которое нельзя положиться, но я не принимаю снотворного — ведь мое тело только для того и годится, чтобы наслаждаться ветром вентилятора, который меняет направление, мечется то туда, то сюда, ветер на грудь, ветер на ноги, ветер на грудь.

А мозг плетет паутину: рак желудка.

Помимо этого я счастлив...

Гомон птиц на рассвете. Я беру свою «гермес-бэби» и наконец отстукиваю рапорт для ЮНЕСКО об окончании монтажа в Венесуэле.

Потом сон до полудня.

Я ем устрицы, потому что мне нечего делать, и курю слишком много сигар.

(Вот откуда боли в желудке.)

Вечером — сюрприз.

Я подсаживаюсь к чужой девушке на ограде в Прадо и заговариваю с ней: по-моему, это та самая, которая позавчера показала мне ро-

---

[1] Шофер *(англ.)*.

[2] Ну да, сэр. Для вас, сэр *(англ.)*.

зовый язык, она этого не помнит. И смеется, когда я говорю, что я не американец.

Но я так медленно говорю по-испански...

— Say it in English! [1]

Ее длинные и тонкие руки...

Моего знания испанского языка хватает только для деловых переговоров; смешно: сейчас я говорю не то, что хочу, а то, что хочет мой испанский язык. Поэтому она смеется. Я жертва малого запаса слов. Ее удивление ее прямо-таки милые глаза, когда я сам удивляюсь и удивляясь начинаю говорить о своей жизни, на которую мне, так сказать, наплевать.

Хуане восемнадцать лет.

(Еще моложе, чем наша девочка!)

— Suiza...

Она подразумевает Швецию.

Она сидит, закинув назад коричневые руки, опираясь на них, прислонив голову к чугунному фонарю, белый платок, черные волосы, неправдоподобно красивые ноги; мы курим, мои белые руки, охватывающие мое правое колено.

Ее непосредственность.

Она еще ни разу не уезжала с Кубы...

Сегодня всего мой третий вечер здесь, но как все уже знакомо, близко: зеленые сумерки и неоновые рекламы, продавцы мороженого, пестрая кора платанов, птицы, их чириканье, и сетка теней на земле, красные цветы их губ.

Цель ее жизни — Нью-Йорк!

Птичий помет сверху...

Ее непосредственность.

Хуана — упаковщица, подрабатывает на улице только по субботним и воскресным вечерам, у нее ребенок, она живет не в самой Гаване.

Опять молодые матросы вразвалочку.

Я рассказываю о своей дочери, которая умерла, о свадебном путешествии с моей дочерью, о Коринфе, о змее, которая укусила ее повыше левой груди, об ее похоронах, о моем будущем.

— I'm going to marry her! [2]

Она понимает меня неправильно:

— I think she's dead. [3]

Я объясняю.

— О! — смеется она.— You're going to marry the mother of the girl, I see! [4]

— As soon as possible. [5]

— Fine! [6] — говорит она.

— My wife is living in Athens... [7]

Ее серьги, ее кожа.

Она поджидает здесь брата.

Я спрашиваю, верит ли Хуана в смертный грех, вернее, в богов,— ее белозубый смех; я спрашиваю, верит ли Хуана, что всеми змеями управляют боги, вернее, демоны.

— What's your opinion, Sir? [8]

---

[1] Скажите по-английски *(англ.)*.
[2] Я намерен жениться на ней *(англ.)*.
[3] Я думала, она умерла *(англ.)*.
[4] Вы женитесь на матери девушки, понимаю *(англ.)*.
[5] Как можно скорее *(англ.)*.
[6] Отлично *(англ.)*.
[7] Моя жена живет в Афинах *(англ.)*.
[8] А вы как считаете, сэр *(англ.)*.

Потом появляется парень в полосатой голливудской рубашке, юный сутенер, ее брат, уже говорил со мной. Его крепкое рукопожатие:

— Хэлло, приятель!

Ничего особенного, все в порядке вещей. Хуана сует сигарету под каблук, чтобы потушить ее, коричневая рука ложится на мое плечо:

— He's going to marry his wife — he's a gentleman! [1]

Хуана исчезает...

— Wait here! — говорит она и оглядывается, чтобы удержать меня.— Just a moment, Sir, just a moment! [2]

Моя последняя ночь в Гаване.

Не до сна.

У меня не было особого повода быть счастливым, но я был счастлив. Я знал: все то, что я вижу, я покину, но не забуду, аркада в ночи, где я качаюсь и смотрю, вернее, слушаю, извозчичья лошадь ржет, фасад испанского дома с желтыми занавесками, которые развеваются из черных окон, потом где-то опять дребезжанье рифленого железа — звук, который пронизывает до мозга костей. Мне весело, я наслаждаюсь. Ветер, ничего, кроме ветра, который трясет пальмы, ветер без туч, я качаюсь и потею, зеленая пальма, гибкая, как хлыст, ее листья издают такие звуки, как будто где-то точат нож, пыль, потом чугунный фонарь, который поет флейтой, я качаюсь и смеюсь, его вздрагивающий и умирающий свет, видно, я здорово напился, ржет лошадь, она едва удерживает дрожки, все хочет умчаться, вывеска «Barber shop» [3], медь, ее звон в ночи и невидимое море, его брызги над оградой и потом гром, точно под землей, жажда, соль на губах, шторм без дождя, ни одна капля не хочет упасть, да и не может, ведь нет туч, только звезды, ничего кроме горячей сухой пыли; воздух — как в духовке, я качаюсь и пью свой виски, один-единственный стакан, больше не вмещается, я качаюсь и пью. Часами. Я пою! Ведь я не умею петь, но меня никто не слышит, извозчичья лошадь на пустой мостовой, последние девушки в своих летящих юбках, их коричневые ноги, их черные волосы, которые тоже летят, и зеленое жалюзи, которое сорвалось, их белозубый смех, пыль, оно скользит по мостовой — зеленое жалюзи,— туда, к морю, на простор; малиновый свет среди пыли над белым городом в ночи, зной, флаг Кубы. Я качаюсь и пою, только и всего, рядом со мной раскачиваются пустые качалки, поет флейтой чугунный фонарь, вихрь лепестков. Я пою хвалу жизни!

Суббота, 13.VII. Лечу дальше.

Утром на Прадо, после того, как я побывал в банке, обменял деньги,— безлюдная аллея, скользкая от птичьего помета и белых лепестков...

Солнце...

Все как обычно.

Птицы...

Потом мужчина, который просит огня для своей сигары, вид у него деловой, но он все-таки провожает меня, чтобы осведомиться:

— How do you like Habana? [4]

— I love it. [5]

Опять сутенер — тоном сообщника:

— You're happy, aren't you? [6]

Он восхищается моей кинокамерой:

---

[1] Он хочет жениться на своей жене, он джентльмен *(англ.)*.
[2] Подождите здесь. Одну минутку, сэр, одну минутку *(англ.)*.
[3] Парикмахерская *(англ.)*.
[4] Вам нравится Гавана *(англ.)*.
[5] Я полюбил ее *(англ.)*.
[6] Вам хорошо, правда *(англ.)*.

— Something very beautiful. D'you know what I mean? Something very young!

Когда я ему говорю, что уезжаю, он спрашивает, в котором часу я должен быть на аэродроме.

— Ten o'clock, my friend, ten o'clock. [1]

Он смотрит на часы.

— Well,— говорит он.— It's nine o'clock, Sir. That's plenty of time! [2]

Я еще раз бреду к морю.

Где-то далеко рыбачьи лодки...

Прощание.

Еще раз сижу на ограде, выкуриваю одну сигару, я больше ничего не снимаю. Зачем? Ганна права: придется смотреть это как фильм, когда этого уже не будет, ведь все проходит...

Прощание!

Приходила Ганна. Я ей сказал, что она выглядит, как невеста. Ганна в белом! Она вдруг перестала приходить в своем траурном платье; ее объяснение: якобы слишком жарко. Я столько наговорил ей про ауров, что теперь она не хочет сидеть, как черная птица возле моей постели, и думает, я не замечаю ее милого внимания. Ведь прежде (еще несколько недель назад) я многого не замечал. Ганна рассказывает.

P. S. Как-то в детстве Ганна боролась со своим братом и дала себе клятву никогда не любить мужчин, потому что младшему брату удалось положить Ганну на лопатки. Она была возмущена, что господь бог создал мальчишек более сильными. Она считала его несправедливым, не брата, а бога. Ганна решила быть более умной, чем все мальчики Мюнхена, тайно основала клуб для девочек, чтобы упразднить Иегову. Во всяком случае, она могла признать только такое небо, в котором были бы и богини. Сперва Ганна обратилась к божьей матери, вспомнив изображение, где Мария, в центре, восседает на престоле. Ганна опустилась на колени и стала креститься, как ее подружки-католички, о чем Ганнин папа не должен был знать. Единственный мужчина, которому она доверяла, был старик по имени Армин, сыгравший известную роль в ее девичьей жизни. Я не знал, что у Ганны есть брат. Ганна говорит: он живет в Канаде, он дельный малый и, вероятно, продолжает класть всех на лопатки. Я спросил, как она жила с Иоахимом, как, и где, и долго ли. Я о многом расспрашивал. А Ганна неизменно отвечала. «Да ты же и так знаешь!» Охотней всего она рассказывает про Армина. Он был слепой. Ганна любит его еще и теперь, хотя он давно умер или пропал без вести. Ганна была еще школьницей, подростком в носочках, они обычно встречались с ним в Английском парке, где он постоянно сидел на одной и той же скамейке, а потом она вела его через Мюнхен Он любил Мюнхен. Он был стар, по ее тогдашним понятиям, он был даже древним стариком, между пятьюдесятью и шестьюдесятью. Правда, у них всегда было мало времени, только по вторникам и пятницам, когда Ганна ходила учиться играть на скрипке — а они встречались в любую погоду,— она водила его и показывала ему витрины. Армин был совершенно слепой, но он мог все себе представить, если ему рассказать... Ганна говорит: «Было просто замечательно шагать с ним по земле!» Я спрашивал потом, при каких обстоятельствах родился наш ребенок. Меня ведь не было при этом; как же я мог себе это представить? Иоахим, конечно, был. Он знал, что не он отец, но он был девочке настоящим отцом. Легкие роды, говорит Ганна. Она помнит только, что была очень счастлива, став матерью. Чего я тоже

[1] В десять часов, мой друг, в десять часов *(англ.)*.

[2] Что ж!.. Теперь девять часов, сэр, времени сколько угодно *(англ.)*.

не знал: оказывается, моя мать знала, что ребенок — мой, больше в Цюрихе не знал никто, мой отец и понятия об этом не имел. Я спросил, почему моя мать ни в одном письме не упомянула о том, что знала. Женская солидарность? Они просто не упоминают о том, чего мы не знаем, и обращаются с нами, как с несовершеннолетними. По словам Ганны, мои родители якобы были другими, чем я думаю, другими по отношению к ней, во всяком случае. Когда Ганна рассказывает о моей матери, я только слушаю. Как слепой! Они еще много лет переписывались, Ганна и моя мать, которая, оказывается, умерла не от эмболии, как я полагал. Ганна просто диву дается, скольких обстоятельств я не знал! Ганна была на ее похоронах в 1937 году. Ее любовь к древней Греции, считает Ганна, и началась в Английском парке. Армин знал греческий, и девушка читала ему вслух отрывки из своих учебников, чтобы он мог заучивать их наизусть. В этом и состояло все его насилие над ней. Он никогда не водил Ганну к себе на квартиру. Она не знает, где он жил и как. Ганна встретилась с ним в Английском парке и рассталась с ним в Английском парке, и никто на свете не знал, что они договорились вместе поехать в Грецию, Армин и она; как только она станет взрослой и свободной, она будет показывать ему греческие храмы. Принимал ли старик все это всерьез — неизвестно. А Ганна относилась вполне серьезно. Ганна в носочках. Припоминаю, как-то раз, в кафе «Одеон», в Цюрихе, сидел старый господин, которого Ганна обычно провожала оттуда до трамвая. Я лично терпеть не могу это кафе. Эмигранты и интеллектуалы, богема! Профессора и старые кокотки для провинциальных приезжих дельцов, я только ради Ганны и ходил в это кафе. Он жил в пансионе «Фонтана», я поджидал в маленьком сквере (спрятавшись), возле Глориаштрассе, покуда Ганна проводит своего старого дядю.

Значит, это и был Армин! Я-то не принимал его всерьез. Ганна говорит: «А он тебя принимал вполне серьезно». Ганна и сегодня еще говорит об Армине, будто он жив и все видит. Я спросил Ганну, почему она так и не поехала с ним в Грецию. Ганна высмеяла меня, это было только шуткой, ребячеством. В Париже (с 1937 по 1940) Ганна жила с одним французским писателем, довольно известным, я забыл его фамилию. А вот чего я тоже не знал: Ганна была в Москве (1948) со своим вторым мужем. Однажды она, проездом, опять побывала в Цюрихе (1953) без нашей дочери... Она даже любит Цюрих, как если бы там ничего не случилось, она побывала и в кафе «Одеон». Я спросил, как умер Армин. В Лондоне (1942) Ганна встретилась с ним еще раз. Армин хотел эмигрировать, и Ганна еще проводила его на пароход, который он не мог видеть и который, вероятно, потопила немецкая подлодка. Во всяком случае, пароход так и не прибыл на место назначения.

15.VII. Дюссельдорф.

Что подумал обо мне молодой техник, которого господа из «Хенке-Бош» предоставили в мое распоряжение,— не знаю; могу только сказать, что тогда утром я держал себя в руках изо всех сил.

Небоскреб, сверкающий хромом...

Я считал своим дружеским долгом информировать этих господ, как выглядит их плантация в Гватемале, но, по существу, прилетел из Лиссабона в Дюссельдорф, не обдумав, что, собственно, мне нужно сказать или сделать в Дюссельдорфе, и теперь просто сидел тут, вежливо принятый ими.

— У меня есть кинопленка,— сказал я.

Мне показалось, что они уже сбросили плантацию со счета, они интересовались просто из вежливости.

— Сколько же времени продолжается ваш фильм?

Видимо, я только мешал им.

— Как, то есть, несчастный случай?! — сказал я.— Мой друг просто повесился. Разве вы этого не знаете?

Они, конечно, знали.

У меня было такое чувство, что их это не интересует, но ничего не поделаешь — надо посмотреть мой цветной фильм о Гватемале. Техник, которого предоставили в мое распоряжение, чтобы организовать в зале для совещаний просмотр, действовал мне на нервы; он был очень молод, притом очень мил, но ни к чему, мне нужна была аппаратура, экран, кабель — техник мне не был нужен.

— Благодарю,— сказал я.

— Пожалуйста, сударь.

— Я знаком с аппаратурой,— сказал я.

Я не мог избавиться от него.

Я сам видел эту пленку в первый раз (она была еще не разрезана), я так и знал, что будет уйма дублей, это неизбежно; и все же поразился количеству солнечных заходов — три солнечных захода в одной только пустыне Тамаулипас; можно было подумать, что я разъезжаю в качестве агента солнечных заходов, смешно! Мне даже стало стыдно перед юным техником, вот откуда мое нетерпение...

— Большей резкости не добьешься, сударь.

Наш «лэндровер» возле реки Усумасинта...

Ауры за делом...

— Дальше,— сказал я,— пожалуйста.

Потом первые индейцы, утром они нам сообщают, что их сеньор умер, потом конец ролика, перемена ролика — что требует некоторого времени; тем временем беседа о пленке «эктахром». Я сижу в кресле и курю, ведь делать мне нечего, рядом пустые кресла членов правления; только они не качаются на ветру.

— Пожалуйста,— говорю я,— дальше.

Вот Иоахим, висящий на проволоке.

— Стоп! — говорю я.— Пожалуйста!

Изображение очень темное, к сожалению, сразу не разберешь, оттого что снято в бараке с той же диафрагмой, как раньше ауры на осле, под утренним солнцем, на улице. Я говорю:

— Это доктор Иоахим Хенке.

Взгляд техника на экран.

— Лучшей резкости не получается, сударь, весьма сожалею.

Больше ему нечего сказать.

— Пожалуйста,— говорю я,— дальше!

Еще раз Иоахим на проволоке, но на этот раз в другом ракурсе, так что видно в чем дело... Странно, не только на моего юного техника, но и на меня это не производит ровно никакого впечатления — фильм, каких видели уже много, так, недельное обозрение, не хватает вони, действительности, мы говорим про освещение, молодой человек и я, между тем мы видим гроб с молящимися индейцами, вокруг все слишком длинно, потом развалины Паленке, попугай из Паленке. Конец ролика.

— Может быть, здесь можно открыть окно? — сказал я.— Ведь душно, как в тропиках.

— Пожалуйста, сударь.

Неудача объяснялась тем, что на таможне перепутали мои ролики с пленкой,— точнее, тем, что ролики последнего времени (путешествие на пароходе) не были надписаны; а я намеревался показать господам из «Хенке-Бош», которые должны были собраться к 11.30, только то, что относится к Гватемале. И нужно мне было одно: мой визит к Герберту.

— Стоп! — сказал я.— Это Греция!

— Греция?

— Стоп!— крикнул я.— Стоп!

— Пожалуйста, сударь.

Мальчик действовал мне на нервы, его вежливость, его «пожалуйста, сударь», его снисходительное «пожалуйста» — как будто он единственный человек, знающий толк в этой аппаратуре, его болтовня про оптику, в которой он ничего не смыслил, но прежде всего — «пожалуйста» и при этом его всезнайство.

— Ничего не поделаешь, сударь, другого выхода нет, придется прокрутить всю пленку подряд и посмотреть, поскольку ролики не надписаны.

Это была не его вина, что ролики не надписаны; на сей раз он был прав.

— Начинается,— говорю я,— с господина Герберта Хенке, мужчины с бородой, в гамаке, насколько я помню.

Свет погашен. Темно. Жужжание.

Прямо азартная игра! Достаточно было первых кадров — Айви на молу в Манхэттене. Она машет мне, утреннее солнце над Гудзоном, черные тягачи, skyline[1], чайки...

— Стоп! — сказал я.— Пожалуйста, следующий.

Перемена ролика.

— Вы, как видно, объездили полсвета, как бы мне тоже хотелось!..

Было 11.00.

Мне следовало принять таблетки, чтобы быть «в форме», когда прибудут эти господа, принять таблетки без воды — я не хотел, чтобы было заметно.

— Нет,— сказал я,— это тоже не то.

Опять перемена ролика.

— Сейчас был римский вокзал, да?

Я не ответил. Я ждал следующего ролика. Я был настороже, чтобы сразу крикнуть «стоп». Я знал: Забет на пароходе, Забет играет в пинг-понг на палубе (тут и дружок с усиками), Забет в бикини, Забет показывает мне язык, заметив, что я ее снимаю,— все это должно было находиться в первом ролике, который начинался с Айви; значит — отставить. Но еще шесть или семь роликов лежало на столе, и вдруг, точно это само собой разумелось, она тут — в натуральный рост — Забет на экране. В цвете.

Я встал...

Забет в Авиньоне.

Но я не крикнул «стоп!» — я дал промотать ролик, хотя юный техник неоднократно заявлял, что это, конечно, не Гватемала.

Я и сейчас вижу эти кадры.

Ее лицо, которого никогда больше не будет...

Забет во время мистраля, она идет против ветра, терраса, Папский парк, все развевается — волосы, ее юбка, как воздушный шар; Забет у перил, она машет рукой.

Ее движения...

Забет, кормящая голубей.

Ее смех, но немой...

Авиньонский мост — старый мост, который просто обрывается посередине. Забет мне что-то показывает, ее гримаска, когда она замечает, что я снимаю, вместо того чтобы смотреть на то, что она показывает, она хмурит лоб, между бровями морщинка, она что-то говорит.

Пейзажи...

Рона, вода, Забет пробует ее пальцами вытянутой ноги и качает головой, вечернее солнце, моя длинная тень.

---

[1] Очертание города *(англ.)*.

Ее тело, которого никогда больше не будет...

Античный театр в Ниме.

Завтрак под платанами, официант, который еще раз приносит нам бриоши, ее болтовня с официантом, она смотрит на меня, наливает черный кофе в мою чашку.

Ее глаза, которых больше нет...

Мост у вокзала.

Забет покупает открытки, чтобы написать маме. Забет в черных ковбойских штанах, она не замечает, что я ее снимаю; Забет отбрасывает свой конский хвост.

Отель «Генрих IV».

Забет сидит на подоконнике, скрестив ноги, босиком, она ест вишни, бросает взгляд на улицу, вниз, она просто выплевывает косточки; день дождливый.

Ее губы...

Забет беседует с французским мулом, который, по ее мнению, слишком тяжело нагружен.

Ее руки...

Наш «ситроен-57».

Ее руки, которых нигде больше нет, она гладит мула, ее пальцы, которых нигде больше нет...

Бой быков в Арле.

Забет расчесывает волосы, заколка зажата в молодых зубах, она опять замечает, что я ее снимаю, и вынимает заколку изо рта, желая мне что-то сказать. По-видимому, она говорит, чтобы я не снимал ее, и вдруг она смеется.

Ее здоровые зубы...

Ее смех, который я никогда больше не услышу...

Ее молодой лоб...

Процессия тоже в Арле, кажется, Забет вытягивает шею и курит, зажмурив глаза от дыма, руки в карманах брюк. Забет на цоколе, чтобы видеть толпу сверху. Балдахин, вероятно, колокольный звон, но его не слышно, богоматерь, поющие мальчики из церковного хора, но их не слышно.

Прованская аллея, Платановая аллея.

Наш пикник в пути. Забет пьет вино. Пить из бутылки трудно, она закрывает глаза и делает еще попытку, потом вытирает рот — не получается, она передает мне бутылку, пожимает плечами.

Пинии, мистраль!

Еще раз пинии, мистраль.

Ее походка...

Забет идет к киоску купить сигареты. Забет—как она идет. Забет по обыкновению в своих черных штанах, она стоит на тротуаре, смотрит налево и направо, ее конский хвост, потом—наискось, через улицу, ко мне.

Ее походка, вприпрыжку...

Еще раз пинии, мистраль.

Забет спит, ее полуоткрытый детский рот, ее распущенные волосы, ее серьезность, закрытые глаза...

Ее лицо, ее лицо...

Ее дышащее тело...

Марсель. Погрузка быков в порту, коричневых быков ведут на разложенную сетку, затем подъем, их испуг, когда они повисают в воздухе, четыре ноги, просунутые в отверстия огромной сетки, их эпилептические глаза. Пинии и мистраль — еще раз. L' unité d'Habitation (Corbusier).[1]

[1] Единство жилища (Корбюзье) (*франц.*).

В общем и целом освещение совсем не дурное, во всяком случае, лучше, чем в гватемальском ролике. Цвет получился прекрасный, я удивлен.

Забет собирает цветы.

Я (наконец-то) меньше двигал аппарат туда и сюда, поэтому движения снятого объекта получились гораздо лучше.

Прибой...

Ее пальцы. Забет впервые видит пробковый дуб, ее пальцы ломают кору, потом она бросает корой в меня.

Обрыв пленки.

Прибой в полдень, больше ничего.

Забет еще раз причесывается, у нее мокрые волосы, голова склонена набок, чтобы лучше расчесать волосы, она не видит, что я снимаю, и рассказывает что-то, пока причесывается, ее волосы темнее, чем обычно, оттого что мокрые, более рыжеватые, ее зеленый гребешок явно полон песку, она чистит его, ее мраморная кожа, с каплями воды; она все еще рассказывает...

Подводные лодки возле Тулона.

Молодой бродяга с омаром, который шевелится. Забет пугается, как только он начинает шевелиться...

Наша маленькая гостиница в Ле-Трейя.

Забет сидит на молу...

Еще раз прибой.

(Слишком длинно!)

Забет еще раз на молу, теперь она стоит, наша умершая дочь, и поет, ее руки опять засунуты в карманы штанов, она думает, что она здесь одна-одинешенька, и поет, но не слышно...

Конец ролика.

■

Что юный техник думал и говорил обо мне, когда прибыли господа из «Хенке-Бош»,— не знаю; я сидел в вагоне-ресторане «Гельвеция-экспресс» или Экскурсионного экспресса, не помню, и пил «штейнхегер». Как именно я ушел из «Хенке-Бош», я тоже не знаю — без объяснений, без предлога, просто взял и ушел.

Только пленку оставил.

Я сказал юному технику, что должен идти, и поблагодарил его за услуги. Я вышел в приемную, где было мое пальто и шляпа, я попросил барышню дать мне портфель, который еще лежал в дирекции. Я уже стоял у лифта; было 11.32, все готовы к просмотру, когда я извинился и сказал, что у меня желудочные боли (чего не было), и сел в лифт. Они предложили подвезти меня в машине до отеля, точнее, до больницы, но ведь у меня не было никаких болей. Я поблагодарил и пошел пешком. Не спеша, не представляя себе, куда идти. Куда глаза глядят. Я шагал по городу. Я не знал нынешнего Дюссельдорфа, движения в Дюссельдорфе, я не обращал внимания на светофоры, вероятно, я двигался, как слепой. Я подошел к окошечку, купил билет на следующий поезд — и вот я сижу в вагоне-ресторане, пью «штейнхегер» и смотрю в окно, я не пла́чу, я только не хочу быть здесь, не хочу быть нигде. Зачем же глядеть в окно? Смотреть мне больше не на что. Ее руки, которых нигде больше нет, ее движения, когда она отбрасывает волосы на затылок и причесывается, ее зубы, ее рот, ее глаза, которых нигде больше нет. Где их искать? Мне хотелось одного — пусть бы мне никогда не родиться. Зачем ехать в Цюрих? Зачем в Афины? Я сижу в вагоне-ресторане и думаю: почему бы не взять в руки эти две вилки, поднять их, зажав в кулаках, и уронить на них лицо, чтобы избавиться от своих глаз?

Моя операция назначена на послезавтра.

P. S. За все время моего отсутствия я понятия не имел о том, что Ганна делала после катастрофы. Ни единого письма от Ганны! Я и сейчас не знаю. Когда я спрашиваю, она отвечает: «А что мне делать?!» Я больше ничего не понимаю. Как может Ганна, после всего, что случилось, выносить меня? Сюда она приходит, чтобы куда-нибудь идти, и приходит опять, она приносит мне все, о чем я прошу, она слушает, когда я говорю. Что она думает? Ее волосы поседели. Почему она не говорит, что я разрушил ее жизнь? После всего, что случилось, я не в силах представить себе ее жизнь. Я понимал Ганну один-единственный раз, когда она обоими кулаками била меня по лицу, тогда, у кровати мертвой Забет. С тех пор я ее уже не понимаю.

16.VII. Цюрих.

Должно быть, я поехал из Дюссельдорфа в Цюрих только потому, что не видел своего родного города уже десятки лет.

Мне нечего было делать в Цюрихе.

Вильямс ждал меня в Париже...

В Цюрихе, когда он затормозил возле меня и вышел из машины, чтобы со мной поздороваться, я опять не узнал его, точно так же, как в прошлый раз: череп, обтянутый кожей, кожа — как желтоватый папирус, живот — шар, оттопыренные уши, приветливость, улыбка, как у скелета, глаза все еще живые, но глубоко запавшие, я знал только, что знаком с ним, но в первое мгновение опять не знал, кто он.

— Всегда спешите.— улыбается он,— всегда спешите!

А что я делаю в Цюрихе?

— Вы опять меня не узнаете? — спросил он.

Он выглядел ужасающе, я не нашелся, что сказать, конечно, я узнал его, сперва просто первый испуг, потом страх (вдруг я ляпну что-нибудь недопустимое), и я сказал:

— Конечно, у меня есть время.

Потом мы сидели вместе в кафе «Одеон».

— Очень сожалею,— сказал я,— что не узнал вас тогда, в Париже...

Но он не был на меня в обиде, он улыбался, я слушал, глядя на его старые зубы, это только выглядело так, будто он улыбается, его зубы чересчур велики, мускулов уже не хватает для лица без улыбки,— беседа с черепом, мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не спросить у профессора О., когда же он собирается умереть. Он улыбался:

— Что это вы там рисуете, Фабер?

Я не рисовал на мраморном столике ничего особенного, так, какую-то спираль,— в желтом мраморе был окаменевший завиток, оттуда и моя спираль,— я снова спрятал свой карандаш, разговор зашел о международном положении, его улыбка настолько мешала мне, что я просто не знал, что сказать.

Отчего я молчалив?

Один из официантов «Одеона», старик Петер, уроженец Вены, еще помнит меня, он находит, что я не изменился.

Профессор О. улыбался.

Он жалеет, что я тогда так и не защитил свою диссертацию о так называемых Максвелловских демонах.

Одеонские кокотки, как прежде.

И вдруг его вопрос:

— Как поживает ваша красивая дочь?

Он видел Забет тогда, в Париже, когда мы прощались в кафе. Он говорит: «Недавно в Париже!» Это было после обеда, перед тем как мы пошли в оперу, Забет и я, накануне нашего свадебного путешествия. Я ничего не ответил, только спросил:

— Каким образом вы узнали, что это была моя дочь?

— Так уж я подумал!

Его улыбка при этом.

В Цюрихе мне ровным счетом нечего было делать, и в тот же самый день (после встречи с профессором О.) я уехал в Клотен, чтобы лететь дальше...

Мой последний полет!

Опять «супер-констэллейшн».

Кстати, это был спокойный полет, только слабый фён над Альпами, которые я знаю еще с юношеских лет, но пролетаю над ними впервые, голубой день с обычным фёном, Фирвальдштетское озеро, направо Веттерхорн, в отдалении Эйгер и Юнгфрау, а может быть, Финстераархорн, так уж точно я не помню их — наши горы, у меня другое в голове...

А что именно?

Долины в косых лучах предвечернего часа, тени на склонах, в ущельях с белыми ручьями — пастбища, риги, позолоченные солнцем, один раз стадо в лощине на опушке леса — как белые личинки! (Забет, конечно, нашла бы другое сравнение, но я не знаю какое.) Мой лоб у холодного окна, никчемные мысли.

Хочу понюхать сено!

Никогда больше не летать!

Хочу ступать по земле — там, под последними соснами, которые стоят на солнце, вдыхать их смолистый запах и слышать шум воды, должно быть, бурливой, пить воду...

Все проходит мимо, как в фильме!

Хочу потрогать землю...

Вместо этого мы поднимаемся еще выше.

Зона жизни — как она, по сути, невелика, несколько сот метров, и вот атмосфера уже слишком разрежена, слишком холодна, по сути, то, что заселено человечеством,— лишь оазис, зеленая долина с узкими разветвлениями, потом оазис кончается, леса как бы отрезаны: здесь, в нашем краю, на высоте 2000 метров, в Мексике — на высоте 4000 метров. Некоторое время еще стада, пасущиеся на границе возможной жизни, цветы, — я их не вижу, но знаю,— яркие, с цепкими корнями, но крошечные, и насекомые, потом одна только галька, окатыши, потом лед...

Озеро и плотина.

Его вода — как перно, зеленоватая и мутная, в глубине белая, отражение фирна, на берегу — шлюпка, дамба, ни души.

Потом первые туманы, они гонятся, мчатся.

Потом расселины в глетчерах — зеленые, как бутылочное стекло; Забет сказала бы: как смарагд! Опять наша игра — двадцать одно очко. Скалы в поздних лучах солнца — как золото. Я нахожу — как янтарь, оттого что они матовые и почти прозрачные, или как кости, оттого что блеклые и хрупкие. Тень от нашего самолета над моренами и глетчерами; когда она проваливается в бездны, каждый раз думаешь: все пропало, все продырявлено, а тень уже прилипает к следующей отвесной скале, словно брошенная лопаткой штукатура, но она не остается там, как штукатурка, а скользит и снова падает в пустоту, по ту сторону горного хребта. Тень от нашего самолета — как летучая мышь! Так сказала бы Забет, а я не нахожу ничего и теряю очко (моя голова забита другим); следы на фирне, следы человека, они выглядят, как заклепки, Забет сказала бы: как шейная цепочка, голубоватая, петлей повисшая

на белом бюсте из вечного снега. О чем я сейчас думаю? Если бы я стоял вон на той вершине, что бы я стал делать? Слишком поздно спускаться вниз — в долинах уже смеркается, вечерние тени сплошь покрывают глетчеры, потом извилиной уходят ввысь, по отвесным скалам. Как быть? Мы пролетаем мимо; виден крест на вершине, он светится, но очень одинок — свет, которого никогда не видят вблизи альпинисты, ведь им приходится спускаться раньше, свет, за который платят смертью, но очень красивый, одно мгновение — и уже облака, воздушные ямы, южная сторона Альп в облаках, как и следовало ожидать... Облака как вата, как гипс, как цветная капуста, как пена с мыльными пузырями, я не знаю, каких только сравнений не нашла бы Забет, все меняется мгновенно, порой в разрыве облаков виден черный лес, река, лес — как еж, всего секунду, затем облака сдвигаются, смешиваются, тени нижних облаков ложатся на нижние тени, как занавеси, мы летим сквозь них, облака, освещенные солнцем, впереди нас; кажется, что наша машина вдребезги разобьется о них, целые горные массивы водяного пара, но упругие и белые, как греческий мрамор, зернистые...

Мы влетаем в них.

После вынужденной посадки в пустыне Тамаулипас я всегда выбираю такое место, с которого видны шасси, когда самолет ведут на посадку, и с напряжением слежу, не превратится ли в последнее мгновение посадочная площадка в пустыню...

Милан.

Телеграмма Ганне о том, что я приезжаю.

Куда же еще?

Непостижимо, отчего такой вот самолет, оборудованный двумя шасси, с колесами, пневматическим устройством, амортизацией и пр., блестящий, как и положено, от смазочного масла на металлических частях, внезапно начинает вести себя, как демон, стоит ему соприкоснуться с землей, как демон, который вдруг превращает посадочную площадку в пустыню — блажь, конечно, я и сам не принимал этого всерьез; ведь за всю свою жизнь я не встретил ни одного демона, исключая так называемого Максвелловского, который, как известно, не демон.

Рим.

Телеграмма Вильямсу — мое заявление об уходе со службы.

Постепенно я успокаивался.

Когда мы полетели дальше, наступила ночь, и мы повернули на север, так что я — было уже около полуночи — не мог разглядеть Коринфский залив.

Все как обычно.

Выхлоп с дождем искр во мраке...

Зеленый сигнальный огонь на крыле...

Красные отсветы мотора...

Мои нервы были так напряжены, как если бы я летел впервые; я видел, как самолет медленно поворачивает, видел, как вспыхнули прожектора под крыльями, их белое сияние на дисках пропеллера, потом они снова погасли, огни под нами, улицы Афин, точнее, Пирея, мы спускаемся, потом обычный мягкий толчок (без рывка, без падения в неизвестность), обычные вихри пыли позади шасси...

Я расстегнул пояс.

Ганна на аэродроме.

Я вижу ее в окно.

Ганна в черном.

Со мной только портфель, моя «гермес-бэби», пальто и шляпа, так что с таможней все быстро улажено; я выхожу первым, но даже не осмеливаюсь помахать рукой. Перед самым барьером я просто остановился (так сказала Ганна) и ждал, пока она подойдет ко мне. Я в пер-

вый раз видел Ганну в черном. Она поцеловала меня в лоб. Она рекомендовала отель «Эстиа Эмборрон».

Сегодня еще только чай, еще одно так называемое обследование, потом можно считать, что я отделался. Завтра наконец операция.

Я всего один раз был на ее могиле. (Ведь я просил только осмотреть меня, а они сразу же меня задержали.) Горячая могила, цветы засыхают за несколько часов...

18.00.

Они забрали мою «гермес-бэби».

19.30.

Ганна приходила еще раз.

24.00.

Я не спал ни минуты, да и не хочу. Я все знаю. Завтра они меня взрежут, чтобы установить то, что они уже знают: спасти нельзя. Они меня зашьют, и, когда я опять приду в сознание, мне будет сказано, что я прооперирован. И я поверю, хотя знаю все. Я не признáюсь, что боли начались опять, сильнее, чем раньше, чем когда-либо. Это только так говорят: если бы я знал, что у меня рак желудка, я пустил бы себе пулю в лоб! Я цепляюсь за жизнь, как никогда, и пусть это будет еще хоть год, самый жалкий, хоть четверть года, два месяца (это были бы сентябрь и октябрь), я буду надеяться, хотя я знаю, что погиб. Но я не один, Ганна — мой друг, и я не один.

02.40.

Написал письмо Ганне.

04.00.

Распоряжения на случай смерти: все мои бумаги, как-то: доклады, письма и пр.— должны быть уничтожены. Все неправда. Жить — значит жить в свете. Все равно где (как этот старик в Коринфе, недавно), быть погонщиком ослов — тоже призвание, но прежде всего: быть верным свету и радости (как наша девочка, когда она пела), сознавая, что я угасну в свете, над морем, дроком и асфальтом. Противостоять времени, вернее — пережить вечность в мгновении. Быть вечным — значит побывать живым.

04.15.

У Ганны тоже больше нет квартиры, она это сказала только сегодня (вчера!). Она теперь живет в пансионе. Моя телеграмма из Каракаса уже не застала ее. Должно быть, пришла в то время, когда Ганна переезжала. Сначала она надумала прожить год на островах, где у нее есть знакомые греки, со времен раскопок (Делос); жизнь на этих островах, говорит она, очень дешевая; Ганна предполагает, что в Муконосе можно купить дом за двести долларов, в Аморгосе за сто долларов. Она больше не работает в институте, как я и подозревал. Ганна попыталась сдать свою квартиру вместе с обстановкой, но в такой спешке ей это не удалось, тогда она все распродала, а почти все деньги раздарила. В Афинах она просто не в силах была выдержать, сказала она. Когда она укладывалась, она думала о Париже, может быть, и о Лондоне; все неясно, ведь не так просто в ее возрасте найти новую работу, например, стать

секретаршей. Ганна ни одной минуты не думала просить меня о помощи; поэтому и не писала. В сущности, у Ганны была единственная цель: уехать из Греции! Она покидала город, не простившись ни с кем из знакомых, кроме директора института, которого она очень уважает. Последние часы перед отъездом она провела на могиле и в 14.00 должна была уже быть на борту, отплытие в 15, но по какой-то причине отъезд на час задержался. Вдруг (говорит Ганна) ей все показалось бессмысленным, и она сошла с парохода, взяв свой ручной багаж. Забрать три больших чемодана из пакгауза было уже поздно. Чемоданы отправились в Неаполь и скоро должны вернуться. Сначала она жила в отеле «Эстиа Эмборрон», но жить там постоянно для нее слишком дорого, и она снова подала заявление в институт, где ее бывший сотрудник тем временем успел занять ее место; договор с ним заключен на три года, изменить этого уже нельзя, ведь ее преемник очень долго ждал и не собирается добровольно отступать. Директор, говорит Ганна, все же чрезвычайно внимателен, но институт недостаточно богат, чтобы оплачивать эту должность в двойном размере. Что ей могут предложить: быть может, случайную работу да еще рекомендацию за границу. Но Ганна хочет остаться в Афинах. Ждала ли Ганна меня здесь или хотела уехать из Афин, чтобы больше не видеть меня, я не знаю. То, что она своевременно получила мою телеграмму из Рима, было случайностью: когда пришла телеграмма, она как раз находилась в пустой квартире, чтобы вручить управляющему ключи. Где Ганна работает сейчас: перед обедом экскурсоводом в музее, после обеда в Акрополе и вечером — тоже. Она сопровождает группы туристов, которые осматривают все за один день.

Средиземноморское общество туристов.

06.00.

Еще раз написал письмо Ганне.

06.45.

Я не знаю, отчего Иоахим повесился. Ганна спрашивает меня все вновь и вновь. Откуда я могу знать? Она то и дело возвращается к этому, а я знаю об Иоахиме меньше, чем Ганна. Она говорит: когда ребенок появился на свет, он не напоминал мне о тебе, это был мой ребенок, только мой. Что касается Иоахима — его я любила именно потому, что он не был отцом моего ребенка, и в первые годы все было очень просто. Ганна считает, что наш ребенок не появился бы на свет, если бы мы тогда не расстались. В этом Ганна убеждена. Видимо, Ганна приняла это решение еще до моего отъезда в Багдад. Она одержимо хотела иметь ребенка, но, только когда я исчез, поняла, что хочет ребенка без отца, не нашего ребенка, а просто ребенка. Она была одна и счастлива тем, что беременна, когда она пошла к Иоахиму с тем, чтобы он ее переубедил, Ганна все равно уже решила оставить ребенка. Ей не помешало, что Иоахим тогда помог ей принять жизненно важное решение, что он в нее влюбился и вскоре все завершилось свадьбой. И мое злосчастное замечание, сделанное недавно, в ее квартире: «Ты ведешь себя, как наседка», так поразило ее именно потому, что Иоахим, как она теперь созналась, однажды произнес те же самые слова. Иоахим заботился о ребенке, но не вмешивался в воспитание; ведь это был не его ребенок и не мой ребенок, а просто ее ребенок, ее собственный ребенок, к которому ни один мужчина не должен был иметь отношения, с чем Иоахим, по-видимому, примирился, по крайней мере в первые годы, пока Забет была крошкой, которая все равно вся принадлежит матери; Иоахим этому не препятствовал, ведь это давало Ганне счастье. О тебе, говорит Ганна, никогда и речи не было. Иоахим не имел основания ревновать, и ко мне тоже не ревновал, он видел, что я, как отец, не играю никакой роли ни

в глазах людей, которые, кстати, ничего не знали, и уж никак не в глазах Ганны, которая меня просто забыла (как Ганна все время утверждает), но без зла. Стало им труднее, когда вопросы воспитания осложнились — но не из-за разногласий, которые бывали редко. Просто Иоахима раздражало, что Ганна во всем, касающемся детей, считала себя единственной и верховной инстанцией. Ганна признает, что Иоахим был покладистым человеком, раздражительным только в этом пункте.

Очевидно, он все сильнее надеялся иметь ребенка, общего, который дал бы ему положение отца, тогда все само собой уладится. Эльзбет считала его своим папой, она его любила, но Иоахим не верил ей, так полагает Ганна, и казался себе лишним. В те годы было немало разумных доводов против того, чтобы производить на свет детей, особенно немецкой полуеврейке; Ганна упорствует еще и сегодня, как будто я намерен ей возражать. Иоахим не верил этим доводам. У него было вот какое подозрение: «Ты не хочешь, чтобы в доме был отец!» Он думал, что Ганна желает иметь детей только при условии, если отец потом исчезает. И вот чего я еще не знал: Иоахим подготовил свой отъезд за океан еще в 1935, чтобы не разлучаться с Ганной. Да и Ганна никогда не помышляла о разлуке, она готовилась уехать с Иоахимом в Канаду или Австралию и дополнительно овладела профессией лаборантки, чтобы всюду, куда бы его ни забросила судьба, быть ему помощницей. Но до этого не дошло. Когда Иоахим узнал, что Ганна перевязала себе трубы, он решил порвать с нею. Хотя Иоахим, к досаде своего семейства, мог освободиться от военной службы, он добровольцем пошел в вермахт. Ганна так и не забыла его. Хотя в последующие годы она не обходится без мужчин, она посвящает всю свою жизнь дочери. Работает в Париже, потом в Лондоне, Восточном Берлине и в Афинах. Она бежит со своим ребенком. Она сама занимается со своим ребенком там, где нет немецких школ, и в сорок лет еще учится играть на скрипке, чтобы аккомпанировать Забет. Для Ганны не существует трудностей, если это касается ее дочери. Когда вермахт входит в Париж, она выхаживает больную девочку в подвале и осмеливается выходить на улицу только за лекарством. Ганна не избаловала своего ребенка. Я нахожу, что для этого Ганна слишком разумна, хотя она сама (вот уже несколько дней) все время обзывает себя идиоткой.

Почему я тогда сказал, спрашивает она то и дело, «твой ребенок» вместо «наш ребенок»? Сказал я это как упрек или просто из трусости? Я не понимаю ее вопроса. Знал ли я тогда, насколько был прав? И почему я недавно сказал: «Ты ведешь себя, как наседка!»? Уже сколько раз я брал обратно эти слова с тех пор, как знаю, что́ Ганна вынесла на своих плечах, но Ганна никак не может об этом забыть. Прощу ли я ее?! Она плакала, Ганна, стоя на коленях, хотя в любую минуту могла войти сестра милосердия, Ганна целует мою руку, значит, я ее совсем не знаю. Я понимаю только одно: после всего, что случилось, Ганна никогда не расстанется с Афинами, с могилой нашего ребенка. Вероятно, мы оба останемся здесь. Я понимаю, почему она отказалась от своей квартиры с пустой комнатой; Ганне и без того было трудно отпустить девушку одну, когда Забет уехала, пусть всего на полгода. Ведь Ганна всегда знала, что когда-нибудь девочка покинет ее; но и Ганна не могла себе представить, что Забет именно во время этого путешествия встретит своего отца, который все разрушит.

08.05.

Они идут.

Педро де Ораа

19 АПРЕЛЯ

Здесь, где затихла буря,
на побережье топком,
забрезжил контур будущего города;
в безмолвье влажном
из смрадных топей выскальзывают
асфальтовые змеи дорог,
сближая брата, живущего в глуши,
с далеким братом;
в тиши, колеблемой
гнилым курением болот,
прерывистым дыханием трясины,
так необычен
треск древесины, которую грызут
скрежещущие ящеры:
их челюсти стальные диктуют
доскам новорожденным
желанье просыпающейся пустоши,
чьи дебри забраны в квадраты
дверных проемов и оконных рам,—
здесь,
под шуршащей кровлей ветра,
где житель Сьéнаги
основывает новое жилище.
Сейчас лицо его (которое люблю
за каждую морщинку,
подчеркнутую чернотою копоти
над кучами,
где созревает древесный уголь),
сейчас его лицо,
обугленное временем
лицо спокойного упрямца,
лицо, вобравшее все лица Кубы,
обращено к трясине, над которой
синеет контур будущего города...

Кто сможет, какое привиденье
в истлевшем саване,
здесь, где усердный угольщик
корчует призрачные корни,—
кто сможет снова
воздвигнуть мрачную чащобу
и выплеснуть на побережье
планктон, настоянный на прошлом?

Над топью ревет листва деревьев;
святая ненависть,
под сводом жизни,
объединяет защитников отчизны
и погребает в гротах смерти
насильников, пятнавших синеву
прибрежных вод.
Кулак защитника сбивает спесь
с гниющих призраков,
с их грязной ненависти;
многоголосый крик срывает с них
пятнистые покровы маскхалатов,
пожухшую листву
несбывшихся надежд,
и разбивает в щепы их костыли,
лишает их опоры — земли и воздуха,
гремит над их звериным страхом,—
РАЗГРОМ!

Перевод с испанского
ПАВЛА ГРУШКО

---

19 апреля 1961 года, пять лет назад, на Плайя-Хирон кубинский народ одержал победу над наемниками империализма США.

ЯН ОТЧЕНАШЕК

Хромой Орфей

РОМАН

Перевод с чешского Т. АКСЕЛЬ, Н. АРОСЕВОЙ, Д. ГОРБОВА

4

Стрелка альтиметра показывала пять тысяч метров. Войте почудилось, что мотор теряет обороты, он глянул на тахометр и тотчас прибавил газ. Посмотрел через окошко вниз. Машина покачивалась над ослепительным морем облаков, концы крыльев слегка вибрировали...

— Смывайся! — Крыша над головой Войты сдвинулась, на крыле стоял Коцек и делал знаки.— Старый шляется тут. Эта машина пойдет на старт еще сегодня. Одна-единственная!

Войта выбрался из кабины пилота и поплелся за Коцеком к широким воротам. Только что отзвучал гудок после перерыва. Коцек знал слабость Войты к самолетам и, когда можно было, позволял ему влезать в машину и забавляться рулями управления. Обычно это удавалось только в перерыв — строгостей здесь было куда больше, чем в фюзеляжном; мастер Хюбш — немчура и бирюк, хотя, может быть, и добряк в душе — во всем, что касалось самолетов, шуток не любил. За самый пустяковый проступок в ангаре или на стартовой дорожке он сурово взыскивал; слово «саботаж» висело над каждым, кто тут работал, и звучало грознее, немцев вокруг было полным-полно.

Но Войте здесь больше нравилось, хотя он и сам не знал, какой ветер занес его сюда, и работа не отвечала его квалификации, а сильно смахивала на подсобную. Зато он был около готовых машин — он обожал их яростный рев, обожал запах отработанного масла и горючего. И все же его обескураживало, что на крыльях самолетов были германские опознавательные знаки, и дважды в месяц являлась группа германских пилотов, чтоб улететь на этих машинах в одну из летных школ Германии, конечно, если воздух был чист, потому что во время тревоги они не рисковали подниматься на необлетанных машинах.

Машины тут ни при чем. Может, некоторые из них останутся, когда нацисты смотают удочки, и, кто знает, может, на одной из оставшихся он, Войта, будет учиться летать. Если только их не раздолбают пикировщики. Войта восхищался этими небесными охотниками — «спитфайерами» и «тайфунами», которые сейчас, когда приближались фронты, все чаще появлялись над территорией, еще подвластной Германии. Молодцы! Вездесущие властители воздушного пространства! Ни один

* Окончание. Начало в №№ 1, 2, 3.

немецкий самолет, паровоз, воинская машина не могли уже чувствовать себя в безопасности. Та-та-та, и не успеют залаять немецкие зенитки, пикировщика уже и след простыл! Благодаря им все меньше самолетов выезжает из ангаров под открытое небо: вместо четырех по плану — два в день, иной раз только один, а то и ни одного. Понятно, есть и другие причины: постоянная бомбежка заводов, дорог, эшелонов усиливает нехватку сырья, беспорядок на производстве неудержимо ширится, этому активно способствуют большие и малые, доказанные и недоказанные акты саботажа и такие дефекты в конструкциях машин, которых не выявить самому тщательному контролю.

Здесь Войта — в своей стихии. Декабрьское солнце бьет в стеклянные своды крыши, бросает пыльные столбы света в полумрак, шеренгами стоят стройные монопланы, по ним ползают парни в засаленных комбинезонах, пахнущие машинным маслом и тавотом,— механики, мастера своего дела, они знают эти машины до последнего винтика, у них можно кой-чему поучиться.

А Коцек? Что ж, он хоть и не принадлежит к элите, но тоже знает самолет как свои пять пальцев. Откуда только, черт возьми? Он вообще отличный товарищ, знает все на свете и совсем не задается. Здорово, что я попал именно к нему. Тут не такой дружный коллектив, как в фюзеляжном, начальство напихало сюда немчуры — с ними нужно держать ухо востро, они следят за каждым твоим шагом. И все-таки до чего же интересно! Отсюда после окончательной проверки через широкие ворота выезжают готовые машины прямо на траву заводского аэродрома для первого полета. И не только это: здесь Войта оказался совсем рядом со своими кумирами. Пробные полеты проводят три чешских летчика, которые остались здесь — говорят, что по уговору,— после бегства своих коллег в тридцать девятом. Полеты были весьма короткие — больше чем на пятнадцать минут немцы не давали горючего. Войта знал летчиков. Один из них был известный ас, входивший в тройку воздушных акробатов, которые, бывало, в день авиации приводили зрителей в восхищение. Бог воздуха! Войта трепетал от восторга, когда ему доводилось подойти к этим летчикам, услышать словечко на их жаргоне или после приземления первым дать кому-нибудь из них прикурить. Его восхищало хладнокровие, с каким они, пристегнув ранец с парашютом, садились в еще не испытанную машину.

Старт! Рев мотора, ветер гнет траву к земле, треплет волосы Войты и доносит запах бензина. Машина катится в другой конец аэродрома, ревет, разворачивается и — фр-р-р! — вот уже мчится, отрывается от земли и с оглушительным грохотом проносится над стеной с колючей проволокой и крышами завода. Что, если спрятаться на заднем сиденье и... Глупости, ничего не выйдет, это был бы явный провал. «Штренг ферботен!» *

— Ты уже был когда-нибудь в воздухе? — спросил он однажды Коцека, когда они вместе шли к ангару. На «ты» Коцек перешел с первого же знакомства, когда протянул Войте измазанную машинным маслом, удивительно узкую руку. «Меня зовут Богоуш, а тебя? Гм, знал я одного Войту, он играл центра защиты в «Викторке».— Это, очевидно, должно было звучать лестно для всех Войт на свете.

— Был,— просто сказал Коцек.— И много раз. У меня налетано часов четыреста. А что?

— Да просто так... А где?

— На военной службе. Я был штурманом в авиации. Тогда нам уже угрожал Гитлер, и летчиков пекли, как блины. Потом больше летать не

* Строго воспрещается *(нем.)*.

довелось. Но человек должен уметь все. У меня уйма увлечений,— добавил он, не замечая, что вырос до гигантских размеров в глазах Войты.

— Вот почему ты так разбираешься в наших самолетах!..

Коцек почесал кудрявую голову и скромно сплюнул.

— Ну, не сказал бы, что я в этих очень разбираюсь. Мы летали на легких бомбардировщиках. В управлении ими нет большого различия, принцип тот же, и меня это интересовало. Иногда ребята пускали меня в воздухе к штурвалу. Вести самолет плевое дело. А эти гробы и вовсе.

— Ты бы смог? — восхищенно прервал его Войта.

— Запросто! В случае чего могу и подняться и приземлиться. А что?

— Да так. А как чувствуешь себя за штурвалом?

— Роскошно! Главное — приобрести навык, а потом уже летишь и думаешь о чем угодно, не волнуешься. Если хочешь, давай смоем один из этих гробов, я тебя покатаю.

Войта грустно усмехнулся: не поймаешь, мол, на удочку. Коцек всегда что-нибудь выдумывает, в ангаре у него репутация шутника и мистификатора, а смелость, с которой он разыгрывает людей, в том числе и немцев, другому, менее симпатичному человеку не сошла бы с рук. Казалось, задумай Коцек жить карманными кражами, он и тут не умер бы с голоду. Он шагал по земле, словно витал над ней. О себе он говорил мало, но ничего не скрывал. В общем — мировой парень. Одним из его увлечений был футбол; сам он не играл, но в свободное время ходил судить плохонькие сельские команды, и делал это с таким же увлечением, как все остальное.

С ним было хорошо, все казалось легко достижимым. И вместе с тем постепенно открывались какие-нибудь неожиданности. Лишь по чистой случайности Войта узнал, чем Коцек занимался до войны. Однажды он застал его в укромном местечке ангара с книжкой в руке, заглянул ему через плечо и не понял ни словечка.

— Что это такое?

Коцек невозмутимо показал титульный лист:

— Тацит. «Анналы». Проходят в седьмом классе. Не хочу забывать.

Оказалось, что Коцек преподавал латынь и греческий в средней школе, где-то далеко, в Закарпатской Украине.

— Без протекции не удалось устроиться поближе, но мне там очень понравилось.— И он рассказал Войте, как ездил верхом, ходил на охоту, рассказал, как в 1938 году ему пришлось возвращаться кружным путем через Венгрию и Австрию.— Вот послушай! — Коцек прочитал вслух несколько латинских фраз и тут же перевел их.— Здорово, а? Меня это увлекает больше, чем любой детектив. Кстати, если бы я дал тебе почитать Гомера, у тебя дух бы захватило. С Одиссеем никакой авантюрист не сравнится!

Однажды Войта тайком сунул ему в нагрудный карман пальто листовку и с нетерпением стал ждать, что будет. Коцек не испугался, он поднял брови и без малейшего колебания показал листовку Войте:

— Две грубые грамматические ошибки. Автор путает «с» с «з»— двойка с минусом! — Войта покраснел под взглядом его прищуренных глаз.— А ты знаешь, кто был Орфей?

И Войта услышал увлекательный рассказ о мифическом певце. Коцек был в своей стихии. Он сунул листовку в карман и кивнул.

— Ну ладно. А не собираешься ли ты прилепить эту листовку Хюбшу на дверь? Интересно было бы поглядеть, какую он скорчит рожу.

Войта и Коцек прощупывали друг друга. В бесконечные часы, которые они вместе лодырничали, у них было на это достаточно времени и возможностей. Войта не скрывал от товарища своих взглядов, сложившихся под влиянием сходок «Орфея», а Коцек ни разу даже не усмехнулся, слушая сбивчивые пояснения Войты, помогавшего себе руками

и каждую мысль начинавшего спасительной фразой: «Я вот как думаю... А ты?» Один из вопросов Войты, казалось, застал Коцека врасплох.

— Я еще не думал об этом как следует,— сказал он,— а симпатия ведь это еще не убеждение, верно? Больше всего мне нравилась бы такая политика, которой не надо заниматься и которую не надо вообще замечать. Но, видимо. в нашем мире это невозможно. И всегда было невозможно. А жаль.— Он переменил тему.— Ну так что? Когда же мы проведем то дельце? Я говорю о самолете. Вижу, что тебе не терпится.

Сначала все было похоже на шуточки, но друзья все чаще обсуждали свой фантастический план, обсуждали с таким увлечением, что Войта заколебался — не относится ли Коцек к этой затее всерьез? Он бы не удивился. Они перебирали все возможности, не упустили ни одной. «Sic et non»,— говорил Коцек,— испытанная метода схоластов: «за и против». Эти обсуждения стали для них волнующей и увлекательной игрой, оба смеялись, а Войта нередко задавался вопросом, не испытывает ли его Коцек.

— А откуда взять горючее? — сказал он однажды.— На пробных полетах его в баке не больше, чем на четверть часа, и немцы на этот счет чертовски пунктуальны.

Коцек покачал головой.

— Ты мне ничего нового не сказал. Sic et non... И все-таки бывает время, когда баки полны. Ясно?

Лицо Войты прояснилось, он сообразил.

— Ты имеешь в виду приемку самолетов? Когда приезжают немецкие летчики? Верно!— Но тут же он остыл и безнадежно махнул рукой.— Да, но тогда кругом полно немчуры, и вообще...

Положение казалось безвыходным, но Коцек тотчас нашелся.

— Уж если бы я взялся за это дело, то выбрал бы подходящий момент. Надо брать последнюю машину, самую дальнюю от ангара, это ясно. А подходящий момент бывает. Знаешь когда? Во время воздушной тревоги. Заметь себе: по сигналу «непосредственная опасность» все сматываются в убежище. В такую минуту никому и в голову не придет, что одна из машин может подняться. Не успеют они опомниться, как я уже буду в воздухе!

Все чаще Войте казалось, что эта шальная затея продумана до малейших подробностей. Коцек был фанатически упорен в парировании все новых и новых возражений, хотя сам провоцировал на них Войту. «Последовательность мышления пригодится тебе в жизни. Все достижимо. Уж не хочешь ли ты вечно ползать по земле, как таракан? — поддразнивал он Войту, по-мальчишески усмехаясь.— Меня больше всего привлекает то, что кажется невозможным,— такая уж у меня натура».

— Что, если сегодня? — сказал он однажды и, прищурясь, оглядел декабрьское небо; показал на поникший ветровой мешок над ангаром и в точных терминах охарактеризовал метеорологические условия. Подходящие! Мальчишеская несерьезность сочеталась в нем с изумительной находчивостью, увлекавшей медлительного и рассудительного Войту.

— А зенитки? — возразил Войта, но Коцек нахмурился, постучал себе пальцем по лбу и сказал наставительно:

— Думайте, ученик, прежде чем что-нибудь брякнуть... Не станут же они стрелять по собственному самолету! А пока они расчухаются, нас уже поминай как звали. Американцы могут обстрелять, это да. Но они держатся на большой высоте, и у них другие задачи. А нам надо лететь почти на бреющем. Хуже, если это будут пикировщики. Вообще придется петлять и ориентироваться по карте. У меня дома есть первоклассная спецкарта... Ну и, конечно, нужна удача, это ясно. Вынужденная посадка на территории, где пока еще немцы, означала бы...— Он не договорил и сделал выразительный жест: чик! Но тотчас же отклонил и это опасе-

ние: — Да разве в жизни не во всем нужна удача? Тот факт, что ты родился, уже первая и самая крупная удача. Один шанс, примерно, из восьми миллионов. Так что мы уже баловни судьбы. Вырос — опять удача! И так далее. Я лично не могу пожаловаться, что мне не везет, это была бы неблагодарность фортуне, а она этого терпеть не может. Я всегда выходил сухим из воды, вышел бы и на этот раз. Ну, хватит, сюда идет Хюбш. Интересно, какую бы он скроил рожу, если б узнал, о чем мы тут трепались. Но у него нет фантазии...

Позднее Войта поймал себя на том, что думает об их затее, как о чем-то вполне реальном. И решенном. С этим фантазером любая фантазия казалась реальностью. В один прекрасный день у Войты возникло впечатление, что со всеми «против» уже покончено и нет никаких сомнений в том, что при известной удаче побег будет успешен. Стоя на траве аэродрома, он мечтательно глядел на самолеты, с ревом поднимавшиеся в воздух, и сердце его колотилось от незнакомого прежде нетерпения. Как жаль, что все это только мечта. Улететь бы подальше от всего, от запутанной и тягостной истории с Аленой, забыть, заглушить память о ней ревом мотора! Жаль. А впрочем, неужели это только мечта? И какую цель преследует Коцек, что творится в его башке? А вдруг он спросит: «Ты боишься?» Трудно сказать, боится ли Войта. Видимо, да, ведь ясно, что, как ни продуман побег, от всего этого здорово попахивает кладбищем. Вместе с тем Войта инстинктивно чувствовал, что никогда не признался бы Коцеку в своем страхе.

Но прямое слово, призыв к действию так и не прозвучали — все оставалось в пределах *«если бы»* и *«допустим»,* просто увлекательная игра в «sic et non».

И вот однажды... Дело было в середине декабря. По сигналу воздушной тревоги Войта и Коцек успели добежать до бетонного бункера неподалеку от главного ангара. Они оказались там одни и через узкие смотровые щели могли наблюдать, что делается в воздухе.

— Спитфайер! — объявил Войта.

Одинокий пикировщик, заметив на аэродроме три машины, сделал широкий заход и молниеносно устремился на одну из них. Огонь из бортовой пушки, серия выстрелов — попадание! Немецкий самолет, стоявший в нескольких десятках метров от их бункера, превратился в груду обломков. Бах, бах, бах! Взрыв потряс воздух, из мотора вырвался неправдоподобно-яркий дым. Пикировщик хозяйничал над аэродромом, и никто не успел помешать ему. С ревом пронесся он над бункером—Войте даже показалось, что он на миг увидел в кабине лицо летчика,— потом исчез, но тут же вынырнул с другой стороны и атаковал вторую машину.

— Чисто работает! — орал Коцек, стараясь перекричать грохот; у него даже жилы вздулись на шее, он толкал Войту в бок.— Долбай его, ами! — возбужденно подбадривал он летчика, словно игрока на футбольном поле.— Мы-то, ослы, вчера возились с ним, вкалывали... А, вот он опять!

Та-та-та! На этот раз летчик промазал, снаряды взрыли землю, рядом с самолетом высоко в небо поднялся столб глины и дерна.

— Ай-ай-ай! — укоризненно воскликнул Коцек.— Ну-ка, поправь дело, парень, получишь подарочек с елки!

Снова грохот, и второй самолет повалился набок с перебитым крылом, осколки взлетели в воздух, оглушительный взрыв. Здорово! Попадание в бензобак! Ого, какой фейерверк!

Наконец заговорили зенитки, но было ясно, что стреляют они просто так — как говорится, боженьке в окошко — бум-м, бум-м! Воздух около бункера дрожал от рева мотора, взрывов и гудения огня — захватывающая картина разрушения, но потом в воздухе замелькали раска-

ленные осколки зенитных снарядов, Войта и Коцек услышали шум огненного дождя, обрушившегося на крышу ангара, характерный свист неподалеку от бункера.

— Пригнись! — крикнул Коцек и стащил Войту на лавку. Они прижались друг к другу, как курицы на насесте, а за стенами их железобетонной скорлупы разыгрывалась оглушительная феерия; приятели закурили — у них нашелся окурок, один на двоих. Жесты их были неторопливы, но в глазах светилось возбуждение. Войта нагнулся к Коцеку и крикнул ему в самое ухо:

— Мы еще не решили... куда?

Чудовищный взрыв заглушил его слова, но Коцек, видимо, понял и махнул рукой на восток.

— Ясно куда!

Осколок просвистел у самой щели над ними, оба инстинктивно пригнули головы. Что за идиоты эти зенитчики!

— А куда же еще? — кричал Коцек на ухо Войте.— Он раздолбал третью... можно и ее списать... Русские уже в Словакии — два часа лету.. А можно попробовать и подальше. Знаю там каждую тропинку... Я же работал в школе около Хуста. Есть там и один аэродром. Первый класс! Когда пришлось уезжать, я обещал, что вернусь... Надоело мне глядеть на Хюбша и ждать у моря погоды, пока кончится этот цирк!..

Внезапно наступила тишина, пикировщик, сделав свое дело, исчез, как дух, спохватилась и зенитная батарея, сирена возвестила отбой, но тотчас возникла новая суматоха — с завода к трем догорающим самолетам с воем примчались пожарные машины, беспорядочные свистки смешались с топотом подкованных сапог люфтшуцев. Но тушить и спасать было уже нечего.

Приятели с облегчением выпрямились и потянулись.

— Пошли,— сказал Коцек, выглянул за дверь, понюхал воздух и понимающе мигнул Войте:— Подготовим новую порцию машин.

Войта затоптал окурок на замызганном полу и глубоко вздохнул.

— Послушай,— сказал он,— так я согласен.

Но странное дело: Коцек поглядел на него через плечо и удивленно поднял брови.

— Ты что блажишь, милый человек? Уж не принял ли ты это всерьез, упаси боже? Занятно было поговорить, я люблю рассуждать, взвесить все за и против, поупражнять смекалку. Но...

В смущенном молчании они шли к разбитым самолетам, вдыхая холодный воздух, пропитанный запахом пожара. Мимо бежали люди. Коцек нагнулся, поднял осколок снаряда и подбросил его на ладони.

— Свинство! Угодит такой, и останется от тебя мокрое место. Спрячу на память.— Заметив разочарование на лице Войты, он положил ему руку на плечо и вернулся к прерванному разговору.— Я не говорю, что в принципе это невозможно, в конце концов я один как перст, но ты...

— А что я? — огрызнулся Войта.— Сказал, значит не отступлюсь. Если ты не зря трепался, то на меня можешь рассчитывать.

Коцек трагически схватился за голову.

— Да ведь ты женат! Нет, не хочу я грех на душу брать. Не оставишь же ты свою женушку...

Он осекся на полуслове, заметив, что Войта так стиснул зубы, что у него на скулах вздулись желваки.

■

Лето неистовствовало, Войта бродил в его огнях блаженно-ошалелый. Дни были чем-то похожи на облака. Завод, сходки «Орфея» — он

не пропускал ничего, но берег каждую свободную минутку, чтобы провести ее с Аленой. Снова повторилось время, которое некогда закончилось фарсом бракосочетания, и снова Войту, как и тогда, не тревожили заботы, не обескураживали опасения. Все было по-иному: ведь Алена готовится стать матерью. Войта, правда, не жаждал ребенка, но смутно сознавал, что именно материнство может переродить Алену, и потому верил, что на этот раз их отношения не потерпят краха.

Они ходили в кино, Войта покупал ей эскимо, а когда у него выдавалось свободное утро, они вместе загорали на траве в саду. У ограды постукивала починенная мельничка, сад прятал свою запущенность под летним нарядом зелени, бесстрастная наяда грела под ярким солнышком свои оббитые конечности. «Дети, ужинать!» — слышался голос Войтиной матери. Она тоже заметно ожила, иной раз растроганный Войта слышал, как она тихонько напевает, убирая в доме. Наверно, и с ней дело не так уж плохо. Войта по-прежнему спал в подвале на своем диванчике — комнатка Алены была мала для двух кроватей, поэтому сообща с милостивой пани было решено, что он подождет с переездом до окончания войны. Ведь из подвала на второй этаж путь недалек!

Войта согласился. Его скорее беспокоило иное, менее конкретное: в сердце подчас проникал знакомый холодок, ненадолго правда; но нечто стало удивительным образом повторяться, и это нечто было в ней. В самой Алене. Иногда он заставал ее в грустном раздумье. Оно ей шло, но Войта пытался рассеять его. «Да ничего, правда, ничего, Войтина,— говорила она.— Не сердись! Ты же понимаешь, что у меня есть причины беспокоиться. Кто знает, когда кончится война. Что, если фронт докатится сюда и нам придется уходить? С ребенком-то на руках! А если здесь будут бои? Или воздушные налеты?»

Войта довольно неубедительно утешал ее, потому что такие опасения в самом деле были небезосновательны. Алена ходила рассеянная, он уже знал это ее состояние тревожного нетерпения, но было в ней и что-то не свойственное прежней Алене — апатия и постепенная усталость.

— Знаешь что,— сказала она однажды, когда они лежали рядом на траве,— иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы я тогда поехала в рейх, как все девчонки из нашего класса. Все было бы яснее...

Удивленный, Войта приподнялся на локтях. Куда она метит?

— Смотри не обгори, прикройся-ка. Почему было бы лучше?

— По крайней мере мне не портило бы настроение все то наносное, что сейчас влияет на наши отношения. Например, твоя жалость или моя благодарность. Мы были бы тогда в равном положении.

— Тебе не за что быть мне благодарной. Я люблю тебя.

— Знаю! — прервала она его раздраженно.— Вечно я это от тебя слышу! Сказал бы что-нибудь другое. Например: я тебя ненавижу, ты испорченная буржуйская девчонка — то ты нос от меня воротила, а то пришла на поклон и, бог весть, чего еще можно от тебя ожидать... Не мешай, дай мне сказать, не лезь со своими утешениями! Ты такой добряк, что я кажусь себе Магдалиной у ног Христа, а мне хочется ругаться самыми последними словами. Иногда я даже хочу, чтобы ты был хоть немножко негодяем, уверяю тебя! Поищи в себе какую-нибудь подлятинку, может, станешь мне ближе! — Глянув ему в лицо, она съежилась и прижалась горячим лбом к его плечу.— Войтина, жизнь ужасна, я просто не знаю, что делать! А женщина... и не пытайся ее понять, медвежонок! Идем домой, не сердись, у меня безумно трещит башка.

Она запретила провожать ее и потащилась домой тяжелой неверной походкой, понурая, погруженная в себя.

Только на другой день, когда Войта вернулся со сходки «Орфея»,— ему так не сиделось там! — он понял весь смысл вчерашней вспышки. Уже на пороге белой комнатки он замер в испуге: в ней было тихо, спу-

щенные занавески бесшумно трепетали, обычный аромат смешивался с запахом карболки, напоминавшем о физической боли. Ничто не изменилось здесь — кроме самой Алены. Она была неузнаваема. Измученное лицо казалось белее подушки, с которой оно глядело на Войту с отчужденной и какой-то отрешенной полуулыбкой.

Войта в ужасе кинулся к ней, он все понял.

— Зачем ты это сделала, Алена?

Она привлекла его к себе на постель и влажными пальцами коснулась его лба.

— Все кончено, Войтина,— ее голос звучал словно издалека.— Я уже пустая, как прежде... все обошлось благополучно, не бойся. Так лучше для всех, верно?

В растерянности он не знал, что сказать.

— Тебе было... больно?

— Очень, Войтина, больнее, чем я думала. Лучше и не вспоминать. Мне все еще кажется, что это не я, а кто-то другой. Но я сделала это и ради тебя. Ведь ты хочешь учиться, стать знаменитым летчиком, верно? А жена с ребенком — это так связывает крылья... Ну что, капитан, глядишь, как мокрая курица... Ты не рад?

— Нет! — воскликнул он слишком громко и, подавленный, опустил голову.— Ради меня не нужно было! И вообще... плевать мне на авиацию, плевать на все, что мешает тебе. Зачем ты это сделала... зачем?

— Ну, что вы, Войтишек,— ласково сказал в дверях мягкий голос. По комнате, шелестя халатом, направлялась к ним милостивая пани.— Будьте благоразумны, мальчик! Не можете же вы, в самом деле, хотеть этого. Ведь это было бы ненормально и со временем угнетало бы и вас самого, верьте моему опыту! Слава бога, все позади, а после войны, если захотите, можете завести хоть дюжину собственных детей. Верно? — Тут голос ее стал необычно строгим, и она сказала с упреком, хоть и не слишком резко: — Но я прошу вас быть более внимательным, Алене сейчас нужен абсолютный покой, и скажу вам откровенно, мне не нравится, что вы в рабочем костюме сели к ней на постель. Согласитесь, это негигиенично...

Войта согласился: да, конечно, негигиенично. Пристыженный, он понуро встал, закусив губы, и когда взглянул в приветливое лицо милостивой пани, готов был поклясться, что на нем, где-то под умело скрытыми морщинками, мелькнула торжествующая улыбка. Войта дрогнул от безотчетного, еще неизведанного гнева. Попятившись, он молча вышел из комнаты, отчетливо понимая, что проиграл битву, даже не вступив в нее, что потерпел поражение в первом же раунде незримой борьбы, в которой, вообще говоря, и не мог рассчитывать на победу.

— Можешь дальше не рассказывать,— остановил его Коцек и сплюнул далеко в пыльную траву. Они шли к ангару от догорающих обломков самолетов, поеживаясь от декабрьской стужи в своих комбинезонах, и на всем пути ни разу не поглядели друг другу в глаза. В проломе ограды, отделявшей аэродром от заводского двора, теснились любопытные, всем хотелось потешиться видом разрушений. Веркшуцы, покрикивая, загоняли людей обратно на заводской двор. Слышались смех и колючие шуточки; толпа замолкла, лишь когда появился Каутце, а за ним мрачный Мертвяк. «Zurück! Zurück! Weiter!» *

Налетел порыв ветра, и под его свист Коцек пробормотал:

— Все равно совета ты от меня не получишь.— Он подбросил на ладони осколок и сердито швырнул его в траву.— Кстати говоря, жизнь достаточно длинна и интересна, успеешь все забыть. У меня такой ре-

* Назад! Назад! Дальше *(нем.)*.

цепт: плюнь, разреши себе немного похныкать, а там действуй! Перемени обстановку. Это помогает лучше всего.

Он прав, подумал Войта. Надо переменить обстановку. Это было бы здорово! Он стиснул зубы, потому что перед ним вдруг отчетливо встало лицо с язвительной усмешкой, открывавшей крепкие зубы,— лицо Алены, но совсем не той, какой она была летом.

« — Ну вот что, парень, хватит разговоров, и не страдай, пожалуйста, глядеть противно, слышишь? Я по горло сыта, осточертело! А если уж ты пришел — тоже мне Отелло от станка! — я тебе сама все выложу! Сейчас же! Как ты представлял себе жизнь со мной? Думал, я стану наседкой в твоем гнездышке? Буду нести яички и вышивать кухонные занавесочки? Я?! О господи! Хочешь, чтоб я сдохла от собственной добродетели? У меня были лучшие намерения, но ты все испортил, у тебя же нет никакого размаха! Выслеживать — это ты еще умеешь! Думай обо мне, что хочешь, мне наплевать. Я свободный человек и буду жить, как мне вздумается, и не тебе меня учить, а тем более упрекать! Не таращи глаза, я тебя не боюсь... Видел бы ты себя сейчас! — Она расхохоталась вызывающе, бесстыдно, видно, ей хотелось спровоцировать его на взрыв, и она с жестокой изобретательностью подбирала самые обидные слова: — Я скажу, что тебя больше всего злит, милый! Тебя злит то, что ты ничего не умеешь! Разве что разобрать какую-нибудь там свою дурацкую машинку, на это тебя еще хватит, но чувства и женщина — для тебя туман, это очень уж сложно! Так и ускользает из рук. Тут не помогут ни клещи, ни отвертка! Чего ты еще хочешь? Попользовался и скажи спасибо! Ну, ударь меня, покажи свой норов, святой соплячок, на большее ты не способен. Не способен — слышишь? Не способен, потому что ты неотесанный, неповоротливый медведь!»

■

— Ты уже не живешь с ней? — крикнул ему Коцек в ухо. Под сводами ангара ревел терзаемый мотор, и воздух вокруг дрожал от его гнева.

— Уже почти месяц. Мать я отвез в деревню к тете, а из дома выписался. Ночую у одного знакомого.

— Sic et non. У меня неважная халупа, но думаю, что мы с тобой поладим. Я умею варить гуляш без мяса — такой, что пальчики оближешь. На тебя возлагаются уборка и черная работа.

5

. . . . . .

6

Кто-то отчаянно дубасил железом по обрезку рельса, металлические удары словно вонзались в стену и царапали мозг. Надо всем этим метались голоса сирен, они переплетались, усиливались, затихали, в закрытые глаза уже пробивался дневной свет, но Гонза приказал себе: не впускать его! Чья-то рука трясла его за плечо. «Вставай, пошли в подвал»,— он узнал голос деда, но не открыл глаза — малейшее движение головы отзывалось страшной болью в висках, на душе было тяжело.

Не все ли равно! Гонза повернулся лицом к стене, наконец хлоп-

нула дверь, его оставили в покое, но сон словно исторг его, как кит Иону на гравюре с библейским сюжетом,— выбросил на берег, куда-то между сном и бодрствованием, в жгучее оцепенение, когда в голове какая-то каша, перед глазами плывут круги красного и лилового тумана, затягивая все, и с нудной навязчивостью всплывает где-то слышанная фраза: «Африка — страна плоскогорий». И снова: «Африка...» Что мне за дело до Африки? Внутри какая-то безотчетная, необъяснимая боль, скорее даже не боль, а сознание непоправимости... Самолеты уже здесь, над городом, и тишина вздрагивает, как кожа на барабане, а над ней угрожающий монотонный гул, от которого жалобно дребезжат стекла... Пускай, какое ему дело до их войны! Он покончил с ней, есть только Африка, страна плоскогорий. Ведь ему все равно.

— Не выходите из дому! Назад! — напрягает голосовые связки кто-то на улице.— Назад!

Какой сегодня день? Такой-то год, такое-то число, но могло быть и совсем другое, лучше не думать, только это не получается. Из памяти не выходит комната у Коблицев, чьи-то обезьяньи руки кладут пластинки на диск радиолы... и лицо той девчонки — ее зовут Магда, у нее испуганные глаза, как у ночного зверька. Гонза пошел с ней куда-то и спал с ней — ага, значит, я не импотент, доказано,— он перепился скверным вином, и ему было на все наплевать. «Ш-ш-ш»,— останавливала его Магда в темном коридоре, и ему было смешно от этого шиканья, он стал насвистывать блюз, тот самый голубой флуоресцирующий блюз. «Ш-ш-ш, разбудим квартиру». Потом они вошли куда-то, где на потолок падала полоска света и пахло пудрой и несвежим бельем. Гонзу мутило от выпитого вина, а Магда что-то шептала и искала спички.

И опять завод, такой-то год, такое-то число. Но могло быть другое. «Что в вами, молодой?» Это Мелихар. Он вправе изругать Гонзу, потому что тот продрых всю смену в малярке — есть ли в раю столько мешков?..— и ему пришлось взять в помощь Гияна. «Перепивать не надо, молодой! Попадетесь Каутце на глаза, не поздоровится. Давайте-ка очухивайтесь, живо!..»

— Назад! — все кричит кто-то.— Не выходить из дома!

Свисток...

А ему, Мелихару, какая печаль? Пусть на меня накляузничает! Ах, Мелихар! Не выкладывать же ему, в чем дело? Что он сказал бы мне на все это, грубиян?

Но вот он и Мелихар сидят друг против друга за пивом. Глубоко посаженные глаза мастера в упор глядят в лицо Гонзы.

— Что, молодой, отшила тебя зазноба?

Ослышался я? — думает Гонза. Неужто догадался? Наверно! Гонза быстро поднимает взгляд и снова опускает его на пивную кружку.

Куда бежать? В себя? От себя? Некуда! Можешь только быть собой и смотреть на себя со стороны, что довольно мучительно... Болят разбитые губы, и это заглушает душевную боль.

...Он поднимает голову, замечает, что Бланка замерла на месте. На секунду — актриса должна хорошо владеть собой. Кто знает, осталась ли еще в ней эта боль? Он идет дальше и твердит: «Когда-то Лотова жена...» Он строго-настрого запретил себе оборачиваться в ту сторону, хотя это чудовищно трудно. Нет, так дальше невозможно! Что же делать? Схватить камень и швырнуть его в окно живодерки? Извините, скажет он Мертвяку, разве это не окно господина Гитлера? Или вбежать к этому божку Каутце и дать ему под зад коленкой: привет имперскому протектору! Скоро ли вас повесят? Совсем одурел! Ничего нельзя поделать! Ни выстрелить, ни убить — ничего! Даже самого себя!..

Даламанек всплескивает руками: где ты филонишь, пьянчужка, хочешь довести меня до беды? И чего он ко мне вяжется? Гонза послал

мастера подальше, плюнул ему под ноги и, наверно, кинулся бы на него с кулаками, не будь поблизости Мелихара, который удержал его и, как ни странно, даже не озлился. «Окосели вы, что ли, гимназистик?» — сказал он и почесал татуированную грудь. А что, если окосел?

Да ведь это все равно. Холод, голод, завод, вой сирен, трамваи, налеты — дни словно перед потопом, а рождество на носу. Гнусный город, все гниет и рушится, на заводе почти нет сырья, а надо делать вид, что работаешь. Бомбы уже падали на некоторые города протектората, но только не сюда, видно, на зло Леошу и его инструментальному складу. Ну и бардак! И все-таки в цеху все время работают, что-то сваривают, клепают, а подальше, за шоссе, строится новый заводской корпус. Словно вермахт все еще на Кавказе! Неужто немцы не могут договориться между собой, почему они не признают, что дела у них плохи, что они идут ко дну? С ума они все посходили, что ли? Спятили? Дня не проходит, чтоб на заводе что-нибудь не стряслось — то и дело аресты и побои, говорят, где-то тут нашли оружие и парашюты, позавчера был взрыв в котельной, гестаповцы днюют и ночуют на заводе. Повсюду глаза, невидимые глаза, страх и трусость, ярость и надежда, грохот пневматических молотков, а ты мотаешься среди всего этого со своим собственным отчаянием — и все это мир, в который ты брошен против твоей воли. И вот изволь барахтайся в нем!

Отбой, на лестнице зашумели голоса, захлопали двери. Из подвала притащился дед и гремит кастрюлями, варит свой чесночный настой. Недавно он гордо объявил, что после войны снова возьмется за почтовую сумку. Было грустно и трогательно слышать это, и окружающие его не отговаривали. Кто нынче не живет мечтами? Пускай нелепыми. Смешными. Несбыточными. Мечтами о том, что будет *после*. Тьфу!

Не оглядывайся!

Что тебе от меня надо? — думает Гонза, глядя в лицо Павла, знакомое, бледное, осунувшееся лицо с морщинкой над бровями. Они сидят за столиком в захудалом кафе. Гонза греет руки о чашку суррогатного кофе, ему не хочется говорить. О чем, бывало, не спорили они, гуляя по ночам: о философии, о коммунизме, искусстве, астрономии, Фрейде, демократии, о половых проблемах, о смысле жизни. Им тогда казалось, что они уже разобрались в хаосе мироздания, проанализировали его и могут определить весь мир, как интеграл. Ослы! Что он еще хочет от меня сегодня? Ах, понимаю — Пепек Ржига. Не бойтесь, я ничего не скажу, что бы ни случилось.

— Для этого ты позвал меня сюда? — спрашивает он почти беззвучно.

— Нет. Хотел спросить, как тебе живется.

— Как видишь,— отвечает Гонза.— Существую. Даже сам не понимаю как. Милан был прав. Собственно, даже нет, правда оказалась гораздо хуже. Я был бы тебе благодарен, если бы ты не расспрашивал меня об этом. Requiescat in pace!*

Паузы были тяжелы, как ртуть. Павел нетерпеливо постукивал пальцем по мраморному столику.

— Ты ошибаешься,— сказал он наконец и поднял глаза.

— Да? Надеюсь, ты не принес мне помилование?

— Нет, не принес.

Гонза внутренне содрогнулся: тон Павла был самый решительный.

— Правильно. Никаких возвращений блудного сына.— Гонза старался, чтобы голос его не дрогнул; он смутно стал осознавать, почему они так страшно далеки друг от друга, хотя их разделяет только столик в кафе. Хуже всего — ничего не ждать. Таково, наверно, ощущение уми-

---

* Покойся с миром *(лат.)*.

рающего: придет завтрашний день или не придет, он уже не принесет ничего, ничего. Даже дышит Гонза только по инерции, он подобен ослу, ходящему по кругу. Павел еще ждет. Нет, ничего у тебя не получится, сумасброд с умом математика! А вот я уже не с вами. И не только из-за той беды, а главное потому, что я уже не верю в то, чем занимается «Орфей». Если бы вместо этого устроить турнир в домино или ходить по кафе собирать окурки — все равно было бы одно и то же. Я знаю, ты мне возразишь, Павел, но не трудись. Видишь ли, я не верю больше, что человек в этом мире что-нибудь может! Трудно найти аргументы в пользу того, чтобы мне жить. Ведь жить только потому, что боишься смерти,— нелепо. Для меня, пожалуй, такого стимула мало. В нравственном плане это полный крах, но мне наплевать. Внушаешь себе какую-то чепуху и вдруг бац — тебя хватают за шиворот... В конце концов ты остаешься наедине с собой, и уже даже не больно. Только кругом какая-то пустота, наполненная ветром. Глупо!..

Ему нестерпимо захотелось поскорее расстаться с Павлом.

— Сильно ты изменился,— услышал он голос по ту сторону мраморного столика.— Жаль!

— Я не жалею. Мне теперь все равно.

— Нет! Ты все видишь только через свое «я», сквозь призму того, что с тобой произошло. Я тебя понимаю, но мир не таков.

— Мой — таков. А другого я не знаю. Или мне до него нет дела. Даже до того, который будет потом. Я уже перестал в него верить, понимаешь! Какой бы он ни был!

Он посмотрел в осунувшееся лицо Павла. А через какую призму видишь мир ты? Я скажу тебе: через призму надежды с шансом один на тысячу, через призму иллюзии! Ты блуждаешь, как слепой, а я уже прозрел.

— Скоро будет конец,— сказал вдруг Павел, видно, хотел перевести разговор на менее мрачную тему.

— Может быть,— равнодушно кивнул Гонза. И вдруг, по непонятному побуждению, задал вопрос, о котором тотчас пожалел: — А ты боишься конца?

Павел сжал губы, в наступившей тишине он молча водил пальцем по трещине в мраморной доске столика.

— Кажется, да. Но жду. Он важен не только для меня.

Они расстались почти без слов, сказать друг другу было уже нечего.

Дальше, дальше! Это похоже на спуск по спирали — что же будет в конце? Какие-то лица и глаза наверняка наблюдают за ним... пусть наблюдают — ему плевать...

Потом его вдруг снова вызвали — что еще они могут от него хотеть, на что им выжатая тряпка? — и он снова глядел на педерастическую физиономию какого-то нацистского заправилы помельче, но ему уже не было страшно, ибо нет уже никого и ничего, за что стоило бы бояться.

— Имейте в виду,— выразительно произносят узкие губы Мертвяка,— человека, который посидел на этом стуле, мы уже в покое не оставим! Запомните это, юноша!

Неужто Гонза в самом деле сидит здесь? Когда же от него отвяжутся? Башке прикрывает веки — настоящая ящерица,— ходит, прихрамывая, вокруг стола и пристает к Гонзе с фамилиями, которых тот никогда не слышал, пробует на нем свои приемчики.

— Вы говорили? Я же вас предупреждал. Передали мое предупреждение? Молчите? Видно, сосунки образумились! Правильно. Стало быть, вы им сказали. Опять запутываетесь. Не отпирайтесь! А то я отправлю вас в город, в гестапо! Худо будет! Будьте благодарны нам за сни-

сходительность. Знаете, что произошло в котельной? Не могли же вы не слышать взрыва! Ах да, я забыл, что вы глуховаты. Как поживает ваша мамаша? Здорова? В тот раз она так беспокоилась. У меня хорошая память. Извинитесь, пожалуйста, за меня. Что вы скажете о нашем наступлении в Арденнах? Господин Черчилль, наверно, сердится на нас, понимаю. Вы, конечно, желаете нам успеха, не так ли? А что об этом говорят другие? Например, «Олень»? Вы не знаете такого? Олень! Не знаете оленя? Даже по зоологии? С кем вы работаете? Фамилия? Ме-ли-хар? Он ваш мастер? Так вы ничего не знаете? Жаль! Придется нам снова пошарить в вашем цеху, там творятся интересные дела. Кто же все-таки предостерег вас? Ах так, по наитию? Это бывает у таких впечатлительных юношей. Вы уже имели женщину или пробавляетесь онанизмом? Поймите, вы теперь не частное лицо, вы тут у нас на учете, не забывайте этого. Итак, вы ничего не видели, не слышали, вы — образцовый тотальник, который думает только о спасении Европы от жидо-большевизма. Пожалуй, я вас выдвину на поощрение в кампании памяти Гейдриха...* — Башке вдруг повернулся и подошел к Гонзе. И откуда только в руках у него появилась линейка.— А что, если поучить вас немного? Так, слегка. Для солидного допроса мы тут не приспособлены. Разве что легкий массаж. Вам не улыбается? Понимаю!

Что ему от меня нужно? Только тронь — я вцеплюсь тебе в глотку, дохлятина! Гонза почти желал такого исхода. Ну, давай, давай, покончим со всем этим! Пусть потом меня забьют до смерти!

Ничего не произошло. Башке устало отбросил линейку и указал ему на дверь.

В конце коридора Гонза увидел дневной свет и, не оглядываясь, пошел туда, лишь на мгновение замедлив шаг. Это он! Они узнали друг друга. Старикашка из того горячечного бреда тащился ему навстречу с ведром и шваброй и покашливал весьма реально. «Ремень-то мне пригодился, глянь!» Глаза под мохнатыми бровями чуть заметно сощурились. Гонза понял это как предостережение и не остановился. Кто же ты такой?

Мелихар встретил его вопросительным взглядом. Он приворачивал шланг, от него пахло потом.

— Что там еще, молодой?

Что ему сказать? Гонза пожал плечами, но вскоре в первом же порыве откровенности, которые между ними в последнее время бывали так редки, выложил ему все. Близилось утро, но еще стояли глухие потемки. Они вместе удрали с ночной смены и по безлюдному шоссе тащились шесть бесконечных километров к остановке трамвая. Мелихар нес два тяжелых портфеля с краденым углем: нечем топить, молодой, холод иной раз похуже голода, плитки уже не в ходу, придется перестроить производственную программу. Гонза предложил понести один из портфелей, Мелихар не отказался. В случае чего, кидайте его в канаву. Резкий ветер носился по пустырям, уносил слова. Гонза рассказал Мелихару о Бланке, сам не понимая, почему он говорит все этой бесчувственной туше, этому ярмарочному борцу с непристойной татуировкой на груди.

Быть может, тьма, которая окружала их и уходила в даль вселенной, развязала Гонзе язык. Башке хочет что-то выведать, а что — не знаю! Какое-то имя, я его уже слышал, но больше ничего не знаю. Олень... Может, это из тех, кто проводят саботаж? Но я их не знаю. Когда-то мне страшно хотелось узнать, но разве пустят они к себе нас, тотальный сброд? Они нам не доверяют и правы. Но если бы даже я что-нибудь и знал, ничего бы от меня не добились. Потому что я нена-

---

* «Благотворительная» кампания, проводившаяся оккупантами в протекторате.

вижу их. Ненависть — единственное чувство, на которое я способен. Никого из моих не убили, но случилось худшее — я сам конченый человек, все мне стало безразлично, и я сам себе безразличен. Она спит с ним... я не могу... я с ума схожу, Мелихар! Будь она мертва, это было бы страшно, но по крайней мере не так грязно. Это хуже смерти. Бывают минуты, когда мне хочется умереть. Наверно, было бы легче!

Они с трудом шли против ветра, тяжелый портфель оттягивал Гонзе руку.

Что он может понять? Никто этого не поймет!

— Дурь! — неприветливо проворчал в темноте Мелихар.— Дурь все это, молодой! Нечего трепаться, я на это не клюну. Дерьмо какое! Барышня вы, что ли? Иной раз человеку кажется, что уж и солнце навек закатилось, да только это не так! Ну, услышали вы что-то о ней, люди любят болтать... вот как и о моей жене. И чего это сволочи лезут в чужие дела, ума не приложу, черт побери! Человек как вол, все выдержит. И я не подумаю утирать вам сопельки, вам уже двадцать лет, голова у вас хорошая, воля крепкая, уж это я знаю, так в чем же дело? Не говорю, конечно, что вам сладко. А кому сладко? Ежели вы из слабосильных, так будьте здоровы! Дайте-ка мне портфель, а то надорветесь... А ну, гляди в оба!

Они осторожно обошли стороной освещенную проходную будку одного из заводов на шоссе; около приземистых домиков пригородного поселка на них остервенело залаяли собаки. Цыц, сволота! Пришлось прибавить шагу. Только на пустой ровной дороге Мелихар снова заговорил. Что побудило его к необычной откровенности?

Всю услышанную историю приходилось собирать из лоскутков, потому что Мелихар, как каждый плохой рассказчик, то перепрыгивал через годы и события, то умолкал или хватался за уже высказанную мысль. Из бессвязного рассказа вставали годы ученичества, щедрые на оплеухи — удел непутевого мальчишки из бедной семьи,— он говорил о них без тени жалобы или протеста. Потом шли годы безработицы, когда приходилось доедать объедки в закусочных, потом сомбреро и кожаные напульсники — ковбойская романтика на берегах Сазавы, жажда перемен, бродячий цирк «Диана», города, города, выезд на Балканы, и опять голод, борьба на арене, чемпион «Маска», двадцатка за выступление. Политика? Мелихар ею не интересовался, был он парень хоть куда, гроза танцулек.

— Я мужик здоровый, мускулы — в-во, выбьюсь и сам. Нечего соваться куда не след! Что это мне даст? Туповат я был... И вот втюрился в одну... ну, как бешеный... Была она старше меня и совсем не красавица, но черта ли в красоте, иная баба так человека зацепит, что спасу нет... Я еще до ее ухода чуял, что у меня с ней плохо кончится. И тоже думал, что сдохну с горя. Да и ушла-то она к такому хрычу, ногтем я бы его придавил, этого Рудольфика. Развалина, недолго до пенсии! То ли она на лучшую жизнь польстилась, то ли я ее обижал, разве разберешь! Со мной тоже никто не цацкался. Всяких этих нежных слов я говорить не умею, но сил не жалел, чтобы ее прокормить, чуть ли не воровал — чего греха таить! — когда родилась Майка. Но уж ежели баба заберет себе что в голову, ее не переупрямишь, хоть из кожи лезь вон, хоть убей ее, хоть ползай на коленках, реви, бей мебель, угрожай, чем хочешь... Сколько я ей покупал подарков, а деньги мне нелегко давались — едва ли не все ребра перебиты. Один негр мне так наподдал, что я перелетел через канат в публику и свалился там на стулья — ну, думаю, пришел мне конец. И все-таки она от меня ушла! Есть такие дела, где одних мускулов мало... Стала она совсем другая... И девчонку забросила. Нет, она не была злой, она была просто женщиной. Что с ней сейчас? Да ничего. Померла весной сорок второго. Чахотка. У них

в семье все померли от чахотки, я это знал, когда женился на ней. Что, если бы вернулась? Ну, ясно что... да только она не вернулась и уж не вернется. Ваша-то хоть жива, молодой...

Промерзший трамвай, скрипя, тащился в город, сквозняк гулял в пустом вагоне, пробирая до костей, Мелихар задремал, держа портфели на коленях и свесив голову на грудь. У него громадные руки и смехотворно маленькие, изуродованные в драках уши, в них тонким слоем въелась наждачная пыль. Завтра он снова будет материться, хлестать пиво и лапать женщин, ничто в нем не изменится. Бланка жива. Стыдись же! Перед ним? А разве ты его понимаешь? Человек как вол, все выдержит...

■

Мать вернулась из ночного рейса, от шинели, висящей как удавленник, пахнет дымом и горелой краской — в ней холод бессонной ночи, свистки, перестук колес.

— Знаешь, кто вернулся? — говорит она Гонзе.— Итка! Видно, скоро конец войне.

Он помчался вниз по лестнице. Итка! Больше чем товарищ, меньше чем любовница! В нем ожила какая-то смутная надежда. Без стука он вихрем ворвался к Кубатам и сразу увидел Итку.

— Итунка, чертенок, откуда ты взялась? Покажись! Цела? Не оторвала бомба твой курносый нос? Ну, рассказывай!..

— Привет,— сказала она, поправляя волосы.— Здравствуй, Гонза.

И неуверенно оглянулась. Гонзе показалось, что он отвлек ее от чего-то, но он подавил в себе эту мысль; он не мог угомониться. Да ты опомнись, это же я, Гонза, можешь потрогать! Когда ты приехала? Вчера ночью? И до сих пор не показывалась, бедная Манон, Манон-грешница. Я страшно рад, что снова тебя вижу, факт — скучал по тебе. По крайней мере иногда. Ну и не верь!

Он потащил ее к окну, обнял за худые плечи в драном свитере и со смехом заглянул в глаза. Наконец-то за долгое время какая-то радость! Возвращение Итки казалось ему добрым предзнаменованием. Ведь это же Итка, Итунка, подружка детских лет, с ней вместе пережито детство, испытан первый порыв нежности, первый поцелуй, первые попытки близости... А потом — подумать только! — она укатила за тридевять земель. Помнишь, Итка, помнишь? А ты была мне верна? Покажи нос! Знаешь, летом я катался на твоем велосипеде. Было там очень худо, а? Ну, эти налеты? Тогда не говори... Здесь тоже дела дрянь... А как Ганка? Вы были вместе? На открытке из этого вашего Эшбаха она тоже подписалась. Гуляет еще с тем медиком? А Ева, ты о ней что-нибудь... Серьезно? А где это случилось? Ты мне должна все рассказать, проболтаем целую ночь. Ладно?

Да что же с Иткой? Первое впечатление не только не рассеялось, а, наоборот, усиливалось. Он заметил, что разговор не вяжется, то и дело возникают паузы, скоро стало совсем не о чем говорить, и это было непонятно. На вопросы Итка отвечала нехотя, односложно, без огонька — «да», «нет», «да», «нет», «не знаю», «в самом деле?». Может, действительно он отвлек ее от чего-то? Возможно ли, что она нисколько не рада их встрече? От него не укрылось, что лишь усилием воли она сохраняет на лице нечто отдаленно похожее на прежнюю улыбку, словно мыслями была где-то очень далеко,— у нее отсутствующий взгляд человека, который с трудом сосредоточивается на окружающем.

Гонза предложил Итке погулять, она согласилась с явным облегчением.

Они шагали по асфальтированным дорожкам безлюдной Гребовки, все здесь было знакомо — деревья, облупленные таблички, уродливое

подобие пещеры для романтически настроенных мещан, клумбы. Это был их парк, здесь Итка девчонкой играла в «классы» — небо, пекло, рай,— а помнишь хромого сторожа, русского эмигранта, как мы смеялись над его ломаным чешским языком, однажды он меня отшлепал. А вот тут я сочинял первый стишок и мечтал о славе. На той вон скамейке мы с тобой неумело целовались и подсматривали за влюбленными. Теперь здесь пусто и уныло. Не без умысла повел он ее на их любимое место, откуда открывался вид на лежащий в дыму и тумане город. Моросило, воздух был насыщен липкой сыростью. Гонза взял Итку за руку, она беспокойно подняла глаза, но тотчас отвела их. Полно, Итка ли эта девушка в поношенном пальтишке, что ежится тут от холода?

— Ты замерзла?

— Да.

— Хочешь, вернемся домой?

— Нет, мне там плохо.

Он обнял ее за плечи, привлек к себе, чтобы согреть, она не сопротивлялась, но была как деревянная кукла.

— Ну, выкладывай, что там с тобой стряслось.

— Видишь ведь: я жива и невредима.

— Да, жива. Но только я тебя знаю как свои пять пальцев. Там было плохо, да?

— Плохо,— отозвалась она, не поднимая глаз.— Но я была там счастлива.

Он понял — нельзя ни изумляться, ни докучать вопросами, чтобы не спугнуть ее. Да и вообще в последнее время он отучился удивляться чему бы то ни было. Вещи и люди показывали свою изнанку. «Поклянись, что ты будешь любить меня до гроба»,— сказала она ему когда-то... Почему все время моросит?.. Подожду, пока у нее развяжется язык. Если только это прежняя Итка, долго ждать не придется.

Они остановились у каменных перил, в сырой тьме под ними тоскливо гудели поезда.

Он не ошибся, Итка вдруг заговорила.

— Я должна вернуться, должна! Не могу я оставаться, мне здесь нет места! Я люблю его, безумно люблю и не могу без него жить, пойми!.. Это так странно, мне даже не верилось, что это может случиться. С первого же раза, когда мы встретились — это было в убежище во время налета — я поняла, что полюблю его. Налет длился несколько часов, а мне было все равно, я ничего не слышала, для меня существовал только он. Он меня тоже любит, так он и сказал, не может не любить, хотя нам трудно объясняться. Я так жалела, что филонила в школе, на французском, теперь мне пригодилось бы каждое словечко. Нет, он откуда-то из Бельгии, Льеж называется, я этот город знаю только по карте. Он тоже тотальник, работал на кабельном заводе, их там совсем разбомбили, не знаю, работает ли он еще, и вообще... Я люблю его, Гонза, не могу без него больше жить! Не могу! Я все время мыслями там. Мы даже не попрощались, я не видела его, нас после налета сразу загнали в поезд и повезли сюда, потому что там ничего не осталось: ни завода, ни лагеря, наверно, даже ни улиц, ни кварталов,— это был конец света, Гонза, а я думала только о нем, как бы все-таки повидать его, хотя бы условиться на будущее... И зачем только меня послали сюда! Я же не могу без него! А вдруг с ним что-нибудь случилось?.. Нет, не случилось, не могло случиться, потому что я его люблю! Знал бы ты... Его зовут Андре, по-нашему Ондржей, я его звала Ондра... Нет, наши не знают, я им ничего не скажу. К чему? Они бы с ума сошли, они не поймут и будут мне мешать, сторожить, не пустят к нему. Ты им ничего не говори, никому не говори, обещай! Потому что я должна вер-

нуться к нему, и вернусь, даже если придется пешком пойти... поползу на четвереньках! Без него мне не жизнь, и ты меня не отговаривай, если ты мне друг и не хочешь, чтобы я тебя возненавидела...

Гонза ошеломленно слушал ее лихорадочную исповедь. Это конец! Что с ней будет? Наверняка уедет! В душе его словно погас свет. Он вздрогнул: холодно было на душе, холодно и на улице. Погляди же, что осталось от этого простенького существа, от хохотуньи Итки, с которой всегда было так хорошо! Ласточка вернулась с обожженными крыльями... Да, да, в этом есть своя закономерность. Что сказать ей? Что и я уже не тот, что и я раздавлен, неузнаваем, остались руки, ноги, тело, но душа... Нет смысла отговаривать ее, хотя, здраво рассуждая, то, что она задумала,— совершенное безумие, равносильное самоубийству. Ему казалось, что он в чем-то понимает Итку, но выражение ее глаз пугало его. В них не было слез, только отчаяние и небывалая для нее сила воли. Итунка, маленькая!

Потом она уже только молчала и задумчиво водила пальцем по шершавому камню, уже уносилась мыслями в свой сладостный ад, хотя еще и стояла рядом с Гонзой. Все еще моросило, а внизу гудели поезда, и мир был закутан в сумерки и дым. Я должна быть там! Гонза притронулся пальцем к ее родинке под ухом, погладил сбившиеся волосы; в остром приступе бессильной жалости, тоски и страха он привлек девушку к себе, словно пытаясь защитить от чего-то, что таилось в ней самой и рядом с ней. Итка не сопротивлялась, руки ее висели как плети. Но когда Гонза попытался поцеловать ее в губы, она отвернулась. Он удивился.

— Не надо,— сказала Итка и прибавила так спокойно, что у Гонзы захолонуло сердце: — Мне надо лечиться. Я... я больна, понимаешь?

■

Дальше, дальше! Но как? Замкнутый круг, белка в колесе. Африка — страна плоскогорий, а голова раскалывается по невидимым швам от малейшего движения. Богоушу легко говорить «возьми себя в руки»! Зачем? Не все ли равно! Если бы хоть не встречать ее на каждом шагу, не видеть, едва подымешь голову. Как вернуть ей книжки? Передать через какую-нибудь работницу из «Девина»? Это было бы трусливо, унизительно, глупо, демонстративно. Все бы сразу поняли. Заговорить с ней? Гонза не был уверен, что сможет владеть собой. Как вести себя, если за обедом в столовке единственное свободное место оказывается как раз напротив нее?

В своем шкафчике, в раздевалке, Гонза обнаружил чертежный лист, свернутый в трубку, который кто-то, видимо, сунул в щель. На него смотрело ее лицо. Он ощутил почти физическую боль. Рисунок был сделан углем и, надо сказать, довольно удачно: ее своенравный взгляд и гордо сжатые губы, ее брови вразлет... Только лоб не похож! Это Милан, негодяй, его работа! Вот и письмо... Гонза сразу узнал почерк Милана — скорее нарисованные, чем написанные буквы.

«Когда-то я обещал подарить тебе мой первый удачный рисунок. Кажется, получилось,— суди сам. Он твой по праву. Не считай это юродством с моей стороны, я просто держу слово. Знаешь ты уже, что меня в наказание отправляют в Моравию? Здешнее начальство хочет избавиться от главного филона: Заячья Губа засыпал меня, когда я дрых в конторском сортире.

Так вот, несколько слов, чтобы внести ясность между нами, если это вообще возможно. Помнишь, я когда-то предупреждал тебя? Понимаю, ты иначе не мог. Но, как видишь, война касается и нас, ты уже понял это. То, что мои слова сбылись, не очень-то меня радует, по крайней мере сейчас — я преодолел это в себе. Видимо преодолел: запретил

себе. Тебя я не жалею, потому что жалеть нет смысла, надо быть суровыми к себе и готовиться... Но могу, по крайней мере, признаться тебе, что ты был прав в своих подозрениях, ты верно почуял. Да, я был влюблен в нее по уши, ничего не мог с собой поделать. Безумно завидовал тебе, ревновал. Можешь ты понять ревность человека с такой рожей, как у меня? Никаких шансов! С ее стороны лишь отвращение, может быть, сочувствие и страх передо мной. Для меня оставалась только одна Бланка — вот эта, что на бумаге.

Ничего дурного, собственно, я не сделал, но мое предостережение исходило не из товарищеских побуждений, это надо прямо сказать. В общем, я сволочь. Меня мучает, что между нами это произошло, потому что, хоть мы с тобой ссорились, хоть в голове у тебя полнейший сумбур и ты любишь себя показать, все-таки ты настоящий парень, ты это доказал. Я бы, наверно, не выдержал, я — дерьмо!

Наверно, мы с тобой когда-нибудь встретимся — вот увидишь, мои слова насчет того, что будет после войны, сбудутся, я окажусь прав! В общем, еще не все потеряно. Держись!» И настойчивая приписка: «Все это тоже между нами. Уничтожь письмо!»

Поддавшись первому побуждению, Гонза разорвал письмо и рисунок на мелкие клочки, поглядел, как они хлопьями снега посыпались в унитаз, и спустил воду. В тот вечер он напился у Коблицев дешевым вином и на улице под дождем подрался с каким-то пьянчужкой. В памяти осталось только, как он стоял на мосту, перевесясь через каменные перила, и блевал в потемки.

Когда Гонза уже засыпал, в дверь постучали. Послышалось шарканье шлепанцев, стукнула дверная ручка, рука деда потрясла Гонзу за плечо.

— Тебе письмо, мальчик.

Кто ему может писать? Оставьте вы меня в покое! Гонза взял письмо и, увидя знакомый почерк, резко выпрямился на койке.

7

Маленькая ампула из тонкого стекла, надо только раздавить ее, крепко сжав руку. Простое движение. Душан уже упражнялся в нем... Вот так! Он давно носит при себе эту крохотную, пустяковую с виду штучку.

Он посмотрел ее на свет.

— Душан, ты дома? — послышался голос матери.

— Да, мама,— тотчас отозвался он.— Тебе нужно что-нибудь?

Нет, слава богу, ей ничего не нужно, шаги за дверью стихли, у Душана отлегло от сердца. Она ничего не подозревает. Никто ничего не подозревает.

Он лежал навзничь на своем диване и держал ампулу в руке. Стекло было гладкое и неприятно теплое. Не шевелиться! Всему на свете надо научиться. В том числе неподвижности. И умению угаснуть. Светлый круг от лампы заливал широкую пустыню потолка, но не попадал на лицо Душана, оно было освещено лишь желтым светом абажура. Пятно, такое знакомое, Душан не сводит с него взгляда. На что оно похоже? На собачью голову, на облачко, на что угодно! Когда яд подействует, это пятно начнет расплываться, бурые потоки или красноватый дым закроют его, потом что-то дрогнет в теле и, наконец, нежно заплещет — не отсюда ли легенда о погружении в Лету? — возникнет ощущение постоянства и вместе с тем перемены, конечная реальность и холод — иной, не тот, что был знаком прежде, холод вещей, земли, трав, воздуха и времен года; краски, звуки и запахи потускнеют, и вот уже

полный покой, без тягостных огорчений и скорби, холод металла в жилах, забвение, иное, чем во сне, полное отсутствие ощущений — абсолютное. Все это уже знакомо ему, сколько раз он все это уже перечувствовал.

Одно лишь движение... Вот так! На столе стоит пустая чашка с чаинками на дне, где-то в глубине квартиры устало звучит рояль, вальс A-dur Брамса сочится сквозь стены. Душану ясно, кто играет, и он бессильно стискивает зубы. Небрежно хлопает дверь: явился братец Душана, сразу слышно по топоту солдатских сапог и развязному насвистыванию. Сейчас ворвется в кухню и сожрет все, что подвернется под руку. Этот не пропадет. Скотина!

Как успокоиться?

Запыленное полотно Маржака *, книги, напористый ветер, от которого вздрагивают рамы. Легкий аромат чая единоборствует с запахом нафталина и затхлости... Рена! Только что она была здесь, сидела, как всегда, прямо, в кресле; полоска света двигалась по ее сомкнутым коленям. Душана чем-то раздражала ее манера брать и подносить ко рту чашку чая, наверно своей сдержанностью и неторопливостью, но не хотелось говорить ей об этом. Почему?

Чего она ждала? Вечно она от него чего-то ждет, эта шальная Рена. Ее беда, что именно он встретился ей на пути. Почему именно я? Чувство? Слова? Наслаждение? Нет, нет, теперь он уже запретил себе все это, в последнее время сумел, хоть и не без труда, овладеть собой и знал, что Рена не будет настаивать. Он знает ее, у нее есть такт. Душан подозревает, что она каким-то шестым чувством угадала в нем *это*, что она поняла. Ее египетские глаза сегодня глядели на него с невыразимой мольбой, были полны печали. Душан безмерно страдал от этого и разжигал в себе озлобление... Эти глаза — тоже одно из мучительных препятствий, не более трудное, чем другие: чем ночь, аромат чая, мать, или глухой мир книг, или мелкие радости жизни, которые нужно отбросить, стряхнуть с себя, если хочешь, чтоб пришел твой час. Рена, тебе пора! Она заколебалась сегодня впервые. Может быть, в этом неожиданном колебании есть скрытый смысл, подумал он. Но потом она повиновалась, как всегда, без возражений, коснулась губами его холодных губ. Довольно! Ему не жалко ее, нет — не жалко! И все-таки в темноте парадного ему вдруг захотелось поскорей убежать от нее, чтобы не поддаться постыдному умилению, которое может удержать ее. Всего хорошего, Рена. Всего хорошего, Душан. Ничего не забыла наверху? Нет. Я еще приду.

Он услышал ее удаляющиеся шаги на мокрой улице и вздрогнул от холода.

Один! Наконец-то! Что еще? Сосредоточиться, вызвать это знакомое, приятное безразличие к себе, ко всему вокруг и проглотить... Сегодня! За письменным столом он нацарапал письмо, всего несколько пустых фраз, вложил его в конверт. Мелочность, видимо, свойственна человеку до последней минуты жизни.

Он опустил штору, нащупал выключатель лампы, повалился навзничь на клеенчатый диван и замер, уставившись в потолок. Вот таким его найдут. Ампула пока цела, и в ней — *это*. Пройдет секунда, доля секунды — сейчас, сейчас,— надо только перехитрить себя, это должно прийти, как удар молнии, как электрический разряд, единым, пусть даже случайным импульсом, сегодня, сегодня! — кричало в нем, хочу сегодня, ведь все уже решено, давно решено, он уже не может дальше, завтра не должно быть, он ненавидит это завтра, остановить, остано-

---

* Юлиус Маржак (1832—1899) — выдающийся чешский художник-реалист, певец национального пейзажа.

вить мысли, чувства, оборвать связи — сейчас, и он победит, всему будет конец, наступит ничто, славное, торжествующее ничто, после короткой агонии протеста — ничто!

Может, напиться? Нет!

Он приложил руки к глазам. И вдруг почувствовал, что надо бежать от смерти, бежать от самого себя, если не хочет сойти с ума, что нужно еще увидеть человеческое лицо и услышать человеческий голос, коснуться руки — неважно чьей...

На ходу он схватил со стола письмо, не раздумывая, сунул его в карман пальто. Зачем посылать Гонзе это письмо? Ведь он уже совсем неинтересен Душану, он никогда не поймет, почему письмо послано именно ему, случайному знакомому...

Он постоял у ворот, чтобы привыкнуть к темноте.

И вдруг вздрогнул. Человек, неясные контуры которого виднелись на противоположной стороне улицы, узнал его и направился к нему по неровной мостовой.

— Душан! — услышал он в шуме ветра.

Этот голос привел его в бешенство.

— Что тебе здесь надо, Рена? Когда ты перестанешь сторожить меня? Почему не ушла домой? Такой холод!..

— Я не могла, мне надо с тобой поговорить... Надо...

Душан с усилием сдержался, чтобы грубо не оттолкнуть ее. Нет, он ничего не хочет слышать! Неужели придется унизить ее, прогнать, как собаку?

— Уйди от меня,— сказал он жалобно.— Прошу тебя... Почему в тебе нет хоть капли уважения ко мне?.. Неужели ты еще не понимаешь... я не могу!

Последнее слово он уже выкрикнул. И не оглядываясь, пошел прочь по пустой улице; ветер развевал его плащ.

■

Куда он идет? Сам не знает.

С кем заговорить? К кому обратиться?

Дальше, дальше! И Душан уже на площадке ночного трамвая, зажатый в куче тел, держится за металлический поручень, и у него мерзнут пальцы, и вот он опять идет, возвращается куда-то, опять идет.

Бам-м, бам-м! Он поднимает глаза.

Бой часов на башне рассекает воздух.

Подняв воротник, он торопливо возвращается домой. В душе совсем пусто — лот коснулся дна и опустился еще глубже,— ноги сами несут его, и остался только покой — восхитительный, холодный, равнодушный покой, в котором тонет все, что еще недавно мучило, все отвратительное и смятенное. Покой подобен морозному сиянию, прозрению, все кажется легким и достижимым. *Сегодня и навсегда* — наверняка *сегодня*...

Душан сунул руку в карман, на углу нашел на ощупь знакомый почтовый ящик. Не колеблясь, бросил в него письмо и услышал, как оно стукнулось о железное дно.

Подойдя к дому, он оглянулся.

Никого. Пусто.

На цыпочках, затаив дыхание, он прокрался в непроветренную переднюю — пахнуло знакомым запахом нафталина. Казалось, он слышит ровное дыхание спящих, мелодично пробили дедовские стоячие часы.

Сквозь застекленную дверь его комнаты виднелся свет — убегая из дому, он забыл выключить лампу. Вот его прибежище, его раковина — этот конус света, обособленный во всепоглощающей тьме; свет тут удивительно сконцентрирован.

Он аккуратно закрыл за собой дверь и повернул в замке ключ. Снял ботинки, и мягкий ковер заглушил его шаги. Движения его были медленны и осторожны, как у человека, который несет поднос с хрупким стеклом.

Огляделся. Она здесь! Она ждала, но уже не пугала. Она приветствовала его.

Он остановился у письменного стола, маленьким ключиком отпер нижний ящик и вытащил мягкий сверток, просмотрел его, поднес поближе к свету и рывком развернул флажки. Шарик нафталина выпал, покатился к окну. Флажки! Душан разложил их на креслах — цвета, звезды, полосы... Последним флажком он покрыл низкий табурет и, удовлетворенный, посмотрел на это украшение.

Почему воют сирены? Он замер, прислушался и снова... нет, это в голове... и снова!

Он лег навзничь, сжимая в руке хрупкую ампулу, согретую его ладонью, и, сосредоточив все свое терпение, стал ждать. Пятно на потолке — прямо над головой, Душан не сводил с него глаз. Да, оно похоже на голову пса, теперь это уже ясно... Душан! — услышал он чей-то крик, но не узнал чей. Скоро пятно начнет постепенно расплываться, бледнеть, затягиваться сероватым дымом, и тишину нарушит плеск воды... Душан! Нет, ничего не слышать! Еще нет, *это* еще не началось, еще нет, спокойно, не двигаться! Высокий, мучительно дисгармонический звук близится, нарастает... Пора!

Это было удивительно легко и пришло как-то само собой: властный импульс пронизал его тело, нашел свой миг, свою случайную щелочку — и...

Изо всей силы Душан сдавил ампулу...

■

— Да, мы услышали крик,— говорил человек с мягким, чуть женственным ртом, сидевший на другом конце овального стола в столовой из черного дуба.— Это было ужасно... Вы не можете себе представить, как это было ужасно!..

Это он и есть, думал Гонза, слушая душераздирающий рассказ Полония. Отец Душана принял его с учтивым недоумением — в квартире еще не выветрился не поддающийся определению запах; хозяин поставил на толстую скатерть рюмку анисового ликера, но Гонза решил не притрагиваться к нему.

— Его обманули, молодой человек, в ампуле был не цианистый калий, а что-то другое, что действует гораздо медленнее... Я не специалист, названия не запомнил. Мы вызвали врача, но было поздно... Он умер в страшных мучениях... и не хотел умирать, клянусь вам... Звал мать...— Он говорил все это почти с удовлетворением, словно такой ужасный чисто физиологический исход доказывал его, отца, всеведение.— Вы не можете себе представить... я буквально дрожу от страха за жену, ведь она еще не знает... Его увезли утром.

И он жалобно заплакал.

Гонза был подавлен. Не было причин сомневаться в том, что горе отца неподдельно, и все же даже оно не убивало солидности и не изменило его респектабельной внешности, по которой Гонза сразу же его узнал. Седина на тщательно прилизанных висках походила на траурно поблескивающие ленты погребальных венков, изо рта чуть пахло зубной пастой.

Старик всхлипывал, и порой казалось, что он едва замечает гостя.

— Но зачем? — восклицал он снова и снова с каким-то требовательным упреком, и в голосе его были слезы.— Зачем? Зачем он так поступил, объясните мне! У него было все, чего только можно желать,—

талант, здоровье, будущность... Мне не в чем себя упрекать, хотя в последние годы между нами возникло известное отчуждение. Клянусь вам, у меня были по отношению к нему самые лучшие намерения, ведь он — моя плоть и кровь... Почему же? Я не знаю вас, молодой человек, никогда не видел вас здесь, но если он написал вам это письмо, значит, вы были его близким другом...

Что сказать ему? Ведь он не поймет, да я и сам не понимаю. Да, Душан был прав — этот человек ничего не может понять. Лучше бы он молчал! Гонзой овладели отвращение и мучительная неловкость. И зачем я сюда пришел!

Мелодичный бой часов вывел его из раздумья.

— Не знаю,— сказал он сквозь зубы.— Не разбирался я в нем.

— Вот видите,— оживился Полоний и снова открыл шлюзы слезливого красноречия: — И я тоже. А ведь я родной отец! Клянусь вам, молодой человек, я изо всех сил старался понять его! Сколько я его наставлял! Ребенком он был вполне нормален, уверяю вас! С его способностями он мог бы многого достичь! Война не продлится вечно, и тогда... Я старался подготовить его к будущему, ведь он из хорошей семьи, вы, наверно, знаете, что один из его предков был другом самого Ригера *, все это могло пойти ему на пользу!.. А он... Такой способный, такой даровитый... Я мог бы показать вам его дипломы, которые он еще подростком получил на легкоатлетических состязаниях... Весь мир мог быть у его ног! Я им слишком гордился, и, видно, наказан за это... Я верил ему больше, чем самому себе, а жена, бедняжка, в нем просто души не чаяла... Как он мог так с нами поступить, молодой человек... нет, не понимаю... не понимаю! — Он всхлипывал, несколько театрально прикрывая ладонью глаза.— Только в последнее время — пожалуй, с тех пор, как его послали на завод,— он отошел от меня. Замкнулся в себе — не знаю почему. Что я ему сделал, боже мой? Что? Сколько я просил его, уговаривал, корил за то, что он живет неправильно, как чужой в собственной семье. Вероятно, несчастные книги довели до этого, лишили рассудка. Я думал, от них будет только польза. Ведь искусство и философия должны украшать жизнь, делать человека лучше, совершеннее, ну, скажите... Впрочем, в книгах одно, а в жизни бывает совсем иначе, он и сам бы это понял, если бы... если бы...

Подавленный, неспособный пробудить в себе хотя бы каплю жалости к этому человеку, Гонза слушал его причитания. И с каждой фразой в нем все больше нарастал протест.

— Не могу объяснить это иначе, как психическим расстройством. Никогда в нашей семье такого не бывало. Может быть, это была внезапная вспышка безумия, как вы думаете?

Нет, нельзя уклониться от прямого ответа, нельзя выкручиваться!

— Вы ошибаетесь,— хриплым голосом прервал его Гонза и заерзал на стуле.— Он был вполне нормален.

— Вы так думаете? Тогда почему же, скажите мне, почему же, о господи...

Хватит! Гонза встал и взял со стула свою шляпу. Ему казалось, он задыхается. Презрительным взглядом он посмотрел на хозяина дома.

— Оставьте! Что я думаю — неважно, а вы... А вы-то себе уж как-нибудь объясните! Душан все знал наперед. Ведь вы — Полоний, не так ли? Вы умоете руки, а он больше не проснется. Противно вас слушать!

Благообразное лицо хозяина дома вытянулось, глаза обиженно сузились. Он хорошо разыгрывал недоумение.

---

* Франтишек Ладислав Ригер (1818—1903) — крупный чешский буржуазный политический деятель.

— Вы пришли... оскорблять меня, молодой человек? — прошептали мягкие губы.— Меня! Неужели я виноват, я, который...

— Да, вы! — с ненавистью крикнул Гонза.— Вы и это ваше вонючее благоразумие. Вы тоже его убили, если уж хотите знать, вы и весь этот ваш мир! Мир благоразумных, рассудительных негодяев...

Голос хозяина дома угрожающе изменился.

— Прошу вас взять себя в руки!

— И не подумаю! Вы все проворонили, ведь у вас на глазах заваривалась вся каша, а вы глазели с умным видом. Идите к черту, и нечего корчить из себя невинных младенцев. Теперь-то вы ждете, коньяк приготовили и флажки — размахивать ими, а потом снова все загадите своим благоразумием. Ну и ждите! Только без нас — эх, вы, добродетельные, рассудительные, практичные папаши. Я ненавижу вас, как и он! Полоний!

Что он кричит? Это рвалось из него, он захлебывался гневом и жалостью, и черта ли ему было в том, что он, может, неправ, что преувеличивает, что несправедлив — ведь Душан-то мертв, и за него даже не отомстишь!

Гонза умолк. Он упивался ошеломлением, написанным на этом столь уравновешенном прежде лице, потом резко повернулся и добровольно покинул поле боя. Что уж еще говорить?

— Лжете! — услышал он, уже взявшись за ручку двери. Хозяин дома, дрожа, теряя самообладание, бежал за ним, он словно хотел заставить Гонзу взять обратно свои слова.— Лжете! — хрипел он, и лицо его наливалось кровью.— Вы такой же... вы из тех же сбитых с толку, зарвавшихся юнцов, каким был и он...

— Не беспокойтесь — таким, как вы, не был и никогда не буду!

Гонза ждал новой атаки, но дождался лишь нового приступа жалкого плача:

— Но ведь я его... все-таки... любил... Клянусь!

Гонза рванул дверь, задерживая дыхание, без оглядки побежал через пронафталиненную переднюю. Он хлопнул дверью этой ненавистной квартиры, словно поставил точку после одного из тяжелых эпизодов своей жизни, и скатился с сумрачной лестницы на свежий воздух. Ради бога, глоток воздуха! Скорей!

■

Зачем в мою жизнь вошел этот непостижимый человек? Чтобы заразить и меня, вырвать с корнем из жизни, превратить в пустыню, какую носил в себе? Всей силой инстинкта самосохранения, истоков которого он даже не знал, Гонза восставал против призрака. Нет, нет, Душан!

Только на другой день, не без внутреннего трепета, Гонза отважился вынуть из ящика дневник в охровом переплете и вступил на его страницы, как на арену, где у него нет никаких шансов. Слова, фразы, эпизоды врезались в мозг, воспринимались теперь иначе, чем когда он прочел их впервые, потому что за ними, зловеще осклабившись, стоял *поступок*. Чудовищный, уже совершенный. При свете тусклой лампочки Гонза вновь и вновь перечитывал дневник и стискивал зубы, содрогаясь от стыда и ужаса... Довольно! Нет, читай дальше! Надо, от этого зависит все. И Гонза тратил свои недолгие ночи на споры с мыслями, изложенными мелким, интеллигентным почерком; от этих мыслей веяло смертью, она уже была в них и слабо пахла чаем. Гонза жил как в бредовом сне, чувствуя, что слабеет от недостатка собственных аргументов, которые он мог бы противопоставить этому призыву, вламывающемуся в него и оголяющему его. Он как бы очутился под насосом, который выкачивает из него остатки сил. Не могу я больше, что тебе надо? Куда тащишь? Хочешь, чтобы я убил себя? Заглушил в себе этот вой, подавил эту мучи-

К 350-летию со дня смерти ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР

ГАМЛЕТ

КОРОЛЬ ЛИР

МЕРКУЦИО

АНТОНИО И БАССАНИО

Рисунки худ. П. БУНИНА

тельную дрожь, это постыдное головокружение, охватившее меня оттого, что чувство мое осквернено и разбито? Оставь меня, я не могу больше. Не могу! Не могу!

Потом — прошла неделя после похорон, и за цветком в окне сгущались сумерки — кто-то робко постучал в дверь. Гонза умывался, собираясь в ночную смену, он открыл дверь, обнаженный по пояс. И замер на пороге: из коридорного полумрака на него пристально глядели темные глаза.

— Добрый вечер. Не знаю, помните ли вы меня...

Он тотчас узнал ее — такие лица не забываются,— хотя видел всего несколько раз, случайно и никогда с ней не разговаривал. Вспомнил, что зовут ее Рена. Она была спокойна, замкнута, и он удивился, что не нашел в ней ни отчаяния, ни скорби, только обычную сдержанность, в которой он всегда видел отсутствие интереса к кому-либо, кроме одного человека.

Гонза смутился — он раздет, и у него полотенце на шее, но Рена будто не заметила ни того, ни другого. Тихим, совсем незнакомым голосом она спросила, можно ли ей поговорить с ним наедине. Он кивнул и попросил ее подождать на улице, ему вовсе не хотелось, чтобы дед был свидетелем разговора.

Одевшись, он выбежал к ней.

Рена стояла у ворот, в воздухе крутились снежинки и ложились на ее блестящие черные волосы, связанные на затылке в строгий узел. Куда пойдем? Пренебрегая взглядами соседских сплетниц, Гонза взял девушку под руку и повел по улице, словно они были хорошие знакомые. Он молчал, ожидая, чтоб она заговорила сама, и поглядывал на ее профиль и гордую посадку головы. Нефертити, подумалось ему, и все в нем тоскливо сжалось: да, такое нечеловеческое самообладание — наверно, привилегия королев. Сбегая вниз по лестнице, он волновался, ожидал женских слез, слов, взрыва отчаяния, но ничего этого не было. Он даже вновь ощутил странное чувство, которое всегда испытывал в ее присутствии: словно она его не замечает. Что же тебе от меня нужно?

— Я побеспокоила вас,— сказала Рена, глядя прямо перед собой.— Извините.

— Мне не за что вас извинять.

Гонза поймал себя на том, что произнес это деликатно пониженным голосом, каким говорят с близкими умершего, но тут же, бог весть почему, подумал, что такой общепринятый тон неуместен с Реной, и умолк. Странные мы «близкие» — нелюбимая любовница и случайный знакомый, два совершенно чужих человека на хмурой улице — и тень между нами...

— Вы не дойдете со мной до трамвая? А то мне в ночную смену. Я не могла не повидаться с вами...

— Право, вам не в чем извиняться,— прервал он.— Может быть, посидим где-нибудь? Тут неподалеку есть кафе...

— Нет, спасибо,— просто отказалась она, по-прежнему глядя в пространство.

— Поверьте, я с удовольствием провожу вас, только боюсь, что ничего важного вам не скажу. Я знал его, мы даже дружили немного... и когда это случилось... Но я никогда его не понимал. Вы, конечно, знали его лучше, чем я. И все же я понимаю, у вас потребность с кем-то поговорить о нем.

Рена чуть заметно качнула головой и не замедлила шага.

— Нет,— сказала она,— я не о том. Это ведь ни к чему.

Сумерки уже стирали черты ее лица. С боковой улицы налетел ветер, чуть не сорвал шляпу с Гонзы. Пришлось придерживать рукой,

чтоб не оказаться в смешном положении человека, гоняющегося за шляпой.

Рена остановилась и заглянула ему в лицо.

— Я только хотела спросить... не оставил ли он чего-нибудь... может, письмо...

Гонзу захватило врасплох внезапно прорвавшееся в ее голосе горе. Он переступил с ноги на ногу, поежился от стужи. Что сказать ей? Дневник в охровом переплете и два письма... Первым побуждением Гонзы было все ей отдать, но он тотчас подавил его: нет, нельзя! Это стало ему вдруг совершенно ясно, и он медленно покачал головой, стойко выдержав ее взгляд.

— Нет, ничего,— тихо сказал он.

Он услышал вздох разочарования и, боясь поддаться предательской жалости, ласково, но настойчиво взял Рену под руку и повел дальше. Остаток пути они не разговаривали, и у него опять возникло ощущение, что она его не замечает.

Они остановились на перекрестке, около остановки. В сгустившихся сумерках лицо Рены различалось только как светлое пятно. Ветер кидался на них, молчание легло между ними тяжелым камнем, по крайней мере так чувствовал он. Издали донеслось дребезжание трамвая, и Гонза сделал еще одну попытку:

— Вы его очень любили?

— Да. Очень.

После этого он был способен уже только на банальные фразы.

— Мне очень жаль вас, Рена. Вам сейчас, наверно, очень тяжело, да?

Его слова, казалось, долетают к ней издалека, она почти не слушает их; потом она как бы очнулась, повернула к нему неясное в сумерках лицо и подала озябшую руку.

— Да,— произнесла она упавшим голосом, но тотчас голос ее стал тверже.— Теперь это уже не так страшно. Видите ли, я жду от него ребенка.

Трамвай подкатил к остановке, скрип тормозов отдался в мозгу.

Гонза смотрел, как маленькая прямая фигурка легко вскочила на подножку прицепа и исчезла среди пассажиров. Трамвай тронулся; Гонза встряхнулся, потер замерзшее лицо, глубоко вздохнул и пошел обратно. Шел он легко, словно в прозрачном сне, словно плыл по безлюдной, будничной улице, не думая ни о чем.

На лестнице он догнал мать. Она поднималась по ступенькам с неуклюжей кондукторской сумкой в одной руке и рыночной сеткой со скудными покупками в другой и улыбнулась ему, как всегда, робкой улыбкой, от которой ему становилось неловко. Ему захотелось сказать ей что-нибудь, но он только обнял ее за плечи, не обращая внимания на ее удивление, и забрал у нее из рук сумку.

Шум взволнованных голосов на третьем этаже разъединил их. Соседки собрались около крана, в общем гомоне Гонза услышал причитания пани Кубатовой и по коротким, отрывистым фразам сразу понял, в чем дело. Итка! Исчезла из дома! Исчезла бесследно, не сказав ни слова, не оставив ни строчки! Вы слышали? Что же она наделала, несчастная! Пресвятая богородица! В такое-то время! Ох, уж эти дети! — кудахтали соседки. И куда она делась? Война ведь! Вам она ничего не говорила? Гонза стиснул зубы и на все жалобные вопросы только отрицательно качал головой. Бегом поднялся он по лестнице и захлопнул за собой дверь.

На другой день вечером он бросил с моста — на том самом месте, где они часто стояли с Душаном,— дневник в охровом переплете. Пере-

гнулся через перила, но так и не услышал всплеска. Теперь он избавился от дневника, но этот нарочитый поступок не принес ему особенного облегчения, потому что слова, наполнявшие дневник, засели в нем самом, и он с мучительной ясностью сознавал, что исход борьбы еще не решен и не будет решен до конца его жизни... И однако, вернувшись домой и включив лампочку над кухонным столом, он впервые за долгие недели решился вынуть тетрадку со своими записями, прерванными не по его воле; несколько раз перечитал последние смятенные фразы, продиктованные отчаянием, и они показались ему какими-то непонятными. Неужели это я писал? Дальше! Что остается добавить? Он закурил сигарету, набитую травкой от ревматизма, и карандаш забегал по бумаге... Он писал, рука его затекла, но он все писал...

«...Я не знаю, что случилось и почему это так, но я рад, что она есть на свете, что существует... Та девушка на остановке, Нефертити... Нет, я не осмелюсь коснуться этого словами... но жизнь изумительна, неистребима, жизнь ведь больше, чем отдельный человек, чем страх и скорбь, она сильнее всех философий, мыслей, слов и искусства, она больше, чем смерть, она вообще выше всего. Я теперь так остро ощущаю это, что мне хотелось бы когда-нибудь суметь и другим доказать эту фантастическую истину. Не верю, чтоб кроме нее был еще какой-нибудь смысл во вселенной.

Сейчас я веду разговор *с ним,* хотя не стал ничуть умнее, чем в те минуты, когда пил с ним чай и бунтовал против собственного восхищения этим человеком. Он ушел со своей тайной, со своим сверхразвитым мозгом, образованностью и наблюдательностью, со своим правильным лицом и фигурой легкоатлета — и со своим чудовищным протестом. Но одно я теперь твердо знаю или, по крайней мере, чувствую: он был неправ, мне жаль его, но он был неправ. Он не ушел от жизни, он проиграл, и вчера я узнал, кто нанес ему это поражение. Так зачем же, зачем он это сделал? Не знаю и никогда не узнаю! У него было все, и можно было позавидовать ему (и ей), я готов поклясться, что у него было на редкость здоровое тело и мозг. И все же: видимо, все же он был смертельно болен, заражен неизвестным еще микробом, не открытым под сильнейшими микроскопами, и этот микроб погубил его... Откуда мне знать, быть может, во всех нас сидит этот микроб, в каждом, кто дышит этим застойным, ядовитым воздухом,— вот он, наш мир, другого мы еще не знаем, а прежнего не помним; вот наш временный мир, в котором мы открыли глаза, и его нам — одним в большей, другим в меньшей мере — суждено нести в себе до конца жизни. И, может быть, тот, кто преодолеет в себе этот микроб, станет невосприимчив и к другим, еще более вредным микробам? Черт знает, что лезет мне в голову, кажется, я совсем обалдел...

Не знаю ни противоядия, ни течения болезни, ни тем более ее терапии, не умею даже назвать этот микроб, и все же: сейчас, глубокой ночью, когда я думаю о потерпевшем поражение, мне приходит на ум — это скорее смутная догадка, предположение без веских доказательств — а может быть, у микроба все-таки есть имя? Имя, хорошо знакомое нам и тем не менее поразительное: протекторат!»

8

— Вот здесь,— сказал Павел и провел ногтем по карте воображаемую линию фронта: она бежала через города, перерезала реки и горы, была длинной и изгибалась в разные стороны.

— Кажется, рукой подать — и там,— сказал Бацилла.

— Ну да, на карте,— пробормотал Войта и ткнул указательным пальцем куда-то возле восточной границы Словакии.— Интересно, далеко ли досюда. Конечно, по прямой линии, самолетом.

Павел прикинул пальцами по масштабу.

— Километров шестьсот-семьсот, не больше.

Да так оно и выходит: два с половиной, от силы три часа полета, в зависимости от ветра и других условий,— эти машины делают до трехсот километров в час, с полным бензобаком их радиус действия достигает тысячи. Значит, можно. Надо бы сегодня выложить это ребятам... Но как? И когда?

Бацилла толкнул Войту в спину и отвлек от размышлений.

— В других местах они еще ближе, гляди! — Он почесал голову и потер лицо.— Но что-то не видно, чтобы немцы складывали чемоданы. На днях я слышал по радио того колченогого, Геббельса...

В общем, улететь можно, но до чего же это рискованное предприятие! Если бы он хоть разок побывал в воздухе! Коцек прямо-таки спятил!.. Нет, нет, ему иной раз приходят в голову бредовые идеи, но котелок у него варит здорово. Коцек умеет и гуляш без мяса сварганить, и поднять машину в воздух.

— А если все разбомбят? — твердил свое Бацилла.— Вдребезги. И здесь. Представляете себе, ребята?

— И что ты все мелешь?

Бацилла поперхнулся.

— Бои-то могут быть и у нас. К примеру, на Коронке или на Карловой. Я в жизни не видел покойника. Когда умер дед, я не смог подойти к открытому гробу, меня чуть не стошнило. От войны не удерешь, она и сюда придет, а? Я слышал, Прагу объявят открытым городом...

Павел мрачно усмехнулся.

— Если ты думаешь, это сделают, чтоб уберечь часы на старой ратуше или церковь Лоретты, то ошибаешься. На это не рассчитывай.

Павел говорил, не думая, его одолевали вопросы, на которые не было ответа. Где ты? Почему молчишь? Перед ним лежала карта Европы, старая, заслуженная и довольно посрамленная карта, вырванная из школьного атласа, еще с довоенными границами. Уж они-то наверняка изменятся, только города, горы и реки останутся на своих местах, да и это еще не известно. Видимо, все пришло в движение. А вот тут, почти в самой середине Европы, в этом крохотном квадратике, равно отстоящем от близящихся фронтов, находимся мы. Сейчас. И ничего не делаем. Свинство!

Часы на секретере красного дерева, когда-то принадлежавшем врачу-еврею, пробили половину девятого — она слышала их бой. Часы равнодушны ко всему, они бьют для каждого: били для врача-еврея, теперь бьют для *него*. Да и для нее! Бланка стиснула пальцами мягкие подлокотники кресла. А что сейчас делает Гонза? Нет, не думать, она запретила себе это, она не смеет думать. Нельзя падать духом, потому что есть Зденек! Он жив. Где и как проводит он конец года? Он жив. Он сообщил ей несколькими короткими фразами, что все в порядке, суда еще не было и надо полагать, будет нескоро, потому что имперская юстиция столь же педантична, сколь и нетороплива; Бланка соблюдала уговор и не допытывалась о подробностях. Надежда? Да, надежда есть, и Бланка держит ее в руках, как горячий камешек,— удержит ли? Боже, что сделать, чтоб выиграть это состязание с временем? Бам-м!..

— Не хочешь ли ты мне помочь?

Бланка не ответила, даже не шевельнулась. Напрасный вопрос, ведь он твердо знает, что она ни за что не встанет с кресла, что ему никогда не заставить ее притронуться здесь к чему-нибудь. Только крес-

ло и диван! Бланка закрыла глаза. Так будет и впредь, и она знает, что не станет противиться. Хуже другое — она уже не умеет противиться, она, вероятно, даже разучилась ненавидеть и уже не может, как прежде, с отчаянием замыкаться в своем теле, не может не участвовать в *этом*. Нет, это не так! Не так! А кто ты, собственно, такая? Что от тебя осталось? Маленькое, запуганное, до смешного своенравное существо, и ничего больше. «Хочешь поглядеть в окно? — звал он ее иногда.— Отсюда такой чудесный вид!» Нет, ее не привлекал вид, не привлекала великолепная электрифицированная кухня. «Ты наивная,— беззлобно улыбался он.— К чему это? Во время войны надо отказаться от чрезмерной чувствительности. Случаются вещи и похуже. Квартира как квартира, неодушевленные предметы равно служат каждому, у них своя жизнь и свое старение. Меня не интересует, кто тут жил до меня и что с ним случилось, не интересует даже, кто развалится на этом диване через пару месяцев. Но я ни на чем не настаиваю. Мне даже нравится твое упрямство. Нечто вроде бунта. Протест против нас? Если бы в этой стране не творились вещи похуже — на здоровье...»

Это не во сне — наяву. Он ходит по ковру упругим шагом, не утратившим военной четкости, ходит в халате и комнатных туфлях — может, и они остались от бывшего владельца квартиры, что ж, туфли как туфли,— ходит с веселым видом, распространяя вокруг запах свежести. Враг? Не похож на врага. Не может быть врагом. Во всяком случае, моим. Ведь он помогает мне, не будь его... Роль хозяина дома он разыгрывает блестяще, явно понимая, как мила мужская неловкость в кухонных делах. Не во сне все это — наяву.

— Сама виновата,— восклицал он под шум льющейся воды.— Объединенными усилиями нам удалось бы соорудить отличный ужин. Ела ты когда-нибудь икру? Икра будет! И не какой-нибудь эрзац, слава богу, нашим химикам еще не удалось его придумать. Надо достойно отметить конец года.

— Черт,— сказал Войта,— если тут ничего не произойдет, нас освободят в последнюю очередь. Как ты думаешь, Павел?

Павел только пожал плечами. Похоже на то. А что делать? Вытащить из-под дивана бездействующий револьвер, завернутый в промасленную тряпку, пробиться в Берлин или в эту, как ее, ставку фюрера, черт знает куда, и там нажать на спусковой крючок? Мучило это своей неосуществимостью. Что мы, собственно, сделали за последнее время? Не много и решительно ничего серьезного. Выпуск листовок пришлось прекратить хотя бы уже из-за Гонзы, а кроме того, кончилась бумага. «Орфей» онемел, и похоже было, что никто на заводе не заметил этого. Ну, писали во множестве мелом на стенах: «Смерть оккупантам!», «Не работайте на Гитлера!», «Да здравствует свобода, да здравствует Советский Союз», «Каутце — осел!», «Позор изменникам!». Милан научил рисовать серп и молот, пятиконечную звезду и прочее. К чему? Самые заметные надписи стерли веркшуцы или трусливые мастера участков, другие так и остались незамеченными, и их смыло дождем. Подожгли сарай? Так люфтшуцы сумели потушить его раньше, чем огонь нанес серьезный ущерб, а запарившийся Каутце мог приписать пожар простой неосторожности. Так или иначе, это были комариные укусы по сравнению с тем, что делали на заводе помимо них другие, сильные люди, не известные не только Каутце и гестаповским ищейкам, но и самим «орфейцам». Связаться бы с этими людьми... но как? Все наши попытки были безуспешны, мы словно бродили в тумане...

— Умираешь от скуки?— окликнул он из кухни, прервав мысли Бланки.

— У меня нет причин скучать.

— Правильно!— Он, видимо, истолковал такой ответ благоприятно для себя и внес в комнату бутылку вина. Прежде чем поставить ее на стол меж двух пузатых рюмок, внимательно рассмотрел этикетку.— Доводилось мне пить вина и получше, даже совсем недавно. Париж изумительный город, может быть, не такой красивый с виду, как ваш, зато...— Он, улыбнувшись, коснулся ее плеча.— Эта бутылочка стоила мне целого состояния, не говоря о риске. А сейчас такое вино уже хлещут храбрые янки с парижскими девчонками. Что ж,— он вздохнул без всякой горечи и подбросил бутылку,— tempora mutantur *. Полагаю, эта заплесневевшая истина не потеряет своего значения и в будущем. Слава богу, я не так стар, чтобы отказаться от всякой надежды и пустить себе пулю в лоб.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она и тут же поправилась:— Имеете...

— Имеешь!— притворно рассердился он.— Очень просто, Бланка. Ты, наверно, знаешь, что иллюзий я себе не строю, но история в общем-то не так уж сложна, чтобы ее нельзя было понять. Мы, правда, войну проиграем ко всем чертям, и даже довольно скоро — ты, несомненно, желаешь этого, как и я,— но оставим после себя изрядный кавардак. А там, где кавардак, всегда возможны перемены. Бесконечные. В таком смысле я питаю доверие к истории. О чем ты думаешь?

Бланка обхватила пальцами холодные колени.

— Пока что о вещах, куда менее значительных. Что я могу?..

— Понимаю,— кивнул он.— В сущности, ты права, и сегодня ты прекрасна. В одном этом больше правды, чем во всей истории. Все остальное вздор, и довольно опасный. Слишком многим он стоил всего. Пусть теперь жалуются истории или человечеству — с пулей-то в голове, а то и вовсе без головы. Достаточно трудно уцелеть самому, найти щель, в которой можно хоть как-то жить... Тебе холодно? Здесь плохо топят.

— Нет,— сказала Бланка.— Я не это имела в виду. Неправда, что в этой войне люди умирают напрасно, что...

— Абсолютно!— перебил он ее, сосредоточенно откупоривая бутылку.— Послушай меня: нынче только идиот поверит в их объятия из-под палки. Смех, да и только! У этих союзников уже сейчас, не говоря о завтрашнем дне, больше причин передраться между собой, чем между любым из них с нами! Вот так! Виноват ли я, что эту простейшую истину не понял вовремя наш фанатичный кретин? Или что прошлым летом его не взял черт, потому что дегенерат, который подсунул ему бомбу, оказался таким растяпой? Неужели же мне добровольно ложиться в гроб со всей этой вонючей лавочкой? Не вижу оснований.

— Не болтай, а то не слышно!— окрикнул Павел толстяка Бациллу.

Ускользающий голос диктора сплетался с хрипами и треском, приходилось прикладывать ухо к самому приемнику. Диктор говорил о свободе и мире, о справедливости, которую принесет наступающий год,— а он уже у порога, и это звучало как фантастическое послание из иного мира; потом, ощущая холодок на спине, друзья прослушали «Интернационал».

— Перекинемся в картишки?— помолчав, предложил Войта.

— Я кое-что приволок, ребята!

Все уже знали подозрительно зеленую водку Бациллы. Павел заявил, что ее в обязательном порядке пьют только грешники в чистилище. Рядом с водкой Бацилла с торжественным видом поставил литр дешево-

* Времена меняются *(лат.)*.

го вина, такого терпкого, что все морщились, когда пили его, и, видимо, был доволен произведенным впечатлением. Он с вожделением потер пухлые ручки, торопясь выпить.

— Хватанем сегодня малость, а?

— Уймись,— осадил его Войта, всаживая штопор в пробку.— Не пришлось бы мне опять вытаскивать тебя из унитаза!

Золотистая, поблескивающая жидкость покрыла дно, бокал медленно наполнялся.

— Не бойся, я не заставлю тебя пить за здоровье фюрера,— сказал он с легкой усмешкой.— У меня есть такт, да и к чему зря тратить хорошее вино?

Рука, наполнявшая рюмки, не дрожала — хорошей формы, крепкая мужская рука. Бланка смотрела на нее, а видела другую руку, юношески неловкую, в ссадинах от заклепок, с небрежно остриженными ногтями. Зачем он так много говорит?

— Я рад, что ты сегодня здесь, Бланка,— слышала она приглушенный, словно бы голый голос. Не было причин подозревать его в неискренности.— Нет у меня уже больше никого, с кем мне было бы так хорошо, как с тобой. Я уже не тот, что прежде. Стою на тонущем корабле, а вокруг льды. И мрак. Ultima Thule *. Ты можешь сказать: сам виноват, ты этого хотел, ты помогал этому, и вот возмездие. Может быть. Понятие вины всегда платонично. Чтобы быть виноватым, надо заранее, в любой ситуации, знать, что правильно и что нет. Не так все просто. Среди нас тоже были идеалисты, пожалуй, вполне порядочные, мыслящие люди, готовые жертвовать собой во имя того, что они считали правильным и справедливым. Знать! Но ведь тогда надо знать подлинные аргументы того, против кого ты собираешься бороться, а не одни фразы, крики, символы. Не успеешь усомниться, как уже течение подхватило тебя, а с ним тебе не справиться в одиночку. Один вошел в воду по щиколотку, он еще может выскочить и отряхнуться, другому вода уже по колено, по пояс, а тому — по горло. Тогда уж остается только одно — нырнуть в решающий момент, не зная, выплывешь или нет. А нелепица идет своим чередом. Разве не смешное сочетание — ты и я? Я, человек, связанный обстоятельствами, человек — почему бы не сказать этого?— перед которым и сейчас еще тянутся в струнку или дрожат,—и вот мне хорошо с беззащитной девушкой из враждебного нам народца, девушкой, чей брат, кстати говоря, уличен в тягчайших преступлениях против того, с чем я, к сожалению, слишком тесно связал свою судьбу. Ради этой девушки я совершаю измену за изменой, и, представь себе,— мне это даже безразлично!

— Почему же измену? — робко возразила она.— То, что вы делаете... ты делаешь... это добро. Спасти человека — не может быть изменой, потому что изменить можно чему-то справедливому, а вы сами сказали, что...

Слова ее замерли под его пристальным взглядом. Он со значением тронул ее за плечо:

— Не сказали, а ска-зал! Так? — Он подержал рюмку против света, на лицо ему упал дрожащий янтарный блик.— Представь, встретились бы мы с твоим братом с глазу на глаз, в уединенном месте, и у него в руках был бы револьвер. Думаешь, он поколебался бы? Если он настоящий мужчина — никогда.

Она растерянно покачала головой.

— Не знаю.

— Довольно, что я-то знаю.

---

* По верованиям древних, последнее черное место, край земли, откуда нет возврата.

— Если Зденек вернется, я скажу ему, кому он обязан жизнью.

Он горько усмехнулся.

— Трогательно, но боюсь, что его благодарность мне мало поможет. Да я, пожалуй, и не стану ждать ее. Впрочем, мы враги, и я принципиально не одобряю того, что он сделал. А то, что я делаю,— делаю ради тебя. Сама по себе судьба какого-то шального идеалиста меня не трогает.

— Не говорите так о нем,— с силой потребовала Бланка.

Он недовольно отмахнулся.

— Ладно, не будем вообще говорить о нем, не хочется сегодня притворяться, сыт по горло! Alles ist egal. * Кроме того, конечно, что ты здесь, что перед нами бутылка приличного коньяку и что в этом городке еще не стреляют. Ради этого стоило не пойти к старику. Чудовищно опасный негодяй, увешан орденами, как рождественская елка — игрушками. Педант и гомосексуалист. Терпеть не могу гомосексуалистов! Всякий раз, как вижу его медовую улыбочку, говорю себе: ну, жди теперь смертей. Его тусклые глаза видят человека насквозь. У меня нет ни малейшего желания бывать на оргиях притворства в его вилле. Уж я-то хорошо знаю им цену! Все подстерегают друг друга, оценивают, достаточно ли оптимистичны улыбки, демонстрируют преданность фюреру и веру в окончательный перелом на фронтах. Все время надо быть начеку, боже упаси перехватить лишнее. В последнее время его конек — болтовня о тайном оружии. Врем друг другу в глаза, а большинство из нас — кроме нескольких заядлых фанатиков — думают лишь о том, как бы спасти свою шкуру. Потому что только безумец еще не признает, что дважды два — четыре.— Он стиснул зубы и, опустив голову, помолчал немного.— В прошлом году я встречал Новый год один в «Лилипуте». Тогда фронт был еще где-то под Житомиром, а вторжение на Западе казалось утопией. Шикарное заведение! Нынче там будут кутить еще безобразней, но ручаюсь — настроение будет куда хуже. Как перед Страшным судом. Ах, да пусть пропадают, только без меня. А фюрер пусть поцелует меня в одно место!

Он постарался изменить настроение, выжал легкомысленную улыбку и заставил Бланку пригубить вино.

Насмешливо проиграл и смолк кларнет — стал слышен сиплый голос Вуди. Сутулый, обезьяноподобный, он сердито махал своими тощими руками и брызгал слюной.

— Невежда ты, Боб, хоть и играешь на кларнете,— каркал он.— Рей Нэнс никогда не выступал с Бэсси. Бахвалишься, а сам ни черта не знаешь!

Кларнетист зевал, не слушая его.

— Отстань от него, Вуди,— с необычайной смелостью утихомиривал разошедшегося брата красавчик Либор.— Гостям скучно слушать. В канун нового года, надо проводить уходящий. За весь год нам удалось палец о палец не ударить. Выпьем же за то, чтобы так было и в дальнейшем! За здоровье папочки и его сыновей! — Он опрокинул стопку водки и заржал, как лошадь.— Что это настроение у нас, как на поминках, господа? Вуди, грохни там какую-нибудь музычку под танец!

— Примитив! — усмехнулся Вуди, кивнув Гонзе, который с равнодушным видом сидел у радиолы; сейчас он ставил на проигрыватель пластинку со свингом.— Бра-тец у меня осел... А я хотел было пустить «Диппермаус блюз»,— добавил он с досадой, когда ритмично загрохотал свинг.

---

* Все безразлично *(нем.)*.

Либор уже танцевал со своей девушкой, немыслимо утрируя стиль танца.

Свинг кончился, и Боб, удобно развалясь на диване, повторил на кларнете ведущую мелодию, обогатив ее собственной импровизацией; к нему нерешительно присоединились гитара и барабан со щетками, несколько человек захлопало в такт, но настроение не поднялось. А это вы слышали? Я записал по радио Гленн Миллер, последняя новинка! А что с Эвженом? — спросил кто-то. Видимо, в компании ощущалось отсутствие этого болтуна. Теоретик и восторженный историограф потешных выходок и розыгрышей, он поплатился за сумасбродное пари, на которое его подбили, и сделался мучеником. Кое-кто из присутствующих был свидетелем этой выходки, которую он, правда, долго откладывал; он должен был подойти на Вацлаваке к немецкому офицеру, идущему под руку с крашеной потаскушкой, не дав ему опомниться, поцеловать его в щеку и пожелать ему с *супругой* веселой и счастливой пасхи. Операция окончилась конфузом: наблюдатели узрели только ее первый акт, завершившийся звучной оплеухой. Продолжение состоялось в чешской полиции, а потом в уголовном суде, поскольку оскорбленным оказался представитель высшей расы, да еще с фронтовым отличием.

— Жаль Эвжена,— мелодраматично вздохнул Либор,— его труды останутся неоконченными. Предлагаю почтить его память рюмочкой этой отравы.

— Я говорил с его сестренкой,— вставил ударник.— Ему влепили три месяца Градиштьского лагеря. Не страшно, переживет, там чешская полиция. От пинков в зад не помирают.

— Зато его здорово вздули на допросах. Немчура не понимает шуток, это всем известно. Страшно серьезный народ.

— Ну и что ж, зато вернется героем. Представляю себе, как будет трепаться!

— Все равно, придется ему ограничиться теорией, для практики у него слабы нервы. Это вам не Борек. Слышали, как Борек выдал себя за контролера в трамвае? Нескольких почтенных дядюшек чуть кондрашка не хватила.

Смех, хихиканье девушек, болтовня — Гонза в своем уголке почти не слушал, и было в душе у него облегчающее чувство, что все это временно, чувство на мотив блюза... «Мы будем снова вместе спать, и на свирели трав нам проиграют ветры...» Зачем ты здесь? Тебе здесь не место. Стройная тень на мосту, тень... А где твое место? Здесь хоть шумно. Ничто уже не жгло, острая боль сменилась тупым, почти приятным оцепенением — ощущение пустоты, которое приходит после кризиса. Эти люди вокруг — они даже не злы, не испорченны; весь их цинизм — дырявый плащ. Вздор! Господи, сколько во мне было когда-то вопросов, заносчивости. Светлой веры, что можно что-то постичь, ощутить, додуматься. А теперь? Где-то она сейчас? До Нового года полтора часа, а потом?

Немцы проиграли войну — без моего участия. Придут русские или американцы, а я к этому не буду иметь никакого отношения, люди будут умирать, ликовать, наступит мир, и все изменится до неузнаваемости... Где же твое место, жалкий мусор? Здесь? Нигде, нигде... Унесет тебя ветром. Где сейчас она? Как обойти этот гибельный камень в себе? Что за бешеный слалом! Гонза прикрыл глаза и опрокинул в себя рюмку скверного ликера. Да здравствует Новый, 1945 год, с которого только и начнется жизнь! Да здравствует первый год после потопа! Слава богу, все уже сильно под хмельком, начинается разгул. Гонза даже обрадовался, когда к нему подсела одна из девушек — ее называли Мод — с улыбкой на дерзкой мордашке. О чем задумался, философ? Гонза

понял, что слывет тут интересным чудаком, и не стал оспаривать такой репутации, она показалась ему достаточно лестной.

— О комплексе неполноценности у павианов с собачьими головами,— сказал он мрачно.

— Уважаемые млекопитающие! — возгласил Либор, пытаясь перекричать галдеж: он собрался произнести речь.

— Да здравствуем мы, ребята!..— Бацилла икнул и выпил еще одну рюмку, залил себе подбородок, передернулся; глаза его, казалось, сейчас вылезут из орбит.— Следующий Новый год мы будем встречать не так! Вот этот будет носиться на самолете — фррр! — и пересчитывать созвездия — не разокрали ли их за войну. А Милан дождется своей революции, факт! Милан, приходи, забирай наш дом — и-ик! — обещай, если ты мне хоть капельку друг, что сам его заберешь...

— Заткнись, толстозадый,— угрожающе отозвался Милан и сморщился,— смейся лучше над своим брюхом!

— Нет, ты обещай! — плаксиво повторил Бацилла и рыгнул.— И знай... я сам буду ждать тебя у ворот... с красным флагом. Я тебе докажу...

— Ребята,— Милан привстал,— дайте я ему влеплю разок.

— Оставь его,— с обычным миролюбием сказал Войта.— Видишь ведь, он нализался. Опять начнет скулить, что никто на свете его не любит.

Исполненный ненависти к родному классу, Бацилла хлопнул кулаком по столу, так что рюмки зазвенели.

— Долой буржуев! — завопил он.— «Пусть сгинет старый подлый мир!» Ребята!

— Да не ори ты! — Павел, слегка усмехнувшись, усадил его на стул.— Придет время, тогда и докажешь, не зря ли болтал. Не дай бог, услышит тебя здешний домовладелец — всю ночь не уснет. Скажи лучше, что ты-то будешь делать после войны?

Бацилла недоуменно захлопал глазами.

— Не знаю... Наверно, придется зубрить дурацкие статьи законов... Папаша так хочет, а для меня это каторга... Все равно меня никто на свете не любит!

— Началось! — деловито констатировал Войта.— Теперь он совсем разнюнится.

Милан нагнулся, прищурив глаза:

— Если, конечно, к тому времени тебя не будут глодать черви!

Толстяк с минуту непонимающе глядел на него, потом испуганно отмахнулся.

— Ну чего ты болтаешь! — Он был суеверен и боялся таких разговоров. Протрезвев немного, он попытался спорить с Миланом: — Чего болтаешь! Должен же кто-нибудь уцелеть!

— Да, но почему обязательно ты? Поскольку тебя никто не любит...

— А я не хочу помирать! — совсем потерявшись, признался Бацилла.— Мне очень не хочется, братцы. Я ведь еще так мало радости видел в жизни...

Милан сочувственно похлопал его по мягкому животу.

— М-да, обидно, наверно, загнуться тухлым девственником!

— А вот и попал пальцем в небо! — вскинулся Бацилла, да осекся. Потом шлепнул ладонью по столу.— Нет, правда, если хочешь знать...

Однако ребята, воздержавшись от язвительных замечаний, обошли молчанием его бахвальство: они не сомневались, что Бацилла врет спьяну. Павел взял гитару, но запыленный инструмент оказался безнадежно расстроенным, да и репертуар Павла был ужасающе скуден. Все взбунтовались: твоего «Яношика» и «Долог путь на Запад» невозможно

больше слушать, давай что-нибудь новое, Павел! Ладно. Павел, не обижаясь, повесил гитару на гвоздь и настроил приемник на Прагу.

Du hast Glück bei den Frauen, bel ami *,— щебетал с продуманной чувственностью женский голос в декабрьской ночи.

Бланка тоже слушала эту песню, сладко и тихо лилась она из дорогого радиоприемника в оранжевом полумраке бывшей еврейской квартиры. Голова кружится, не надо больше пить! Мне теперь лучше. So viel Glück, wie du hast...** Бланка не шевелилась, ей казалось, что она маленькая девочка, которая притворяется мертвой. Ну и что ж? Мне уже лучше. Она отметила, что он прикрыл ее мягким пледом. Он знает — после *этого* она не выносит, чтоб посторонний взгляд касался ее беспомощной наготы, и всегда деликатен. Не хочу, чтобы мне было хорошо! Покой? Нет, не покой. То, чем полно ее тело, скорее отзвук, ощущение отлива в кончиках нервов, это не я, это только мое тело, оно не спрашивает, что правильно, и живет по-своему, эгоистично подчиняясь собственным законам, вне меня, в недопустимой, низменной, предательской радости насыщения. За это я его ненавижу... So viel Glück... Она чувствовала тепло нагой руки, поросшей черными волосами. Зденек жив. И это единственно важно!

— Можно мне знать, о чем ты думаешь? Не обязательно говорить правду.

Она очнулась, с испугом упала в действительность.

— Да так,— сказала она.— Пожалуй, о том, что мне хотелось бы иметь меч.

Это она! Войта узнал ее, но знакомая походка причинила ему лишь глухую боль. Он прижался к стволу каштана, чтобы она не заметила его, он задыхался от стыда: гляди, вот твоя Алена! Зачем ты сюда приплелся? Ведь ты же твердо знал, что тебе будет тяжело, потому что ты не вытряхнул ее из себя, не воображай! И если бы она сейчас остановилась и позвала тебя — затрусил бы за ней, как побитая собачонка, которая клянчит, чтобы ее почесали за ухом. Так-то!

Алена шла по той стороне улицы, под стынущими деревьями, ее светлые волосы рассыпались по плечам, она не улыбалась и была равнодушно-рассеянна — от этого кольнуло в сердце,— потом исчезла за углом круто спускавшейся улицы, столь же непостижимо, как появилась у ворот дома...

Куда она идет? К нему? Войта простуженно потянул носом и переступил с ноги на ногу.

Как им сказать? Я не могу иначе, ребята, не сердитесь! И даже не умею объяснить вам почему. Мне только не хочется, чтобы вы подумали, что я удрал, это не так, мне было хорошо с вами...

Он не удивился и даже усмехнулся, нашел под пледом ее безвольную руку и поцеловал; в ее желании он несомненно увидел одно из тех сумасбродств, которые умел ценить.

— Меч? Придется выкрасть из музея. Но зачем тебе меч? Если ты, подобно твоему братцу, хочешь лишить меня головы, то не трудись: это скоро попытаются сделать другие.

Не отрывая взгляда от потолка, Бланка покачала головой.

— Нет, нет. Если бы тебе грозило это, я сказала бы им все, что знаю о тебе. Что ты для меня сделал. Хотя бы справедливости ради.

— Трогательно,— сказал он и отпустил ее руку.— Но я на справед-

---

* Ты пользуешься успехом у женщин, милый друг *(нем.)*.

** У тебя так много счастья *(нем.)*.

ливость не рассчитываю. И не могу рассчитывать. Что такое справедливость? Предрассудок!

— Было бы ужасно, если бы ты был прав! — спокойно возразила она.

— Почему же? Справедливость — эффектная маска, которую надевает минутный победитель. История отнюдь не состоит из таких идеальных для школьных учителей понятий. Справедливость! Будь у нас больше танков и самолетов или то тайное оружие, которым утешают себя многие из нас,— короче говоря, не окажись мы под конем, мы бы спокойно обошлись без справедливости. Все это выдумки и пустая болтовня. Пусть это гнусно, но и действительность тоже гнусна. Загляни за фасады истории, и ты убедишься, что под всеми этими благородными побасенками нет справедливости ни на иоту. Зато увидишь там другое — кровь, насилие, подлость...

— На что же ты рассчитываешь... когда...

— Договаривай, не смущайся! Когда мы проиграем войну?..— Он встал, сунул руки в рукава халата и немного помолчал. Огонек зажигалки мгновение боролся с уютной темнотой.— А на авось. В основном на самого себя: у меня неплохие нервы, а главное нет иллюзий. Уж как-нибудь пробьюсь.— Он погасил сигарету.— Чепуха! Не хочешь выпить? Ладно, выпьем в полночь.— Он слегка улыбнулся, как человек, который собирается рассказать что-то смешное.— Я, знаешь ли, немного полагаюсь на пресловутую голубиную кротость вашего народца. Мы, немцы, натворили тут много глупостей, настроили против себя большинство населения. И напрасно. Перестарались по дурости, и сейчас этого уже не исправишь. Таковы уж мы, немцы. Англичане умеют действовать иначе, они не так тупоголовы. Все можно было сделать по-другому: упрятать за решетку горстку горячих голов — таких, как твой братец,— и коммунистов, остальные смирились бы. Думаешь, нет? Головой ручаюсь! Смирились бы даже и теперь, будь на фронтах иная обстановка да не знай они, что мы уже катимся под гору. Человеку не свойственно долго упрямиться, жизнь для этого слишком коротка. Он смиряется. А чешский народец особенно, на этот счет у меня нет иллюзий, я знаю чехов как облупленных. Ведь я родился в Судетах и до десяти лет рос среди чешских мальчишек. Вот почему я довольно сносно говорю по-чешски. Мы с ними дрались, но мне приятно это вспоминать.— Он согревал в руке пузатую рюмку, алкоголь не пьянил его, а лишь придавал его речи взволнованность, столь редкую в этом человеке.— Я даже помню одну чешскую песенку, вероятно, она относилась к игре: «Золотые ворота,— проходите в них, друзья,— тот, кто в них сейчас пройдет, сразу мертвым упадет...» Так, кажется? Ужасный мотив, не правда ли? «Золотые ворота,— проходите в них, друзья...» Что ж, ничего не остается, как пройти! Я совсем не считаю себя исчадием ада, в конце концов я делал здесь только то, что еще недавно, как представитель другого народа, считал правильным и нужным. В рамках той, другой — скажем, нашей — справедливости я был вполне справедлив, уверяю тебя. Но едва ли я стану когда-нибудь ссылаться на это в свою защиту. Война! «Золотые ворота...» А потом вывесят флаги, начнется ликование и песни, гнев будет излит на портреты вожаков и на немецкие надписи — долой их! Люди поверят, что справедливость — та, единственная и окончательная! — восторжествовала, а чешский лев снова забренчит оковами.

— А если будет не так? — перебила она его с оттенком ненависти.

Но он не заметил этого оттенка и только пожал плечами.

— Может, и не так. Я жду. В каждом кинотеатре есть запасный выход, ведь правда? — Он одним духом осушил рюмку и, засунув руки в карманы, уставился в полутьму, словно пытаясь разглядеть в ней под-

крадывавшееся будущее. Потом встряхнулся, выключил радио, подошел к Бланке и ласково коснулся ее волос.

— А ты?

— Что я? Не знаю. Но что бы ни случилось, я буду благодарна тебе.

Он с недовольным видом приложил палец к ее губам.

— Не нравится мне это слово. А кроме того, ты лжешь самой себе! — Поймав ее недоуменный взгляд, он взял ее за подбородок и нежно, но настойчиво повернул к себе ее лицо. Бланке было нелегко выдержать его пристальный взгляд.— Лжешь ты уже в том, что пытаешься свести к благодарности все, что есть между нами. Будь ты искренна, ты бы призналась себе, что, несмотря на всю нелепость нашего положения, нам с тобой хорошо. Я довольно опытен в этих делах, но еще не знал такой женщины, как ты. Иди пойми, что в тебе такое. Ты и пылкая, и чистая, ты упряма, как осел,— не сердись!— и тело твое создано для наслаждения... и не только для наслаждения партнера! Ты и сама познала со мной наслаждение. От этого ты не отопрешься. Не отводи глаз, все равно ничего не скроешь. Вообще я не понимаю, почему ты так яростно отказываешься это признать, почему запрещаешь себе это. Ни разу ты не отдалась мне добровольно, я ведь знаю. Почему? Потому что я враг? Глупости, здесь я тебе не враг, здесь я только мужчина, который хочет тебя... а ты его! Это не преступление и не измена идеалам, это благо, потому что это естественно... И я не понимаю, что ты от меня прячешь? Не качай головой, это так. И это очень жаль.

Нет, нет, это неправда! — кричало все ее существо. Этого не может быть, он лжет, лжет, потому что сам ничего не чувствует, не может, потому что он опустошен, мертв, он враг — что бы он ни говорил!

Она высвободилась из его объятия и подтянула плед к подбородку. Бежать! Куда угодно. Хотя бы в самое себя, в свою раковину, как улитка, и не пускать его туда! От его слов в ней пробудилась странная, вполне отчетливая дурнота и стыд за свою наготу, хотя она и была прикрыта пледом, и это чувство стало нестерпимым.

От него не укрылась эта перемена, но он безупречно владел собой. Он тотчас же отошел к радиоприемнику, включил его, и музыка — приторная и липкая, как сироп, — вновь разлилась в полутьме.

— Я хочу одеться.

— Пожалуйста.

Он произнес это уже с холодной корректностью, и не оборачивался, пока не убедился, что она вполне одета и сидит в *своем* кресле. Тогда он открыл и протянул ей коробку конфет, но не настаивал, чтобы она взяла, а только пристально смотрел на нее, и губы его слегка шевельнулись в знакомой усмешке спокойного превосходства, которое всегда помогало ему стать хозяином положения. Но в голосе его был оттенок разочарования.

— Ты, конечно, не согласна со мной. Я не настаиваю. Ты недопустимо молода и видишь лишь внешнюю оболочку вещей. Они для тебя, как эти конфеты,— в станиолевой обертке. Ладно. Во всяком случае, не уверяй себя, что между нами стоит этот твой юноша с завода. Я мог тогда раздавить его, как букашку. Ему есть за что тебя благодарить.

Он замолк на полуслове, увидев ее глаза: в них было изумление, испуг и отчаянный протест, ногтями она вцепилась в ручки кресла.

— Молчите, я не хотела бы вас ненавидеть! Вы же обещали никогда не напоминать мне об этом...

Бланка почти не владела собой, глаза ее нестерпимо жгли слезы, она решительно встала...

...Уважаемые радиослушатели, до Нового года остается четверть часа! — возгласил диктор под звуки трубы.

Милан нетвердой рукой поставил стакан на залитый вином стол, откашлялся и нащупал под стулом свой портфель. «Жаль, думал Павел, глядя, как он с шутливой торжественностью извлекает из портфеля новогодние подарки для каждого из них,— нам будет не хватать тебя, псих!»

Коробочка из-под цикория, которую Павел открыл ногтем, была наполнена окурками.

— Нелегкая была работенка — собрать их,— пожаловался Милан.— Нынче каждый скорее обожжет себе губу, чем бросит хороший окурок. А ты, Павел, выглядишь как больной пес, когда тебе нечего курить.

Войта получил складной карманный нож со штопором и отверткой — одной накладной боковинки на нем не хватало, зато на другой Милан собственноручно выгравировал серп и молот.

Подарок для Бациллы Милан стащил в букинистической лавке; не без ехидства он преподнес сыну враждебного класса потрепанную брошюрку — на обложке был изображен мускулистый красавец с осиной талией; брошюрка была озаглавлена «Как избавиться от полноты и приобрести атлетическую фигуру. Метод доктора Кодыма».

Все захохотали и снова чокнулись.

— Бацилла, за твою талию! С такой фигурой ты покоришь любую!

Павел вертел ручки умолкшего радио, Войта внимательно рассматривал нож. Потом он поднял глаза, лицо у него было странно напряженное. Он сунул нож в карман и глубоко вздохнул.

— Ребята,— выдавил он из себя.— Мне нужно вам кое-что сказать...

...Вставая с кресла, Бланка уже знала, что сейчас будет. По крайней мере до ближайшего антракта. Всегда ей казалось, что она исполняет роль в спектакле, финал которого хорошо знает, но все же роль надо доиграть до конца, со всеми паузами, до самого последнего слова. Что же будет дальше? Партнер помог ей, она чувствовала его понукающий взгляд, и сама, без подсказки, вспомнила очередную реплику.

— Я хочу домой.— Она произнесла это медленно и вяло.

— Я тебя не удерживаю. Ключ от дома у тебя.

■

— Чер-рт побер-ри, по этому случаю надо дернуть,— сказал Милан, и всем показалось, что его «р» прозвучало уж очень раскатисто. «Чер-рт побер-ри!» Никто не пошевелился, все тупо уставились на огонек, радио тихонько бормотало. О чем тут говорить? Ругать? Упрекать? Нет, принять к сведению, и все тут. Ведь Войта не трус, он не смывается из страха. Было ясно: «Орфей» распался, так и не успев совершить что-нибудь великое.

Павел сплел худые пальцы, выгнул ладони и оглянулся на диван, где сопел Бацилла. Остаются двое, я и этот кусок мяса. Это конец. Конец «Орфея».

— Ну, так что? — сказал он в понурой тишине, преодолев первое удивление. Сейчас они разойдутся, и его поиски начнутся сначала. Потому что «Орфей» уже мертв. Правда ли это? Да и чем, собственно, был «Орфей»? Пятеро юношей с голыми руками, неопытных и неискушенных в борьбе, пятеро непохожих друг на друга и не очень-то ладивших между собой героев с деревянными сабельками, которых *те* даже не потрудились тщательно выловить,— не стоят того. Шляпы. Да, может быть. И все-таки хорошо, что был «Орфей»! Хорошо! Потому что он был важен для них еще чем-то другим, что трудно определить. Вот, например, месть за Пишкота и мучительная тяга к чему-то, без чего каждому из них было

бы страшно жить на свете. Да, это им давал «Орфей». Решимость не смириться, не быть тотально мобилизованным бараном. И это давал «Орфей»! Сопротивление, смелый вдох в атмосфере, зараженной всеобщей робостью. И это тоже! У них будет право глядеть людям в глаза. Да, и это! А кроме того, у каждого были свои чисто личные мотивы. У меня, у Милана, у Бациллы. Надо будет сохранить в себе все это. И в будущем. Навсегда. Сказать им об этом? А как? Слова, приходившие на ум, казались Павлу какими-то ходульными и тошнотворно патетическими. Он стиснул зубы.

— Долей, Милан, через пять минут пробьет! Бацилла, в строй!

...Все это игра, только игра, и когда-нибудь она кончится! Бланка чувствовала волнующее прикосновение его рук, выдержи, девочка, доведи роль до конца! Она не выпускала из пальцев приятно шершавую ткань портьеры, он уговаривал ее тихим голосом, она не слушала слов. «Будь разумна», «образумься». Знаю, знаю, я разумна, я должна быть разумна! Бланка вздрогнула, шевельнулась, почувствовав, что он вешает ей на шею что-то холодное и неумело запирает сзади застежку — новогодний подарок, кажется, ожерелье. Где он его взял? У нее пробежали мурашки по спине, может, оно принадлежало одной из тех евреек, которые... Но у Бланки уже не было сил противиться. Что с того, ведь Зденек-то жив! Сколько раз она будет вот так бессмысленно бунтовать? А что, если однажды она найдет в себе силы бесповоротно уйти? Что тогда? Нет, молчи, странная ты жертва, стыдись, он видит тебя насквозь — вот он ведет тебя, послушную и кроткую, обратно к еще теплому креслу, а ты идешь и знаешь, что будешь опять пить и спать с ним, и содрогаться, и сгорать от стыда за наслаждение, порабощающее тебя, что так будет и дальше, до тех пор пока не опустится занавес над последним актом недописанной пьесы. Чем же она все-таки кончится? Кто будет сидеть в зрительном зале? Кто будет ждать у театрального подъезда?

Кресло под торшером. Бланка уселась, поджав ноги, и угасшим взором смотрела, как узкая рука с халцедоном в кольце аккуратно наливает бокалы для новогоднего тоста.

Павел нагнулся, минутку пошарил в пружинах калеки-дивана и, выпрямившись, положил на стол среди наполненных рюмок тяжелый сверток в промасленной тряпке. Он развернул его, и блестящие грани револьвера слабо блеснули в свете лампы. Все глядели на револьвер как зачарованные, и стыд сжимал им сердце.

Пишкот! Он был здесь. Он был сейчас с ними, неопределенно ухмылялся разбитым ртом и даже закукарекал.

— Что с этим делать? — спросил Павел.— Кто его возьмет?

Никто не шевельнулся, никто не отважился протянуть руку. Стук часов за стеной ужасающе усилился, и, прежде чем кто-нибудь успел сказать слово, прозвучал торжественный бой — бам-м, бам-м — один, два, три... Все, как по команде, подняли рюмки и молча влили в себя зеленоватый напиток. Бацилла повалился на диван. Павел встряхнулся и стал заворачивать револьвер в тряпку. Потом он оглядел товарищей, и в глазах у него блеснул странный огонек.

— Ладно, ребята,— сказал он.— Я возьму его сам.

9

Ущипни, ну, ущипни же себя за руку и убедись, что ты не в переполненном автобусе, что это такая же правда, как и то, что у тебя под двумя фланелевыми рубашками, под тремя старенькими свитерами и пальто,

доставшимся от покойного архитектора, неистово колотится сердце, что с каждым его ударом ты все больше перестаешь быть земным муравьем, влекущим бремя безнадежности и печали, переведи дух — все это так! У твоих ног совершенно реальный руль высоты, мотор ревет по-настоящему, он сотрясает и оглушает тебя, ты действительно в воздухе, а земля за крышей из плексигласа проваливается и падает в невероятную глубину, исчезает в дымке испарений...

На мгновение Войта закрыл глаза. Вот и готово дело! Он снова их открыл.

Да, это не сон!

Когда он еще не сидел здесь, привязанный к сиденью, неподвижный, как тюк, в неоглядном просторе неба, все казалось необычайно легким, быстрота действий не оставляла времени для опасений, существовала только машина, хорошо смазанная, безупречно работающая машина. Почувствовав острое давление на барабанные перепонки, Войта раскрыл рот и сделал глотательное движение, как его учил Коцек. Еще раз... А какое сегодня число? Надо запомнить его на всю жизнь, если, конечно... Двадцать шестое января, он хорошо это помнит, потому что утром, еще ничего не подозревая, сорвал листок настенного календаря. Ничего не подозревая? А может быть, подозревая — ведь все было уже подготовлено. В ангаре никто не заметил, что они потихоньку приносят в портфелях свитера и рубашки, и их шкафчики уже битком набиты одеждой. Разумеется, ни Коцек, ни Войта ни словом не обмолвились на заводе о своем плане, но Войта знал, что Коцек неутомимо обдумывает, уточняет и отшлифовывает все детали этого фантастического замысла, что он каждую минуту начеку и только ждет подходящего момента, который они назвали «час Г». Пароль — «час Г». Знал Войта и то, что сегодня один из тех исключительных дней, когда двенадцать новых машин готовы к отправке, в ангаре и на аэродроме толкутся немецкие летчики, и улетят они на этих машинах после полудня. Он заметил и то, что вчера Коцек уделил особое внимание одной из машин — той, что стояла в самом дальнем конце аэродрома, не меньше, чем в двухстах метрах от ангара. Он долго проверял управление, потом, соскочив на землю, незаметно провел рукой по фюзеляжу.

Коцек знал наизусть все подробности предстоящей операции и ее неизбежный риск. Надо рассчитывать на то, что налет американцев будет, как обычно, около полудня. Но нам американцы не опасны — они летят на большой высоте, и у них свои задачи. Хуже с пикировщиками. Будем надеяться, что ни один из этих чертей не набросится на нас и не собьет нашу машину. Надо держаться пониже и под прикрытием облаков. На всякий случай Коцек и Войта, справляясь со словарем, изготовили две широкие бумажные ленты, на которых было крупно написано по-английски. «We are not Germans. Do not shoot» *. Коцек вручил их Войте, в случае необходимости тот попытается привлечь внимание атакующего пикировщика к этим надписям. Надо все предусмотреть. Зенитки можно не бояться — на крыльях германские опознавательные знаки. Остается погода. Ночью прихватил мороз, сковал вчерашнюю слякоть, утром была метель и покрыла все белой пеленой, а часов в десять солнце пробилось сквозь облака и ослепительно осветило снежный покров. Войта знал это, и все же, когда после гудка Коцек прошептал ему на ухо пароль, он почувствовал слабость в коленях, и у него засосало под ложечкой. Потом в течение утра он три раза бегал в уборную — темную каморку, пропахшую аммиаком. Но в тот момент напряжением воли он овладел собой и лишь невозмутимо кивнул.

Игре приходит конец! Войте казалось, что минуты превращаются

* Мы не немцы! Не стреляйте *(англ.)*.

в годы, а сам он пребывает в каком-то невероятном сне. Встряхнись, трусишка! И только начав действовать, Войта сумел сбросить с себя подавленность, которая сковывала каждое его движение. А что, если... все-таки это безумие!

Незаметно и порознь они вынесли из раздевалки свои свертки и кружным путем, вдоль колючей ограды, мимо обломков разбомбленных самолетов, пробрались на аэродром. В нескольких десятках метров от *их* машины была небольшая яма. Там они оставили свои вещи. Все в порядке! Моторы ревели на полных оборотах.

— Класс,— одобрил Коцек, улыбнувшись углом рта,— прогреют и наш, на это я тоже рассчитывал. Наяривайте, дурачье!

Около полудня они уже снова были у ямы и притаились там, не обращая внимания на мороз, который изрядно щипал лица. Рев моторов сотрясал воздух. Войта заметил, что Коцек с необычным для него нетерпением поглядывает на часы.

Нет! Они обменялись взглядами. Все еще нет...

И вдруг без двух минут двенадцать со всех сторон истерически взвыли сирены: приготовиться, непосредственная опасность! В их вое потонул рев моторов. Осторожно выглянув, Войта увидел, что персонал аэродрома и летчики бегут в убежища за ангарами.

— Давай, давай,— бормотал он сквозь зубы,— смывайтесь!

Их машина опустела, она казалась Войте полным нетерпеливого ожидания живым существом, таким здоровым и красивым в лучах полуденного солнца, таким восхитительно сильным и зовущим.

Войта опомнился от сильного толчка в бок.

Одеваться и бежать. Держись!

Вот оно, это головокружительное «пора»! Войта не помнит, что происходило в первые минуты,— он был словно в полубеспамятстве. В вой сирен ворвался грохот мотора, резкий толчок прижал Войту к спинке сиденья, машина затряслась, мотор ревел все оглушительнее, нестерпимо, остервенело. Надо пристегнуться! Войта уже знал, как это делается. Быстро! Где пряжка? Спокойно!

Когда самолет мчался по взлетной дорожке, словно взбесившийся тур, Войта заметил, как от ангара, смешно размахивая руками, бежали три фигурки с автоматами, но тут же они исчезли, а у него с перепугу глаза полезли на лоб, потому что ограда из колючей проволоки, отделявшая завод от аэродрома, понеслась на них со скоростью, от которой захватывало дыхание,— вот-вот мы врежемся в нее! Войта закрыл глаза. Но нет, ничего не произошло, наоборот, он ощутил неведомое, изумительное ощущение взлета — уменьшение веса и сразу же утяжеление... И вот уже слышен уверенный гул. Войта приоткрыл глаза. Под правым крылом косо мелькнули серые крыши цехов, квадраты дворов и обсаженное тополями шоссе — еще сегодня утром он проходил там! — заводские трубы, маневровый локомотив, деревянный переходной мост над железнодорожной веткой... Все это было какое-то зыбкое, мир под ногами Войты покачивался; потом все кончилось, самолет выровнялся и устремился ввысь, а Войтой владела тысяча неведомых чувств: матерь божья, я лечу, быть не может, лечу! Он узнал церковную башню и площадь городка, крыши рабочего поселка, красную коробочку автобуса — она смешно ползет в бороздке улицы... Дальше прямоугольник футбольного поля, а вот уже видны сверкающие плоскости полей и черные человеческие фигурки — там под полотном туннель. Войта узнал его! Ребята, я улетаю! «Орфей» не умер, он обрел крылья! Ребята, я не забуду вас, я вернусь!

Павел, бежавший впереди всех, замедлил бег и, приложив руку козырьком к глазам, оглядел небо.

— Кто это там с ума сходит? Немецкий самолет! — все уже давно отвыкли видеть в воздухе немецкие машины во время воздушного налета.— Ничего не понимаю!

— Я не понимаю еще многое другое,— закряхтел Леош и потер себе колено; умоляющим взглядом он уставился на голубые просветы в облаках.— Например, почему эти западные пижоны ничего не сбросили на наш курятник? Каждый день болтаются над головой, и хоть бы что! Для потехи, что ли?

Ящики с учетными карточками на выданный инструмент и инвентарь Леош расставил возле раскрытых окон — недостача сверл достигла невероятной цифры: пятнадцать тысяч.

— Не иначе, какой-то немец-фанатик решился на самоубийство,— сказал Богоуш.— Я слышал, что так делают японцы. Такая у них религия.

— Глядите, какого дал ходу! — сказал Бацилла, тыча пальцем в воздух.— Уже смылся!

Коцек показал пальцем вниз.

— Осенью я тут судил матч. Как ты себя чувствуешь?

— Здорово. Только немного з-з-замерз.

— Не нравится мне, что мы на виду. Смоюсь-ка лучше за облака.

Грязно-серая стена устремилась на них, самолет зарылся в плотные облака, сразу потемнело, порыв ветра бросил машину кверху, другой порыв прижал ее к земле, самолет швыряло, как перышко, на мгновение мелькнуло голубое небо, и все повторилось снова... Спокойно, спокойно! Коцек знает, что делает, назад возврата нет, спокойно, пока у нас достаточная скорость и высота...

— Вон там летят другие! — возбужденно заорал Бацилла и показал на просвет в облаках.— Видел я однажды гала-представление в цирке...

Все новые и новые волны бомбардировщиков проплывали над их головами и исчезали, зарываясь в лохматые снежные облака. Ребятам казалось, что они стоят под перевернутым котлом для стирки белья. С опозданием забили зенитки «боженьке в окошко». «И чего они зря гвоздят, ослы? — проворчал кто-то в туннеле.— Словно в носу ковыряют! Черт возьми, ну и холод тут! Дует!»

Когда же полетят бомбы? Павел прижался к каменной стене. Вероятно, они задумали что-то особенное, хотят, видно, отбомбить сразу с десятикратной силой. После отбоя, если позволит обстановка, он смоется с завода и поедет к Бореку. Похоже, что все пойдет на лад, беда только, что Борек — первый ученик по химии в их классе — совершенно бездарен как механик. В саду пригородного домика, несмотря на протесты родителей, он оборудовал в старой беседке неплохую лабораторию и занимается там своими фокус-покусами. Уже два месяца как обещает он сделать бомбу, но она все еще не готова. Наверно, Борек боится. «Не беспокойся,— всякий раз говорит он Павлу, выкатывая на него слезящиеся глаза за толстыми стеклами очков,— взрывчатка выходит отличная, хоть и негде ее испытать, в общем, за химическую часть я ручаюсь, а вот с механизмом дело не ладится». Да, нужно позвонить Монике. Хотя бы позвонить. Вчера отец подал ему письмо, нацарапанное расточительно большими буквами, всего несколько слов: «Приходи! Гнусно мне — прочитала все детективы, какие только были написаны, и все еще не нашла преступника. Начинаю уже считать ворсинки на ковре. Не бойся, я тебя не люблю, просто заела скука и хочется видеть твою похоронную физиономию».

— Где мы летим? — крикнул Войта в микрофон.

Голова в шерстяной шапочке не повернулась.

— Я сам хотел бы знать,— раздалось в наушниках.— Летим правильно, направление я держу, но приземлиться нельзя, там, внизу, наверняка они... Впереди препаскудная погода, но горючего у нас еще полбака. Холодно, а? Возьми-ка управление, у меня руки замерзли, я буду посматривать... Вот так, а теперь прибавь газу и бери штурвал на себя... Хорошо!

Наконец-то сирены завыли отбой, и, прежде чем они умолкли, по полю забегали темные фигурки.

— Пошли,— сказал Богоуш.— Я замерз, как цуцик.

Они вышли из туннеля. Павел почти бежал, чтобы согреться. За ним спешил Леош — казалось, стоит ему топнуть поэнергичнее, его головка отскочит от тела. Последним семенил Бацилла, сопя, как упитанный конь с пивоварни.

Перед главными воротами, распахнутыми настежь, они замедлили шаг.

— Мать честная! — бледнея, воскликнул Леош.— Они уже здесь! Я с утра предчувствовал. Ребята, я туда не пойду...

— Заткнись, осел,— грубо оборвал его кто-то.— Уж не из-за твоих ли сверл они приперлись сюда? Похоже, что будет поголовная проверка.

Держась в толпе, они медленно двигались к проходной, напустив на себя самый безразличный вид. Сквозь густую толпу к воротам подъезжали черные мерседесы — один, другой, третий. Раздраженный рев клаксонов раздвигал толпу. Суматоха, толкотня, неподвижные лица за стеклами автомобилей... Рабочие знали эти машины — поражало их количество. Видно, произошло что-то серьезное, тем более что за черными мерседесами последовали три крытых брезентом грузовика: солдаты! Наверно, оперативный отряд, черт их знает! Мундиры, автоматы, в полутьме под брезентом — восковые лица, как у манекенов. Ревут клаксоны, ревут остервенелые веркшуцы в воротах. С дороги, с дороги! Чего глазеете, как бараны! Вот свирепое лицо с заячьей губой. Уж не спятил ли?

Стало известно, что эта апокалиптическая процессия автомобилей, минуя цеха, направилась к главному ангару и на аэродром. Как обычно, непостижимая паника ширилась, словно расходилась кругами. Шаги, телефонные звонки, беготня, новости и догадки, передававшиеся из уст в уста, они нарастали, противоречили одни другим, отвергали друг друга, но внешне царило выжидательное спокойствие, грохотали пневматические молотки, жужжали сверла. Что-то случилось, что-то чрезвычайное, и это «что-то» как бы висело в пыльном воздухе фюзеляжного цеха, в смраде вонючих клозетов, проявлялось в муравьиной суете веркшуцев, толкавшихся в цехах с таким видом, словно они пришли на похороны, и упорно не поддававшихся на попытки «разговорить» их. «Видать, сели в лужу»,— усмехается Мелихар. «Бездельники!» — сквозит в походке Каутце, который с видом мстительного божка быстро проходит по цеху. Заметно оно и на флегматичной с виду физиономии Мертвяка, который с верностью служки тащится вслед за своим чиновным преподобием; и в появлении редкого гостя — немецкого директора завода, в грозном поблескивании его очков и свастики на лацкане пиджака. Оно на лицах у всех немцев: они явно изумлены, испуганы и неистово озлоблены чем-то неслыханным, от чего захватывает дыхание.

Das ist nicht möglich!..*

* Это невозможно *(нем.)*.

Отголоски этих скрытых и оттого еще более страшных обстоятельств отразились и на Даламанеке. Весь обмякший, как куль с овсом, он сидел на стуле, стараясь быть незаметным.

Войта снял перчатки — прошлой зимой их связала мама, распустив шерстяной свитер покойного архитектора,— и подышал на окоченевшие пальцы. Два часа двадцать минут чистого полета. Шестьсот пятьдесят, а то и семьсот километров, впрочем, может быть, и меньше. Скорей всего, они уже перелетели линию фронта, и внизу, под голстым слоем туч иной мир. А может быть... Полутьма и сильная тряска, больно кольнуло в ушах. Войта раскрыл рот, сделал глотательное движение, зажал нос, глубоко вздохнул. И вдруг замер в испуге: на одно мгновение в просвете туч совсем близко под ними мелькнул скалистый утес.

Секунды, минуты — грозные, как судьба. По заводу разнеслась весть, что в ангаре и на аэродроме арестовывают рабочих чехов и даже немцев. Десять, двадцать человек под дулами автоматов повели к грузовикам, солдаты пинками загоняли туда новых арестантов. Ребята из малярки заметили среди них и немца Хюбша; этот пожилой мастер даже не успел сполоснуть измазанные в масле руки — о, майн готт! — пошатываясь, он шел, подгоняемый окриками и ударами прикладов, ничего не понимал. Майн готт!

Оперативный отряд оцепил ангары, аэродром, все выходы с завода, слышался рев автомобилей и отрывистые приказания, среди гестаповцев и заводского начальства слонялись немецкие летчики; им давно бы пора стартовать, если бы не такое неслыханное осложнение: одному из них не хватило самолета! Скандал! Переполох!

Откуда-то появился Мелихар с таинственной усмешкой на одутловатом лице. Гонза нетерпеливо наклонился к нему. Напарник поднял глаза и нахмурил брови: рядом несколько знакомых, которые могли слышать разговор,— Гиян Падевет и старый Марейда, но это свои люди.

— М-да,— проворчал Мелихар и потер небритый подбородок.— Двое парней из ангара сели в машину и смылись. Во время налета. Все рассчитали!

Он произнес это безразличным тоном, без нотки восхищения, но и без раздражения и, поморгав, поглядел на окружающих.

— Молодцы! — в восторге воскликнул Гонза.— И все удалось?

— Откуда мне знать? — Мелихар пожал плечами.— Только бы не похватали из-за этого многих других, черт побери!..— добавил он.

— Да, уж не дай бог! — проворчал старый Марейда, замахал длинными руками и сплюнул на пыльный пол.— Мальчишество, хулиганство! И к чему? Какой от этого толк?

Все знали этого неутомимого работягу: былой страх безработицы въелся в него до мозга костей. И все-таки Гиян не сдержался:

— Чего зря мелешь языком, шкура! Не иначе, хочешь получить на старости лет орден от Адольфа. На твоем месте я бы позаботился покрыть крышей ту твою халупу, пока все не пошло прахом.

— Молчи, сосунок,— ощетинился старик.— Ты еще за подол держался, когда я... Чего рыпаетесь? Хотите опять остаться без работы? Попомнишь мои слова, когда будешь торчать у ворот да подтягивать брюхо, дождетесь!

— Заткнитесь! — грубовато прикрикнул на них Мелихар и вдруг добавил совсем спокойно: — Одного из них вы знаете, он работал тут, на крыльях.

Он помолчал и назвал фамилию. Все были ошеломлены. Да может ли быть! Кто бы мог ждать этого от такого губошлепа — казалось, он и до пяти сосчитать не умеет. Что скажете? Наверно, и нас будут допраши-

вать. Каков стервец! Вот уж выкинул штучку. А почему? Ты знаешь? Если память мне не изменяет, он был женат? С чего ему вздумалось удрать?

— Верно, женат! — Гиян хлопнул себя по лбу.— Факт! Мы с Франтой Падеветом были у него на свадьбе. Невеста — красотка и, говорят, из господской семьи. Мы там торчали, как ослы в цветнике, ей-богу! Чудная какая-то была свадьба.

— Разойдитесь, ребята, ради бога! — Это был мастер Даламанек. Он умоляюще всплеснул руками.— Не дурите, сюда уже идут. Сверла в руки, и ни гу-гу!

Три часа полета. Дело плохо, понял Войта, когда Коцек обернулся к нему. Впервые он прочел на его лице нечто похожее на тревогу. Коцек жестом показал на грязную кашу облаков и снова отвернулся, даже не улыбнувшись. Все ясно: надо приземляться во что бы то ни стало, пока есть горючее — считаться с видимостью не приходится.

У Гонзы голова шла кругом: невероятно, ошеломительно, и это Войта! — твердил он себе, стоя со сверлом в руке. Извини меня, старик, я-то думал, что твоя спокойная отвага попросту плод слабого воображения. Ах, я, идиот! Видимо, уж таков мой удел — сомневаться во всем и во всех.

Сзади кто-то толкнул Гонзу в спину, он услышал свой голос, выкрикнувший собственное имя, и тут же осознал, что усмехается в лицо Мертвяку. Тусклые глаза на мгновение задержались на нем — мы знакомы, сказали эти глаза, всегда вызывавшие у Гонзы легкое содрогание. Сейчас этого ощущения не было, Гонза ответил пристальным взглядом. Лети, лети, старик, ты замечательный парень, извини меня за все, я набитый дурак с аттестатом, Мелихар прав. Я жалкая вошь. Знал бы ты, как они тут бесятся, как одурели. Лети, лети подальше от этого бардака!

Когда кончилась проверка, Гонза не удержался и заглянул в проход между крыльями — нет ли там Павла. Знал он об этом раньше? Павел поздоровался с ним только взглядом, он с безразличным видом пробовал острие сверла.

— Ты уже знаешь? — спросил Гонза.

Павел неохотно кивнул.

— Да.

Опять пауза. Но Гонза не сдавался.

— Ну, что скажешь?

Павел только устало отвел глаза.

— Да ничего,— сказал он просто. И добавил: — Он-то не болтал!

И прежде чем они разошлись, показал кукиш. Это был выразительный жест, и Гонза повторил его.

...Резкое снижение, пронзительный свист, что-то давит на барабанные перепонки. Войта то разевает, то закрывает рот, хватает воздух, как рыба, выброшенная из воды. Дело плохо, плохо, они уже не разговаривают, настал решающий момент. Войта чувствует это снижение, это падение всем телом, словно на него взвалили тяжеленный груз... и бог весть почему начинает считать: раз, два, три... Но этой ужасной полутьме нет конца!.. Мамино лицо... почему именно она? Сто один, сто два, сто три... Видимость нулевая! Двести, двести один... Свист и падение... Триста... Пятьсот... Ясно, что мы разобьемся в лепешку, ясно, что натолкнемся на грозную, непроницаемую громаду, которая охотно пропустила их сюда, наверх, а теперь убегает от них и, может быть, уже не существует... Безумный страх. Тучи, тучи, мутный пар хлещет по

крыльям... Семьсот! А высота уже всего триста, потом двести девяносто метров, стрелка альтиметра угрожающе дрожит, вокруг свист и серая пустота, мотор снова взвыл, самолет бросает вверх и вниз, стремительное падение, от которого захватывает дыхание. Двести пятьдесят метров... это конец, вот сейчас, сейчас... Войта уже не думает ни о чем, безмерная жалость к себе овладела им, жалость, которую человек чувствует перед гибелью, отчаянная покорность, сейчас, сейчас будет удар... удар, которого он уже не услышит, и тьма, непроглядная тьма навеки.

Войта зажмурился и вцепился пальцами в озябшие колени.

И вдруг, видно в самый последний момент и совсем неожиданно, серая пелена выпустила их — наверно, вот так же все выглядело после потопа,— и из редеющих клочьев тумана перед ними ужасающе близко возникла земля — неровная, ненадежная, край с заснеженными бороздами узких полей, с низкими пригорками. «Держись!» — послышалось в наушниках. Захлебываясь скоростью, самолет мчался, земля приближалась. Толчок, за ним резкий безжалостный удар снизу — первый привет земной тверди. Войта закрыл глаза. Снова пустота, подскок и новый удар, нестерпимое давление сжало все тело, что-то черное летит им навстречу, дребезжание и снова удар, ремни больно врезались в плечи, толчок — и земля навалилась на Войту и ударила его, и вот уже больше ничего нет, только тишина, гудящая, шумная, сладостная, удивительная тишина... Тишина! Так вот оно как, успел подумать Войта.

■

Кажется, шумит ветер? Вдалеке что-то капает. Таковы первые ощущения. Почему мы не взорвались? Видно, Коцек успел выключить зажигание. Молодчина! С ним хоть к черту на рога! Матерь божая, я жив!

Да, жив. Войта недоверчиво щупал колено, но почти ничего не чувствовал — он промерз до костей. Я жив, жив! А страшно хочется жить! Ему хотелось орать во весь голос. Я жив! День. Земля. Я живу на земле. Умей я молиться, я бы помолился, бог знает зачем. Прочитал бы какую-нибудь дурацкую, нелепую молитву о том, что я жив.

Войта потряс головой, она была на своем месте, эта дурная измученная башка. Постараюсь хоть, чтобы она подольше держалась у меня на плечах, теперь-то я уж знаю. Ну вот и готово дело!

Но где же мы? Войта вдруг сообразил, что он не сидит, а висит на ремнях, и они врезаются ему в тело. И странное дело: земля не под ним, а перед ним, за неподвижной спиной Коцека. Ага — мы ткнулись носом, машине капут, милая, хорошая машина! Им овладела нежность к этой массе стали и алюминия, восхищение вещью, которой человеческие руки дали жизнь и силу. Спасибо тебе, драндулетик! Он погладил пальцами руль высоты. Спасибо!

Ну, соберись с силами! Войта окликнул Коцека — тот не отзывался. Что с ним? Войта испугался. Уж не... Коцек висел на переднем сиденье в неестественной позе, согнувшись и странно навалившись на рули управления. Вот он пошевелился и что-то пробормотал. Жив! Прежде всего надо выбраться из самолета. Окоченевшими пальцами Войта расстегнул пряжки и, сняв ремни, перевалился на ножные педали; ручное управление уперлось ему в бедро. Мешок мяса и костей! Ладно, не беда, вылезем — еще мальчишкой он был мастер лазить по деревьям. Войта попытался сдвинуть крышу, к его удивлению она подалась, морозный ветер ворвался в кабину, и это было приятно. Войта жадно глотал его, потом выполз из кабины, соскользнул по крылу и упал на землю всей своей тяжестью. Земля, земля, жесткая и неумолимая, он наслаждался ее надежной твердостью. Комья земли были покрыты тонкой снежной пеленой. Войта пошатывался, стоя на ней, и переступал с ноги

на ногу, как медведь на цепи, потом нагнулся, набрал горсть снегу, растер им замерзшее лицо, попробовал на вкус — знакомое ощущение на нёбе. Может быть, сделать снежок? Или слепить тут снежную бабу — недолговечный памятник в честь их прибытия?

Войта сделал несколько шагов от самолета, уткнувшегося носом в пашню метрах в пятидесяти от края елового леса. Где же мы? Местность вокруг почти такая же, как дома, и все же в ней есть что-то особое, свое — Войта чувствовал это, хотя не мог точно определить. И не стал задумываться. Главное — они убежали. Избавились от всего, всего, всего!

Он вернулся к самолету и увидел, что Коцек ворочается на сиденье и кивает ему; он с трудом вылезал из кабины. Войту обеспокоило, что, очутившись на земле, Коцек сильно зашатался и оперся спиной о крыло. Он был необычно бледен и даже не нагнулся, чтобы поднять шерстяную шапочку, которая свалилась у него с головы. С трудом дыша, он тер лицо руками.

— Что с тобой? — спросил Войта.

Усилием воли Коцек овладел собой. Только сейчас Войта увидел, что лоб у него в поту.

— Ничего,— сказал Коцек и выжал из себя обычную улыбку,— плохо привязался, и меня здорово тряхнуло.— Он показал на грудь и надсадно раскашлялся, но, перехватив взгляд Войты, задорно усмехнулся:— Sic et non! Приземление было малость жестковато. Зато до чего приятное ощущение — остаться в живых, а?

Гудок в фюзеляжном равнодушно возвестил обед, а две темные фигуры медленно, как улитки, тащились по белой безлюдной равнине Восточной Словакии. Два человека! Вот они идут нехоженым путем, шаг за шагом удаляясь от необыкновенного памятника с германскими опознавательными знаками, выставившего хвост в пасмурное небо. Один из них шагает впереди, согнувшись под рюкзаками, другой отстает, останавливается и хрипло кашляет, потом снова пускается в путь. Павел шарит по карманам, закуривает окурок, а те двое все идут и идут, и вот уже исчезают в сумраке леса.

10

Кто бы это мог быть? Фантазия легкомысленно предлагала десяток ответов, но Бланка боязливо отвергала их один за другим. Нет, нет, ничего не жди, не гадай, и стоит ли вообще идти? Но она знала, что пойдет — не может не пойти. Место знакомое — одно из самых заурядных и скучнейших кафе, какие еще и сейчас предлагают пражанам свое хмурое гостеприимство. Находится оно на такой же заурядной и унылой улочке, неподалеку от набережной, носящей имя недоброй памяти Рейнгардта Гейдриха. Само по себе это кафе ничем не подозрительно. И что с ней может случиться? А что, если кто-нибудь из этих нахалов с завода пытается таким оригинальным образом назначить ей свидание? А что, если...

Не гадай!

И все-таки в полупустом трамвае она не удержалась, вынула из сумочки письмо и в меланхолическом свете затемненной лампочки перечитала несколько слов, написанных на клочке бумаги в клетку: приходите тогда-то и туда-то — важное дело. Записка написана печатными буквами, подписи нет, текст чисто деловой, никакого скрытого смысла. От Зденека? Нет, нет, испугалась она, чепуха! Гонзик? Не надо строить себе никаких иллюзий! Один шанс из тысячи — не больше, но сердце у нее заколотилось. Но зачем бы он ей писал? И почему на «вы»? Ведь

она каждый день десятки и сотни раз видит его на заводе, и это как сотни болезненных уколов, после которых оба без слов отворачиваются друг от друга. Нет, между ними все кончено, и она знает, что возврата нет, ведь в ту ночь дело было не в упрямстве, не в банальной измене или пустячной ссоре влюбленных, какую они шутя преодолевают в первом же порыве взаимного чувства, и не в уязвленном самолюбии или взаимном пресыщении. Это был крах. Падение в грязь, удар топором под самый корень... Отвращение, отчаяние, брезгливость почувствовала Бланка в тот роковой момент в глазах Гонзы, его рука отстранила ее. Петля затянулась, и потом были уже только злые ночи и угасший взор. Не думать!

Эту записку она обнаружила совсем случайно, и не в ящике на дверях — там как раз лежало письмо от того, другого: несколько фраз, написанных острым, уверенным, таким характерным почерком. Он сообщал, что едет по служебным делам на две недели в Германию и, когда вернется, даст о себе знать. Он думает о ней, ждет встречи и так далее.

Кафе походило на полутемное дно пруда. Несколько посетителей с замкнутыми лицами сидели за столиками, большинство в пальто; все они показались ей страшно одинокими. И чего они тут сидят? Между столиков двигалась унылая фигура обер-кельнера в потертом фраке. Проворчав что-то, он принес Бланке чашку суррогатного чая с сахариновой таблеткой, всем своим видом показывая, что ему совершенно безразличен весь мир. По ее просьбе он еще швырнул ей захватанный экземпляр сегодняшней газеты и потащился на кухню.

Каждую минуту большая стрелка часов, щелкнув, передвигалась на одно деление. Прошло полчаса, час — ничего! Холод и безнадежность угнетали Бланку. Если... Новые сомнения охватили ее. Что, если это лишь глупая и грубая шутка? Что, если я сижу здесь, а шутник поглядывает на меня?

В гнетущей тишине заскрипели половицы под ногами обер-кельнера. Один из посетителей зевнул, блеснув золотыми зубами, и потребовал счет. Прошло уже полтора часа, и все никаких результатов,— встану и уйду.

И вдруг кто-то подошел к ней сзади и негромко спросил, свободна ли газета. Это было так быстро и неожиданно, что она не успела разглядеть его лица.

— Пожалуйста!

Наклонясь за газетой, человек внятно прошептал:

— Я подожду вас на улице. Не торопитесь! — И вслух: — Благодарю вас!

Она разглядела лишь сутулую спину и чуть лысоватое темя. Он вышел. Двери за ним качались еще несколько секунд.

Бланка расплатилась и заставила себя неторопливо покинуть кафе. Липкая тьма улицы поглотила ее. С минуту она стояла на ветру, сунув руки в карманы и стараясь привыкнуть к темноте. Постепенно ей это удалось, и она замерла на месте. Тень мужской фигуры на тротуаре придвинулась к ней.

— Не бойтесь и пойдемте со мной.

— Куда? — испуганно спросила она, почувствовав прикосновение его руки.

— Недалеко. Право, вы можете не бояться... Не разговаривать же нам здесь... Неподходящая обстановка. Вы все еще боитесь?

— Нет. Чего мне бояться? — почти обиженно возразила она.

Они пошли рядом, он вел ее в сторону набережной, она уже не противилась, что-то в его голосе внушало доверие. Так вот он какой! Что же ему от меня надо? В крайнем случае начну кричать и драться. Она не успела разглядеть лицо незнакомца, но готова была поклясться, что в жизни не видела этого человека, даже голос его ей незнаком. Несомнен-

но, он уже немолод, это заметно и по походке. Подняв воротник, он шагал рядом, изредка покашливая, и за всю дорогу не сказал ни слова. Куда же мы идем? На квартиру я ни за что не пойду! Бланка с облегчением вздохнула, когда поняла, что такого намерения у него нет: по безлюдной набережной, где гулял ветер, они шли в сторону Национального театра, потом свернули по мостику, переброшенному через рукав реки на Славянский остров. Незнакомец вел Бланку по безлюдному парку под голыми кронами деревьев и остановился у каменного парапета, за которым шумела вода.

Бланка оперлась о парапет и выжидательно молчала — перед ней маячила тень мужской фигуры со светлым пятном лица. Он тоже молчал, будто с интересом прислушивался к шуму ветра.

— Не сердитесь, что я вытащил вас из дому в такую погоду,— наконец сказал он с ненужной церемонностью.— Но я считал, что должен с вами поговорить.

Ее удивил его нерешительный тон.

— Можете не извиняться.

— Хорошо.— Не приближаясь, он откашлялся, приложив руку ко рту, потом так же нерешительно сделал странное предложение: — В случае чего, мы с вами разыграем влюбленных. Это и в ваших интересах. По документу я Вацлав Вавра, торговый агент фирмы Шипек, техническое оборудование. Мы познакомились в кино «Якорь» на фильме «Отмычка». Там идет этот фильм. Большего вам не надо знать. Вы... ваше имя мне известно, но я не сразу смог узнать вас по фотографии. У вас другая прическа.

Бланка не отвечала, но была полна нетерпения. К чему вся эта комедия? Может быть, он пускает пыль в глаза? Она слышала, что некоторые соблазнители не стесняются прибегать к романтике подполья. Но непохоже, чтобы этот... Какое ему дело до моей прически? И где он взял мое фото?

— Я, собственно, хотел повидаться с вами уже давно,— продолжал он глухим голосом.— Тогда еще можно было что-то предпринять, но, к сожалению, не было никакой возможности встретиться с вами. Ни у меня, ни у моих... друзей. Только несколько недель назад...

Кашель снова заставил его умолкнуть. Бланка заметила, что он вынул из кармана платок.

В воздухе замелькали снежинки, они опускались ей на волосы, таяли на лбу. Вдали по мосту бежал трамвай, словно толкая перед собой тусклый конус света.

— Не сердитесь на меня за то, что я вам сейчас скажу. Может, это и напрасно, но вы поймете, что в наше время... И то, что я сообщу вам, никому не рассказывайте. Уверяю вас, что это все равно не поможет.

Бланка почувствовала себя обиженной, хотя все еще не знала, что он имеет в виду.

— Что вы обо мне думаете? Я не доносчица. Или вы другого мнения?

— Нет, почему же... Но я мало знаю вас, приходится быть осторожным.

Бланка нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Паузы, которые он делал, раздражали ее. Она подняла глаза и спросила напрямик:

— О чем, собственно, будет разговор?

— Тише, пожалуйста,— сказал он и добавил: — О Зденеке.

Он совсем невыразительно произнес это имя, но она обратила внимание на то, что он волнуется и не может подавить свое волнение. Опять наступила пауза.

— А что с ним? — испуганно спросила она.— Вы что-нибудь знаете?

— Кое-что знаю. Но прежде скажите, что знаете о нем вы.

— Мало. В общем, почти ничего. Только то, что он жив. И все еще ждет суда. Вся надежда на то, что война кончится раньше, чем его будут судить, тогда он уцелеет. Больше я ничего не знаю. А вы?

Незнакомец стоял перед ней странно неподвижный и скупой на слова, кашлял и смущенно запинался, Бланку раздражало, что он задает ей вопросы, вместо того чтобы отвечать.

— А получаете вы от него какие-нибудь вести? Я имею в виду письма.

— Нет, писем нет. Это невозможно, ему не разрешают писать. Только устно. А... а откуда вы знаете?

Она заметила, что он отвернулся, с минуту смотрел в потемки над водой и молчал. Видимо, он в чем-то колебался, но потом сказал спокойно и даже как-то между прочим:

— Мы знаем, кто передает вам эти сообщения.— И еще тише и без выражения назвал имя.

От изумления у Бланки перехватило дыхание.

— Да, он. Ну и что же? — наконец прошептала она, но тотчас ощетинилась и на минуту потеряла самообладание.— Для этого вы пришли? Чтобы сказать мне это? Ведь я вас не знаю! Кто вы такой? И кто это *мы*? «Мы знаем»?!

— Успокойтесь,— сказал он и взял ее за руку. В этом прикосновении не было ничего подозрительного, и она не воспротивилась.— Друзья Зденека.

— Ладно, допустим, я вам верю, но при чем здесь... Ах да, понимаю. Вы хотите пристыдить меня? Бог мой... думаете, что я потаскушка, которая путается с немцем за шубку или за сигареты? Так? Уверяю вас, все, что я делаю — все, все! — это только ради Зденека. Для того, чтобы он уцелел. И я буду продолжать, думайте обо мне что хотите! Мне на все это наплевать! Поняли?

Она захлебнулась слезами и закусила губы.

— Никто не подозревает вас в чем-то дурном,— прервал он ее встревоженным тоном. По-видимому, она повергла его в еще большее смущение.— Только в некотором легкомыслии... Впрочем, в ваши годы...

— Какое вам дело до моих лет? — прервала она его с мучительным нетерпением.— Могу я что-нибудь сделать для Зденека? Как-нибудь ему помочь? Скажите мне — и я все сделаю! Нужно вам что-нибудь выведать или... может быть, я должна... Да говорите же, ради бога!

— Нет, ничего, ровно ничего. Это не в ваших силах. И, пожалуйста, говорите тише.

Она ничего не понимала.

— Зачем же вы меня вызвали?

— Надо было поговорить. Может быть, это уже бесполезно, но все-таки... имеет смысл знать правду, какой бы она ни была. Как вы думаете?

Бланка не понимала всех этих обиняков. К чему он клонит? Ей казалось, что незнакомец с величайшим усилием выдавливает из себя слова, что он охотно повернулся бы и ушел, скрылся в потемках. Он запинался, как ученик, вызванный к доске, и не знал, что делать с ее рукой, которую держал в своей. Это тронуло Бланку и побудило ее помочь ему.

— Вы знаете Зденека? Вы, вероятно, были вместе с ним? Говорите же, я не отпущу вас, пока вы мне все не расскажете. Видели вы его?

— Нас вместе допрашивали. В один и тот же день.

— Когда? Когда это было?

— Год назад. В начале февраля.

— А с тех пор?

— Не видел.

Он опять отвернулся, замолчал и хрипло покашливал. «Не видел...»

И тогда, в тишине, в пустой и зыбкой тишине, наступившей за его последними словами,— даже ветер перестал дуть, словно по сигналу режиссера,— в душе ее шевельнулась догадка, еще смутная, безотчетная, подобная удару в незащищенное место, подобная ослепительной вспышке, от которой захватывает дыхание. Нет, нет, кричал в ней инстинкт самосохранения, нет, нет, пусть он не говорит, пусть молчит, пускай уйдет отсюда. Нет!..

Она услышала свой, но какой-то чужой голос:

— Что со Зденеком? — Это сказал в ней кто-то другой. Кто-то, идя ва-банк, напрямик задал этот вопрос. И тогда незнакомец взял ее за плечи, и руки его дрогнули, а ей страшно хотелось сбросить эти руки, вырваться из них, пока еще есть время, отогнать нечто, что надвигалось. Нет — что это он говорит? — я не хочу!

— Будьте мужественны...

«Нет, нет, я не хочу быть мужественной!» — молча кричало все ее существо.

— Он умер. Уже давно... А я...

■

Непроглядная тьма. Даже не больно. В первый момент Бланка ничего не чувствовала. Почти ничего. Это оказалось необычайно просто — два слова, прикрытые оберткой неловких утешений. Бланка почувствовала, что на нижней губе у нее прилипла одинокая снежинка, и слизнула ее языком.

— Это невозможно,— возразила она чужим голосом. Она была потрясена. Овладей же собой, начинается второе действие, занавес, тихо шелестя, поднялся до колосников, а ты ошеломленно стоишь и качаешь головой, как капризный ребенок, ты совсем не подготовлена к выступлению... всю жизнь тебя преследует сон, что кто-то вытолкнул тебя полуодетой на сцену, ты не помнишь ни словечка из роли, ты совершенно беспомощна и в страхе ждешь, когда же тишина в зале взорвется криками и тебя освистают... и вдруг, слава богу, просыпаешься, уже утро, скверное, но настоящее утро, и тебе пора на завод...

— Невозможно! Зачем вы мне это говорите? Ведь я сплю с ним, понимаете?.. Я сплю с ним ради того, чтобы... Я-то ведь знаю зачем, знаю, что... С какой бы стати я с ним спала, если бы...— И вдруг ее прорвало:— Нет, нет! Вы лжете! Собственно, кто вы такой? Могильщик?

Он осторожно закрыл ей рот рукой, она металась под ней, пока не утихла. Он лжет, это не может быть правдой! Он лжет, чтобы сбить ее с толку, чтобы она уступила. Ей захотелось смеяться: это же смешно! Слез тоже не было. Что же происходит? Она идет, и рука чужого человека, лица которого она не видит, обняла ее за плечо и ведет неведомо куда — неважно куда,— а этот человек говорит, говорит, говорит...

— Я не могу сказать вам всего... Только то, что нужно знать вам... Его убили сразу, на допросе... Он вел себя смело, кинулся на одного из них... Я как раз был при этом... Зденек был сильный человек... и, может быть, слишком вспыльчивый... Они ничего не добились от него, ровно ничего... потому, наверное, все мы и уцелели... Он ясно понимал, что его ждет, знал, что у него нет надежды...

Ясно, с мучительной отчетливостью она слышала стук ботинок на бетонной дорожке меж ободранных кустов, медленные шаги, какими идут за гробом — раз, два! — необычное погребение без венков и серебряных лент, без гнусавого пения наемных певчих, без слез... Она идет одна с незнакомым человеком за невидимым гробом, идет с ним, и он, покашливая, говорит, и от этого можно с ума сойти, но слова падают на гроб подобно комьям земли, подобно липкому илу... Нет, он лжет!

— ...они не сообщили вам потому, что он жил под чужим именем, да и вообще они часто не утруждают себя этим. А позднее у этого немца уже была причина не говорить вам, вы сами понимаете... И вы должны знать, что тот, кто передавал вам вести от брата... тот, кто обманул вас, был там. Он самый худший из них... интеллигентный зверь... нацист гейдриховского типа... Мы его не забыли, он от нас не уйдет, если только будет жить на нашей земле... Поняли?

Трамвай куда-то увозит Бланку, раскачиваясь на рельсах, а она стоит на пустой площадке, вцепившись в медный поручень, и глядит в темноту улиц.

— Уж не плачете ли вы, барышня? — произносит за ее спиной хрипловатый голос. Бланка оборачивается. Глаза кондуктора за стеклами очков сочувственно глядят на нее.— Кто-нибудь близкий умер?

Бланка кивнула:

— Да. Но уже давно.

В нише подъезда она раскрывает сумочку: ключ, где же ключ? Потом медленно поднимается по темной лестнице, вздрагивая от холода. Она еще владеет собой, она идет и идет, не понимая и не веря, зажигает свет, с трудом доходит до кресла, сваливается, как подкошенная, сидит в промокшем пальто, стучит зубами и глядит в пустоту, не замечая времени, не находя слез... Она бездумно разглядывает ногти, заводит часы, проводит рукой по мокрым волосам, потом обводит взглядом стену, останавливается на портрете над кроватью, и только тогда у нее вырывается плач.

Это почти нечеловеческий голос.

Зденек, безмолвно обращается она к брату, не зная, что делать, и ей хочется умереть.

У Зденека строго сжаты губы, выражение лица рассеянное. Не могу себе представить, что его уже нет... Нет, сестренка, нет, испытующе глядя на нее, говорит Зденек, и ей кажется, что он слегка, совсем незаметно улыбается. Не строй себе иллюзий! И не плачь!.. Тебе-то легко говорить, Зденек... Я понимаю, но все равно, плакать не надо. Ведь ты еще не доиграла спектакль. Не я один погиб, верно? Война, девочка!.. Я знаю, я понимаю, Зденек, я хотела... Я только боюсь, что теперь ничего уже нельзя исправить. Весь мир это обман, беспощадность и кровь, жестокие случайности и бесцельные смерти. Я боюсь этого мира, не верю ему, не верю и в то, что будет потом, не хочу всего этого видеть, понимаешь, Зденек? Не хочу! Не хочу быть здесь! Во что нас превращают? Я совершила непростительное преступление — отважилась быть счастливой в этом мире и была счастлива... Знал бы ты, как я его любила!.. Ты — маленькая дурочка, другого мира нет, выбирать не из чего, приходится жить в этом, потому-то и нужно переделывать его. Никогда он не бывает совершенным и не будет. Может быть, он и бессмыслен, если бы существовал сам по себе. Но мы должны придать ему смысл, пойми! Ради этого стоит жить, а иногда, если нет другого выхода, то и умереть. Вытри слезы и держись, хоть это и трудно!

Бланка встала, в ней притаилась тишина, она носила ее в себе, ходя по комнате. Потом она остановилась перед зеркалом: блестящая поверхность отразила чьи-то знакомые черты. Это я? Да, это ты! Она испуганно отвернулась, и взгляд ее упал на письмо, лежащее на столе, письмо, написанное острым уверенным почерком.

Бланка вцепилась себе в волосы, в ней вспыхнула отчаянная потребность в боли.

Занавес! Нет, нет, еще не конец — еще не время, и пьеса, которую никто не написал, должна быть доиграна, должна!

11

— Похоже, что их не поймали,— сказал Павел во время беглой встречи с Гонзой.— Иначе бы так не бесились. Ты ничего не знаешь? Я тоже.

Жить приходилось все время настороже, сторониться и придерживать язык, как только поблизости появлялось незнакомое лицо. Жестокие допросы в живодерке на третий день уже не были так ужасающе непрерывны, но все еще продолжались. Немцы искали связь между двумя беглецами и другими «преступными элементами» на заводе. Гестаповцы предполагали, что отчаянная выходка молодых беглецов организована мощным и разветвленным подпольем. Со рвением охотничьих псов они устремлялись по любому, самому незначительному следу. Неизменно терпя неудачу, они наугад устраивали облавы в цехах. Допросили почти всех, кто работал вместе с беглецами. В живодерке поочередно побывали несколько рабочих с участка мастера Даламанека — сам Даламанек, Пипин Короткий, Богоуш и набожный Архик. Никто из них, конечно, ничего не знал, и водопад грозных вопросов обрушивался впустую. По роковой случайности был допрошен и Бацилла. Когда Гонза увидел, как Бацилла, еле волоча ноги, тащится за веркшуцем, у него захолонуло сердце. К счастью, все, по-видимому, обошлось благополучно. Неподдельный страх в глазах Бациллы вызвал у следователя презрительную жалость. Да и сам вид толстячка, его добродушная беспомощность рассеивали подозрения. Один из гестаповцев, говорят, шутливо ткнул пальцем в мягкий животик Бациллы и, чтобы потешить усталых коллег, прикрикнул на него по-немецки:

— Ну, говори, жирная свинья! Говори, не то я выдавлю у тебя младенца из брюха!

Допрос походил на комическую интермедию в серьезном спектакле. Впрочем, сам Бацилла не очень-то развлекался среди этих ржавших головорезов. Через два часа он вернулся в фюзеляжный цех — лицо у него было обмякшее — и почти тотчас же поспешил в клозет; в течение трех последующих дней из него нельзя было выжать и словечка.

Weiter machen! Пыль, казалось, оседала, непонятно как, но все идет своим чередом, хотя действует уже не сила, а нелепый закон инерции; невероятный закон тяготения приближает крах. Мало кто из немцев еще верит во все это, и все же неподалеку от шоссе с лихорадочным и карикатурным усердием строится новый корпус завода, словно война продлится еще годы, между тем как русские уже в Бескидах; люди прибывают, путаются друг у друга под ногами, ругаются, делают вид, что работают — не все, конечно,— филонят, крадут, отбивают на контрольных часах сотни липовых сверхурочных, чтобы получить глоток водки, пачку сигарет, кубик маргарина, кусочек жесткой колбасы в целлофановой шкурке. Громкоговорители. Трескучие марши перед началом смены. Плакаты. Чешский рабочий! Не прельщайся лживыми обещаниями врагов Новой Европы, они пытаются нарушить покой твой и твоей семьи! Протекторат — остров покоя и мирного труда ради будущего! Оружие героического немецкого солдата защищает и твой дом! Не слушайте провокаторов и темные элементы, которые пытаются сорвать ваш труд! Несмотря на неоднократные предупреждения, преступники снова попытались... Каждая такая попытка будет подавлена с должной строгостью... Далее посулы, попытки подкупа. Ничего нового.

— Тошно! — сказал Павел.— Ты слышал?

Он чиркнул спичкой, и короткая вспышка осветила косую морщинку на его лбу... Гм... Гонза прислонился к дощатой стене и не торопился отвечать. Да и к чему? В принципе Павел, видимо, прав. Скорей всего.

Гонза знал, на что он намекает. И что снова взволновало его. Впрочем, этого можно было ожидать, такова действительность.

В фюзеляжном цеху к отчаянно смелому поступку двух беглецов отнеслись по-разному. Правда, большинство одобрило поступок. Больше того — люди были довольны. Больше того — они радовались. Это было видно по лицам, хотя о побеге говорили только шепотом и предельно скупо. Да. Только бы их не поймали. Известно что-нибудь? Здорово. Ах, черти! Говорят, на восток... Куда же еще? Может, к Черчиллю?

Некоторые молчали и пожимали плечами: на заводе, где кишмя кишат тайные осведомители, достаточно неосторожного слова, чтобы влипнуть. Ш-ш-ш! Надо знать, кто твой собеседник. Неумеренно громогласная радость может обернуться провокацией. Держи язык за зубами и отойди в сторонку! Осел!

Но были и такие, что ворчали. Дурная затея! У меня свои заботы, до этаких глупостей мне нет дела. Мальчишество. Теперь-то!

Чего ж удивляться — эти мещане, добропорядочные работяги, которые ничего не видят дальше своих обнесенных заборами садиков, пролетарии, которые могут потерять нечто большее, чем цепи — ах, Милан, Милан! — владельцы жалких домишек и убогих наделов — одним задом можно, пожалуй, закрыть такое землевладение, скопидомы и ремесленники без собственной мастерской, разорившиеся кустари в рабочей спецовке — эти готовы были клясть все, что угрожает их спокойствию.

Все это Гонза высказал Павлу, чувствуя бесцельность своих слов: он наперед знал, каков будет ответ. Как давно они не были вместе? Чего только не произошло за это время! Войты уже здесь нет, Милана тоже, остались только двое. Вернее один. А что Бацилла? Гонза не заводил разговора об «Орфее», опасался даже произнести вслух это название, которое сам когда-то придумал. Все это в прошлом, и сейчас здесь беседуют два совершенно частных лица.

По чистой случайности оказалось, что немцы не лишили рабочих добавочного пайка, ведь нужно было, чтобы производство не останавливалось. И перед началом смены, когда выдавали ром и сигареты, Гонза очутился в очереди вместе с Павлом.

— Закурим, что ли?

В вонючем клозете было полно людей, привычное место на калориферах парового отопления занято.

— Пойдем на воздух!

— Ну, что ж, пойдем.

Пронизывающий ветер прогнал их со двора. В потемках, пахнувших сыростью и угольной пылью, они прошли куда-то в конец завода, пересекли колею подъездных путей и укрылись под стеной крайнего здания — здесь не было ветра, но мороз все равно кусал за пальцы.

На последней колее, сразу же за забором, стоял длинный состав, отсюда были видны контуры больших товарных вагонов.

— Пригнали сегодня вечером,— равнодушно сказал Гонза,— воинский эшелон. Я заметил его, когда ехал поездом, было еще не совсем темно. Танки, а в вагонах, видимо, боеприпасы. Наверно, где-нибудь опять разбомбили пути или еще что-нибудь. Замаскировали все это брезентом, но, если завтра заметит пикировщик, быть фейерверку! Охраняют солдаты, железнодорожников туда не подпускают.

— Гм...

Павел погасил сигарету и вернулся к начатому разговору.

— Дело не в нескольких заведомых идиотах,— сказал он хмуро.— Дураки и сволочи есть всюду. Но ты не убедишь меня, что у нас делается все, что надо делать, чтобы приблизить конец войны.

— Может быть. Но ты не убедишь меня опять-таки в том, что у нас ничего не делается.

— Всюду и при всех обстоятельствах найдутся люди, которые... О них также не идет речь. Мы с тобой не можем их упрекать, что они не приняли нас к себе. Они знали почему... Но я говорю о тех, остальных.

— Глупо требовать геройства от каждого,— деловито возразил Гонза.

— Геройство! Это слово меня попросту раздражает. В нем есть напыщенность. И для многих оно часто служит отговоркой. Не быть коллаборационистом или доносчиком недостаточно. Мало только созерцать происходящее, не ударяя палец о палец, и при этом твердить себе: у меня все в порядке, меня нельзя ни в чем упрекнуть, я кормлю семью, учтите, пожалуйста. Мне страшно жалко, что так много людей умирает на фронте и в тюрьмах, но что могу сделать я, маленький чешский человек? Я умываю руки и жду, что меня освободят, а пока мне приходится работать на немцев... Сложилась особая психология: русские наступают, американцы тоже,— ура! А я еду на завод и получаю добавочный паек и выпивку.

Гонза погасил недокуренную сигарету и сунул ее в коробочку.

— Ты говоришь так, словно сам не получаешь эти сигареты. А ты пойди верни их!

— Не в этом дело! — отрезал Павел.

— Что ты знаешь? Может, те, кого ты сейчас бранишь, выступят активно, когда придет время...

— Время! А когда оно придет? Когда русские оттащат нас от этих станков? И тогда мы будем ходить и кричать на каждом углу, как мы геройски страдали! Кому это нужно? А сейчас? О, сейчас, конечно, всякая опрометчивость неуместна, будем благоразумны! Ужасное благоразумие в этой несокрушимой заботе о собственной шкуре!

Они замолкли, услышав шаги. Кто-то, насвистывая, шел мимо складов. Веркшуц? Он прошел, и у товарищей отлегло от сердца. За оградой из колючей проволоки — массивные контуры вагонов. Если присмотреться, видно, как красноватые огоньки сигарет движутся вдоль вагонов. Кто-то там кашлянул, гравий зашуршал под кованым сапогом.

— Вот видишь,— приглушенным голосом продолжал Павел,— если завтра заметит пикировщик...

Горькая ирония, с какой он повторил слова Гонзы, вызвала в ответ взрыв.

— Ну и лезь туда сам! Лезь! С голыми руками. Лезь под пули, это будет так полезно!

— Ерунда,— прервал Павел, но в тоне его была неуверенность.— Обрати внимание, как это въелось в нашу психологию. Кто-то другой пусть действует. Это засело в каждом, как плесень, и во мне тоже. Как зараза! Я тщетно ломаю себе голову, откуда она взялась. У нас всегда была эта мерзкая трезвость? Когда же в последний раз это твое большинство нашего народа было объято единым порывом? Порывом, который поднял бы чехов выше духовного уровня конгресса часовщиков, превратил бы их в нечто цельное, сплотил общей идеей, общей судьбой или национальным сознанием.

— Ты невозможно преувеличиваешь!

— Ну и пусть! У нас теперь очень мало преувеличивают... Преувеличивали мы разве что в тридцать восьмом. О, тогда да! Потом все как-то угасло. Протекторат со всем покончил. А может, это затухание началось гораздо раньше, не знаю, меня в то время не было... Правда, если бы мы сопротивлялись, нас бы разгромили. Кое-кто сейчас потирает руки: мол, хорошо, что Запад нас тогда подвел — великолепно! — теперь мы с чистой совестью выпутаемся изо всего, и баста! А я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что ни из чего нельзя выпутаться. Вот

в чем дело! Могут быть невозместимые потери в живой силе или в имуществе, но еще большая потеря в самих людях, внутри них! Они понесут это наследие как незримый горб. Протекторат! Кролики, которые не поднимают голов от своей капусты! Думаешь, все это не оставит следа?

— Я не люблю пророчеств.

— Я тоже,— вздохнул Павел и, после паузы, продолжал уже усталым голосом:— Думаешь, у тех, кто в прошлом году с оружием в руках поднялся в Словакии, была такая трезвость? А они поднялись! Или в Варшаве? Ты можешь, конечно, возразить, что в Словакии горы, а здесь условия куда труднее, да и чем все кончилось... Все это я знаю, но для меня главное в другом — в умонастроении множества людей. Пойми это! Ты думаешь, я впадаю в панику и преувеличиваю? Буду рад, если ошибаюсь. Мне совсем не хочется ставить себя выше других.

Мороз щипал нестерпимо. Гонза дышал на кончики пальцев и топтался на месте.

— Оставим это,— сказал он устало и тут же добавил: — Будь у человека две жизни, ты, может, и вправе был бы требовать, чтобы он не моргнув глазом пожертвовал одну ради великих идеалов. Может быть... Но когда жизнь одна...

— Тем более!

— Ладно, я знаю, что ты хочешь сказать... Погоди, не перебивай. Я знаю твое состояние и знаю, что тебя гложет, Павел. Знаю. Мне ненамного легче. Я тоже создал себе свой мирок, может, он существует только в моем воображении, этакий абсолютно мой мирок, но мне в нем жилось чудесно. Я думал, что со мной в этом мирке ничего не может случиться. А вот случилось! Почему — не знаю. Случайность это или неизбежность, не знаю. Логика, которая мне непонятна. А тебе? Видимо, человек, если он один, ничего не может сохранить. И спрятаться некуда. Человек — ничто. В том-то и беда. Но осуждать? Кого и по какому праву? Что, собственно, мы совершили? Мы только хотели совершить. Может, и это уже хорошо, но война от этого не станет короче ни на минуту. Я понял это тогда, у Мертвяка. Но еще не примирился с этим. Еще нет. Кстати, все это еще не конец. Как ты думаешь?

Огонек спички на мгновение выхватил из темноты неподвижное лицо. Металлический лязг буферов был похож на громкую команду.

— Нет. Еще не конец.

Не сказав больше ни слова, Гонза и Павел разошлись в разные стороны, чтобы не привлекать внимания веркшуцев. Холод, веявший из вселенной, разогнал их раньше, чем они могли разрешить затянувшийся спор.

■

Павел сбросил пальто, потер руки, они были холодные и влажные, опустил штору затемнения и зажег лампу. Топить было нечем. Все было как обычно: грязное окно, за ним коридор со скрипучими половицами, лампа с бумажным абажуром, кушетка — в ее пружинах промасленная тряпка. Павел долго сидел на кушетке, упершись локтями в колени, и прислушивался. За стеной стучали ходики, слышались неторопливые старческие шаги, постукивал костыль. Секунды бежали, одиночество становилось нестерпимым.

Оставалось выйти на улицу. Не застегнув пальто, без шапки Павел выбежал в февральские сумерки, пробиваясь сквозь них, как через зараженный участок. Идти было некуда. Он пошел наугад. Навстречу ничему — он чувствовал это. Никуда.

Калориферы под окном дышали теплом. Павел прижал колени к их твердым ребрам и глядел во тьму над руслом реки.

— Не зажигай свет,— сказал он, не оборачиваясь, ему не хотелось ничего видеть.

Голос за спиной оторвал его от дум:

— Я не люблю темноты.

Это был другой голос. Ему вдруг нестерпимо захотелось, чтобы она молчала. Он лег рядом с ней на желтой постели и, хотя было темно, знал, что она желтая, как большинство вещей здесь, ощущал тепло живого тела и особый слабый его аромат, и не двигался.

— Зачем ты, собственно, пришел? — спросила Моника.

— Не знаю. Мне было холодно.

— Ах так. Тогда грейся! Хоть какой-нибудь прок.

— Я тебе помешал? Если ты ждешь кого-нибудь...

Она чуть шевельнулась.

— Нет, лежи. Если кто-нибудь позвонит, я просто не открою. Ключ я никому, кроме тебя, не давала, а трубку брать не буду. Хочешь есть? Или пить? Не отказывайся, война сюда еще не добралась, отец заботится обо мне, у него совесть неспокойна, есть причины. Если б ты захотел здесь остаться насовсем, ты бы мог это легко сделать. Не может же все это долго продлиться. Да и какое нам до всего дело!

— Это не серьезно, Моника!

— Может быть,— сказала она вяло.— Знаешь, почему я тебе это предложила? Да потому, что у тебя отчаянно скудное воображение, ты все воспринимаешь чересчур серьезно.

Павел не возражал. Она дышала совсем рядом, жалобно прижимаясь к нему. Такое знакомое тело! Прежде оно так легко пробуждало в нем волнение и желание. Пальцы его были погружены в ее русые волосы. Но в душе Павла все молчало. Почему она не прогонит его?

Он не устоял и попытался погладить ее по лицу.

— Не притворяйся, Павел!

Он убрал руку. Ему никогда не удавалось обмануть ее. Надо бы уйти.

За окном выл ветер и кидался на оконные стекла.

— Я не знала, что это будет так трудно,— сказала она после долгого молчания и отодвинулась от него. Скорей всего машинально. Она говорила спокойно, просто констатировала положение вещей.— Это моя ошибка. Мне совершенно ясно, что я тебе уже не нужна. Только не лги, я запрещаю тебе лгать. Это не значит, что ты мной пресытился, тут дело в чем-то совсем другом. А я тоже больше не могу так, Павел.

— Не знаю, было ли у нас когда-нибудь настоящее начало,— сказал он.

— Наверно, не было. А ты считаешь, что я заслужила такое отношение?

— Прости,— сказал он глухо,— но я ничего от тебя не скрывал.

Короткий смех в темноте заставил его вздрогнуть.

— Замечательно! Я должна бы еще поблагодарить тебя! Оценить твое благородство, а? Ты злой безумец! Чего я не выношу, так это твое вечное «прости», твою смешную и гнусную правдивость. Умыл руки, а? Неужели ты не можешь понять, Павел, что я тебя ни в чем не упрекаю? Я не обманутая служанка. Упрекать вообще глупо... И почему я тебя встретила, можешь ты мне объяснить? Почему именно я? Ты ни в чем не виноват, ты просто рожден моим упрямым воображением. Не знаю, почему меня так забрало! Надо бы напиться, пока у нас есть время. Ведь его осталось так немного...

Он чувствовал на щеке прерывистое дыхание Моники. Она была в полном изнеможении. На улице прогрохотал грузовик, стекла задребезжали.

— Сегодня я хотела тебе кое-что сказать,— услышал Павел через минуту.— Кое-что ужасно важное, даже невероятное. Я назвала бы это чудом, если бы чудеса не творились только в сказках. А может, это даже и не чудо, а просто ошибка в прежнем диагнозе. Я была у врача. Есть надежда, Павел! И даже больше чем надежда, я бы сказала — уверенность, если бы так во всем не изверилась. Ты слышишь меня? Я разревелась, как девчонка, когда услышала это. Ты будешь жить, твердила я себе целый день... будешь жить! И все вокруг меня изменилось... или я стала смотреть на все иначе. Понимаешь? Прежде все было по-иному — я боялась чего-нибудь хотеть, слишком крепко за что-то ухватиться. А теперь... теперь я уже не могу по-прежнему, не могу! Что ты на это скажешь?

Он поколебался с минуту.

— Я рад за тебя, Моника,— горячо сказал он, и это была не ложь.

— Правда?

— Может, я тебя обидел... Может быть, вот и сейчас...— он запнулся.— Но я страшно хочу, чтобы ты была счастлива... В самом деле...

Она вырвала руку и приподнялась на постели.

— Ты, ты этого хочешь? — она вздрогнула и хрипло рассмеялась.— Ты желаешь мне счастья, добрячок? Да ты и врать-то как следует не умеешь!

— Моника! — взмолился он.

— Я тебе скажу, как ты ко мне относишься! Я тебе абсолютно безразлична! Абсолютно! Я для тебя ровно ничего не значу, словно меня и нет. Потому что ты думаешь о другой! Только о ней! Если бы я даже покончила с собой...

Павел нажал выключатель, и желтый свет упал на их обнаженные руки. Он встал, провел рукой по волосам, не отваживаясь взглянуть на нее. Что же я такое наделал?

— Пойду,— сказал он.

— Иди, я тебя не держу. Вот только идти тебе некуда, не так ли? Некуда? Иди к ней, дурак. Ничтожество! Я тебя ненавижу, понимаешь, я уже избавилась от тебя. Вот сейчас! Наконец-то!

У него не хватало сил прикрикнуть на нее. Другая, незнакомая Моника сидела перед ним в гладких обтягивающих брюках, поджав ноги, русые волосы переливались в свете лампы, круглые глаза, которые ему так нравились, глядели на него с ненавистью и страстью. Что сверкало в них? Злоба? Грусть? Отвращение? Гордость? Все вместе! Он испугался их.

— Будь ты хоть чуточку искренен... Если бы ты не боялся правды, ты признался бы по крайней мере самому себе, что ее уже нет в твоем сердце... что ты о ней даже не вспоминаешь! И только уговариваешь себя, воскрешаешь ее в себе... Но напрасно! Ждешь ее, а сам... Нет, нет, не заставишь меня замолчать...

Не слушать ее! Заставить молчать! Скорей, пока есть время! Инстинкт самосохранения властно требовал: зажми ей рот, ударь по лицу, убей ее, если надо, но останови этот торопливый, горячечный поток слов.

— Зачем ты говоришь мне все это? Я запрещаю тебе так говорить... о ней! Ты не смеешь, Моника! Слышишь? Довольно!

— Запрещаешь? Теперь запрещаешь? Тысячи раз ты меня спрашивал об этом, мучал меня разговорами о ней, а теперь запрещаешь? Я скажу тебе, почему ты этого так боишься. Потому что сам понимаешь то, что я тебе скажу. Она мертва! Мертва! Слышишь меня? Мертва! Уже давно... Страшно давно! Она и ночи той не пережила, глупец!

Павел покачал головой и сказал удивительно спокойно:

— Это неправда, Моника. Неправда. Пойми...

— Правда! Хочешь доказательств? Ведь ты любитель фактов. Могу доказать тебе на фактах, я разузнала это в твоих же интересах... Когда ты наконец поймешь, что она живет лишь в твоем сознании? Ты фантазер! А если не поймешь, так иди к ней, хоть бы на тот свет, потому что больше тебе нигде нет места... Даже около меня! Я живая, понял? Тронь меня, возьми меня, Павел, убедись, что я реальна, а не она, проснись же, ради бога!

— Я ненавижу тебя,— сказал он, отвернувшись. И уже не обращая на нее внимания, на ощупь схватил свое ветхое пальто и, не оборачиваясь, пошел к двери.

— Павел!

Нет, ничто не могло остановить его. Возглас, который за ним раздался, был заглушен стуком двери.

12

Воинский эшелон все еще стоял на последнем пути у ограды — темный призрак в зыбких сумерках. Фейерверк не состоялся! Гонза скоро перестал думать о нем, потому что заболел зуб. Дергающая и пока еще глухая боль усиливалась с каждой минутой. Хорошенькое дело, ну и ночь мне предстоит! Надо было сходить к зубному, сходить раньше, чем попадешь с воспалением надкостницы в лапы коновалов из заводской амбулатории, как попал на той неделе Леош. Замахивался на Третью империю, герой, а дрожишь перед бормашиной. Кончиком языка он ощупал дупло в коренном зубе, и ему показалось, что зуб растет.

Скука ночной смены с обычным добавлением в виде голода да еще с приступом зубной боли, безумно хотелось спать. После полуночи, если будет подходящая обстановка, попробую смыться; все будет зависеть от Мелихара, но он сегодня страшно мрачный и вообще какой-то странный: то и дело блуждают его запавшие глаза по цеху, словно он ждет кого-то, а напарника просто не замечает... Я не я, если он меня сегодня не пропесочит, грубиян этакий!

Сволочь зуб! У Гонзы даже в глазах потемнело и поддержка едва не вывихнула ему руку. Дзуб, дзуб — о-глу-ша-ю-щий дзуб, пот льет градом, а над ним лицо дьявольского кузнеца. Что-то он сегодня так розошелся? Куда гнет? Зачем эта спешка? После того как Гонза трижды не удержал поддержку, великан отбросил молоток, всунул голову в отверстие крыла и заорал так, что на шее у него напряглись жилы:

— Что это с вами? Небось днем с какой-нибудь шлюшкой баловались? Или еще что? Я за вас работать не собираюсь! Дураков нет, гимназистик!

Гонза хотел огрызнуться, сказать ему о больном зубе, но злость, упрямство и жалость к себе заставили его молчать. Поди-ка ты к черту, ответил он одним взглядом. Недолго тебе куражиться надо мной. Вот кончится все, только вы меня и видели. А тебя, шкура, и не вспомню.

— Na also *,— протянул Башке и захлопнул папку. Наконец-то! У него был довольный вид чиновника, который закончил дело и с удовольствием берется за следующее. Эту его медлительность, цель которой — подорвать самообладание допрашиваемого, Гонза знает еще по первому допросу, но сегодня все иначе. Оба мы сегодня иные, кроме того, мы не наедине тут: типа, что развалился на стуле у окна, я определенно никогда не видел. Исключено, чтобы такая рожа с ввалившимися щеками, этот тупой нос и выпяченные губы не сохранились в памяти. Новенький или

* Итак *(нем.)*.

прислали откуда-то? Иногда он равнодушно поглядывает на меня и подавляет зевок: скучает и ждет своего момента. Скулодробитель. Тип придурковатого вышибалы.

Башке встал, прихрамывая, обошел стол, сел худым задом на угол и уставился на Гонзу покойницкими глазами.

— Вот видишь,— сказал он с вкрадчивой укоризной и покачал своим зеленоватым черепом,— не говорил ли я тебе, что мы еще встретимся? «Орфей», да? У меня хорошая память. Но сегодня разговор будет о другом, ты сам знаешь. Не советую уверять себя, что ты будешь молчать. Не будешь, мой мальчик! — Он прищелкнул сухими пальцами.— Совершенно исключено, что ты ничего не видел, ничего не заметил. Не будешь говорить здесь, заговоришь в другом месте. Там тебе откроют пасть, даже если придется разорвать ее, запомни! Но этого может и не быть. Ведь у тебя нет никаких причин покрывать их — нам ясно, что ты к ним не принадлежишь. Они не так глупы, чтобы принять всякого сопляка. Прав я? Прав! Я хочу от тебя очень мало, и, если ты будешь благоразумен, мы с тобой sofort* закончим дело. Только одно имя! Ты обратил внимание, что мы забрали тебя совсем незаметно? Никто еще не знает, что ты здесь, так что бояться нечего. Понимаешь, как это удобно? Через несколько минут ты сможешь вернуться на свое место, и никто ничего не узнает. В противном же случае твое дело табак. Klar **? У меня на столе есть некая папка, не заставляй меня раскрывать ее. Na also.

...если бы зуб хоть на минутку перестал болеть! Вырву его, сволочь такую, зайду к первому попавшемуся дантисту, вырву этого предателя в собственных рядах — клянусь! — если, конечно...

— Ну, говори, говори! — отрывисто кричит Мертвяк в лицо Гонзе. Как в руке у него появилась линейка? Вот она мелькнула перед глазами и хлопнула Гонзу по шее.— Кто его предупредил? Ты видел! Должен был видеть! Говори!

Любопытно: до того, как это случилось, обстановка в цехе была совсем будничная. Натянутость между Гонзой и Мелихаром не ослабевала, кругом виднелись бледные лица тотальников. Вот Марейда с животной жадностью хлебает из жестяной миски скверную столовскую жратву — уставясь в одну точку, он медленно двигает беззубыми челюстями, словно совершая обряд. Франтоватый Гиян прилаживает дюралевую полоску на свою буйную шевелюру, мелькает птичья голова Леоша и лошадиная — Архика. Dominus vobiscum ***,— насмешливо блеет над ним Пепек Ржига. Вдалеке Гонза увидел Павла и помахал ему, но тот, вероятно, не заметил его — погруженный в себя, он, сутулясь, прошел куда-то во двор.

Половина одиннадцатого. Мелихар сердито отбросил молоток и кивнул: пошли пить пиво! Они вместе зашагали в хмурой тьме, поглядывая на небо. Звезды зябко мерцали в просветах между тучами, с неба веяло холодом и щемящей тоской. Гонза молчал, прижимая руку к щеке, ждал, пока Мелихар заговорит. Это произошло в узком проходе недалеко от столовки, и то, что Гонза услышал, заставило его от удивления замедлить шаг.

— Вы меня как-то спрашивали насчет всяких этих глупостей... помните, молодой?.. Состою ли я... В общем, то да сё. Как раз вот на этом самом месте.— Он сказал это почти шепотом, и его тон удивил Гонзу больше, чем сам вопрос.

---

* Тотчас *(нем.)*.
** Ясно *(нем.)*.
*** Господь с вами *(лат.)*.

Гонза колебался, не зная, что ответить. Он шагал в ногу с Мелихаром.

— Да,— наконец сказал он небрежно.— Я тогда ожидал, что вы стукнете меня по шее. Я был идиот, Мелихар, романтический глупец. Сами знаете, школа, книги... Сейчас все это уже не пришло бы мне в голову...

— А почему?

— Так. Я излечился здесь. Действительность не такова, как я ее себе представлял. Не сказал бы, что она отрадна.— Он раскашлялся, потом продолжал:— Вы были правы, каждому хватает своих забот. Нам всем тут изрядно досталось. Не очень-то приятная школа, но, видно, без нее нельзя. Волей-неволей начинаю понимать, почему я здесь и какой это имеет для меня смысл: полная потеря иллюзий. Всех. Глупо!

Великан с минуту молчал, посапывая, потом сердито отрезал:

— Что вы там поняли — ваше дело. А вот звоните вы столько, молодой, что ум за разум заходит!

— Что с тобой! — запавшим ртом спрашивает Мертвяк. Он запыхался, орудуя линейкой, и со стуком отбросил ее на стол.— Ты смеешься? Не советую, сопляк. Чего ты все время скалишь зубы?

— Ничего,— уныло отвечает Гонза.— Просто у меня болит зуб.

Брови Мертвяка поднялись, потный лоб сложился в морщинки. Такого у него еще не было.

— Зуб,— повторил он.— Вон оно что! Это как же понимать, шуточка? — Он повернулся к тому, третьему, кто до сих пор молча созерцал происходящее, и сказал по-немецки: — Придется заварить ему ромашку, а, Вилли? — Эта мысль рассмешила обоих, и они разразились хохотом, но Башке тотчас посерьезнел и кивнул Гонзе на «скулодробителя», хлопавшего себя по мощным ляжкам:— Перед тобой самый ловкий дантист в мире. Пошути еще разочек, и у тебя в жизни уже не заболит ни один зуб! — Худые пальцы его вцепились в отвороты пиджака Гонзы.— Однако хватит! Фамилию! Назови фамилию! Его кто-то предупредил, и мы должны найти этого человека. Считаю до десяти.

— Я ничего не знаю, правда...

— Не знаешь фамилии? Тогда покажи нам его.

— Я никого не видел и не знаю, что вы от меня хотите... я...

— Ничего не знаешь, ничего не помнишь. Знакомые ответы!

Пальцы его ослабли, Башке вытер платком лоб и кивнул третьему. Тот встал со стула и подошел к ним.

Что было потом? Все разыгралось как в сумасшедшем фильме; словно водоворот втянул Гонзу.

И все произошедшее до сих пор ясно стоит перед его глазами. На часах, помнится, было около двенадцати, оставался час до ночного перерыва, ноющая боль в десне. Мелихар где-то болтается; браться за халтуру ему было еще рановато.

Гонза стоял, опершись о крыло самолета, и зевал, потом глянул в сторону «Девина». В этот момент откуда-то притопал на своих тумбах Мелихар, молча наклонился над ящиком с инструментом и стал бестолково рыться в нем; в торопливости его движений было что-то незнакомое. Что он ищет? Еще через секунду Гонза увидел его лицо и понял: что-то случилось. Что-то гнетущее, еще неведомое Гонзе, нависло в воздухе. Словно бы открыли кран, и зашипел, выходя, газ. Что с Мелихаром? Его широкое бугристое лицо застыло, как маска, и только маленькие глазки чуть двигались под насупленными бровями. Откуда повеяло грозной стужей? Гонза оглянулся: кругом ничего. Несколько знакомых рабочих заняты у стапелей, грохот пневматических молотков

терзает уши. Одиннадцать часов пять минут... И вдруг руки Гонзы покрылись холодным потом. Что же такое с Мелихаром? Он снова посмотрел на клепальщика — их взгляды на мгновение встретились,— но напарник тотчас же отвел глаза; казалось, он с трудом поворачивает шею. Может, его мучают фурункулы? Он не сводил глаз с главного прохода между участками. Газ. Инстинктивно, а может быть по чистой случайности, Гонза посмотрел в ту сторону, следующие несколько секунд были насыщены стремительными событиями. Ш-ш-ш... И опять как в полусне Гонза видит себя со стороны. Появился человек в рабочем комбинезоне и, сунув руки в карманы, остановился у конца крыла; Гонза знал его внешне. Не молодое и не старое лицо — работает в термичке? — да, да, наверняка в термичке. От Гонзы не ускользнуло, как человек едва заметно кивнул Мелихару и тотчас исчез. Что это значит? Сигнал? Сигнал чего, Мелихар? Он предстал перед Гонзой в отверстии крыла, как в рамке, и когда их взгляды встретились, Гонза понял, что от Мелихара тоже ничего не ускользнуло. Мелихар знал, что Гонза *видел*. Ну и что, видел так видел.

Поняв, что Мелихар хочет ему что-то сказать, Гонза приблизился к нему.

— Спокойно, молодой! Идут за мной, курвы! Надо смываться. Вас это не касается, вы ничего не знаете. А если что и видели... так все позабыли. Позабыли. Дело серьезное...

Мир заколебался и сосредоточился в одной точке. Ме-ли-хар! Движения его не ускорились, но стали более рассчитанными и точными, глаза выжидательно помаргивали, косясь в стороны, на измазанном лице даже, кажется, мелькнула улыбка, а может, это мне только показалось. Поскорей бы ты уходил, господи Иисусе! Почему он медлит?!

Секунды отлетали, как искры от огнива.

Бегите уж, Мелихар!

У Гонзы вдруг перехватило дыхание: впервые за долгие месяцы суровой дружбы он почувствовал, как громадная лапа, нагонявшая на него страх, сжала ему локоть. И не успел он опомниться, как уже был один.

■

Павел прижался к деревянной стене и положил свой *багаж* на землю; багаж был тяжелый, но руки не чувствовали тяжести. Их словно не было. Он вообще ничего не чувствовал. Стал вещью, в холодном пространстве, спусковым крючком, к которому близится палец. Такая стужа, наверно, стоит на конце света, если он вообще существует.

Половина двенадцатого.

Там, на последней колее. Из дальнего вагона к Павлу доносятся голоса, невнятное пение, заунывные переливы гармоники. Там они. Вот со скрипом откатилась вагонная дверь, слабый свет вырвался в темноту. Один из них соскочил на землю и, глухо кашляя, стал мочиться у забора.

Павел насчитал двадцать два вагона — ничего не говорящее число. Они стояли в трескучей тишине, чистые от мороза, похожие на отдыхающих животных. Павел был обстоятельный человек: он осмотрел поезд с моста над веткой еще до того, как сгустились февральские сумерки. Знакомые контуры на платформах, покрытых маскировочным брезентом в зелено-коричневых разводах. Танки. Зенитки, стволы, которых направлены вверх; в середине состава, в двух шагах от дыры в ограде — три товарных вагона, несомненно с боеприпасами. Шрапнель. Мины. Возможно, фаустпатроны. Павел знал их по кинохронике «Уфы». Кто знает, что там еще. Тысячи, десятки тысяч смертей, упрятанных в ящики, ждут своего момента, чтобы вырваться на свет. Гнусность!

Павел выбрал ближайший вагон и ощутил обманчивое удовлетворение, какое человек обычно чувствует, приняв решение. Но тут же рассудок предостерег его: нет, нет! Сколько их здесь? Четверо, он насчитал четверых, они сменялись через каждый час и проходили с равномерными интервалами по обе стороны состава, приближались, удалялись. Он попытался определить систему в этих обходах, и, кажется, ему это удалось. Надо только улучить момент, когда оба часовых будут подальше от этого вагона, и тогда... В два приема — сперва добежать до ограды...

Неторопливые шаги шуршат по гравию, звякают о камень железные подковки сапог, ветер разносит эти одинокие звуки, они назойливо проникают в сознание, мешают ему. В мозгу упорно возникает стандартно-правильное лицо немецкого солдата — то ли это лицо с надоевших плакатов, то ли он где-то видел его. Может, таковы же черты часового, который прохаживается в нескольких шагах от Павла, прохаживается, ничего не подозревая,— топ, топ... Ему тоже холодно? Может, и ему тоскливо, может, и его мысли витают где-то далеко... Может, ему мерещится, что он сидит за празднично убранным столом где-то далеко, а на дворе — погожий день, солнце и мирная тишина, косогор над рекой, что он лежит рядом с женщиной, той самой, по ком он тоскует бессонными ночами, в которые ввергла его война. Нет, нет, Павел уже знает: этот убивал, казнил, именно он тогда стрелял в *нее*... Почему бы это не мог быть он? Наверняка! Если бы он сейчас знал, если бы догадывался... Павел упорно вызывает в воображении стандартное, невыразительное лицо и разжигает в себе ненависть. Надо, надо, потому что такова действительность, оба мы в ней запутаны — я и тот, за забором, в ее власти, как две мухи в паутине... Это действительность, которую утверждает Моника, гнусная, извращенная, без смысла и сочувствия.

Заполучить бомбу было не так-то легко. Борек, которого Павел поздно ночью поднял с постели, отчаянно упирался. Он тер заспанные глаза под толстыми стеклами очков и вздрагивал от холода в своей лаборатории-беседке. И от страха. Не дури, старик, я не хочу связываться с таким делом. Не хочу! Я не могу ручаться за это: бризантная часть — на ять, а вот взрывной механизм — химический, действует с помощью кислоты. На минуту превратившись в увлеченного химика, он объяснил свой замысел: повернешь, мол, вот этот краник, и она начнет действовать,— но больше ни о чем не хотел слышать. Сколько секунд? По моим расчетам, минимум тридцать, а скорее всего больше... Ты что, с ума сошел? Я не хочу иметь тебя на совести. Борек вспотел от волнения, руки у него дрожали. Я все это чисто теоретически, понимаешь... Нет, она небольшая, поместится в маленький чемоданчик, но... пойми же, старик!

Нет, Павел не понял, и его отчаянная настойчивость сломила трусоватого теоретика, который все же заставил Павла поклясться, что никто никогда не узнает, откуда у него бомба. Погоди минутку, надо по крайней мере кое-что проверить, сумасшедший!.. И уходи, пожалуйста, пока я не раздумал... если б я знал... Все равно теперь не сомкну глаз...

Под покровом тьмы Павел уносил свой чемоданчик, не чувствуя ни мороза, ни страха.

День был закован в туман и стиснут тоской. Павел бродил по улицам, покрытым скользкой грязью, заходил в пронизанные сквозняками пассажи, глядел на опустошенные витрины и в невыразительные лица прохожих, шел куда-то, смешавшись с людским потоком. В закусочной он торопливо сжевал гуляш без мяса, не замечая, что ест, потому что неотступно думал: как пронести бомбу на завод? Перебросить

через ограду? Безумие! Пройти с ней через проходную? Это смертельный риск и вместе с тем единственная возможность. «Что тащишь, Павел?» — спросил его кто-то в трясущемся автобусе. Бесхитростный вопрос. Павел только равнодушно качнул головой. Положи чемоданчик наверх, тут и так не повернешься. Спокойно только! Спокойно! Перед входом он смешался с толпой, вместе с ней двигался и, прижимая к себе чемоданчик, сунул пропуск ленивому веркшуцу под самый нос. Тот скучающе зевнул и даже не посмотрел на фотографию.

Наверняка замерзну... утром здесь найдут мертвое тело... с *этим* вот под ногами. А поезд увезет свой груз смерти. Сейчас, сейчас, время пришло! Соберись с духом и действуй! Шаги приближаются — хрустит щебень — шаги затихают... Сейчас — пытайся, сейчас — должен! Руки! Есть у тебя руки? Секунды извиваются, как глупые черви, и ветер. Пора! Опять часовой... Нет, у тебя не хватит духу. Ты один. Один. Только ты и эти за забором, и снова он рядом, в двух шагах от тебя, покашливает, а ты не можешь, не можешь! Удаляется. Пора! Нет, поздно, это конец — конец всему! Предатель, ты снова и снова предаешь и убиваешь ее, да, да, не они убивают, а ты! Нет, нельзя, чтобы тебя нашли здесь, чтобы поймали живым, как кролика! А что, если вытащить из кармана ту штуку и застрелиться! Он чувствовал, как пальцы сами шарят по ткани пальто. Нет, нет, трус — хочешь уйти... нет!

Он зажмурился и стиснул зубы, чтобы не всхлипнуть.

■

И вдруг — совсем неожиданно — все прояснилось. Он изумился — видно, облегчение может прийти даже в минуту предельного напряжения сил, когда человек уже готов сдаться.

Голос. Он услышал его между двумя порывами ветра. Совсем рядом. Не оглядывайся! Это я. Я с тобой.

Он сразу же узнал этот голос, но не оглянулся. Сознание смутно подсказало ему, что лучше не оборачиваться — он испугает ее. Довольно того, что она здесь. Павел вздохнул, открыл глаза и отнял руку от оттопыренного кармана. Все было естественно, как собственное дыхание, и не удивило его.

Я знал, что найду тебя, беззвучно сказал он. Да, она была здесь, он чувствовал, как растворяется в ней, как она заставляет его плакать, но он справился с собой. Он не смеет отпугнуть ее своей слабостью. Это моя вина, что я не нашел тебя раньше. Если б ты знала, сколько глупостей я натворил... а ведь все было так просто. Только сейчас я это понял. Здесь!

Не говори больше об этом. Ты же понимаешь, что сейчас не время.

Я понимаю, но хоть минутку! Два слова! Мне надо так много тебе сказать, но я не знаю, с чего начать. Мне стыдно перед тобой... Если бы ты знала... Я чуть было не поверил ей...

Кому, Павел?

Ей, смерти. Она любит носить маску. Порой красивую. Она называет себя реальностью. Но я уж знаю, что это не так. Я знаю это благодаря тебе. Она совсем не та, какой представляют ее люди. По крайней мере, не должна ею быть. Нет, пока человек не сдастся и не поверит ей. Не противиться ей равносильно убийству. Это значит убить все: мир, свет. Убить равнодушием, собственным одиночеством в этой ледовой пустоте. Многие уже в ее власти, но они еще двигаются, соприкасаются друг с другом, не подозревая, что сеют вокруг смерть, что сами уже не живые, а лишь пустые, изглоданные тела, окоченевшие кости, обтянутые кожей...

Я не понимаю тебя.

Это не важно. Я люблю тебя... Видишь этот поезд за оградой? Он нагружен смертью. В последнем вагоне лежит пуля, отлитая для нас. Для тебя! Этот поезд не должен уйти. Теперь понимаешь?

Да. Но ведь есть другие поезда.

Знаю, знаю, но этот ждет меня. Ну говори же, я хочу тебя слышать. Где ты была так долго? Мне было так плохо без тебя!

Не спрашивай, Павел. Ведь ты все еще такой же умный и рассудительный...

Нет, я уже не такой. Я изменился, понимаешь? Отказал мне тот испытанный, старомодный разум. Он вообще изгнан из нашего века. Я не буду тебя расспрашивать — довольно того, что ты здесь. Тебе не холодно? Страшная стужа!

Уже не холодно. Я всегда мечтала жить в тебе, скрыться от всего мира... Помнишь, что мы однажды обещали друг другу?

Помню. Ты уже не уйдешь, да? Не надо! Обещаешь?

Да, я буду всегда с тобой. Пойдем, нам пора...

Погоди! Ш-ш-ш. Слышишь шаги? Пусть пройдут...

Павел вдруг понял, что лежит ничком на бугристой и твердой, как сталь, земле, сжимает ручку чемоданчика и не чувствует холода. Дыра в ограде! Павел нащупал ее, проволока обжигала пальцы и поддалась только после яростного нажима. Он слегка приподнял проволоку, подставил деревяшку и, не обращая внимания на боль в исцарапанной руке, стал ждать.

Снова приблизились шаги — прошуршали в двух метрах от дыры, было слышно чье-то дыхание, подковка звякнула о камень — и снова удалились...

Ты здесь?

Здесь. Будь осторожен, милый... Тебе страшно?

Нет, не страшно, уже не страшно. С тобой не страшно.

Я горжусь тобой. Пойдем же! Вперед, пока он не вернулся! Это близко, два-три прыжка. Я помогу тебе. Я очень тебя люблю.

Порыв ветра донес заунывный напев гармоники и невнятные голоса, но теперь они уже не пугали. Вот сейчас! Пора! Павел сам не ожидал, как легко он пролез с чемоданчиком в дыру и, низко пригибаясь, преодолел небольшое расстояние до эшелона. Ему казалось, что он невесом, что на земле исчезла сила тяготения, что какие-то шумы разносятся в нем и затихают в громкой тишине. Вот он уже и здесь. Камни возле шпал, запах отработанной смазки, в темноте нащупал гладь рельса и отдернул руку: холодный металл жжется! Спокойно! Он в три погибели согнулся под осью у колес, прижался к шпале, прерывисто дыша, согревал пальцы. Молчи же, сердце! Но сердце грозило разорвать грудную клетку, внутри что-то росло и распирало, лезло в рот, хотелось кашлять... Отчаянным усилием воли Павел подавил кашель, так что даже зарябило в глазах. Он должен!

Шаги. Они приблизились, замерли у вагона. Чудовищно близко он увидел два силуэта солдатских сапог, сапоги потоптались на месте и пошли дальше.

Не медли, нам надо уходить отсюда, слышишь?

Ну, действуй! Как показал Борек?

Я хотел бы тебя погладить.

Быстро!

Руки сами торопливо взялись за дело — в них появилась незнакомая уверенность... Осторожно, так, так... Павел пошарил и нашел детонатор, но, прежде чем отвернуть его, затаил дыхание и прислушался. Ничего. Только ветер стонет в проводах у полотна, гармоника смолкла. Пора! Что за свист? Это в ушах. И в жилах. Во всем теле. Значит, я живой. Это только жизнь — и ничто другое. Ты здесь?

Детонатор чуть слышно щелкнул, но этот звук проник в самые глубины сознания, вывел Павла из отупения. Двадцать, тридцать секунд, не больше... Павел слышал, как бешено помчались эти секунды, их топот отдавался у него в мозгу... Три, четыре... Скорее беги отсюда!.. Это стучит старенький будильник, что стоял на шкафу у нас дома, Павел узнает его торопливый сбивчивый ход — др-р-ринь, вставай, Павлик, слышится издали мамин голос... Возможно ли это? Здесь? Просыпайся, уже девять... десять!.. Но я не сплю, мама!

Беги отсюда, прошу тебя, беги! Не медли, дай мне руку!

Павел успел еще выхватить из кармана револьвер и отвести предохранитель... Тринадцать, четырнадцать... Кто-то ласково подталкивает его, наверно это ее руки, ведь она рядом с ним... Он ударился лбом обо что-то твердое и чуть не вскрикнул. На четвереньках, как неповоротливый жук, он вылез из-под вагона. Спокойно, спокойно... Еще три шага, и он в безопасности... Под руками рельсы и колючий щебень...

Что это? Возглас изумления в потемках заставил Павла выпрямиться. Дыра, где же дыра в ограде?! Окрик... нет, слух его не обманывает... Хальт! Хриплый рев справа... Хальт! Топот солдатских сапог и рев... Хальт! Пронзительный свист и металлическое звяканье. Они приближаются...

Беги, я с тобой... убежим от них!..

Нет! Павел растерянно метнулся в другую сторону, побежал вдоль вагонов, выставив вперед руки, мчался, не слыша ни злобного окрика, ни топота сзади. Когда он проснется, за окном уже будет день, совсем будничный день...

Вспышка страшного, ненатурального света ударила ему в лицо, ослепила глаза, он инстинктивно отскочил, на ходу без размышлений спустил курок... И снова никто ему не мешал, и он бежал, не чуя под собой ног... Но вот опять луч света нагнал его и вскочил ему на спину, залил его...

Выдержи, они не должны нас поймать, дай мне руку и не оборачивайся!

Удар — откуда-то издалека донесся сухой щелчок, кто-то с нечеловеческой силой ударил Павла в плечо, в бок, он зашатался, земля поднялась и метнулась ему в лицо — закопченные шпалы, рельсы, камни и увядшая трава... Павел выбросил вперед руки, чтобы смягчить удар... вспышка, какой-то неистово яркий свет...

Он не чувствовал боли. Ты еще здесь?.. Рассветает... и уже нет боли, успокоительная тишина застыла вокруг, они наедине и укрыты от всего света, медлительно течет время, догорают звезды, и Вселенная застывает в глазах.

Он попытался пошевелить губами. Знал, что не один — она с ним.

Я рад, что ты мне встретилась в жизни. Я ни о чем не жалею...

И я тоже. Все хорошо. Нас не поймают.

И когда сознание Павла уже затухало, он почувствовал, что на лицо ему легла ее рука и закрыла от него медленно надвигавшуюся пустоту.

■

На стене ухмыляется мордастый нацистский главарь — хоть бы не было здесь так жарко! Сил нет!

Ну так что ж? Узкий, как щель, рот Башке похож на рот покойника. Долго, ты думаешь, я буду тут с тобой возиться? Неважно, покажешь нам его. Ах, ты ничего не видел? Костлявая рука с пожелтевшими от табака пальцами поднимается. Как зубик? Болит? А к чему тебе теперь зубы? Не хватит еще с тебя? Willi, er will noch mehr, Mensch *...

* Вилли, этот парень хочет получить еще *(нем.)*.

Половина первого. Ребята возвращаются из столовки, кто-то, наверно Богоуш, кричит в темноте: «Где Гонза? Видно, дрыхнет!»

Ах, каналья, какой же ты... Еще хочешь? Вилли!

Выстрелы? Чушь, это мне показалось, не удивительно — говори, говори, сволочь! И что они все время хотят из него выжать, ведь он ничего не знает и не помнит... Ах ты тотальная сволочь, бродяга! Ну и бейте, раз, два! Во рту теплая, сладковатая каша... Этот мясник со зверской рожей — в своей стихии, пот льет с него градом, а он бьет, бьет, без злобы, обстоятельно, с усердием профессионала... Браво, Вилли, с каждым ударом я все больше ненавижу всех вас! Бейте, быть и вам битыми, все равно, останусь я живым или нет, так и знайте!.. Хватит, пусть его оставят, пусть лучше его отвезут, по крайней мере передохнет минутку, сможет подумать о другом, сосредоточиться, сможет отключить сознание; в Индии, говорят, это умеют делать йоги, я когда-то этим очень интересовался, человек никогда не знает, что ему однажды пригодится... Вот, например, его здесь нет, он где-то в другом месте, сидит где-нибудь в кино, на экране кого-то лупят, а он сидит себе в безопасности, в двадцать первом ряду, и с аппетитом посасывает эскимо — до чего здорово! — а дома спрашивает: «Что, дед, лев сильнее тигра?» Мелихар!.. Нет, я его не упрекаю... Ишь, гимназистик надутый... а сколько раз я мог поднять поддержку? Изо рта у меня течет кровь, брови напухли, словно поднялось сдобное тесто, боли особой нет, только ноет, тянет, саднит. Вспоминаете, как мы играли в шахматы? Сила против воли. В тридцатый раз: «Говори!» Какая жара! Всегда я хромал по математике, а думал-то, что уже сдал на аттестат зрелости. Дед мне тогда подарил в награду свои часы-луковицу. Нескончаемый экзамен на зрелость, по какому же предмету меня спрашивают и где бы взять шпаргалку? Зуб? Молчи, дурак, шестой нижний, слева, не до тебя сейчас, когда не чувствуешь, где лицо. Раз, два! Нет, я не свалюсь на пол! И не подумаю свалиться! Хватит, хватит, не то начну орать... орать на всю округу... Нет, не начну и даже не пикну, ведь меня здесь нет, я сейчас в кино «Пилот» на ковбойском фильме, не пикну, потому что все это меня не касается... Мне тут так отделали карточку, что я уже не я, а кто-то другой. А если выпутаюсь из всего этого, буду снова другим, потому что здесь человек меняется после каждого удара... Хватит уж, я не могу больше, глаза нельзя, это против правил, Вилли, за это тебя могут дисквалифицировать...

Затрещал телефон — райский звук!— Мертвяк кивнул — перестанька, Вилли,— и неверной рукой снял трубку.

— Алло? Ja, bitte...— На другом конце тарахтел чей-то голос, Башке лишь ошалело кивал.— Ja, ja, gut, ich komme...*

Он положил трубку, снял пальто с вешалки, пощупал карман. Подошел к Вилли, который около рукомойника жадно пил воду из бутылки и что-то тихо сказал ему. Ja, gut. Припадая на одну ногу, подошел к допрашиваемому и усмехнулся.

— Продолжение следует. Не воображай, что ты уже отделался. Это была бы ошибка, мой дорогой.

И с силой, которую в нем трудно было предполагать, ухватил Гонзу за плечи, повернул к дощатой стене и толкнул так, что Гонза ударился лбом в стену и охнул.

— За любую попытку удрать не досчитаешься ребер. Без фокусов! Можешь пока на досуге подумать обо всем. Долго ждать не придется.

Дверь хлопнула, прихрамывающие шаги стали удаляться.

Не двигаться! Он слышал, как заскрипел стул под тем, вторым. Надо собраться с силами для следующего круга. Как назло началась

* Да, да, хорошо, я иду *(нем.)*.

боль — господи Иисусе! — она становилась все сильней и сильней. Закрой глаза, попробуй пошевелить мышцами лица. Ой! И перед ним поплыли красные, желтые, фиолетовые пятна.

Слышен гудок паровоза. За стеной кто-то разнузданно гогочет, так обычно смеются похабной остроте. И вот!..

Шаги. Они приближались по скрипящим половицам коридора, неторопливые, ровные, без прихрамывания. Бог весть почему, он был уверен, что это за ним, и сердце его бушевало.

Так и есть. Дверь скрипнула, кто-то вошел.

Он не посмел обернуться, смотрел в стену. Услышал, как вошедший небрежно обменялся со скучающим Вилли приветствиями, потом человек, видимо, подошел поближе и шепотом сказал ему что-то. Гм. Ja, ja. Гонза затаил дыхание, но слов нельзя было разобрать. Na was, gut... ich bleibe hier, is gut, na ja...* Это говорил Вилли.

Что же происходит?

Сильный толчок в бок заставил Гонзу очнуться. Меня повезут в город, в Печкарну, на профессиональный допрос. Мотор ревел, пущенный на полные обороты.

— Пошли! — суровая команда сверлила мозг.— Никаких фокусов. Мне приказано, при первой попытке...

Гонза не видел лица этого человека, но, поворачиваясь к двери, успел заметить форму веркшуца и пистолет армейского образца. Знаю я его? Судя по голосу и форме... Пошатываясь, Гонза вышел в безлюдный, тускло освещенный коридор со множеством дверей и направился было к выходу в другом конце его, но веркшуц сжал ему локоть.

— Нет, направо. Schnell! Пошевеливайся, а то...

Что происходит? Уж не хочет ли он в темноте пристрелить меня, как собаку? Это не пройдет, я буду кричать, позову Мертвяка. Да и к чему такая бессмысленная спешка?

Дверь в конце коридора раскрылась, за нею темная ночь. Осторожно, тут ступеньки! Морозный воздух жадно лизнул лицо, он содрогнулся от холода, который сразу проник под пиджак, но это было приятно. Куда же теперь? С ума он сошел? Кто это такой?

— Идти можешь?

— Да, не доставлю тебе удовольствия.— Но каждый шаг причинял невыносимую боль. Гонза не выдержал.— Можно... помочиться?

— Только живо!

Что это должно значить? Гонза заметил, что они удаляются от проходной и идут в потемках все дальше. Он узнал стену котельной, гудящий силуэт электростанции... споткнулся и, наверно, упал бы, если бы спутник не поддержал его.

— Ты что дуришь, черт возьми?

Все было как в кошмарном сне, но Гонза шел и шел. Они очутились перед деревянным бараком, каких много на заводской территории — видимо, склад,— веркшуц взялся за ручку двери, с минуту прислушивался. Потом он простучал какой-то сигнал, еще немного подождал и только после этого нажал ручку и подтолкнул Гонзу. Они вошли в сыроватую кромешную тьму, где пахло тряпьем, мылом и еще чем-то. Когда за ними закрылась дверь и щелкнул замок, помещение скудно осветилось.

Веники, ведра, большие и маленькие, груды мешков и другой хлам, на ящике стоит закопченная спиртовка и две миски, на стене висит слегка надорванный плакат — красная лапа протянулась к Градчанам, подпись: «Схватит тебя — пропадешь!» Рядом что-то приписано мелом, Гонза не разобрал.

---

* Ну что, хорошо... Я остаюсь здесь, хорошо .. *(нем.)*.

— Чего уставился, братишка? — раздался за ним голос.— Надо же нам было хоть чем-нибудь разукрасить стену. Портрет Сталина повесим попозже...

Гонза обернулся и остолбенел: опять он, этот старикашка из поезда! Старик подошел к нему, шевеля кустиками бровей.

— Чего уставился, братишка? — повторил он.— Здесь тебя Мертвяк не найдет. А я и не знал, что это опять ты.— Он кивнул веркшуцу на ошеломленного тотальника: — У нас с ним есть одно дельце, понимаешь, Честа? Я ему должен кожу на подметки, только придется с этим подождать, нынче уж не достанешь в вагонах такой кожи, всю посрезали,— он хихикнул и потер морщинистые ручки. Потом с серьезным лицом повернулся к веркшуцу: — Башке еще возле поезда, Каутце вызвали из дому... У вас все в порядке, а?

— В порядке,— проворчал веркшуц, застегивая кобуру. Болтливость старика, видимо, его раздражала. Он швырнул фуражку на ящик, сел рядом и стал растирать колено: — Здорово его отделали, думал, что он вовсе не дойдет. Башке вызвал того остолопа из города... Собачий холод, бр-р-р!

И Гонза узнал его: он не раз видел этого веркшуца в проходной и в цехах — этакая заурядная внешность, лицо не молодое и не старое. На заводе у этого человека не было никакой репутации, он не отличался ни свирепостью, ни особенным рвением, ни, наоборот, общительностью, весь был незаметный и неинтересный.

— С этим делом покончено,— сказал он.— Не хотелось бы мне, чтобы из-за него поплатился Манек, не так он плох, как думают люди... А вы передали Шебеку в цех? Они еще, кажется, ничего не знают, но я не удивлюсь, если он заговорит. Если только стоило ради этого...

— Он знает, что делает! Я приготовил тебе одежду, Честа, но пойдете вы завтра. Все вместе. Сегодня будет горячий денек...— объяснил дед и повернулся к Гонзе: — Здесь ты не останешься, братишка, уж очень здесь сквозит.— Он отодвинул от стены один из ящиков, и оказалось, что под плакатом есть дверь: — Ну, чего стоишь, словно истукан!

Он открыл дверь и посветил внутрь. У Гонзы вырвался возглас — от боли лицо его искривилось:

— Мелихар!

Из серой полутьмы навстречу ему поднялась гигантская фигура.

— Ну, чего?

Гонза хотел кинуться к нему, но сдержанность Мелихара охладила его; тот растерянно щурился, как разбуженная сова.

— Что вы уставились на меня, молодой, словно десять лет не видели.— Это прозвучало чуточку приветливей, напарник по привычке слегка толкнул Гонзу в грудь, и его маленькие глазки удовлетворенно блеснули: — Виделись-то мы не так давно, и я вам чуть было не накостылял шею — терпеть не могу, когда работают спустя рукава. Ну, главное, что все обошлось, черт побери! Уж коли вы из-за нас влипли, пришлось вас выручать. Не думайте только, что ради ваших красивых речей. Расшаркиваться сейчас не время. А ну, покажитесь,— переменил он тему, и в тусклом свете лампочки стал осматривать пришельца; опытной рукой ощупал его челюсти, приподнял пальцем отекшую бровь, так что тотальник закряхтел, и удовлетворенно прищелкнул языком:— Отделали вас, молодой, как на ринге у Гаека не отделают. Дед,— обратился он к старику,— не глазей, а лучше приведи-ка его в порядок. А то и на интеллигента не похож! Есть у тебя пластырь? Добро. А как зубы? Целы? Главное, подальше убирать язык.

Старикашка ушел в переднее помещение и закрыл за собой дверь, Мелихар и Гонза остались наедине. Мелихар поправил фитиль лампочки и подбадривающе кивнул.

— Я им ничего не сказал, Мелихар,— поспешно заговорил Гонза. Каждое движение губ стоило ему больших усилий.

— Скажем, так. Да много ли вы знали!

— И в гестапо я бы тоже никого не выдал. Я...

Мелихар удивленно приподнял брови.

— Ишь ты! — воскликнул он.— Уже похваляется! Это вас так в гимназии учат? Смотри, какой герой из кино! Откуда вы знаете, черт возьми, что не выдали бы? — Он хлопнул себя ладонью по бедру.— Не устояли бы, говорю вам, что не устояли бы. Башке тамошним мастерам в подметки не годится. Ему, может, и хотелось бы вылезти в начальники, да там оказались половчей, молите бога, молодой, чтоб туда не попасть. Они даже и не спросят напрямик, а так вас околпачат вопросами и пинками, что вы сами не поймете, выболтали что или нет.— Он помолчал и добавил, уставившись в темный угол: — Почему, как вы думаете, мы тут торчим? Не от хорошей ведь жизни! Тут даже пива нет. Потому что коекто не удержал язык за зубами — ясно, а? И не какой-нибудь сопливый тотальник, а такой человек, что вы бы глаза вытаращили, кабы узнали. Черт их разберет! — В нем, видно, кипели озлобление и жалость, он сжимал и разжимал кулаки и наконец забормотал, скорей для себя: — А кстати говоря, если бы вы там заговорили, многим пришлось бы сейчас худо. Иной раз все зависит от таких вот звонарей... такое уж время! Чего вы стоите, как столб, садитесь! Только не на тот ящик — там у меня пирожные для праздничка, не дай бог помнете...

Гонза блаженно плюхнулся на стул и провел языком по пересохшим губам.

— Что будет дальше, Мелихар?

— Откуда я знаю? — почти грубо отозвался тот, но тотчас смягчился: — Второго крыла мы с вами уже не склепаем... наши рожи тут очень уж на заметке. Сбегайте, спросите Даламанека, не наложил ли он еще со страху в штаны. Есть у вас куда деться?

— Пожалуй, некуда... Не знаю, куда мне теперь податься.

Гигант с минуту недовольно морщил лоб и мял свое левое плечо.

— Этого еще недоставало,— проворчал он.— Надо было давно дать вам коленкой под зад. Не хватает мне охранять сопляков, которые затеяли играть в войну!

— Вы о нас знали, Мелихар?

— Где уж мне! — саркастически отрезал тот.— У вас на носу все было написано, этот ваш крем для загара. На что вы рассчитывали? Думали, что люди все бросят и побегут тут же под пули? Особенно этот ваш шут в шляпе с дырками — работать он не горазд, а вот трепаться и подбивать людей... Вам повезло, что всех вас не похватали на другой же день. Не думайте, что вы были одни... Ваша мать работает на железной дороге, что ли? Мы дадим ей знать о вас, чтобы она не померла со страху. Устроим вас на работу — есть ведь и другие заводы...

Гонза пошевелился на стуле.

— Мелихар, ругайтесь, как хотите, или стукните меня, если я вас опять разозлю... но примите меня к себе...

У Мелихара, казалось, дух захватило, он даже привстал с места, но быстро успокоился.

— Ну, хватит! Спятили вы, видно, молодой! Вас принять? А за что? Может, за то, что вас там сегодня отделали? Норов у вас есть, да только за приключениями идите в кино. У нас не киношка, у нас ставка — голова, вот и весь сказ. А теперь и вовсе. Вам-то зачем совать голову в петлю, дурень вы?..

— Я все понимаю, Мелихар. А вы меня испытайте...

Видимо, только потому, что это было сказано упрямым тоном, Мели-

хар умолк; он хмуро смотрел перед собой, мял пальцами заросший подбородок и сердито молчал.

Из соседнего помещения приплелся старикашка с марлей и пластырем и удивительно ловко, не переставая болтать, перевязал физиономию Гонзы. Когда за дедом закрылась дверь, оба вздохнули с облегчением. Мелихар расправил широкую спину, доски скрипнули под тяжестью его тела.

— Об этом не мне решать... Они вас как следует испытают, молодой, проверят, чего вы стоите.— Он не скрывал, что просьба Гонзы ему не по нутру, и, видимо, решил отругать его за все наперед. Повода ждать ему не пришлось.

— Мелихар, можно вам задать еще вопрос?

Гигант остановился около лампочки, сурово насупив брови.

— Это вы... «Олень»? Башке говорил...— Гонза осекся, лицо Мелихара, освещенное снизу, заставило его затаить дыхание.

— Угу! — Мелихар поднял ручищи к потолку.— Из-за вас я и вправду стал оленем! * Скачу на четырех ногах и жру траву! Тут кругом все олени. Что вы еще хотите знать, осел... с аттестатом? Обязательно вам нужно совать нос туда, где его могут прищемить?.. Довольно, что вы мне испортили столько заклепок! Трепать языком вы умеете, а больше от вас нет толку!

Низким до хрипоты голосом он честил подавленного Гонзу, потом внезапно, как все вспыльчивые люди, остыл и «доругал» его уже лениво, с прохладцей. Оба долго молчали и слушали, как ночной ветер рвет толь на крыше и воет в водосточных трубах.

Предутренний мороз лез во все щели.

— Ну, хватит трепаться, молодой,— сказал наконец Мелихар.— Ложитесь-ка вон там в углу и постарайтесь всхрапнуть. Никто вас отсюда не понесет на ручках.

Он повернулся и увидел, что Гонза уже спит, свесив голову. На лице у него застыло беспомощное, почти детское выражение, белела марлевая повязка, из опухшего рта вырывался легкий храп. Мелихар наклонился над ним, всмотрелся в лицо, обнаженное сном, посопел и, прежде чем погасить свет, прикрыл ему ноги пустыми мешками.

■

Днем и всю следующую ночь шел густой снег, на шаг ничего не было видно. Только на другой день к ночи беглецы двинулись в путь. Гонза надел пальто, которое где-то раздобыл старикашка, потому что собственное осталось висеть в раздевалке. Пальто было тесное и едва доходило до колен.

Они шли сквозь метель по строго продуманному плану, шаг за шагом, от здания к зданию, от угла к углу, держась поближе к заводской ограде и складам, обходя шумные цеха и проезды, и беспрепятственно добрались до калитки за ангаром, которая вела на аэродром. Мелихар сломал замок и сказал, что они пересекут аэродром, выйдут к железнодорожной ветке и оттуда к городской окраине. На шоссе и в пригородные поселки лучше не соваться, главное же — обходить ярко освещенные проходные будки других заводов. Наклонившись против ветра и словно раздвигая его плечами, Мелихар шагал впереди, огромный, как утес, за ним в штатской одежде шел тот, кого называли Честа, замыкал колонну Гонза. Было не слишком темно — кругом лежал снег. Гонза щурился, на лицо ему лепились снежинки, он спотыкался о мерзлую неровную землю и не оглядывался.

---

* Непереводимая игра слов: чешское идиоматическое выражение «стать из-за чего-нибудь оленем» значит «ошалеть», «одуреть».

На краю аэродрома Мелихар остановился и подождал всех.

— Как ноги держат, молодой?

— Добро!— подражая ему, отозвался Гонза.

— Пошли,— распорядился гигант.— У меня в башмаках целые лужи. И прежде чем зашагать, он обратился к молчаливому Честе:— Что там было вчера на ветке? Слышал что-нибудь?

— Да,— пробурчал тот.— Дед прибежал из живодерки и все рассказал. Нас это не касается... Какой-то парень из фюзеляжного, тотальник, не помню как звать, пытался взорвать вагон в том эшелоне... Так что нашим придется подождать. Нашелся тоже умник! Наверно, спятил — взялся за такое дело совсем один! Ну, конечно, пристрелили на месте. Самое глупое, что бомба так и не взорвалась. Не сработала... Понимаешь, совсем один!..

Порыв ветра заглушил его последние слова, разбросал их в остервенелой тьме.

13

Иди! Иди и не замедляй шаг! Только страх связывает тебе ноги, только боязнь того, что будет, когда поднимется занавес. Переведи дыхание и поторопись, уже был второй звонок, помреж выкрикнул твое имя — будь же стойкой!— надо доиграть эту роль, остался последний акт, последняя финальная сцена, самая трудная и ненаписанная,— головоломное выступление, за которым не последует грома аплодисментов... Ну и что ж? Это спектакль, тверди себе, что это спектакль, мрачная игра в жизнь, без перспективы на успех — повторных спектаклей не будет!— и все же покажи сейчас, есть ли у тебя талант, ведь некоторые так легкомысленно клялись в этом, другие лишь покачивали головами; сосредоточься, владей мимикой, голосом, глазами, жестами, смейся, как бойкая субретка, или зевай в ладошку, но играй, чтобы *он* ни о чем не догадался!

Попробуй же! Это нетрудно, а? Еще раз и получше!

Она тщательно причесывалась перед своим старинным зеркалом, впервые за долгое время испытующе разглядывала похудевшее и болезненно бледное лицо, смотревшее на нее из глубины комнаты. Это ты? Она подмазала губы и сразу стала выглядеть лучше. Еще немного пудры!

Половина пятого! Трамвай, скрипя, тащился в гору. Она сошла и остаток пути проделала пешком.

Дзинь, спектакль продолжается... нет, нет, это только коротко звякнул звонок в бывшей еврейской квартире, знакомые шаги — занавес взвивается в ужасающей тишине,— дверь открылась, и с замирающим сердцем она выходит на сцену. Ни пуха, ни пера!

Это он, ее партнер, она и в темноте узнает его лицо, узнает по белизне улыбки, по запаху свежести.

— Бланка!— с непритворным жаром произносит он первую реплику и, не ожидая ответа, закрывает за ней дверь и обнимает ее пылко, как влюбленный после долгой разлуки. От него пахнет коньяком и сигаретами.— Не стой же, снимай пальто, руки у тебя совсем ледяные!

Не уклоняйся, пусть он целует тебя, играй свою роль, чтобы незаметно было, что ты волнуешься, ведь он очень наблюдателен.

— Покажись! Ты похудела, но как хороша!

Говори! Какие еще сладкие слова он сегодня скажет, думает Бланка и позволяет снять с себя пальто. Долго ждать не приходится.

— Я и не думал, что две недели могут показаться вечностью,— говорит он с притворной мелодраматичностью.— Как жаль, что у поездов нет крыльев!

Еще лучше! Но она рада, что не нужно самой поддерживать разговор. И вот она уже сидит в своем кресле, поджав ноги, и, прикрыв лицо застывшей улыбкой, медленно согревается и пропускает мимо ушей всю его словесную мишуру. Для нее это только звук мужского голоса. Ну, возьми же себя в руки! Он еще не опустил шторы затемнения, она видит его в мягком свете настольной лампы. Это же он!

Он. Но как изменился! На нем нет обычного халата, который придавал ему домашний вид, брюки на нем форменные, словно он только что вошел в дом и не успел переодеться, мускулистые руки, поросшие черными волосами, торчат из-за засученных рукавов белой сорочки. Непривычно. Мундир с поясом и кортиком она заметила в передней на вешалке. Но еще больше ее удивили его манеры — в нем нет обычного уверенного спокойствия, жесты какие-то нервные, тонкими пальцами он часто проводит по спутанным волосам.

— Извини, у меня беспорядок, я приехал только сегодня утром,— он с усилием изобразил на лице легкую улыбку. Это игра, подумала она, игра в улыбчивость!

Он не сел против нее, а зашагал от окна к столу, на ходу выключил приемник, потом долго сидел спиной к ней, глядя, как меланхолические сумерки сгущаются в кронах деревьев.

Она поняла в чем дело, заметив полупустую бутылку коньяку, и не противилась, когда он молча налил и ей пузатую рюмку. Она отвела глаза, но чувствовала, что он смотрит на нее испытующим взглядом, которым умеет проникать в глубины сознания своих жертв, в их сбивчивые и разбегающиеся мысли.

Напрягая всю силу воли, она выдержала этот взгляд.

— Ты похудела. Что такое? Недоедаешь или неприятности?

Она заставила себя улыбнуться, пригубила коньяк и откинулась в кресле. Я выгляжу кокетливо, но не надо утрировать, он не поверит.

— Не хочется сегодня думать о неприятностях.

Он оживился, опрокинул рюмку, не слишком уверенно поставил ее на стеклянную доску стола, потом подошел к приемнику и включил его.

— Правильно! Здесь у нас оазис для двух усталых людей. Заботы, хлопоты и горести благоволите оставить в прихожей. Я так и стараюсь делать, даже выключаю телефон. А то вдруг господину рейхсфюреру СС вздумается удостоить меня своим вниманием,— кисло усмехнулся он,— говорят, он страдает бессонницей, по ночам ему мерещатся еврейские молитвы. Ну, а я сплю крепко, сон у меня отличный.

— И пьешь, как вижу.

— Да. Оказалось, что длительная трезвость невыносима. Не думай, что я пью, чтобы заглушить совесть. Мне нечего заглушать, а тем более нечто несуществующее. Я пью за мир, полный вздорных вымыслов, моя дорогая! За Германию, которая с каждым днем, часом, минутой все больше походит на дырявый курятник. И вообще, за наш век, когда, видимо, все возможно. Назревают крупные события. Будет великое землетрясение, те, кто переживет его, не поверят своим глазам, увидя, что их ждет. Ты не возражаешь, что я пью?

— С какой бы стати я стала возражать? — поспешила ответить она.

Подчеркнуто легкомысленный тон ее ответа, судя по всему, удивил его, но он не показал виду; лицо, освещенное снизу глазком приемника, осталось неподвижно.

— Знаешь, я обнаружил здесь любопытную пластинку. Видимо, осталась после того еврея. Хочешь послушать? Она, наверно, на идиш, я в этом не разбираюсь.

Не ожидая ответа, он опустил адаптер на пластинку и оперся локтем на приемник. Лицо у него вдруг стало очень усталым.

Она не понимала слов, видимо, это был библейский псалом, но и без слов брало за душу: высокий, похожий на женский голос заполнил уютную, погруженную в полумрак комнату, он нарастал, надламывался в мучительном рыдании и затихал — в жизни она не слышала ничего более скорбного и душераздирающего, чем этот жалобный голос, который, казалось, проникал до самых кончиков нервов, сжимал сердце, пронизывал человека, вскрывал его, как скальпелем. В этой песне были красота и ужас, красота ужаса... или наоборот, были в ней благоговение и жалоба на весь мир, была скорбь певца, простирающего руки к пустым небесам, к невидимому богу; она чувствовала, что пение захватывает ее, овладевает ею, предательски расслабляет... Зачем, зачем он это слушает?! Пьян он или обезумел? Что это — самобичевание, садизм, извращенность? Довольно!

Она порывисто встала — стряхнуть с себя это гнетущее состояние, не поддаваться ему! — и с мольбою в глазах подошла к нему. Он понял и выключил приемник, не дав довертеться пластинке.

— На сегодня хватит, а? — сказал он с чуть заметным раздражением человека, который против своей воли поддался чему-то ненужному. И скрыл это раздражение улыбкой.— Меня тошнит от этого овечьего блеяния. Оно полно униженного страха и раболепия перед тем, бородатым, на небесах. Если у чертей в аду достаточно фантазии, они могли бы со временем поупражняться с помощью этой пластинки над нашим милым Штрейхером *, вместо того чтобы банально сажать его в кипящую смолу. Я слушаю ее каждый день. Хочется знать, кому угрожает этот еврейский сладкопевец. Привычка!

— Ты их очень ненавидишь? — спросила она с притворной небрежностью.

Он не сразу понял.

— Кого? Ах, евреев? — он подумал немного, потом устало махнул рукой: — Нет, не особенно. Я просто не думаю о них. Я не признаю фанатизма даже в вопросах расовой чистоты. Это пережиток. Глупость, достойная нашего паралитического фюрера. Прежде да, я ненавидел их, но и то лишь в рамках принадлежности к нашей партии — ведь она поставила меня на ноги. Но я не склонен к фанатизму.— Он улыбнулся, глаза у него были пьяные.— А, кроме того, мне вообще противны все люди.

— Ты пьян,— хладнокровно констатировала она.

— Еще буду. То, что я говорю, не очень-то приятно слушать, а? Но так оно и есть, мне противны все — русские, поляки, чехи, так же как и англичане, эскимосы и папуасы, католики и буддисты, равно как иудеи. Все это одинаковая шваль: когда им грозит смерть, они скулят удивительно похожими голосами. Бывают, правда, исключения.— Он вздрогнул от отвращения.— Но больше всего я ненавижу нас, немцев. Особенно в последнее время. Не исключаю и себя... Себя я ненавижу всем сердцем! Есть в нас что-то противоречивое... нелепое, что-то от средневековья, пыль веков... Честный, работящий народ, простодушные люди с умелыми руками и философскими мозгами... и вдруг так поддаться на грубейший блеф, потерпеть полный крах и опять начать карабкаться вверх, как муха по стеклу. Противно! Если после войны — и до того, как начнется другая,— мы не избавимся от всего этого, то нам конец. Мы как лишние актеры: хочется играть, а приличной роли нет. Надо найти ее во что бы то ни стало!

— И давно ты понял это?

— Довольно давно. А вернее, всегда догадывался.

---

* Один из нацистских главарей, приговоренных к смерти Международным трибуналом в Нюрнберге.

— Почему же ты...— она запнулась и посмотрела на него.

— Договаривай, не бойся,— он воспринял ее испуг с шутливой снисходительностью и начал ненужное объяснение: — Придется мне, наверно, выучить еврейский или идиш, чтобы понять этого соловья. Не терплю неясностей! Почему? Сейчас объясню. Мне всегда приходилось высказываться тут перед голыми стенами, ведь в другом месте не могу, пусть же сейчас меня услышат человеческие уши. Хотя бы раз. Иногда мне кажется, что мысли мои разорвут меня...

Она слушала его с боязливой неловкостью, не все понимала, что он говорит, и все же готова была поклясться, что странное возбуждение, заставлявшее его нервно ходить по комнате, не наигранно, хотя алкоголь и придал ему некоторую мелодраматичность. Смотри!

— Почему, почему? Я уже давно спрашиваю себя об этом. Каждый день спрашиваю. И все зря. Но человек, который не почувствовал этого на своей шкуре, не может меня понять. Так к чему же... Разумнее было бы пить и говорить о других вещах... У этих вещей есть свой аромат, его выражает словечко «когда-то», и со временем он выдыхается... Человек вдруг начинает воспринимать все иначе. Звуки, слова, один черт знает что. Это процесс. А потом личные обстоятельства, случайности. Начинается, скажем, с хандры, человека исключают из университета, им овладевает сознание ненужности, бесперспективности... Но могут быть и другие причины, мир их предлагает в великолепнейшем ассортименте. Честолюбие, неполноценность, смутная жажда мести, желание сокрушить все вокруг, и это я видел. Человеку нужна отдушина, все равно какая... Потом наступает облегчение — нашел себя, нашел клапан для чувства неудовлетворенности и внутренней пустоты... А тогда начинают действовать еще чисто случайные факторы, и все складывается необычайно успешно. Дело идет на лад. Человек обнаруживает в себе различные способности, и его возносят. А крутой подъем всегда приятен, только не надо оборачиваться назад, а то голова закружится. Перед тобой лишь путь наверх. Пускаться в путь всегда лучше, чем плесневеть на месте. Все отправлялись в поход, отправился и ты. Вот и все.

Он расстегнул воротник и, покачиваясь и расставив руки, прошелся по краю ковра, как канатоходец. Видно, не первый раз он это делает. Потом долил рюмку, опрокинул ее, одобрительно прищелкнул. И снова оживился.

— А дальше? Это же изумительно просто: ты уже устроен, и тебе хорошо, потому что все обрело свой смысл, ты участвуешь в чем-то, ты стал нужным колесиком в машине, которая делает историю, все истины ясны тебе как день, ненависть легко вспыхивает и легко, чуть ли не наугад, находит свою цель. Ja, bitte! * Только кивните! Человек ленив. Ты живешь! Энтузиазм — простейшее дело. Это — водка, она не должна быть дорогой, как этот коньяк. Noch etwas weiter? ** Сомнения? Это балласт! Свойство слабовольных интеллигентов и неполноценных рас — долой их, ведь ты идешь в го-ру! Ты! Ты действуешь! Что? Методы? Жестокость? Кровь, кровь, произвол, сплошное болото интриг? Что из этого? Ах да, selbstverständlich...*** — это дело привычки. Ко всему можно привыкнуть. Такова уж человеческая натура, таков скрытый, но подлинный закон жизни в зверинце, именуемом человечество. Кстати говоря, среда, в которой ты прижился, всегда поможет. Другого и быть не может, она отшлифует тебя, как вода камешек. Правила игры здесь просты и даже довольно увлекательны, тебе они нравятся потому, что

---

* Да, пожалуйста *(нем.)*.
** Еще чего желаете *(нем.)*.
*** Само собой *(нем.)*.

дают сознание своей силы и власти. Вдруг обнаруживаешь, что ты не нуль.

Он подошел к окну, сгорбившись, уставился в темноту и, сунув руки в карманы, продолжал, обращаясь к стеклам:

— Ну, а есть ли доказательства, хотя бы одно-единственное, что история делается другими методами? Чушь! История — это сплошная цепь насилий и подлости, прикрытых иллюзорными идеалами. К твоему сведению: в трепете флагов, в топоте сапог и реве толпы так называемый голос разума — если он вообще существует! — едва слышен. Ручаюсь, что в Германии он уже не слышен. Ganz egal.* Тем лучше! Остается одна хитрость — для потерпевших поражение она всегда полезна. Прозрение мною пережито уже давно, и при этом я смехотворно одинок. Смешно! Я могу лишь взывать к этим стенам и к нежным ушкам девушки, чей братец — идеалист... и так далее. Потому что с теми, с кем я нахожусь на одном корабле, который вот-вот пойдет ко дну, я не нахожу понимания. Не получается! Мы вынуждены лгать друг другу в глаза... хотя я твердо знаю, что и они прозрели. Сволочи! Порочный круг замыкается. Но мне ничего не жаль, ничего, мы сами во всем виноваты, хотя наша вина и не та, которую через несколько месяцев припишут нам глашатаи так называемой исторической справедливости. Смешно! Близится новый обман, очередная похлебка для утешения околпаченных народов, и ничего больше!

Он неожиданно умолк, спустил штору и потер руками лицо, видно приходил в себя; только через минуту, словно осознав, что не один в комнате, он повернулся к Бланке, стряхнул с себя минутную слабость — теперь он опять был прежний,— подошел к ней, взял ее за плечи и заглянул в глаза. Она попыталась отвернуться, но тут же поняла, что ей не уйти от этого пристального, проницательного взгляда. Чего он хочет?

Она содрогнулась.

— А ты? — Это прозвучало лаконично, как на допросе.

Бланка выдержала, укрывшись за тусклой улыбкой, и пожала плечами.

— Что я? Ничего. Я это только я. Обыкновенная девушка.

— Это я знаю.

Он улыбнулся, как бы давая понять, что принимает игру, но она чувствовала в нем выжидательный интерес и была настороже. Ему что-то явно не нравилось.

— К тому же еще патриотка, не так ли? Это теперь модно. Старший брат рисковал жизнью в борьбе против бесправия, против коричневой чумы, как пишут в листовках, за лучший мир.

Она поняла, что надо как-то возмутиться, и подняла обиженный взгляд.

— Почему ты смеешься надо мной? Это обязательно?

Он сделал виноватое лицо, но из его тона не исчезла обычная ирония.

— Не обязательно. Но это все равно. Просто мне показалось, что все это немножко смешно. Бесправие будет устранено ради того, чтобы утвердить другое, и мир покатится дальше. Такова система. Все эти уравнения с героизмом попросту неразрешимы. Много наших молодых и многообещающих героев полегли костьми за то, во что сейчас верят уже только безнадежные фанатики, юнцы из «гитлерюгенда» и неудовлетворенные медицинские сестры. Но хватит! Все это неважно...

— А что же важно? — Бланка почувствовала, что очутилась на зыбкой почве.

---

* Все равно *(нем.)*.

— Ты! Для меня только ты, остальное меня не интересует! Я мечтал о тебе, как мальчишка! — Он взял ее пальцем за подбородок и заставил поглядеть себе в глаза.— Ну, отвечай же!

Удивление, поскорей разыграть удивление! Предательская минута нестерпимой напряженности... Вот-вот она все крикнет ему в лицо! Нет, нельзя!

— Что ты хочешь услышать?

Он невольно сам помог ей.

— Не знаю...— Он вздохнул и отпустил ее.— Ты как-то изменилась. У меня на этот счет особая интуиция. Не утверждаю, что безошибочная. Противное свойство — не так ли? Но есть и другие признаки. Например, прежде ты ни разу не вставала добровольно с этого кресла. Никогда сама не переходила со мной на «ты». Это еще далеко не все.

— А может, ничего не изменилось? — прервала она, уже овладев собой. Не надо переигрывать, иначе он разгадает тебя! — Я была здесь очень одинока, и мне было страшно. Разве это плохо, что я встала с кресла и...

— Наоборот,— засмеялся он с облегчением, но тотчас покачал головой: — Будь у меня чрезмерное самомнение, я стал бы сейчас уверять себя, что ты ждала меня с нетерпением. Но я не мастер строить себе иллюзии. Предпочитаю реальность. С некоторых пор я ничему не верю. И никому. Не уверен даже в тебе...

— А что, если я в самом деле ждала тебя с нетерпением?

Он ничем не выразил своего удивления, поцеловал ее в глаза и посадил обратно в кресло.

— Лучше не говори ничего, это звучит неубедительно, девочка.

Не обращая внимания на ее разочарование и испуг, он сосредоточенно наполнял рюмки, потом поставил бутылку на стол. Ей показалось, что, ставя на стол бутылку, он слегка покачнулся, но все же удержался на ногах. Посмотрев против света на рюмку с янтарной жидкостью, он отпил из нее.

— Я тоже должен кое-что тебе сказать, пока не совсем пьян.— Он в изнеможении опустился в кресло и закрыл лицо руками. Она слышала его дыхание.— Похоже, что сегодня мы видимся в последний раз, Бланка... Ты рада? Нет, погоди, пожалуйста, не говори сейчас ничего! От меня это не зависит... к сожалению! В ближайшие дни я уеду из протектората и едва ли вернусь до конца всей этой тотальной комедии. Он недалек: два-три месяца. А потом...— он невесело усмехнулся,— думаю, что сумею преодолеть в себе желание заглянуть сюда, по крайней мере в ближайшие годы. Как видишь, я рассуждаю вполне реально. Не думай, что я удираю от страха перед местью вашего голубиного народа. Не хочу оскорблять твои чувства... кстати, мне тут жилось неплохо, и я буду вспоминать о жизни здесь не без благодарности... во всяком случае, о тебе. Ничто меня не пугает, я сумею устроиться. Die Fahne nieder.* Я всегда гляжу вперед. Человек не настолько большая вещичка, чтобы...

— А что будет потом? — прервала она.

Вопрос взволновал его, его тонкие пальцы впились в ручки кресла, он склонился с иронической улыбкой в уголках рта.

— Разве я Сибилла? Увидим. Но я не пропаду. Я много знаю, а это неплохой трамплин для начала. Я уже думал об этом. Может, попрошу награду у союзников. Я ее заслужил. Не мешало бы написать извинительные письма тем, кого я обидел. Как ты думаешь? Мол, соблаговолите извинить, я действовал не по личному желанию, а в порядке служебного долга... Но я ленив писать.

---

* Спустить флаг *(нем.)*.

— Гнусный разговор! — не сдержалась Бланка.

— Прости, я забыл, что ты плохо переносишь некоторые шутки. А на другие я не способен, и так это уже нечто вроде распродажи. Кстати говоря, мне действительно гнусно, уверяю тебя. Гнусно, гнусно! Можешь презирать меня, сделай одолжение, можешь даже плюнуть на меня, если тебе хочется. Знаешь что? Там, на вешалке, висит мой мундир со всеми регалиями... Если хочешь, пользуйся!.. Э-э, вздор! Чушь я несу. Хотелось бы знать, отдохнешь ли ты, если избавишься от меня?

Он схватил рюмку, допил ее и посмотрел на Бланку испытующим взглядом, от которого ей стало не по себе. Рюмка звякнула.

— У меня для тебя есть выгодное предложение, Бланка,— спокойно сказал он.— Если хочешь, встань и уйди. Сейчас же, сию минуту, понимаешь? Сию минуту и навсегда. Обещаю тебе, что останусь сидеть в этом кресле и пальцем не пошевелю. Это не пьяный жест, не бойся, я отпускаю тебя безо всяких условий и обязательств.

— Я приходила сюда добровольно,— взволнованно возразила она,— и уйду тоже по своей воле. Плохо ты меня знаешь.

Он снисходительно кивнул, вяло поднял руку и уронил ее на ручку кресла.

— Допустим. Но существуют обязательства и по неписаным договорам, глупышка. Наш договор ты выполняла образцово. Сначала, стиснув зубы, а потом... Ну, молчу! Я сам расторгаю его. Что-то и вправду изменилось... и я не хочу тебя удерживать. Ты меня тоже плохо знаешь. Не хочется говорить о том, что похоже на совершенное безумие... Я понимаю, почему ты колеблешься, но уверяю тебя, что это напрасно. Могу тебе поручиться, что в положении твоего брата ничто не изменится. Он в безопасности. Не спрашивай меня ни о чем больше, но это так. Может быть, мое предложение кажется тебе слишком великодушным, но я делаю его всерьез: разойдемся по-хорошему, красиво. Больше я уже не могу! Ну, уходи, уходи, пора!

Он опустил голову на грудь и умолк, казалось, задремал. Но она заметила, что глаза его открыты. Она откинула волосы со лба. Перст судьбы! Встать и бежать отсюда... вероятно, это правильно! Закрыть глаза, заткнуть уши, ни о чем не думать, оставьте меня в покое, я хочу бежать от всего этого, от самой себя, даже тогда, когда предо мною стена, утыканная битым стеклом. Что вам от меня нужно, я всего лишь обыкновенная женщина, у меня слабые руки, мне страшно, наверно, я плохая актриса, я чувствую это, я хочу жить простой жизнью, любить мужа, воспитывать детей... я больше не могу... И вместе с тем Бланке казалось, что *ее кресло* словно втягивает ее в себя, сосет из нее силы, а она — всего лишь вещь, брошенная на это податливое мягкое сиденье.

— Ты еще здесь?

Она беспокойно посмотрела — слова эти были как удар под ложечку, она вздрогнула от него, но справилась с собой.

Он снова потер руками лицо, взъерошил волосы и быстро встал, словно сбрасывая какое-то бремя. Потом оживился и даже заставил себя улыбнуться.

— Я идиот и плохой хозяин. Мелодраматические разрывы гораздо успешнее совершаются на сытый желудок. Я болтаю, а ты сидишь голодная, как волк! Самый обычный волчий голод, я же тебя знаю. Не верти головой, для осужденного надо выполнить последнее желание. Представляю себе, как ты питалась эти две недели! — он ткнул в ее сторону пальцем.— Ты похудела, и это тебя полностью изобличает. Поэтому приговариваю тебя к одному роскошному довоенному ужину. Съедим все, что есть в квартире. Не отказывайся! — Он захлопал в ладоши и в ту минуту выглядел совсем мальчишкой.— Предлагаю меню: сардинки

с Сицилии. Ее мы давно уже сдали. Финики из Северной Африки. Съедим их в память «лиса пустыни»,* который тоже уже окачурился. Пустяки! Русская икра. Ха-ха, прошлогодний сезон! Апельсин, настоящий апельсин из Северной Италии! Не веришь? Последний на земле тысячелетней империи. Ей остается уже только чисто арийский ревень и масло из угля. Какое нам до нее дело! Пойдем в кухню и там в свете всеобщих перемен ты поможешь мне!

■

Серые клубы дыма медленно поднимались к потолку. Неподвижно лежа на диване и глядя перед собой, Бланка провожала их взглядом; рядом она ощущала тепло мужского тела. Такого знакомого. Слышала дыхание.

— Ты почти ничего не ела,— сказал он, нарушив молчание.— Не оправдала моих надежд!

— Я же сказала тебе, что не могу. Бывают дни, когда мне совсем не хочется есть.

— Гм... Прочитать бы сейчас твои мысли! О чем ты думаешь?

Бланка пошевельнулась на диване, заколебалась.

— Ты бы разочаровался. О пустяках. Мне хорошо.

— Лжешь ты отважно! — коротко резюмировал он и потянул ее за волосы.— А почему?

— Я думаю об этих переменах во мне,— поправилась она,— вот ты сказал, что и у тебя тоже...

— Ах, вот что! — Он выдохнул струю дыма, не проявляя особой охоты разговаривать. С минуту он молчал и лишь упорно затягивался, потом схватил рюмку и жадно выпил, словно боясь отрезветь.— Видела бы ты, что я сейчас видел! Я уже нагляделся на многое и все-таки не понимаю... Наверно, старею, через месяц мне стукнет сорок. Впрочем, именно в этом возрасте можно начать все сначала и без лишних осложнений. Я, видишь ли, съездил туда, где у меня было то, что называется родным очагом. Ничего особенного, из ряда вон выходящего я там не увидел: груды развалин и обгоревшие стены повсюду одинаковы. Эссен, Дюссельдорф, Кёльн, Дрезден — всюду одно и то же. Но видеть самому это не то, что читать в газетах. Там я понял, что ненавижу ваш город за то, что он не испытал бомбежки... Не думаю, что американские пилоты проявят себя восторженными поклонниками скульптур на Карловом мосту. То, что я видел, все еще стоит у меня перед глазами. Я искал некую улицу и не нашел ее, потому что даже квартал отыскал с трудом. Я ходил наугад, перелезал через развалины, справлялся в учреждениях. Всюду сумятица, усталость, смерть. Многие уже не боятся поносить наш режим вслух, а это не шутка для наших дисциплинированных людишек! Все уже отупели. Своих я не нашел никого, ни жены, ни ребенка... дом разрушен прямым попаданием. Надо было в свое время взять их сюда!.. Потом я бродил по городу. Вспомнилось почему-то, что в комоде оставалось вечное перо — подарок в день рождения. И больше ни о чем я не думал. Только обращал внимание на то, салютуют ли мне, как положено, встречные в военной форме. Вот она немецкая дисциплина!..— Он поднял руку с горящей сигаретой и стал чертить ею в воздухе какие-то круги.

Потом погасил окурок о дно пепельницы.

— Почему ты не сказал мне, что женат? — спросила она, испытывая звучность голоса.

---

* Имеется в виду гитлеровский фельдмаршал Роммель.

— Сам не знаю. Наверно, думал, что тебе это не понравится. Разве это важно? Сейчас ее уже нет. Ты меня и не спрашивала.

— Скажи, пожалуйста, в Германии есть большие города?

Он удивленно поднял брови.

— Были. Теперь их искусно уменьшают. Задавай еще такие вопросы, если они тебя интересуют... Рассказать тебе, что Геринг с увлечением разыгрывает из себя императора, а Геббельс колченогий? Могу продолжать до тошноты.

Она не дала сбить себя с толку:

— Меня интересует то, чего ты предпочел не сказать.

— Ладно, ты сама попросила.— Он снова потянулся за рюмкой. Алкоголь вызывал в нем возбуждение, которое сказывалось в жестах, в блеске глаз, но говорил он вполне связно.— Что ж ты не пьешь? — напомнил он.— Нам обоим нужно выпить, я скажу тебе сейчас нечто очень забавное. Мне это стало ясно совсем недавно, на обратном пути сюда. Я стоял у окна, какой-то попутчик докучал мне болтовней, а я не слушал его.— Он наклонился над Бланкой, заглянул ей в лицо, но не пытался обнять.— Я вдруг осознал то, о чем, кажется, уже давно догадывался: что я не представляю себе жизнь без тебя. Интересный вывод!

— Только и всего?

— До моего отъезда ты была скромнее.

Она отвернула голову и с трудом произнесла сжатыми губами:

— Может быть. И я была бы тебе весьма благодарна, если бы ты не говорил мне этого.

Он положил руку ей на щеку, не давая отворачиваться.

— Понимаю. Но почему? Ведь это правда, а ты поборница правды. Я не могу без тебя жить! Такие признания, наверно, нужно делать иначе, с пафосом, но я к нему не способен и забыл уже все нужные слова. Больше того, я хочу, чтобы ты уехала со мной. Это звучит безрассудно, но это так. Не принуждаю тебя, но хочу. Слышишь? Хочу! Не бойся, я сумею о тебе позаботиться, мы начнем новую жизнь, на новом месте.— Он говорил торопливо, молящим тоном и не снимал руки с ее лица, вероятно верил в силу своего внушения.— Чего ты дождешься, когда сюда придут большевики? Свободы? Нет, будет новый террор, уверяю тебя, может быть лишь более утонченный. Изменится только окраска, только флаги и обещания. Ты мне, конечно, не веришь, да и не можешь верить, иначе что же станется с твоими надеждами на райскую жизнь? Будь спокойна, я еще настолько трезв, что не стану вытягивать из тебя ответа, избавлю тебя от этого. Ты уж, наверно, жалеешь, что не ушла отсюда вовремя? Я же тебя предупреждал!

Преодолевая охватившее его возбуждение, он нащупал портсигар, закурил, лег рядом с ней навзничь и хрипло засмеялся.

— Забавная парочка: я, в ком ты видишь кровожадное чудовище, изверга без капли гуманности и человеческих чувств, палача твоих земляков,— и ты... уже не связанная со мной неписаным договором. Потому-то я и расторг его, понимаешь? Ну что ж, это не должно волновать тебя, ведь ты чувствуешь ко мне лишь отвращение и обязательную ненависть. Ведь так? Но при других обстоятельствах мы бы чудесно подошли друг к другу — не верти головой, все равно не поверю. Я это знаю, чувствую, несмотря на твою фанатическую самозащиту. Может, она-то меня и волнует больше всего. Нет смысла спорить об этом, молчу!.. Что же дальше? Не могу себе представить, чтобы ты перестала быть моей. Ты мне нужна! Что ненормального в этом желании? К такому же выводу приходят каждый день тысячи мужчин в мире, и никто не удивляется. Некий мужчина жаждет некую женщину, и родители, выяснив все обстоятельства, дают свое милостивое согласие, вот и все.

Хватит же! Где-то, выше этажом, заскулила собачонка, кто-то неумело заиграл на рояле. Послышались шаги над головой. Стеклянные подвески на люстре в квартире еврейского врача слегка дрогнули, и тиканье часов на руке, поросшей черными волосами, доносилось откуда-то издалека. На столе стояла тарелка с нетронутыми сардинками с Сицилии, хотя желудок сжимался от голода.

Он склонился над ней, лицо его было неподвижно.

— Поедешь со мной?

Он сказал это с грустной мольбой, была в нем в тот момент какая-то мальчишеская беззащитность, и все казалось почти нереальным — все ощущения внешнего мира перекрывала шипящая теплота и бульканье радиаторов,— оставались лишь лихорадочно горящие глаза. Что он говорит? Не надо слушать его, ты же знаешь! Он лжет, ты знаешь, что лжет! Он всегда лгал, он не может иначе. Лжет словами, молчанием, пальцами, которыми касается твоего лица, сжатых губ, волос, разметавшихся по подушке.

— Тебе нехорошо? — озабоченно спрашивает он.— Ты бледна, Бланка.— Он нежно положил руку ей на лоб.— У тебя жар!

Она покачала головой, уклонилась от его руки, спустила ноги на ковер и села спиной, спрятав лицо в тени. Соберись с духом, держи себя в руках, сейчас все поставлено на карту. Говори, говори!

Сам того не подозревая, он помог ей.

— Можешь не отвечать,— сказал он,— я не так уж непонятлив. Разве сама еще хочешь спросить что-нибудь?

Она откинула волосы со лба и затаила дыхание. Потом, овладев собой и сама себе удивляясь, сказала самым безразличнейшим тоном, на какой была способна:

— Ты угадал, я хотела спросить тебя кое о чем. Почему ты мне раньше не сказал, что Зденека давно уже нет в живых?

Как все вышло легко и просто! Ей казалось, что сказанное никогда не перестанет звучать, что оно повисло в воздухе, как нечто вещественное, ей хотелось закричать и разом высказать ему все, что ее душит, что все эти дни клокотало в ней, но разум подсказывал — этого нельзя делать, если она не хочет, чтобы он снова лгал, опомнившись от собственной истерии.

Шорох, скрип пружин под тяжелым телом — он встал. Подошел к радио, повертел одну из ручек и все еще упорно молчал. В радио нарастал звук рояля. Глупая театральная музыка, подумалось ей, у режиссера плохой вкус.

Он повернулся к ней, и она увидела его лицо таким, каким еще не знала. Все его черты были обострены безудержной яростью, она рвалась из глаз, поджала тонкие губы. Так вот каков он! От этого открытия ей стало легче. Наконец-то прорвалось его подлинное нутро! Попался, теперь уже не скроешься! Она ответила ему безразличным взглядом. Слышишь его голос? Его настоящий голос. Он сечет!

Он не сумел овладеть собой.

— Если бы было нужно,— сказал он неторопливо и холодно,— я легко мог бы узнать, кто сообщил тебе это. Ты поразилась бы, как быстро я могу это сделать. Без долгих околичностей. Ты сама сказала бы мне, понимаешь? Ты сама!..

Она напрягла все силы, чтобы не показать, что ее коснулась холодная рука страха, и не отвела взгляда. Спокойно склонила голову.

— К счастью, я этого человека не знаю, и потому он в безопасности. А всех тебе все равно не переловить, сам знаешь. Их много, удивительно много!..

Она осеклась под его леденящим взглядом.

— Советую тебе не говорить так. Наверно, у тебя и в самом деле жар.

Бланка поспешно переменила тон.

— Может быть. Но почему ты... Что, собственно, это меняет в наших отношениях? Зденек... Это ведь правда, что он умер?

Напряжение в нем спадало, он сгорбился, провел рукой по волосам, вид у него был смертельно усталый, но она чувствовала, что все равно надо быть начеку. Он подошел к столику, упал в кресло, пальцы его бегали по ткани подлокотника.

— Правда,— сказал он глухо.— К сожалению, правда.— Он протянул руку к бутылке, и Бланка заметила, что пальцы у него дрожат.— Если бы это можно было исправить, если бы можно было воскресить его, я не колебался бы ни минуты... Что ж, я хотел избавить тебя от этой нелепой правды, но ты меня перехитрила. Иной раз нет ничего хорошего в том, что человек добивается правды любой ценой, запомни это, упрямая! Без правды легче жить. Люди часто гибнут из-за правды. Если ты уедешь со мной...— Он не договорил и безнадежно махнул рукой, словно никак не мог приноровиться к тому новому, что возникло между ними. Поблескивающий напиток плеснулся в рюмке, которую он, вздрогнув, опрокинул единым духом.— Давно ты это знаешь?

Бланка поколебалась.

— Страшно давно, сто лет.

Взглядом он заставил ее замолчать.

— Хочешь, чтобы я тебе поверил?

— Оба мы не обязаны верить друг другу.

Он кивнул и снова налил рюмку.

— Ты права. Вера, надежда, любовь — все эти благородные понятия, которые придумали люди, чтобы не пугаться зверя в себе, существуют на этом свете. Не родиться на этот свет — великое преимущество. Пью за это! — Он пьяно засмеялся, но под ее взглядом отрезвел.— Ладно, ты узнала правду и держись за нее! Изменить уже ничего нельзя. Ты разве знаешь, как вернуть жизнь человеку, убитому год назад? Обратное сделать легко, а это невозможно...

В возбуждении он встал с кресла и снова принялся ходить по краю ковра, нервно жестикулируя. По его голосу она готова была поверить, что его страдания подлинные. Если только он сам подлинный. Потом он остановился перед ней, взял ее за плечи и хрипло заговорил отрывистыми фразами:

— Не гляди на меня так! Думай, что хочешь. Мы оба вели фальшивую игру — и ты, и я. Наконец-то все стало ясно, а я люблю в делах ясность. Да, я обманул тебя, низко, подло, я пользовался тобой целый год, скажем так! Бог его знает почему, лгать тебе было очень трудно. Ложь отравляла мне каждую проведенную с тобой минуту. Тошно! В конечном счете я обыкновенный человек, хочешь верь этому, хочешь не верь! Но тогда — постарайся это понять! — тогда передо мной стоял не твой брат, а преступник. Нарушитель закона и мой заклятый враг, на редкость опасный. И смелый. Мы живем не в мире идиллий. Твой брат был замешан в таком неслыханном и небывало разветвленном заговоре, что это дело превышало компетенцию примитивных ищеек с Бредовской улицы. Не было другого выхода: или они, или мы... И он поделом поплатился за свою дерзость, там же, на месте. Моя вина разве только в том, что, перед тем как он плюнул мне в лицо, я не осведомился у него: «Извините, пожалуйста, нет ли у вас сестры? Есть! Тогда пардон, можете беспрепятственно продолжать, милый шурин». Ведь это смешно!

Бланка не шевелилась.

— А почему ты утаил это от меня?

— Почему, почему! Что ты хочешь знать? — Он устало сел рядом с ней, но смотрел в другую сторону.— Наверно, потому, что ты понравилась мне с первого взгляда, и потому, что я не любитель секретарш и девок из армейских борделей. Потому что я хотел, чтобы ты стала моей, хотел целовать твою грудь, обладать тобой, слышать твои стоны. Говорить дальше? Да, это подло, низко, цинично, но это можно понять. Потом стало еще труднее, и уже не оставалось другой возможности, кроме как молчать и лгать, лгать... Потому, что я не мог представить себе, что потеряю тебя. Я ни о чем не жалею, а если и жалею, так только о том, что не встретил тебя в иное время и в иных условиях. Не в нашем подлом веке! Мы могли бы жить как муж и жена, самой обычной жизнью. Но мы встретились в извращенное, сумасшедшее время... Я бы от всего отказался, если бы мог встретить тебя снова и начать жизнь сначала... где угодно и когда угодно, пусть хоть в доисторическую эпоху, первобытным человеком с дубинкой или дикарем на необитаемом острове, на Тибете, среди зулусов, где угодно! Понимаешь? Только не здесь и не так, как сейчас. Поверь хоть этому. На большее я не претендую.

Он растянулся на диване, умолк и тяжело дышал. Подвески люстры снова дрогнули от шагов наверху, потом стало тихо. Предательская тишина! Бланка поняла: он ждет, чтобы она заговорила. А она молчит! Ты забыла свою роль, девочка! Суфлера!

— Что ж ты не уходишь? — услышала она за своей спиной.— Теперь ты все знаешь. Или тебе кажется, что мы еще не объяснились? Ошибаешься.

Она поднялась, медленно повернула к нему лицо, попыталась заплакать, но из этого ничего не вышло. Она грустно покачала головой.

— О каком объяснении ты говоришь? — она положила руку ему на локоть.— Ничего уже нельзя изменить. И меня тоже не изменишь. Куда мне теперь деться? Ты меня понимаешь?

Он приподнялся на локтях.

— Не совсем.

— Ну ладно! — Она сама наполнила рюмки и одну подала ему.— Сегодня мне хочется выпить... Я знаю, что это безумие, но изменить что-либо уже поздно. Для меня поздно. Можешь не верить, если не хочешь. Сейчас уже все неважно. Остались только мы с тобой...

— Бланка! — он потряс ее за плечи, словно стараясь разбудить,— Ты кривишь душой. Ты пьяна!

— Хотела бы быть, весь остаток жизни. Тогда было бы куда проще! Ты думаешь, я не в своем уме? Я охотно стала бы сумасшедшей, мне осточертела правда! Так мне и надо! — Она разом осушила рюмку — даже слезы выступили у нее на глазах,— поперхнулась и откинула волосы со лба.— Я не привыкла отмалчиваться. Слушай же: ты обошелся мне слишком дорого... стоил всего, что у меня было. Теперь у меня нет ничего. Почему не пьешь? Я теперь уже не та, какой была, когда мы встретились. Многое я поняла, общаясь с тобой. Видимо, ты прав, хотя твоя правда мрачная и страшная... и поэтому,— она перевела дыхание и вскинула голову,— если ты сказал это всерьез, я уеду с тобой! Сейчас, именно сейчас мы сблизились по-настоящему! На самом высоком гребне мира. У нас нет ни истории, ни прошлого, мне плевать на обстоятельства, плевать на все...

Перестал дышать? Но под рукой она чувствовала живое тепло его тела. Он молчал, видимо, в изумлении, но когда она отважилась взглянуть ему в глаза, она увидела в них прежнее недоверие. Он прищурился, его взгляд стал испытующим. Медленно, с грустным сомнением он покачал головой.

— Слишком хорошо я знаю тебя, чтобы поверить, что ты можешь все забыть. Разве только, если ты и в самом деле переменилась.

— Удастся ли — не знаю, но попытаюсь. Что мне остается еще. С ума сойти? Ты сам сказал, что человек может жить в любых условиях. Так ведь? Вдыхать и выдыхать, это ведь совсем просто! Не оглядываться на прошлое — вот в чем главное. Поверь, я совсем не хочу превратиться в соляной столб... Пей же! Кстати говоря, не я одна: очень многие после этой войны предпочтут не оглядываться, не вспоминать прошлое...

Она не договорила, он схватил ее в крепкие объятия, поцелуем заставил замолчать, до боли впился в ее губы, прижал к дивану и целовал лицо и разметавшиеся волосы — она не противилась. Настойчивые и властные руки гладили ее шею и плечи. Он что-то шептал по-немецки — в возбуждении он всегда переходил на родной язык. Сколько раз она уже слышала этот прерывистый требовательный шепот, в котором нарастала страсть?! Острый запах перегара, прикосновение его опытных и вместе с тем юношески нетерпеливых рук... Его руки! Нет! Он старался возбудить ее, она вытерпела и это, но, когда он коснулся ее бедер, она вдруг воспротивилась с необычайной силой.

— Нет, нет, так не хочу! Ты же знаешь...

Вырвавшись из его объятий, она встала с дивана.

— Что с тобой? Разве я тебя обидел? Я думал...

Она молча кивнула в сторону торшера и опустила глаза. Он с облегчением улыбнулся.

— И когда ты перестанешь бояться света? Ладно, подчиняюсь, хотя и неохотно.— Лежа он потянулся к выключателю, и комната погрузилась во мрак.— Ты здесь?

— Да,— она стояла рядом и коснулась его руки, но уклонилась от ее пожатия.— Я глупая... Мне нужно привести себя в порядок. Я сейчас вернусь.

— Обещаешь? — раздалось в темноте.

— С условием, что ты не будешь зажигать свет. И останешься лежать. Я приду сама, понял? Я хочу. Я ведь не кукла.

Он согласился с шутливой серьезностью и лег.

■

Дальше, дальше! Ну, иди же! Иди до конца, иди на ощупь, в потемках, путь недалек! Бланка нащупала плотную ткань портьеры, проскользнула за нее и вышла в переднюю. Ванная. Бланка нажала выключатель. Свет из матового стеклянного шара над раковиной ударил ей в глаза, она увидела себя в зеркале и с минуту стояла неподвижно, всматриваясь. Это ты. Она открыла кран и стала мыться, с бессмысленной тщательностью намылила лицо, сполоснула его, вытерла полотенцем. Это было приятно. Она заметила, что ее движения как-то механически размеренны. Еще, еще минутку! И вдруг, совсем неожиданно для себя, она перекрестилась, как ее когда-то, страшно давно, учила покойная мать. Ах, мамочка! Слезы вдруг подступили к горлу. Она чувствовала, что вот-вот расплачется от слабости и одиночества... Нет, нет, нельзя!

Она вышла из ванной, не погасив света и оставив дверь полуоткрытой. Полоса света падала в прихожую, может, достигала и комнаты. Надо, чтобы было видно. Уснул он? Что, если... нет! Куда там! Почему вдруг опять стало так тихо? Рояль наверху умолк, изменник, но вот снова взметнулся фальшивый аккорд.

Он висит здесь, посмотри! Пальцы судорожно бегали по ткани мундира, цепляясь за нашивки, блестящие молнии. Пояс. Пряжка. Как это называется? Шпага, кортик? Неважно! Осторожно и брезгливо она вынула клинок из ножен. Meine Ehre heißt Treue *. Какой, однако, тяжелый!

---

* «Моя честь — моя верность» *(нем.)* — девиз эсэсовцев.

Боже, прибавь силы! Холод металла пронизал ее тело. Она попробовала острие пальцем и в изнеможении прислонилась к стене.

Как долго она стояла?

Бланка подняла голову. Прислушайся! Не зовет ли? Нет, нет, опять тихо.

Ну, играй же, играй,— мысленно просила она неумелого музыканта там наверху,— ударь по клавишам, пусть это будет для меня сигналом.

Спасибо, я уже иду.

Она раздвинула портьеру и, как тень, проскользнула в темную комнату.

■

Произошло... произошло *нечто* — она это знала совершенно твердо, это было единственное, что сохранило ее смятенное сознание. Потом она поняла, что стоит, прислонясь к чему-то надежному, твердому, это было дерево, каштан, под пальцами шершавая кора, и кругом холодно, мороз, удушливая мгла, пропитанная дымом. Бланка хватает воздух открытым ртом, как усталая птица, и ее тошнит, перед ней знакомая улица, телефонная будка на углу... она не видит будки, но знает, что она вон там, дальше доходный дом, подъезд с табличками в хромированных рамках и темное окно на четвертом этаже, слева чугунная ограда парка, за ней ветер качает озябшие ветки, вдалеке гудит поезд и куда-то мчится, только она стоит, стоит напротив его дома — отбежать дальше у нее не хватило сил — и стучит зубами, неудержимо, бессильно и смешно, и она знает, что все кончено и вместе с тем не кончено, что это никогда не кончится, ибо секунды остановились и бесконечно повторяются вновь и вновь, и она...

...она снова сидит на краю дивана, и мурашки бегут по коже, руки у нее как у куклы, из которой выпотрошены опилки, она не знает, куда их деть, она равнодушна и бездумно пуста, но внутри неумолимо звучит приказ, точный, чудовищно ясный, мучительно неотвратимый, подобный шпоре, удар которой она предчувствует всем телом. Отступления нет! Ее пугают его прикосновения в темноте. И его слова. Она слышит их, хотя не вслушивается, знает только, что это немецкие слова, но они не доходят до нее, она наедине с собой. Она и здесь, и не здесь. Он тянется к ней, но она отводит его руку. Я сама. Левой рукой она ощущает тепло его голой груди, вот она — широкая, выпуклая, живая, поросшая мягкими волосами, вот здесь, здесь сильные, уверенные удары из глубины. Хватит! Замолчал бы, ради бога... Рука испуганно отстраняется, а сердце бьется все оглушительнее — играй же, играй!— она отводит руку — надо, надо, да ну же! — а руки как чужие, как приставленные...

— С вами случилось что-нибудь?

Голос словно с того света. Он бьет, выводит ее из оцепенения. Что ему надо? Высокая, темная фигура. Человек остановился за ее спиной и терпеливо ждет ответа. В темноте не видно его лица.

Крик? Нет, скорей удивленный и наполовину человеческий стон, он стоит в ушах, проник в мозг и не замолкает! Встань, встань и беги! Произошло! Нет, все еще происходит. Бланка ударилась обо что-то — это ручки кресла, *ее кресла*... оно на том же месте... все повторяется снова... это ощущение — погружения, проникновения,— оно в пальцах, в бессильных руках, она знает, это ощущение никогда не забудется, не пройдет, она до смерти будет таскать его за собой, она думает об этом с ужасом, но без тени сожаления, и все еще стоит в потемках, глаза ее расширены, дыхание перехватило, она есть, и ее нет, она пятится, шарит около себя, стараясь ухватиться за что-нибудь прочное, пятится, и ей

хочется кричать, скорей бы конец — хватит, хватит! Но конец еще не наступил, нет, *он* еще жив и хрипит... шевелится в этой жуткой, ожившей тьме... слышен треск бьющегося стекла, она слышит шорох, пыхтение — огромный, неуклюжий жук, спрут... вероятно, ищет ее, чтоб не дать уйти, хрипит, нечеловечески хрипит... долго и упорно, словно от тяжелой работы... торшер падает на ковер, а она все пятится и пятится...

— Оставьте меня! — испуганно восклицает она, но тотчас овладевает собой.— Нет, со мною ничего не случилось... Спасибо...— Зубы у нее стучат, она держится за ствол дерева и слышит, как прохожий, невнятно бормоча, удаляется, каблуки его стучат в темноте, и все повторяется снова...

...Вот угол серванта из красного дерева, она цепляется за него, потом нащупывает гладкую поверхность приемника и чувствует, что больше не выдержит, что нет сил слышать этот хрип... Она бессознательно включает радио, и в едко-зеленом свете видит — он еще жив, но хрип слабеет, переходит в свистящий кашель, но не смолкает... Почему же не слышно радио, почему так тихо... о, эта хриплая, гнетущая, величественная тишина... заглушить... за-глу-шить ее... я уже не могу больше!.. Она на ощупь находит мембрану, пускает диск, игла падает на пластинку, шуршание, равномерное шуршание, потом слышится высокий, надрывный голос еврейского певца, он взметается, надламывается в угрожающем рыдании, падает, как подбитая птица, песня полна отчаяния, она оплакивает весь мир и снова взмывает ввысь, бьется о стены и окна...

Бланка кидается к двери, на ходу хватает с вешалки пальто, она не в силах оглянуться, нет, нет... Дверь захлопывается за ее спиной, она бежит по резиновой дорожке, спотыкается, падает. Прочь, прочь, прочь отсюда!

Опомнись же! Под рукой у тебя шершавая кора дерева, кругом липкая тьма, мир тьмы, свисток паровоза врезается в сознание, будоражит его. Свершилось, конец, и ты это знаешь, свершилось там, совсем рядом, за темным окном четвертого этажа, надо бежать отсюда, беги же, ты слаба, перепугана до смерти, беги от самой себя, от того, что снова и снова повторяется в твоем сознании и никак не может кончиться, ведь это в тебе самой и ты не избавишься от этого до самой смерти, камень на сердце, ты заклеймлена этим. Поняла? Ты уже другая, совсем не та, которая шла сюда еще несколько часов назад...

Бланка попыталась двинуться с места, и это ей удалось. Она шла, как во сне, будто не по твердой земле... Потом все, что давило грудь, прорвалось слезами — она заплакала тихо, жалобно, почти по-детски. Шла черной улицей, не замечая мира, в котором ей назначено жить, и плакала...

Занавес, скорее занавес!

14

Вставай, молодой!

Кто-то трясет Гонзу за плечо. Приоткрыв глаза, он сразу узнал Мелихара.

— Бомбили Прагу! Только что бомбили. Ты живешь на Виноградах? Добро, беги туда, только гляди в оба! Отвечаешь за себя. И чтобы воротился к вечеру!

Гонза рысцой спускался с крутых улиц предместья, а мозг упорно сверлила одна мысль: вот и началось! Бомбили Прагу! Скорее домой!

Однако первые признаки бомбежки он заметил только на главных улицах: трамваи в смятении несутся по чужим маршрутам — здесь ведь не ходит двадцатка... Заливаются звонки. Смятение в шагах прохожих... Пронзительные сирены машин скорой помощи раздвигают толпу... А так ничего особенного. Вон толстая тетка с тощей рыночной сумкой, переваливаясь уточкой, плетется по тротуару, но совершенно так же могла она проходить тут и вчера; в боковой улочке мальчишки гоняют тряпичный мяч, воробьи невозмутимо копаются в лошадиных «яблоках», такие же, как год, как сто лет назад.

Горящий Эмаузский монастырь Гонза увидел еще со Смиховской набережной: языки огня, черные клубы дыма окутывали башню и часть неба. Не останавливаясь, Гонза перебежал через мост. Мутно-коричневая вода, угрожающе грохоча, валилась через плотину, от реки поднимался сырой ветер.

— Стой, прохода нет!

Гонза что-то сбивчиво толковал полицейскому, рискнул даже вытащить из кармана «кенкарту»; на счастье, у полицейского было много других хлопот. Он свистнул — «ладно, беги».

То же самое разыгрывалось на каждом углу.

И вот, наконец, Гонза увидел — и удивился, что не очень поражен: развалины печально напоминали развалины других городов и улиц, какие он видывал в киножурналах «Уфа», сидя в безопасности кинотеатра: пламя жадно гложет оконные проемы, груды кирпича завалили улицу и трамвайные пути, дырявые коробки домов с вырванными глазами, выпотрошенные квартиры, где час назад сотни людей жили своей маленькой жизнью,— теперь в них грубо обнажены банальный узор обоев, картина, по прихоти случая оставшаяся на крюке...— почему-то именно эти мелочи действовали сильнее всего — и стекла, стекла, целые сугробы, хрустящие под деревянными подошвами, и путаница рваных проводов над вспоротой мостовой, из которой фонтаном бьет вода прорванного водопровода... Едкий дым вызывал кашель. На лицах люфтшуцев написано комичное сознание важности момента — *их момента!* Струи воды яростно бьют в пламя, клубы пыли щиплют глаза... Брошенная детская колясочка, полосатые перины, чемоданы на тележке, суетливые движения сотен людей, беспомощных до отчаяния, носилки... Кровь... Еще носилки... Все это было знакомо Гонзе; странное чувство — это я где-то видел! Незнакомы только звуки — в кино такие сцены обычно сопровождались трагической музыкой Вагнера, а здесь гул и треск горящего дерева смешивались с громкими командами, плачем младенца, женскими причитаниями где-то в подворотне...

Засунув руки в карманы, спешил Гонза по знакомой улице,—сколько раз я проходил здесь! — и едва узнавал ее. Да, ей досталось, а вот соседняя почти совсем цела. Странно, нелепо, нелогично, как сама смерть, которая не утруждает себя выбором, косит наугад, как пьяный жнец. Почему этот дом, а не соседний? Гонза глядел на хаос разрушений и удивлялся тому, что не способен испытывать чувства, которые мог бы предположить в себе: ни жалости, ни участия, ни протестующей ненависти к режиссерам этого отвратительного спектакля... Ни даже страха! Только знакомое ощущение зыбкости и тщеты.

Как будто над городом промчался хулиган, одержимый жаждой бессмысленного разрушения, и тут же трусливо скрылся. Несколько секунд — и вот небо над городом снова безоблачно, солнце спокойно освещает мир, и мягкие его лучи предвещают весну. А ведь еще февраль на дворе. Деревья парка на Карловой площади равнодушно бросают холодные тени, в самом конце парка странно-широким полукругом те-

снятся любопытные. Гонза не удержался, подошел ближе, подпрыгнул: на разрытой земле, метрах в двадцати от него, лежит громадная бомба — одинокий испуганный зверь из иного мира, выставленный на показ осмелевшим землянам, в солнечном свете матово поблескивает темный корпус. «Разойдись!— кричат люди в форме.— Она может быть замедленного действия!»

Кто-то сказал, что в бомбоубежище на другом конце парка были прямые попадания. «Прямо мясорубка,— сказал человек в спецовке,— нет, господа, меня в убежище не загонишь, я не крыса!»

Лица, обрывки фраз. Гонза приглядывался к людям. Что сталось с ними? Они вовсе не подавленны,— они дисциплинированны, спокойны и лихорадочно деятельны. Американский налет? Слышалось до странности мало упреков и брани по адресу тех, кто все это сделал. Понятно: слишком много брани обрушивает на них каждый день протекторатная печать, чтобы у кого-нибудь была охота поносить их вслух. И вообще пражане, видимо, не поражены: то, что сегодня низринулось на них с неба, слишком давно висело над нетронутыми крышами Праги, чтобы быть неожиданностью. Большинство, казалось, приняло бомбежку с покорным пожатием плеч, как фатальную неизбежность, как нечто, что должно было когда-то случиться. И даже — несмотря на слезы женщин, осиротевших, на стоны раненых — с некоторой долей того нервозного юмора, который пробуждается, наверно, только у тех, кому дано с неизведанным еще чувством трепетного счастья понять, что были на волосок от гибели. Смерть еще тут, рядом, они чувствуют ее всеми нервами, их ноздри еще обоняют ее непостижимый смрад; и они отгоняют ее словами, жестами, а некоторые легкой истерикой.

Не волнуйся, может быть, наш дом уцелел... Но чем ближе подходил Гонза к своей улочке, тем больше видел он разрушений. По какой системе выбирали дома? Кто составлял список? Дурацкие вопросы! Гонза шел по знакомым улицам, как в мучительно ярком сне, только у этого сна был один недостаток: он был явью. И все — настоящее: пожары, развалины, вой сирен, поваленный трамвайный столб, люди, оставшиеся в живых...

Он замер на месте, но не позволил себе отвести взгляд от носилок на краю тротуара. Гляди, надо привыкать, это еще не конец, это увертюра, удар тигриного когтя, первое и мимолетное прикосновение того, что близится с каждым часом. Куда ты хочешь бежать? Гонза знал, что человек на носилках мертв. Что-то безошибочно убеждало его в этом, хотя то был первый мертвец, которого он видел своими глазами: неподвижность его была иная, чем у живых, более неподвижной, и тишина, которая исходила от этого, была *тише*. Абсолютная тишина неодушевленного предмета. Как ни странно, ужаса Гонза не испытал, лишь легкое головокружение да сознание непоправимости. Какое-то клеймо на душе. Что же меня так потрясает? Эта будничность: редкие волосы убитого, сквозь которые просвечивает кожа черепа, в ямочке на подбородке следы пудры после бритья... Это напоминание об обыкновеннейших делах жизни человека было самым страшным! Запавший рот чуть приоткрыт, словно готовится высказать обыкновенную до грусти тайну, на лице почти осмысленное выражение. Гонза отвернулся, во рту у него пересохло, он пошел дальше, но казалось ему, что весь он стал как-то тяжелее.

Места были все более знакомы. Витрина аптеки — с ней связана дрожь от рассветного холода, ожидание трамвая — уцелела. Крошечное облегчение! Магазин игрушек — Гонза стоит, прижав нос к стеклу, тихонько канючит: «Купи, мама!..» Книготорговец успел спустить железную штору. Прошлое непонятным образом держится в памяти: вот он топает с кувшинчиком за пивом, на обратном пути, озираясь, слизывает горьковатую пену. Начальная школа: дед — он гораздо моложе — вво-

дит Гонзу в подъезд школы, там стоит какой-то особый запах... Первый класс, портрет *«батюшки»* Масарика, чучело хорька таращит пуговичные глаза. «Садись, малыш, слушай, что вам расскажет пани учительница...»

Навязчивое представление: пани учительница знает все на свете...

«Берегись!» — крикнули где-то. Горящая балка валится с пятого этажа на перекореженную мостовую... Его мир, мир маленьких людей, обыденных, безвкусных домов с ненужными башенками, неровных улиц...

Гонза выглянул из-за угла. Низкое, эгоистическое облегчение: даже отсюда виден жестяной ящик на их окне, это «огород» деда, он там выращивает зеленый лук. Угловой фонарь, надпись мелом на облупившейся штукатурке: «Ержабек осел». У дверей, оживленно жестикулируя, толпится кучка знакомых. Гонза узнает дворника, Иткину мать... Заметив, что в его сторону направился один из соседей, Гонза поспешно поворачивает обратно.

Он бежит, мелькает под ногами знакомый узор тротуарных плиток; дорога известна до мельчайших подробностей: мимо запертой гимназии, он не бывал в ней с того самого дня, когда вышел оттуда с аттестатом в кармане, но и сейчас еще на долю секунды коснулся его такой знакомый страх: и зачем в понедельник первый урок — математика? Сегодня вызовут, как пить дать, по алфавиту его очередь... Нет, нет, пан учитель — он спасается от сверлящего взгляда,— из меня ничего не выбьете!

Запах свежего хлеба ударил в ноздри, Гонза замедлил бег; но пекарня на углу закрыта, железная штора спущена.

Вот и ступеньки в нише подъезда, ты хорошо их знаешь!

Еще несколько шагов, и Гонза превращается в придорожный столб. Он замер на углу, широко раскрыв глаза, хочет закричать, но только беззвучно шевелит губами, не в силах выдавить из себя ни звука... Поверил, только нащупав рукой холодный металл — гладкий столб знакомого фонаря, не устоявшего под взрывной волной, переломившегося пополам. Кругом битое стекло, Гонза двинулся вперед, ступая по осколкам, он идет по противоположной стороне, держась за стену, и все проводит по лицу ладонью. Нет! Нет! А больше никаких слов не было. Он кашляет от едкого дыма, ему не хватает воздуха, щиплет глаза, как будто он плачет... Пыль, дым...

Нет, нет!

Дом, третий от угла... единственный на всей улице!.. Почему? Он приблизился, как в неправдоподобном сне... Почему-то уцелел фасад с рядами выбитых окон... Не может быть! За фасадом ничего не было, там было пустое пространство. Пустота. Дом пробит от чердака до подвала, словно мясник вырвал внутренности туши. Развалины еще тлеют. Слышатся команды, плеск воды из брандспойтов. Спокойная, удивительно спокойная паника — и всюду стекло, стекло! Пусть бы это был только сон!

Суета людей посреди развалин казалась ему до смешного бессмысленной — к чему все это! Гонза поднял слезящиеся глаза, обвел ими упрямо стоящий фасад, сосчитал — последний этаж, четвертое окно слева... Через окно видно мутное небо, затянутое чадным дымом! Ветер дует вдоль улицы.

Взрыв — и точка на всем? Нет, нет! Стуча зубами, Гонза пробивался локтями в толпе. Еще ближе! Кто-то с налету толкнул его и не извинился. Им овладело какое-то странное отупение.

— Дальше нельзя, вернитесь! Это вам не театр, слышите!

Кто-то молился вполголоса, за спиной раздавался бессильный женский плач.

— У вас там были близкие?

— Назад, слышите? Стена может рухнуть!

Роскошное зеркало да над тахтой портрет человека с чертами Аполлона — больше Гонза ничего не может себе представить. Не получается. Он вдруг осознал, что тянет за рукав человека в форме, допытывается о чем-то, кричит так, что вены вздуваются на шее, все повторяет одно имя, твердит его, как заклинание. Человек сердито вырвался, но потом лицо его, покрытое пылью и потом, слабо дрогнуло.

— Ослеп ты, что ли? — говорит он пересохшими губами. И уже более мирно: — Откуда мне знать? Списки погибших? У тебя что, шарики повыскакивали? Ждать надо. Что? Спасся ли кто? Разве что на крыльях. Вот что, сыпь отсюда, приятель, мертвых и без тебя хватает!

— Назад, люди!

Вот и все. Гонза словно повис в воздухе. Он склонил голову; в куче под ногами что-то привлекло его внимание. Гонза нагнулся: оторванная головка гипсового святого из разбитой витрины. Глаза из синьки на банально-благостном лице улыбались с праведным безразличием.

Гонза повертел головку в руках и гневно отбросил.

Нет.

В кафе на главной улице безлюдно, обер-кельнер в потертом фраке и грязной манишке встал, видимо, раздосадованный тем, что посетитель увидел его зевок, принял строгий и недовольный вид. «У нас не переговорный пункт. Не видите, кафе закрыто!» Потом он все-таки смилостивился и показал пальцем на телефон в темном коридорчике, где пахло кухней и клозетом.

Ту-ту! Занято. Гонза с трепетным терпением набирал номер завода; на подстанции полная неразбериха, но после долгих усилий его соединили со складом.

— Материальный склад, Клапан у телефона! — Гонза узнал голос Леоша. Тот чуть не вскрикнул от изумления, когда Гонза назвался — словно он выходец с того света! — С ума сойти, Гонза, а мы-то думали... ну да, понимаю... погоди у телефона, я погляжу...— Шипение и треск в трубке длились вечность, потом снова послышался голос Леоша.— Алло, ее здесь нет. Не вышла на работу. Факт, должна была в утро. Нет, ничего не знают. А что? Да не попали по нам, обормоты. Я прямо готов со злости... Что с тобой?

Гонза повесил трубку, вращающиеся двери вытолкнули его на улицу.

Он стоит на ветреной набережной, сплевывает в бурную воду и не хочет смотреть на пейзаж, тысячекратно запечатленный на рисунках и открытках. Как смешно перебирают лапками плавающие утки... Гонза следит за полетом чайки: вот она перевернулась в воздухе, с резким криком падает на воду, и Гонзе кажется, что он понимает единственное слово в языке чаек: «жрать, жрать!» Он немного завидует чайке: ей ни до чего нет дела. Что ты знаешь? Солнце спускается, вытягивая на дыбе тени деревьев соседнего острова.

Иди дальше!

Но куда?

Гонза плетется через мост, и вдруг, очутившись на другом берегу,— словно по неслышной команде — опрометью пускается бежать.

■

Отложи карандаш! Как это было? Помню,— то ли когда я пролез через дыру в заборе, то ли, вернее, когда со всех ног бежал мимо рассыхающихся, перевернутых лодок,— мне показалось, что из трубы сарайчика поднимается дымок. Я не верил еще, в ту минуту это казалось мне подозрительным и грубо подстроенным, я боялся обмануться и подавил в себе робкую надежду. Странно: теперь, много лет спустя,

когда я пишу эти строки, в них — уже спокойная достоверность свершившегося факта, этакая относительная правда пережитого.

Да, все случилось просто: стоило только открыть дверь.

Я разглядел ее профиль даже в том скудном полусвете, который просеивался через грязные стекла. Знакомый запах холостяцкого жилья... Бланка сидела на единственном стуле, вытянув ноги к железной печурке, закутанная в грубые одеяла; она испуганно обернулась, когда я вошел. Не знаю, сразу ли она узнала меня, она встала — помню, одно одеяло сползло к ее ногам,— однако не двинулась мне навстречу. Я стоял на пороге как призрак, держась за дверную ручку, мне не хватало воздуху. Потом я захлопнул дверь и шагнул навстречу неподвижно раскрытым глазам...

— Маркиза! — тихо позвал я, обращаясь к тени. Я боялся шума и, уж не знаю почему, назвал Бланку этим давним, чуть пренебрежительным заводским прозвищем. Наверно, после долгой разлуки мне трудно было произнести ее имя.

Жива! Я воспринял это, как нечто естественное и логичное. А Бланка все еще не шевелилась и — что совсем меня сбило с толку — не обнаружила ни малейших признаков удивления.

Ни радости, ни отвращения, ничего!

Мы стояли друг против друга и молчали. Не помню, как долго длилось это странное молчание. Я заметил, что губы Бланки, чуть приоткрытые дыханием, слегка дрожат, словно бы к ним изнутри рвутся слова, но голоса нет, и они остаются невысказанными. В печурке гудело пламя, через трещину стенки дрожащий отсвет падал на белый лоб Бланки. Она ли это? Она!

Я касался взглядом ее лица,— когда-то давно, страшно давно я был просто болен им,— потом, как Фома неверующий, отважился коснуться светлых волосков веером на переносице. Бланка не отстранилась. А я, как слепец, ощупывал ее лицо, узнавал и не узнавал его, кажется, тихонько звал ее по имени — точно не помню, но помню странное ощущение, что она меня не замечает. Было в ней что-то незнакомое, какая-то перемена, сдержанное безразличие, не знаю что, знаю только, что я почувствовал себя ужасно беспомощным. Бланка! Это я! Узнаешь? Она, быть может, силилась вернуться к действительности, но это ей удалось только после того, как я схватил ее за плечи.

Тогда она протянула ко мне свои руки ладонями кверху.

— Я убила его... Вчера вечером... Не знаю... Наверно...

Я тупо таращился на ее маленькие ладони, на пальцы, исцарапанные заклепками, и целая вечность прошла, пока я понял смысл этих слов. Мозг мой был парализован, я мог ощущать только безмерную жалость, но ни слова не приходило на ум, так я был потрясен. Я заставил ее сесть. Пусть говорит!

— Я не могла иначе... Иначе мне нельзя было бы жить... Но я никогда этого не забуду, не смогу, я знаю...— Она выдавливала из себя эти слова, уставясь в догорающий огонь, и лицо ее старело с каждым словом.— Я убила человека... наверно... Не знаю! Вот этими руками, взгляни! Я их боюсь... брезгую ими... я мыла их ночью в реке... не помогло! После вчерашней ночи я — уже не я...

Она не умолкла, пока все из себя не исторгла. Мне было нехорошо, я подумал, что отныне меня уже ничто не поразит, кроме собственной смерти.

Я придвинул от окна ящик, на котором сиживал прежде, сел и слушал ее. Потом — по крайней мере, мне так показалось — она немного успокоилась, если можно назвать спокойствием изнеможение, откинула волосы со лба тем особенным своим движением, которое я так любил; и я готов был видеть в этом машинальном жесте признак возвра-

щения к прежнему. Она посмотрела на меня с непонятным вопросом. Помню, мне хотелось, чтобы она заплакала; но этого не произошло.

Говори, сказали мне ее глаза.

Я встал и потянулся, чтобы выиграть время.

— Тебе не в чем упрекать себя,— сказал я самым твердым голосом, на какой был способен, я плохо понимал, что я такое несу; потом меня будто осенило: я взял ее руку, раскрыл ладонь и поцеловал. Не знаю, поняла ли она, помню только, что в ужасе отдернула руку.

Довольно! В облупленном чайнике на печурке клокотала вода, и этот мирный звук побудил меня заняться практическим делом. Здесь где-то должно быть немного липового цвета — мы летом нарвали его на Сазаве... Я пошарил в хламе на полке. Бланка поняла, что я ищу, и кивнула на полупустой кулек на столе. Я нарочно громко топал по полусгнившим доскам, чтобы спугнуть зыбкую тишину, озирая этот грязный и жалкий мирок, который когда-то так много значил для меня. Похоже на кладбище воспоминаний — на каждом шагу надгробные памятники. Вот нож. Вот пустая сахарница... Холеные мордашки кинозвезд по-прежнему глуповато улыбаются с цветных фотографий, но теперь их нарочитость меня возмущала. Одна лишь божественная Гарбо сохраняла достоинство своей меланхолической загадочности, если не считать, что в свое время я пририсовал ей фербенксовские усики. В вазочке на закапанном стеарином столе сохнет веточка прошлогодней рябины. Где же кружки? Вот эта с отломанной ручкой — моя, из другой всегда пила Бланка; не будем менять прежнего порядка.

Тонкими пальцами Бланка обхватила кружку и машинально отпила.

— Я потеряла голову,— заговорила она.— Всю ночь провела на улицах. Боялась — замерзну, и все ходила, ходила... Ко мне пристал какой-то тип, видно, думал, что я проститутка. Я убежала от него. Не знаю точно, что я делала. Сюда я решилась прийти только под утро...

Я понял, что она ничего не знает о бомбежке. В дрожащем свете печурки Бланка казалась уже совсем спокойной; я почувствовал облегчение, но ненадолго.

— Здесь мне нельзя оставаться,— сказала Бланка,— сын нашего Гефеста, Карел,— помнишь? — вернулся из Германии. Сегодня он пустил меня, видно, из благодарности судьбе, но вечером все равно придется убраться.

Липовый чай согревал желудок, съежившийся от голода. Мы сидели рядом, вытянув ноги к огню, и отхлебывали безвкусный отвар. На первый взгляд все было как прежде, но все было не так. В этой тишине и полутьме меня охватило такое чувство, будто на свете нет больше людей — только мы двое. Последние. Или первые?..

— Почему ты не пошла домой?

— Не могу,— вздохнула она.— После такого становишься загнанным зверем, не рассуждаешь. Я забыла там сумочку, в ней удостоверение, заводской пропуск, продуктовые карточки, все... Ко мне домой уже наверняка приходили.

Ящик подо мной скрипнул. Я молчал.

— Я будто повисла между небом и землей. Что мне делать?

— Сейчас пей чай.— Наигранной решительностью я попытался прикрыть свою полную растерянность. Долив ее чашку, я стал болтать о том о сем, стараясь собраться с мыслями.— Человек не такая уж крупная вещь, может и затеряться, и потом — до конца войны теперь недолго, может, несколько недель...

Мелихар! Мне представилось его сердитое лицо в подушечках, оно несло доброе облегчение, я ожил. Он должен помочь! Пусть ругается, как угодно, пусть наорет на меня, как на собаку — насчет этого я не

сомневался,— но помочь он должен! А я готов стать перед ним на колени, пригрозить ему, готов на что угодно... Почему-то я был твердо уверен, что он не откажет, и с великолепным легкомыслием уже убедил себя: все спасено! Я выложил свой план Бланке, она сначала недоумевала, не верила, но в конце концов кивнула.

— Обещаю, что не буду помехой...

— А ну тебя!.. Но что с тобой? Тебе нехорошо?

Она созналась, что не ела со вчерашнего дня. Я пошарил в бумажнике, нашел талоны на сто граммов мяса и на хлеб. Я и сам-то, пожалуй, был зверски голодным.

— Погоди здесь,— сказал я.— Я сбегаю в город и постараюсь раздобыть что-нибудь.

Я возвращался, спотыкаясь о скользкие плиты причала, в кармане у меня согрелся тощий сверточек с еще более тощей колбасой; я тихонько насвистывал блюз, тот самый мой унылый голубой блюз. Отчего-то он вдруг возник у меня в памяти, брел рядом.

— В жизни не едала ничего более вкусного,— сказала Бланка, вытирая губы. Я с удивлением сообразил, что ей всего двадцать лет. Она всегда казалась мне старше, в особенности сейчас.

— Сегодня я впервые видел труп,— сказал я ни с того ни с сего, сам не зная зачем.

Бланка не подняла глаз — может быть, не расслышала.

Сумерки входили через окно снаружи, но я одолел искушение и не зажег керосиновую лампу; я был уверен, что в темноте сидеть лучше. Слабо горел огонь в печке, и в нем мне виделось лицо убитого со следами пудры на подбородке...

— Знаешь, чего мне жалко? — сказала Бланка, грея руки над печкой.— Зеркала. Наверно, его украли, как ты думаешь?

Я поразился такой мелочности — человек несколько часов назад пережил столько, сколько иной не переживет за сто лет. Быть может, это инстинкт самосохранения? И вместе с тем это было так похоже на ту Бланку, которую, как мне когда-то казалось, я хорошо знал, и печально напомнило прежнюю близость. Я улыбнулся.

— Ну, зеркала ведь не перестанут делать!

Она покачала головой.

— Таких больше не будет. Зденек перевез его из нашей старой квартиры. Сколько я себя помню, оно висело в прихожей. Когда-то мне приходилось становиться на цыпочки, чтобы посмотреться в него.

Я представил себе безглазый, сожженный дом Бланки и подумал: не сказать ли ей все? Но только стиснул зубы. Она сидела вполоборота ко мне, подперев голову рукой, и неподвижно глядела на огонь, отражавшийся в ее глазах.

■

— Что же это с нами случилось? — спросила она.— Ты понимаешь?

Мне отчаянно захотелось курить, я обшарил все складки карманов, но не нашел ни крошки табаку.

— Не понимаю,— сказал я, помедлив с ответом.— Или — очень плохо. Есть вещи, из которых не извлекаешь уроков, а если и извлекаешь, то от этого не легче. Пустые разговоры...

В душных потемках что-то нарождалось в душе — скорее смутные чувства, чем мысли, я помню еще, что у меня болела голова.

Из чего мне было извлечь уроки? Из страха? Из тоски? Из чувства одури и сознания зря потраченных лет? Из той идиотской, липовой работы, которую я выполнял из-под палки? Из того, что я видел вокруг? Оплеухи, смрадная атмосфера... Протекторат? Все это придется, пожа-

луй, всю жизнь истреблять в себе — и еще неизвестно, удастся ли,— а потом начинать как-то иначе. Иначе...

Но я до сих пор не знаю в точности как.

Я плюнул на грязный пол и встал.

— Представляю себе, что ты думаешь,— да, все это не так просто. Было ведь и другое,— если б не было этого другого, я бы совсем уж не знал, для чего болтаться нам на земле. Тогда уж не было бы никакой надежды. Бывали минуты, когда мне хотелось подохнуть. Не сумел!

Я открыл ногой дверцу печурки и подложил дров — почему-то я боялся, чтобы огонь не погас. В трубу ударило порывом ветра, погнало дым в комнату. Я протер глаза, отошел к окну и стал глядеть в жидкую тьму. Можно было различить контуры лодок, перила у спуска к воде. Реки не было видно, но я знал, что она там. Чьи-то шаги прошуршали по песку мимо сарайчика и затихли.

— Вчера я снова начал писать,— сказал я, помолчав.— А мне-то казалось, я уже навсегда покончил с этим. Зачем — не знаю, и не знаю, что важного и значительного могу я сказать людям. Я чувствую себя заживо ободранным кроликом. Может быть, писание — всего лишь какой-то инстинкт, но есть в нем облегчение.

Я пристально глядел в темноту. Ребята... В последние дни я много думал о них в своем вынужденном уединении; перечитывал «Лицо» Галаса и ломал себе голову: почему же я сблизился с ними? О тебе, Милан, я думаю уже без ненависти, но в душе все еще спорю с тобой. Мы разные люди. Ты, быть может, в принципе прав, но в твоем изложении эта правда для меня почему-то несъедобна, ты — верующий, а я даже сейчас не способен уверовать в твое примитивное представление о рае, уж очень оно напоминает мне красочный плакат с рекламой зубной пасты, а я по натуре привык все усложнять. «Специалист по сомнениям», так ты меня назвал однажды. Надутый, копающийся в душе интеллигентишка...

И Войта. Хотел бы я с тобой когда-нибудь встретиться, Войта! Если только это возможно. Жив ли ты?..

Бацилла, наверно, по-прежнему ходит к своей шлюхе в полицейский бордель. Он доверил мне свою тайну. Мужчиной стал. Не хочу быть к нему несправедливым, но, пожалуй, он рад, что все кончилось.

И Павел... Я и думать еще не могу об этом спокойном, бледном по-городскому лице, за которым таились такие страсти. Мы даже не были с ним друзьями, но я реветь готов, как вспомню его гибель, я с ней еще не примирился. И не примирюсь. Почему? Не знаю. Вот его нет, а в мире ничего, ничего не изменилось. Что же это было? Мы назвали себя «Орфей» и творили немало глупостей. Наверно, не мы одни... Чудо, что нас не переловили, как кроликов. Да, я признаю, ничего значительного мы не сделали. Пишкот не был отомщен, и от всех наших усилий фронты не продвинулись ни на шаг, и все-таки я готов сразиться с любым, кто станет отрицать, что нас соединило нечто высокое. «Орфей»!.. Я уверен в этом и сейчас, хотя боюсь, что мы заплатили слишком дорого, и хотя знаю теперь, что настоящая борьба куда менее романтична и более обыденна — часть обыкновенной жизни.

Наверно, я все-таки что-то понял — честное слово, не помню, говорил я об этом вслух или только думал,— но важно это только для меня самого. Видно, не может человек оставаться в равнодушном одиночестве, не может не вмешаться... Не в силах он нести бремя жизни один... Не знаю, как сказать... Очевидно, он должен присоединить свою жизнь, отдать ее чему-то большему, чем он сам, чему-то вне себя, если не хочет в известные моменты сойти с ума от сознания бессилия и одиночества... от непреходящего ужаса, от дурноты при мысли, что он живет неизве-

стно зачем и умрет, тоже не зная зачем... что бродит по земле пустым призраком, нулем...

Мне стало немного неловко этих мыслей, хотя они и не были похожи на ту книжную премудрость, которой я когда-то пытался ошеломить Бланку. Я чувствовал, что должен говорить, должен разбить тишину, в которой мы завязли, эту неустойчивую тишину, в которой трепетало что-то невысказанное и плавало в теплом смраде сарая — что-то, чего я не осмеливался коснуться. Нет, только не это!..

Плещущий шорох на крыше был хорошо знаком; это ветер трепал листы толя. Гнетущий звук!

Что ты болтаешь? Я умолк, я сразу узнал его: Душан стоял передо мной, стройный в своем черном свитере, и улыбался с необидным, грустным превосходством. Бедняга, завел себе новые иллюзии? Слюнтяй! А ту, которую ты так яростно защищал от меня, ты уже потерял? Оглянись! Она для тебя уже в прошлом. Чего же стоила твоя убежденность? Впрочем, что ж, на здоровье, если с новыми иллюзиями тебе легче будет тянуть эту утомительную канитель...

Помню, я яростно воспротивился, но вновь почувствовал свое бессилие: его речи так легко покоряли меня. Оставь меня, Душан, не хочу тебя больше слушать, не могу. Думай, пожалуйста, что я примитив, животное, думай что угодно, но мною ты больше не овладеешь! Теперь я так чувствую, а для того, чтобы чувствовать так, я должен был упасть на самое дно, разбить себе лоб, и вся моя смешная напыщенность, ребяческая доверчивость, все обветшалые иллюзии — все это разлетелось при падении. Я подобен опустошенному гробу. Взвесил я свое столь важное «я» и ужаснулся. Да, в нем, возможно, заключено все, но именно потому оно непосильное бремя. Ты-то знаешь, ведь ты рухнул под ним. Да, это так. От него не избавишься. «Я» — слишком мало, смысл его не может быть в самом себе, и оно не спасется, даже если в страхе прильнет к другому «я». Получатся лишь две ничтожно малые величины, и сил у них до отчаяния мало...

Я думал, это меня убьет. Но вот выкарабкался, кажется, хотя в душе моей будто воронка от снаряда... Не убеждай меня!

Аромат чая... Душан вяло пожал плечами. «Почему ты хочешь избавиться от меня? Я никогда ничего тебе не навязывал, какой в этом смысл? Вообще все в мире бессмысленно. Я ушел из него, потому что понял это — и потому, что не терплю непоследовательности. Что ты обо мне знаешь? И что, собственно, понял ты, дурачок? Смехотворная суетность! Такая банальность... Сколько еще впереди у тебя таких катастроф и постижений? Не лги, в глубине души ты сам предугадываешь это... Что ж, пусть будут у тебя новые иллюзии. Если я тебя за что-то уважал, так именно за сомнения, они еще кое-как держат тебя на ногах. Не завидую тебе, трудно тебе придется в жизни, вечно ты будешь искать то, чего нельзя найти. Напрасный труд, и притом пожизненный: человек умирает раньше, чем успевает хоть что-то понять...»

Ну и пусть, пусть!

Я вздрогнул, очнулся — в висках кололо — и огляделся. Бланка молчала, может быть, она и не слушала меня. Как ни странно, меня это не рассердило. Я подошел и стал у нее за спиной. Она не шевельнулась; она пристально глядела на свои руки.

— Помнишь, нас загнала сюда гроза,— сказала она.— И я была счастлива здесь.

— Не оглядывайся назад,— встревоженно прервал я. Что-то опасное близилось к нам, нависло в воздухе... Мне страшно захотелось предотвратить это. Надо уйти отсюда до наступления ночи!.. Мелихар, наверно, уже кроет меня почем зря. Трусливое нетерпение овладело мною. Я положил руки на плечи Бланки, она быстро оглянулась, словно

я застиг ее за чем-то запретным. Отблески огня играли в ее волосах, на лице лежали пепельные тени.

— Почему ты пришел сюда? — спросила она.

Легкомысленно улыбнувшись, я ответил уклончиво:

— Случайность! А может, и не случайность. Разве ты забыла, что когда-то мы уговорились встретиться тут, если потеряем друг друга...

Она медленно и задумчиво покачала головой.

— Не забыла. Только тогда мы имели в виду другое.

Я отвел глаза и убрал руки. Потому что даже из этой простой фразы, высказанной спокойно, безо всякого выражения, мне стало ясно, что она сама поняла все. Говорить? Лгать? Нет! Мне хотелось плакать. Смеяться над этой тягостной пародией на встречу, над карикатурой того, что в фильме называют «хэппи энд». Но я справился с собой. Вот ты дождался, ты с ней, можешь прикоснуться к ней, впервые после всех этих пустых недель и месяцев, это она, и она здесь, настоящая, живая, ты смотришь на нее вблизи и слышишь ее дыхание, это та женщина, что вырвала тебя из блаженного мальчишеского спокойствия, пробудила в тебе сильнейшее чувство, на какое ты способен, в ней твоя уверенность в жизни, она твоя единственная точка опоры во вселенной, держись же за нее, это та девушка, с которой ты страшно давно, затаив дыхание, пытался заговорить в рабочем поезде, которую ты потом так безумно старался привязать к себе, по которой тосковал, как голодный пес... И вот ты глядишь на нее, и все в тебе мертво, потому что ты уже не любишь ее и знаешь это, потому что ты — равнина, исхлестанная ветрами, и живут в тебе сострадание, да жалобное бессилие, да тупая тоска по тому, что было и чего уже нет, что звучало, но уже не звучит, что рассыпалось прахом в одну ночь. Возьми же ее, если можешь. Нет, ты не можешь, и знаешь это! Упрекать? Кого? Смириться? Искать ее снова? Где? Как? Как это делается? Не знаю. Ничего больше не знаю...

— Ты права,— сказал я тогда и встряхнулся.— Пойдем?

Я помог Бланке надеть пальто, потом тщательно залил остатками чая огонь в печурке — Гефест всегда настойчиво напоминал нам об этом, и я это сделал, даже не зная, что мы уже никогда не вернемся сюда.

Надевая пальто, я заметил, что по дороге к двери Бланка взяла со стола вазочку и спрятала ее. Никогда потом мы не напоминали друг другу об этом.

Она ждала меня у двери — плоская тень с бледным пятном лица; я ощупью нашел ее руку.

— Мы хоть остались живы,— сказал я невесело.— Придется как-то довольствоваться этим.

Я поднял воротник, глубоко вздохнул и быстро открыл дверь. Мы вышли в колышущуюся темноту...

Д. ЗАТОНСКИЙ

homo
МАКС ФРИШ

Когда пишут: «Главный предмет литературы — человек» или «Искусство есть человековедение»,— некоторые усмехаются. Такие фразы кажутся им столь же банальными, что и «Волга впадает в Каспийское море». Однако усмехающиеся не всегда правы.

На современном Западе все чаще и чаще встречаешь художников, чье творчество — «человековедение» в более узком, несколько специфическом смысле слова. Для них человек — не только «мера всех вещей», но и «тайна», которую снова предстоит раскрывать и постигать. Ибо традиционных представлений о человеческой природе, накопленных наукой и литературой в прошлом, теперь уже не хватает.

Этих художников окружает довольно странный мир. Внешне он упорядочен, чуть ли не «благополучен». Он наполнен множеством полезных вещей: автомобилями, воздушными лайнерами, бетонными автострадами, многоэтажными универсальными магазинами, холодильниками, телевизорами, лифтами. Все это удобно и красиво, подогнано и прилажено, работает безотказно. А живется человеку в этом мире одиноко и неуютно. Он испытывает постоянный страх. Под стандартной улыбкой оптимиста прячет нервную гримасу неудачника.

А потом вдруг что-то перестает функционировать в точно выверенном механизме общественной жизни. Люди бросают строить жилые дома, производить холодильники, лифты. Они принимаются сооружать лагеря смерти.

Но почему? Откуда все это — жестокость, холодное равнодушие, покорное отчаяние, трусость, которая горше преступления? Может быть, человек и есть вечный странник, вечный изгнанник, вечный неудачник и ему не дано быть нормальным, разумным, счастливым?

Но сомнения не обязательно ведут в тупик. При определенных условиях тревожные вопросы становятся источником художнического поиска, диогеновым фонарем, освещающим тропу.

Перед глазами Диккенса, когда он писал «Оливера Твиста» или «Тяжелые времена», были работные дома и ужасающая нищета лондонских трущоб. И даже перед глазами Ганса Фаллады, когда он создавал свой роман «Маленький человек, что же дальше?», стояли картины прямого угнетения и безысходность массовой безработицы. Ныне нищета не лезет из всех дыр буржуазной Европы, и фигура безработного не определяет ее лицо в такой же мере, как в дни кризиса 30-х годов.

Это не означает, будто монополистический капитализм переродился в капитализм «народный». Его основное содержание осталось прежним. Однако технические достижения передовых буржуазных стран позволили отремонтировать фасады и обновить витрины. И было бы ошибкой думать, что такие перемены не наложили отпечатка на сам характер общественных отношений. Фатальные противоречия стали видны прежде всего не столько в сфере непосредственно экономической, сколько в сфере духовной. Обзаведясь холодильником и автомобилем, человек Запада не стал богаче. Напротив, он лишь теперь по-настоящему почувствовал себя нищим, бессовестно обворованным в области своих истинно человеческих интересов.

В то же время эксплуататор и эксплуатируемый не сталкиваются теперь, как правило, лицом к лицу. Между ними появился барьер, воздвигнутый из обступивших человека вещей — автомобилей, холодильников, телевизоров. Человеку вручили эти эрзацы счастья как бы лишь для того, чтобы потребовать взамен отречения от радости полноценной и цельной жизни. И весь его гнев обрушивается на этот барьер.

Его главный враг — «индустриальная цивилизация». Она и только она, как он думает, обесчеловечивает человека, расщепляет на служебный придаток к вещам, умиленный своим материальным благополучием, и на исполненного тоски и томления «внутреннего человека», страдающего от неблагополучия духовного.

«Внутренний человек» отторгнут, отчужден от окружающей действительности, замурован среди гладких стен вещественных фикций и оттого как бы отброшен к самому себе.

Трудно назвать западного писателя XX века, чье творчество не касалось бы так или иначе этих проблем. В начале столетия, когда и само-то понятие «индустриальной цивилизации» еще не было в ходу, к ним обращались Кафка, Джойс, Вирджиния Вулф, Элиот. Человеческая «амбивалентность», раздвоение личности, в центре внимания Роберта Музиля — автора философского романа «Человек без качеств». Сходные вопросы занимали и Томаса Манна, и Джона Стейнбека, и Бертольта Брехта, и Альберто Моравиа.

Для одних «индустриальная цивилизация» как система тотального отчуждения и самоотчуждения человека — не только главный враг, но и нечто окончательное, в самом себе существующее, стоящее над обществом, над историей. Они, собственно говоря, не искали и не ищут ей объяснения. Они принимают ее в качестве извечной данности, безразличной и к одобрению, и к отрицанию.

Другие силятся понять. И потому не живописуют, а экспериментируют. Они берут человеческую модель и ставят ее в разные условия; резко меняя ситуации, провоцируют ее, чтобы вырвать признание, постичь механизм действия. И когда это удается, модель неизбежно начинает говорить языком политики, социологии, философии, этики, а не метафорами чистой эстетики.

Именно к такому разряду художников-«человековедов» принадлежит швейцарец Макс Фриш.

«Я испытываю страх,— отметил он однажды в своем дневнике,— перед искусством, которое симулирует величайшие ценности, но терпит самые низкие пороки... Я думаю о Гейдрихе, играющем Моцарта; искусство в этом случае, если можно так выразиться, нечто вроде нравственной шизофрении,— и оно было бы полной противоположностью тому, к чему мы стремимся; и вообще весьма сомнительно, можно ли отделить друг от друга задачи художественные и гуманистические. Признаком человеческого духа, в котором мы нуждаемся, является в первую очередь не талант, как своего рода подарок, но чувство ответственности».

■

Фриш родился 15 мая 1911 года в Цюрихе. Отец его был архитектором, мать некогда служила гувернанткой в богатых русских домах.

Пробовать силы на литературном поприще Фриш начал рано, еще в гимназии. Одну из своих юношеских пьес он даже послал Максу Рейнгардту в Берлин. Но ответа от знаменитого режиссера так и не получил. Первая публикация — «Мимическая партитура?» — относится к 1931 году.

В течение двух лет (1930—1932) Фриш изучал германистику в Цюрихском университете. Но после смерти отца был вынужден бросить учебу и занялся журналистикой. Однако литературную деятельность он не прекратил. Свидетельство тому два его небольших романа — «Юрг Рейнгардт» (1934) и «Ответ из тишины» (1937).

В 1936 году Фриш поступил на архитектурное отделение цюрихской Высшей технической школы, а в 1940 году закончил его. За это время он почти ничего не написал, но не потому, что его отвлекали институтские занятия. Он прочитал «Зеленого Генриха» Готфрида Келлера, сравнил со своими литературными упражнениями, разочаровался в них, сжег кипу черновых рукописей и дал зарок больше никогда не браться за перо.

Впрочем, выдержки хватило ненадолго. В 1939 году, когда началась вторая мировая война и возникла опасность немецкого вторжения, Фриша призвали в армию. Некоторое время он служил в расквартированной на границе артиллерийской части. Тут он и начал писать дневник, который был опубликован в 1940 году под названием «Листки из вещевого мешка». А в 1943 году за «Листками» последовал роман «J'adore ce qui me brûle,* или Трудные люди».

Но профессиональным писателем Фриш стал лишь в 1950 году. А до тех пор зарабатывал на жизнь трудом архитектора. Хотя эта его деятельность преследовала единственную цель — деньги, она не была безуспешной. В частности, ему принадлежит проект большого открытого бассейна в Цюрихе.

С 1944 года Фриш начинает регулярно работать для театра. Его пьесы — особенно «Китайская стена» (1946; второй вариант — 1955), «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (1953; второй вариант — 1962), «Бидерман и поджигатели» (1953; второй вариант — 1958) — создали ему международную известность.

В 1955 году за пьесу «Бидерман и поджигатели» Фриш получил премию гессенского радио, а за роман «Штиллер» премию имени Вильгельма Раабе (Брауншвейг). В 1958 году магистрат города Дармштадт присудил ему Бюхнеровскую премию (причем для этого потребовалось изменение статута: прежде на такую награду могли рассчитывать лишь немецкие писатели). В том же году Фришу были вручены литературные премии городов Лозанна и Цюрих.

За последние годы Фриш кроме «Штиллера» (1954) написал несколько крупных романов — «Homo Faber» (1957), «Пусть мое

* Обожаю то, что меня сжигает (*франц.*).

имя будет Гантенбайн» (1964),— упрочивших его славу.

■

У Фриша Дон Жуан Тенорио, вопреки литературной традиции, не любит женщин. Он любит геометрию, то есть все ясное, определенное, точное, однозначное. Он хочет жить по законам разума, а не повинуясь прихоти чувств. Но обстоятельства сильнее его.

Комтур Севильи намерен женить героя на своей дочери донне Анне. Однако донна Анна не интересует Жуана, ибо несколько ранее он увидел девушку, пробудившую его страсть. И эта неизвестная девушка отдалась ему. Впрочем, потом оказалось, что она и есть донна Анна. Впрочем, Жуан не знает, кто же ему все-таки нравился — дочь Комтура или неизвестная. Кроме того, и донна Анна не заслуживает доверия. Ведь она так легко изменила с ним ему же самому — своему нареченному Дону Жуану! И он бежит из-под венца. Спасаясь от погони, проводит ночь в комнате супруги Комтура донны Эльвиры, потом — в спальне невесты своего друга Родриго. Жуан убивает Комтура, донна Анна топится, отец Жуана умирает от горя. Но ничто уже не может остановить ход событий: Жуан против своей воли становится «севильским соблазнителем»; он «потерял самого себя». Хотя его по-прежнему влечет только геометрия, он вынужден спать с осаждающими его женщинами и закалывать на дуэлях их мужей.

«Всем известны наши поступки,— вздыхая, говорит герой,— и почти никто не понимает их смысла».

Дон Жуан — не тип, не характер; это только *роль*. Одна из тех ролей, которые человек по собственному желанию, а еще чаще по принуждению играет на жизненной сцене. И судить о человеке по исполняемой им роли нельзя. Роль — одно, человек — другое. Роль — маска, то есть нечто застывшее, лживое. Она — постоянное повторение и самоповторение внешних форм бытия. Одинаковые побуждения ведут к разным результатам: бывает, стремишься к благому, но сеешь горе, а бывает и наоборот...

И Фриш заносит в дневник: «Не сотвори себе кумира». Для него это не библейская формула, а, скорее, кредо гуманистическое. Любя человека, полагает он, мы как бы наперед соглашаемся на его изменчивость, внутреннее богатство, неожиданность душевных порывов. О тех, кого мы любим, мы никогда не создаем себе окончательного представления. «Лишь когда любовь уходит, картина личности может показаться нам завершенной...

— Ты не то,— говорит разочарованный,— чем я тебя считал.

А чем же, собственно говоря, он его считал?

Тайной, которой всегда является человек, волнующей загадкой, которую мы устали разгадывать. Мы сотворяем себе кумир. *Это* — бессердечие, измена».

Иначе говоря, «не сотворять себе кумира» значит подходить к человеку с любовью. Это любовь не всепрощающая, а требовательная. Она и в прямом, и в переносном смысле не создает себе кумира. Напротив, она побуждает свой объект выйти из роли, сбросить маску.

Скульптор Анатоль Штиллер, которому опротивели и жена, и друзья, и профессия, уезжает в Мексику и живет там под именем Уайт. Через шесть лет он возвращается в Швейцарию. Здесь он числится пропавшим без вести. И на границе его узнали и арестовали. Прокурор хочет доказать ему, что он и есть Штиллер. Но он упорно отрицает это.

Однако позднее Штиллер сдается и вновь надевает личину того чисто внешнего «я», которую, став Уайтом, сбросил шесть лет назад. Он возвращается к жене (она, впрочем, вскоре умирает) и прозябает в состоянии апатии и постепенного духовного увядания.

Во многих произведениях Фриша человек старался тихо и незаметно выскользнуть из своей роли. Но он создает и другие, куда более угрожающие варианты процесса сбрасывания масок, например, в драме «Граф Эдерлянд» (1951, второй вариант — 1956, третий — 1961).

Мелкий банковский служащий, существо смирное и законопослушное, неожиданно зарубил топором сторожа. Прокурор, которому завтра предстоит выступить на процессе убийцы, ночью расхаживает по кабинету и обдумывает обвинительную речь. И вдруг ему становится ясным смысл происшедшего:

«Бывают мгновения,— рассуждает он вслух,— когда начинаешь удивляться всем тем, кто не берется за топор. Люди мирятся со всем этим, хотя это и форменное наваждение. Труд как добродетель. Добродетель как заменитель радости. А другим заменителем, поскольку одной добродетели недостаточно, является удовольствие: свободные вечера, уик-энд, приключение на экране...

Поступки, которые мы именуем преступлениями, есть в конечном счете не что иное, как кровавая жалоба, подаваемая самой жизнью».

И Прокурор уходит из дому, отнимает у дровосека топор, убивает жандармов на границе и под именем графа Эдерлянда — героя одной из горских легенд — пытается начать новую жизнь. Он стремится попасть на чудесный остров Санторин, где — и море, и небо, и скалы, и белый город, и свободная жизнь. Но вокруг графа Эдерлянда группируются разного рода проходимцы. Он вынужден во главе их банд вторгнуться в родную страну и захватить власть. Вырвавшись из когтей «порядка», Прокурор попадает в лапы «хаоса».

Но отчего же и Анатоль Штиллер, и этот Прокурор, выходя из роли, не обретают

счастья, более того, оказываются в плену новых фикций? Да и Дон Жуан, после того как он (утомившись должностью соблазнителя) инсценировал свое низвержение в ад, не занимается геометрией, а живет под башмаком у проститутки Миранды.

Дело в том, что «внутренний человек» — скажем, Уайт в Штиллере или граф Эдерлянд в Прокуроре — тоже только одна сторона их существования. Это, так сказать, их сокровенное естество, не подверженное конформистской унификации. Но оно по-своему асоциально. А человек существует не только «в себе». Он живет в обществе. Окружение предъявляет некие права на Штиллера и заставляет его снова надеть маску. Прокурор освобождает себя от любых обязанностей перед другими. И потому именно он может быть использован в качестве знамени анархистского бунта.

Выход, с точки зрения Фриша,— это цельный человек, личность, в которой гармонически сочетается внешнее и внутреннее, чувство ответственности и душевная свобода — иначе говоря, социальное и индивидуальное.

В замок Ротмистра и его жены Эльвиры забредает бродячий певец Пелегрин. И оказывается, что это тот самый человек, которого семнадцать лет назад любила Эльвира и с которым Ротмистр, понукаемый тоской по дальним странам, чуть было не уплыл на Гаваи. С тех пор супруги подавляли юношеские мечты, подавляли из уважения друг к другу, из страха перед жизненными осложнениями, из сознания своего долга. Появление Пелегрина рушит карточный домик, построенный Ротмистром и Эльвирой. Им начинает казаться, что вся их семейная жизнь была сплошной ложью. Ротмистр уезжает, но, понимая, что и это не решение вопроса, вскоре возвращается. Эльвира говорит ему:

«Ты похоронил свою мечту... чтобы она меня не пугала, а я стыдилась своих снов. Каждый из нас не желал разочаровывать другого... Это та маленькая комедия, которую мы играли, пока не пришел Пелегрин...

Мы были несправедливы к самим себе, мы все вместе... Мы смеем любить друг друга, все мы, теперь я вижу это: жизнь — она другая, любовь шире, верность глубже, ей нечего бояться наших снов, мы не должны убивать свою мечту, мы не должны лгать...»

Таков основной смысл первой пьесы Фриша — «Santa cruz» (1944). Она содержит призыв объединить покоряющую беспечность Пелегрина с суровой самодисциплиной Ротмистра и Эльвиры. Символ такого объединения — Виола, дочь Эльвиры, рожденная ею от Пелегрина в дни их молодой любви, Виола, «которая переживет все снова и начнет все сначала».

Объясняя, почему изображаемое в его пьесах, повестях, романах столь часто облекается в форму сновидения, Фриш писал, что наше сознание — «преломляющая призма, которая разлагает жизнь на нечто одно за другим следующее», а сон — «другая линза, вновь собирающая все в фокусе первоначального единства». Иначе говоря, сон, мечта, видение — это тот художественный прием, который, при всей своей искусственности и явной нарочитости, позволяет Фришу как-то синтезировать явления действительности, проникая за ее витрины и фасады. Фриш разрушает «естественный», эмпирический порядок следования событий. Писарь обрушивается на Пелегрина: «...Вы что, думаете, будто вам дозволено перемешивать все времена? У нас тут порядочный дом, понятно! Что прошло, то прошло. Вчера, сегодня, завтра! Вы листаете годы туда и сюда, вперед и назад — этакое свинство!» В Писаре возмущается филистер, исправно разыгрываемая фальшивая человеческая роль. Филистер не хочет замечать, что, «листая годы», Пелегрин устанавливает новый порядок, в чем-то более истинный: он связывает между собою не события, а их причины и следствия. И из испытания такой вот пляской временных горизонтов Ротмистр и Эльвира выходят более мудрыми. Так, по крайней мере, представляется Фришу.

Однако важнее другое. Фриш окунается в море личных чувств, в стихию индивидуальной фантазии. Но он ищет там цельности, а не абсурдного хаоса блуждающих атомов подсознания. Именно поэтому — быть может, иногда неожиданно для самого себя — он находит в этих интимных сферах истоки социального движения.

■

В романе Альбера Камю «Чужой», как и в «Графе Эдерлянде» Фриша, совсем смирный человек (имя его Мерсо) безо всякого серьезного к тому личного основания убивает другого человека. Однако если у Камю всему виною яркое солнце и одуряющая жара (дело происходило на пляже близ города Алжир), а в конечном счете и просто бессмысленность человеческого существования, неизбежно завершающегося смертью, то Фриш дает поведению своих героев объяснение отнюдь не физиологического или абстрактно-философского характера. Граф Эдерлянд, опровергая доводы жены, убеждающей его воротиться домой, говорит:

«А если все дело в ваших порядках? Если ваши законы не пригодны для жизни, если они убийственны, если именно они делают нас больными?..

Куда нам деваться, мадам, без топора? В настоящее время? В этом мире бумаг, в этих джунглях границ и законов, в этом сумасшедшем доме порядка?..»

Это не безадресные сетования на трагические последствия человеческого отчуждения; это обвинения, предъявляемые конкретному обществу.

И есть у Фриша вещи — их не любят его буржуазные исследователи,— в которых политические проблемы не рядятся в метафорические одежды, но обсуждаются прямо и непосредственно. В драме «И вот они снова поют» (1945) он пытается, например, решить вопрос о том, как немцы — народ высочайшей культуры — могли докатиться

до преступлений нацизма. В пьесе «Когда окончилась война» (1949) Фриш противопоставляет друг другу «человека» и «нечеловека» — русского полковника Степана Иванова и немецкого капитана Хорста Андерса, одного из виновников трагедии варшавского гетто.

1945 год. Первые дни после падения Берлина. В подвале своей виллы прячутся капитан Андерс и его жена Агнеса, а наверху расположился со своим штабом полковник Иванов. Агнеса решает пойти к русскому и тем самым отвлечь его внимание от подвала и спасти мужа. Ее уверили, что полковник знает немецкий. В действительности он не понимает ни слова. И когда она начинает говорить, он молча, с невозмутимой улыбкой смотрит на нее. Но она расценивает его молчание как выражение бесконечного, почти величественного презрения. Она готова умолять его, ползать перед ним на коленях, лишь бы он заговорил; пусть бы кричал, даже бил ее — только не молчал!..

В этот момент для Агнесы — которая чувствует себя безмерно и, может быть, не совсем безосновательно униженной — нет ничего важнее на свете, чем вызвать уважение, завоевать доверие полковника. И она рассказывает, что ее муж прячется внизу. Ее душа открывается навстречу русскому, она уже любит его, хотя и сама еще не подозревает этого.

Фриш понимал, что изобразить любовь русского и немки, победителя и побежденной, любовь, расцветающую на фоне дымящихся берлинских руин, значило бросить вызов. Но вызов, как сказано в авторском послесловии к пьесе, и является в известной мере его целью. Ибо иначе не могла быть реализована основная идея произведения: «преодоление предвзятости, преодоление, возможное только благодаря любви».

Опять-таки перед нами проблема «кумира», то есть окончательного, наперед созданного сложившегося представления о человеке. Полюбив полковника, Агнеса отказывается смотреть на него как на врага. Это решение, принятое для самой себя. Но опираясь на него, Фриш приходит к широким обобщениям. Он поясняет в послесловии к пьесе:

«Не будучи готовыми, не желая и не умея распознать отдельное человеческое лицо, мы метим целые народы и не находим в них ничего, кроме гримасы нашего предубеждения».

Индикатором моральных реакций здесь служит зверский расстрел в варшавском гетто. Отношение к нему и делит героев на «людей» и «нелюдей». Узнав, что муж Агнесы — убийца, полковник Иванов (теперь действительно исполненный презрения и отвращения) покидает ее дом, а она и Хорст «смотрят друг на друга, как через непроходимую пропасть».

Разоблачению фашизма, расовой и духовной дискриминации — но теперь уже в несколько ином, более глубоком и современном смысле — посвящено и одно из последних произведений Фриша, пьеса «Андорра» (1961).

Фриш осуждает художников, которые предпочитают витать «в сферах извечного, чтобы ни за что не отвечать на земле». Он заявил однажды: «Кто сторонится политики, тот именно в силу стремления остаться беспартийным уже занял определенную политическую позицию: он служит правящей группировке». И швейцарский литературовед Г. Бенцигер — автор монографии «Фриш и Дюрренматт» (1960) — прав, когда говорит, что книги Фриша «общественно обусловлены».

Разумеется, позитивное значение такой обусловленности не следует переоценивать. Фриш живет в сложное время и в сложной обстановке. На его взгляды и на его творчество влияют самые различные и нередко весьма противоречивые факторы.

В первые послевоенные годы он с надеждой и симпатией следил за успехами новой Польши, Чехословакии, Венгрии. В 1950 году он побывал на Варшавском конгрессе мира. Затем его отношение к так называемому «Востоку» стало более холодным и предвзятым. Фриш часто колеблется, опасается радикальных политических решений. Иногда он как бы норовит стать «над схваткой». Вдруг в нем просыпается швейцарец — заинтересованный, взволнованный и все же немного «сторонний».

Г. Бенцигер замечает в связи с этим: «Швейцария еще нередко будет настаивать на своем праве изображать оборотную сторону медали. Именно непосвященный (нейтральный) может позволить себе нетактичный смех. Он ведь стоит за дверью». Быть может, в этом и следует искать одну из причин обострений пародийности, даже буффонности некоторых произведений Фриша и Дюрренматта.

Жонглирование идеологиями, недоверие к идеологиям, отрицание идеологий — это настроения, довольно распространенные среди современной западной интеллигенции, по крайней мере, той ее части, которая не в силах противостоять влияниям окружающей буржуазной среды. Но здесь обретаются художники самые разные. Спору нет, существенно установить сам факт субъективных заблуждений того или иного писателя. Хотя бы для того, чтобы не ждать от него большего, чем он может нам дать. Но не менее существенно понять, куда же ведет его творчество объективно.

■

В. Цисковен, один из авторов книги «К интерпретации новейшей драмы. Брехт — Дюрренматт — Фриш» (1960), считает, что Фриш начал писать пьесы вроде бы случайно, подчинившись настояниям заведующего литературной частью Цюрихского театра Курта Хиршфельда. Но если советы Хиршфельда и имели для Фриша какое-то

значение, то лишь в качестве последнего толчка. Ибо само по себе обращение такого художника, каким является Фриш, к жанру драмы закономерно.

Разрыв между ролью и сущностью, противоречие между тем, что разыгрывается на поверхности, и тем, что скрывается в глубине,— это основная проблематика творчества Фриша. Но разве она не заложена уже в самой форме театрального представления? Сцена — то место, где легче и естественнее всего фришевское видение мира обретало свою эстетическую плоть. Однако сочинение пьес в то же время как бы сталкивало писателя с действительностью.

Фриша привлекает «движение души» человека, а не его непосредственное, физическое движение. Но на сцене «движение души» облекается в физические формы. Здесь прямой показ неизбежен, даже когда речь идет о самом сокровенном. Субъективное объективируется. Театр учит реализму. Конечно, не всех. Но с Фришем дело обстояло так, хотя театр Фриша — дезиллюзионистский театр. Он сразу откровенно и решительно нарушает традиционную для XIX века «конвенцию» между автором, режиссером, актером, с одной стороны, и зрителями — с другой, «конвенцию», согласно которой первые обязуются делать вид, будто то, что они представляют, происходит на самом деле, а вторые — будто верят в это.

В фарсе «Китайская стена» принцесса Мей Лан говорит, обращаясь к залу:

«Я не китаянка!.. Вы думаете, что можете меня одурачить? Думаете, я не замечаю, что я переодета? А вы — взрослые люди, которые все знают,— верите ли вы в то, что, например, мой папа всегда прав? Я не такая дура. Вы думаете, я не вижу, что все здесь... только театр? И вы — взрослые люди, которые все знают,— сидите, скрестив руки на груди, и молчите, и ни один из вас не встанет и не скажет, как оно есть на самом деле, ни один не решается быть мужчиной!»

Актриса выходит из роли; «отчуждается» от созданного ею самою образа. И, конечно, не ради потехи. Фриш срывает маску. Формально — с лицедейки, размалеванной под китаянку, фактически — с того немыслимого порядка вещей, который кажется многим «нормальным» лишь потому, что примелькался, стал привычным, обыденным.

Связь с Брехтом и его теорией «эпического театра» лежит здесь, так сказать, на поверхности.

Прослеживая творческий путь Фриша, нельзя не обратить внимания на одну особенность. До 1945 года он выступает (если не принимать в расчет ранних проб пера) только как прозаик. Затем следует десятилетие интенсивной театральной работы. Прозаические вещи — вроде «Дневника с Марион» (1947),— появившиеся за это время, не имеют большой ценности. Зато после 1954 года Фриш главным образом создает романы. Пьесы он продолжает писать. Но теперь это не основное, а скорее, побочное занятие.

Итак, перед нами три этапа. В конце первого стоит повесть «Бин, или Путешествие в Пекин» (1945), сбивчиво и сумбурно рассказывающая о мысленной поездке некоего молодого человека в город своей недостижимой мечты. В начале третьего — роман «Штиллер». Эти произведения сходны по своей философской направленности: и там, и здесь в центре внимания писателя разрыв между видимостью и сущностью; и там, и здесь движущая сила сюжета — видение. Однако масштабы «Бина» и «Штиллера» различны. «Штиллер», в отличие от «Бина», явился своего рода сенсацией. Это произведение большого размаха, внутренне цельное. Но оно цельно и масштабно не просто потому, что возросло профессиональное мастерство Фриша, хотя и этот момент игнорировать не следует. Чисто «человеческие» конфликты героя, ищущего «идентичности» с самим собой, поставлены в контекст общественной жизни — вот важнейший источник художественного совершенства романа.

Анатоль Штиллер, герой романа, обрушивается на швейцарские порядки:

«Что вы, черт возьми, делаете с вашей так называемой свободой? Когда это становится хоть немного рискованным, вы не менее осторожны, чем какой-нибудь немецкий верноподданный. В самом деле, кто может себе позволить иметь жену и детей, семью и все, что полагается, и одновременно свободное мнение не только в мелочах? Для этого нужны деньги, столько денег, чтобы уже не нуждаться ни в заказах, ни в клиентуре, ни вообще в благорасположении общества. Но тот, кто имеет столько денег, что может позволить себе действительно свободное мнение, как правило, согласен с господствующими условиями».

Мало того, что это критика капитализма. Критикуют его и модернисты. Но здесь такая критика выполняет еще и функции идейно-композиционные. Ибо она вскрывает настоящие причины отчуждения и самоотчуждения героя. Иными словами, *реально, исторически* обусловливает всю ситуацию романа.

Сопоставление «Бина» и «Штиллера» наталкивает на мысль, что целиком отданное театру десятилетие — это своеобразные «годы ученичества» для Фриша-романиста. Фриш один из самых знаменитых европейских драматургов современности. Но с точки зрения его зрелой прозы, драматургия для Фриша — период подготовки.

■

Западная критика склонна к тому, чтобы ставить Фриша в тот литературный ряд, в котором герой превращается в «антигероя», личность утрачивает свою индивидуальность, оказывается чем-то аморфным, расплывчатым, лишенным четких очертаний.

Музиль в своем «Человеке без качеств» писал, что каждый житель земли «обладает минимум девятью характерами: профессиональным, национальным, государственным, классовым, географическим, половым, затем сознательным, бессознательным и еще, может быть, личным. Он объединяет их в себе, но они уничтожают его самого, и он представляет собой не что иное, как маленькую, размытую этими потоками впадину, в которую они вливаются и из которой вытекают, чтобы вместе с другими ручейками заполнить новую впадину».

Личность со всеми ее качествами — это только роль, которую человек, отчужденный от самого себя, пытается играть на поверхности жизни. И в определенном смысле это так. Ибо, говоря «качества», Музиль имел в виду качества *буржуазного* характера, каким он конкретно сложился в XX столетии: лишь этот «характер» и эти «качества» Музиль видел или, точнее, воспринимал в окружающей его действительности.

Отсюда можно было идти двумя путями — признать, подобно А. Роб-Грийе, Н. Саррот, К. Симону, полное обесценение всякой индивидуальности, «исчезновение характера» вообще. Или, как Ч. Павезе, В. Пратолини, А. Силлитоу, Х. Гойтисоло, искать истинно человеческое вне буржуазной среды. Фриш не похож ни на тех, ни на других. Он продолжает срывать маски с буржуазного псевдохарактера. Он не ищет в ином месте. И в этом, конечно, его ограниченность. Но он и не сдается, не отступает перед фантомами отчуждения. Он ведет раскопки в душе обесчеловеченного человека. И в этом его своеобразная реалистическая сила.

Особые цели требуют и особых средств. Фриш режет, а не сшивает. Оттого по своей структуре все его романы — заметки, наброски, внешне более или менее беспорядочные.

Фриш не против целостности произведения искусства; он только против его ложной, воображаемой, формальной, консервативной «завершенности», ибо она не в состоянии вместить все богатство мира.

Бальзаковский роман с его строгим единством действия и стремлением к логической законченности, с его обязательной экспозицией, кульминацией, развязкой был естественной эпической формой первой половины XIX века. Но еще Достоевский и Толстой нанесли его стройности чувствительный удар. Возражая одному из своих адресатов, обвинившему роман «Анна Каренина» в композиционной рыхлости, Л. Н. Толстой писал: «связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи».

«На внутренней связи» держится и большинство новейших романов, в том числе и романы Фриша.

Однако, хотя они и лишены многих традиционных аксессуаров романа и действие их не столько развертывается, сколько стремится к своему «человеческому центру», фришевские сюжеты всегда остры, неожиданны, по-своему даже «авантюрны». Но не во имя низменной занимательности. Фриш хочет заставить человека скинуть личину. И он вынужден провоцировать его.

■

Читателю, который мало знаком с Максом Фришем, роман «Пусть мое имя будет Гантенбайн» мог бы показаться произведением довольно странным.

Некто проводит вечер в ресторане, в случайной компании незнакомых людей. Почувствовал дурноту. Добрался до своей машины, завел ее. Но отъехать не успел — умер. «Я представляю себе:

Таким мог бы быть конец Эндерлина.

Или Гантенбайна?

Скорее, Эндерлина.

Да, говорю я себе... я знал его. Что значит знал! Я его себе представил, а теперь он швыряет мне мое представление обратно, как хлам; ему больше не нужна житейская история...»

Так начинается роман. «Человек что-то испытал в жизни, приобрел кой-какой опыт, теперь он ищет для всего этого историю — кажется, нельзя жить с опытом, который остается без истории, и иногда я представляю себе, что кто-то другой обладает историей моего опыта».

Это, собственно, ключ к роману. Авторское «я»,— разумеется, фиктивное, вымышленное,— отталкиваясь от своих наблюдений, ассоциаций, мыслей, выдумывает разного рода «сюжеты», конструирует легко расчленяемые цепи причин и следствий, плетет нити гипотетических интриг, множит варианты их вероятных взаимосцеплений.

На палубе теплохода повествователь увидел женщину, привлекшую его внимание. И он начинает воображать себе ее жизнь: пусть ее зовут Лилей и пусть она станет центром «солнечной системы» этого малого мира...

На утренней улице ему попадается навстречу мужчина, одетый в черный костюм, «будто он возвращается из оперы». Личное воспоминание услужливо подсказывает объяснение: как-то он сам оказался в такой же ситуации — когда добирался домой после ночи, проведенной у женщины. Разрозненное — черный костюм, опера, ночь любви — постепенно слагается в «историю», историю отношений Лили и Эндерлина. Он доцент, приглашенный в Гарвард, приходит на деловое свидание с мужем Лили Свободой. Тот улетел в Лондон. Просил жену предупредить Эндерлина, что не явится. Они знакомятся. Поскольку Свобода улетел неожиданно, остался лишний билет в оперу. Лиля приглашает Эндерлина. Он заходит за ней в смокинге.

Д. ЗАТОНСКИЙ
homo МАКС ФРИШ

И остается на ночь. Эндерлин так и не едет в Гарвард.

У повествователя была автомобильная авария. Ничего серьезного. Но он думает: а если бы повредил глаза, а если бы операция? «Однажды утром повязку снимают, и он видит, что он видит, однако молчит: он не говорит, что видит,— никому и никогда».

На этой почве вырастает история Гантенбайна, фальшивого слепого. Он — муж Лили, верный, преданный, необходимый и, главное, удобный муж, ибо он «не видит» всего того, чего видеть не следует,— например, измен Лили. Теперь она не домохозяйка, как в «истории» Эндерлина, а знаменитая актриса. Она часто уезжает на гастроли. Гантенбайн встречает ее на аэродроме в темных очках. Она выходит из самолета каждый раз в сопровождении одного и того же мужчины. Но Гантенбайн, благодаря своим очкам, избавлен от неприятной необходимости замечать любовника жены...

Таковы две основные линии романа и таковы главные его герои. Однако ни линии эти, ни эти герои не постоянны и не идентичны. «Я примеряю истории, как платье»,— говорит автор.

Бывает, что Эндерлин — только любовник Лили, а бывает, что она уходит от Свободы к Эндерлину. Свобода тоже не поступает в этом последнем случае одинаково: «Я вижу много возможностей: Свобода на своей машине врезается в дерево.

Или:

Свобода ведет себя великодушно».

Еще нестабильнее «история» Гантенбайна. Лиля то актриса (это ее ведущее амплуа), то врач, то даже итальянская графиня. Первый муж Лили — и здесь Свобода. Правда, иногда первого мужа не оказывается. Был только любовник, которого отвадил Гантенбайн. «Гантенбайн остается все тем же». Впрочем, и ему иногда наскучивает постоянство. Он начинает ревновать Лилю. Он снимает очки и взламывает ящики ее секретера. И находит только старые письма от Свободы и те телеграммы, которые посылал ей он сам, еще будучи ее любовником, то есть... Эндерлином.

Лиля, Эндерлин, Гантенбайн, как и обычно у Фриша,— лишь *роли:* «Каждая история — выдумка... каждое «я», высказывающее себя,— роль...» Так написано в романе. Гантенбайна от Эндерлина отличает только маска. Когда же Гантенбайн вместе с темными очками снимает эту маску, он снова может стать всем, в том числе и Эндерлином.

Это отношение между актером и изображаемым им образом. Фриш и не скрывает, а, скорее, даже подчеркивает театральную условность романа. В одном из его эпизодов супружеская жизнь Лили и Гантенбайна рассматривается в качестве счастливого, вечного союза мифических Филимона и Бавкиды:

«Филимон, говорю я...

Бавкида входит.

Я спрашиваю, чего, собственно, хочет Филимон.

Бавкида напевает».

Или. Лиля и Свобода после того, как она открыла ему, что любит Эндерлина:

«Он пьет.

Почему, ах, почему тут не опускается занавес?

Ведь и так ясно, что последует...»

Но постоянное присутствие на сцене комментирующего, вмешивающегося в действие автора делает и этот театр дезиллюзионистским. Мы как бы находимся на репетиции спектакля. Актеры разучивают роли. Режиссер импровизирует мизансцены, меняя все на ходу — декорации, костюмы, поступки, реплики, исполнителей. Мы получаем возможность познакомиться с самим процессом создания произведения, заглянуть в творческую лабораторию писателя.

Эта экскурсия любопытна, поучительна. Каждый поворот в судьбе героев — нечто сочиненное. Но развертывание каждого такого варианта идет вполне последовательно, вытекает из заданных условий: при тех или иных обстоятельствах Гантенбайн, Лиля, Эндерлин, Свобода и должны были вести себя так, как они себя ведут у Фриша. Герои эти — не характеры, ибо они внутренне непостоянны, но в пределах определенного сюжетного фрагмента действуют они как характеры.

Надо думать, что каждый художник-реалист, работая над произведением, проходит через такую стадию поисков, проходит именно потому, что он — реалист, то есть тот, кто стремится открыть самые жизненно убедительные формы для воплощения своего замысла, вылепить образ, исходя из действительности, обосновать связи среды и характера. Кого реальность не интересует, тот не ищет. Он констатирует все наперед. Но художник-реалист, как правило, оставляет документы своего чернового труда в ящике письменного стола. На суд читателя представляется окончательный вариант, лучший, с точки зрения самого художника. Фриш представляет на его суд многие варианты. И это вовсе не «дань моде». Просто Фриш не доверяет житейским «историям» людей своего мира, потому что не верит в истинность, правдивость буржуазных характеров. И он постоянно дезавуирует эти «истории» и эти характеры. Такова его задача.

На театре реализовать эту задачу было делом технически сравнительно несложным. В «Графе Эдерлянде», согласно авторской ремарке, роли двенадцати персонажей должны исполняться четырьмя актерами. Например, всех троих и совершенно разных женщин, которые сопутствуют Прокурору в его сновидческой авантюре, играет одна актриса. Тут технически более или менее легко решается та проблема «множественности ролей», которая в романе грозит цельности замысла, связанного с образом Лили.

А все же форма романа — с точки зрения цели Фриша — имеет и свои неоспоримые преимущества.

В «Гантенбайне» все недостоверно, все изменчиво, все относительно, все, кроме одного — характера повествующего «я». Конечно, и это «я» не определено прямо и однозначно. Но ведь оно не просто выдумывает «истории» для собственного развлечения. Нет, оно ищет для себя оболочки, самой удобной, наиболее адекватной его жизненным принципам маски. Рассказывая, чем оно *хотело бы быть*, оно выдает себя с головой.

Перебирая личины, повествователь останавливается на Гантенбайне:

«Пусть мое имя будет Гантенбайн (и окончательно)».

Но что такое Гантенбайн? Это капитуляция перед буржуазной действительностью, перед сложностью жизни, это филистерское бегство от ответственности.

«Недостаток свойств не должен его беспокоить,— говорит автор, и это уже голос самого Фриша, голос сатирика.— Что нужно миру, так это люди вроде Гантенбайна, которые никогда не говорят, что они видят, и их начальники будут их ценить; экономические последствия этого не заставят себя ждать. Отказаться от своих воззрений или даже только изменить их лишь потому, что он видит вещи, которые опровергают его воззрения, Гантенбайн поостережется, чтобы не выпасть из роли».

Нетрудно заметить, что здесь речь идет уже не об абстрактно-философском, а о конкретно-социальном понятии «роль». И Гантенбайн стремится не выпадать из этой роли. Он — слепой и поэтому не обязан видеть, что тот же самый человек, который некогда руководил нацистским искусством, теперь распространяется о гуманизме и Брехте. Он — слепой и поэтому не может подтвердить алиби невиновного, подозреваемого в убийстве. И невиновного осуждают...

Гантенбайн, невзирая на необычность его подачи,— это, если хотите, реалистический тип — образ трусливого и опасного обывателя. И Фриш не ограничивается его критикой; он показывает моральный крах «гантенбайнизма», хоть это и сделано в присущей всему роману комической манере. Однако комедия Фриша вещь серьезная.

Гантенбайн, как и всегда, встречает Лилю на аэродроме. Но теперь с нею нет обычного спутника:

«Лиля не изменяет ему. На этот случай у него нет подходящей роли». Игра в слепого уже бессмысленна, и он признается во всем жене. И Лиля изгоняет Гантенбайна. Ведь это он обманывал ее, притворялся, он никогда ее не любил...

Ироническое в романе «Пусть мое имя будет Гантенбайн», вероятно, проистекает и из позиции Фриша относительно объектов своей критики. У него весьма сложные отношения с повествующим «я» романа. Их нельзя отождествлять: Фриш издевается над рассказчиком, предпочитающим всем другим возможным ролям личину Гантенбайна; и нередко он выступает от своего собственного имени. И все-таки провести четкую грань между «я» Фриша и «я» фиктивного повествователя вряд ли возможно. Роман не только критичен, но и самокритичен. Писатель не без грустной улыбки пожимает плечами по поводу своего собственного бессилия.

■

В «Homo Faber» все та же вечная фришевская проблема затронута с другого конца. Человек не ищет для себя подходящую роль. Напротив, в результате ряда болезненных столкновений с жизнью он расстается с ранее надетой маской. Поэтому окружающая его действительность — не вымышленная, гипотетическая «история», а нечто как нельзя более реальное и конкретное.

Духовное неблагополучие, прячущееся за благополучием материальным, неполноценность чувств, самодовольно ковыляющая на великолепных механических протезах, одним словом, безмерно одинокий, обесчеловеченный человек посреди грохочущего, равнодушного и слепого мира «индустриальной цивилизации» — вот истинная тема романа. Оттого «Homo Faber» — самое последовательно-фришевское произведение Фриша и, пожалуй, самое яркое его произведение.

«Homo Faber» по-латыни значит «человек производящий». Одновременно это фамилия инженера Фабера — холостяка пятидесяти лет от роду и поклонника «индустриальной цивилизации». Нет, он не восторженный поклонник, взирающий на нее с наивным восхищением. Он вообще на такое не способен. Он холоден, спокоен, аккуратен, чуть-чуть циничен. Это в высшей степени деловой человек. Не только в делах, но и в частной жизни. Он не считает, будто в мире все идеально. Но не станем же мы расстраиваться по тому поводу, что зимой холодно? Просто все происходит так, как может и должно происходить. И нужно мириться с тем, что происходит, стремясь лишь к максимальной целесообразности в пределах возможного.

Машина совершеннее человека, она «не ведает ни страха, ни надежды, которые только мешают, она работает согласно чистой логике...» Поэтому — да здравствует машина! И человеку следует подражать машине.

Фабер не читает романов — они ему не интересны. Фабер ни разу не был в Лувре, потому что искусство — занятие «примитивов». Они пытались «аннулировать смерть, изображая человеческое тело, а мы — создавая замену человеческого тела. Техника вместо мистики». Не существует ничего непонятного, случайного, неожиданного. Все можно объяснить и измерить, переведя на язык математических формул.

Д. ЗАТОНСКИЙ
homo МАКС ФРИШ

Чувства — выдумка, дружба — химера. И если уж нужна любовница — так для физиологии, если уж нужны приятели — так для времяпрепровождения.

Более двух десятков лет мечется Фабер по свету. Более двух десятков лет его мнут колеса и шестерни машины, именуемой «западным образом жизни», машины, производящей телевизоры и холодильники, лифты и пылесосы, но не вырабатывающей человеческого тепла. Он сам становится частью этой машины — холодной, бездушной, стремящейся к насилию; он думает, что служит созиданию, а на деле несет только разрушение и гибель.

Его ум унифицирован, как унифицируются детали станков, он презирает людей и самое жизнь, его эмоции стерлись, как стираются монеты, которыми он оплачивает право на комфорт и право на эгоизм.

Таков Фабер. Или, точнее, он был таким где-то вне временных пределов романа. Роман — это его записки. И уже сам факт, что он начал писать дневник, свидетельствует, что Фабер перестал быть стопроцентным Фабером. С ним уже случилось то ужасное, о чем читатель лишь постепенно начинает догадываться; он уже поколеблен в своей жизненной позиции. И Фабер защищается, отчаянно, иногда почти ожесточенно. Он и начал-то писать не потому, что хотел осмыслить случившееся, а лишь для того, чтобы привести доводы в свое оправдание. Он пытается спорить:

«При чем тут предопределение? Должен признать: не будь этой вынужденной посадки в Тамаулипас (2.IV), все сложилось бы иначе... Может быть, Забет была бы еще жива. Не спорю: то, что все сложилось именно так, было больше, чем случайность, это была целая цепь случайностей. Но при чем здесь предопределение?..»

Признать существование «судьбы» или чего-нибудь в этом роде, иначе говоря, явлений, не поддающихся поверхностной, сухо-рациональной классификации, для Фабера означало бы согласиться с тем, что вся его предшествующая жизнь была ошибкой, заблуждением, самообманом, даже в известной степени преступлением. Это означало бы обвинить самого себя в том, что он, Фабер, хоть и не желая того, убил свою дочь Забет, что он поступил как жалкий трус и себялюбец с ее матерью Ганной, когда, несмотря на угрожавшую ей, «неарийке», высылку в нацистскую Германию, не женился на ней, а, откликнувшись на заманчивое деловое предложение, уехал из Цюриха.

Но сделать это трудно. И Фабер сопротивляется, сопротивляется, пока может. И притом, не всегда вполне добросовестно. Он выдвигает альтернативу: либо математика, либо мистика. Однако это явно негодные средства самозащиты. Область человеческого чувства, истинно человеческих взаимоотношений — сфера вовсе не мистическая. Жить — значит отвечать за свои поступки, сознавать свой долг перед самим собой и перед другими. Только функционировать на поверхности жизни, как это делал до сих пор Фабер, можно без обязательств, без ответственности, без связей, без настоящего смысла.

Конечно, встреча в самолете с младшим Хенке — случайна. То, что за этим последовало, уже не случайность. По крайней мере, в определенном смысле. Фабер бросил все и отправился навестить своего бывшего друга Иоахима, забравшегося в глубь гватемальских джунглей. Самому Фаберу этот поступок непонятен. Но лишь потому, что он не желает считаться с «внутренним Фабером». Этот Фабер, не переставший любить Ганну, преданную Фабером «внешним», надеется узнать от Иоахима что-нибудь о ее судьбе; да ему и просто приятно повидать человека, который, оказывается, потом стал ее мужем, то есть был с нею как-то связан.

Или встреча с Забет на пароходе. Самоубийство Иоахима, воспоминания о Ганне — все это определенным образом влияет на Фабера. Он начинает догадываться, что в жизни существуют некие пределы, какие-то темные пропасти, в которые не проникает спокойный и ровный шум ритмично работающих машин. Фабер уже не тот. Он постепенно выходит из роли. Его раздражает Айви — такая превосходная любовница. И, чтобы отделаться от нее поскорее, он не летит, как обычно, самолетом, а выбирает плавание через Атлантику. И на палубе его уже поджидает встреча с Забет.

Так Фабер закономерно приближается к главной трагедии — к интрижке с собственной дочерью. Ибо раз вступив с людьми в человеческие контакты, попадаешь в поток действительности. И тут уже нужно жить по ее правилам, а не функционировать согласно лживому, умозрительно составленному регламенту. Иначе столкновение с «судьбою» неизбежно, и оно уничтожит тебя. Фабер понял это, но понял слишком поздно.

Страдания, причиненные себе и другим, сделали марионетку Фабера *человеком.* Это особенно существенный момент фришевской концепции. Прозрение Фабера не есть «обращение» героя в традиционном смысле этого слова, то есть нечто сходное с обращением Нехлюдова или Раскольникова. То, что стряслось с Фабером и по вине Фабера,— непоправимо. Не потому только, что Забет уже не вернешь; в конце концов, убитых Раскольниковым старух тоже не вернуть. Если бы Забет осталась жива, трагедия была бы столь же безысходной. И потому Фабер осужден, невзирая на прозрение; следовательно, осужден бесповоротно. И он должен умереть.

Но внутри Фабера жил человек. Фаберу было отпущено столько же, сколько всем остальным. Однако он не сумел, не захотел, не смог распорядиться, воспользоваться этим богатством. Почему же? Ибо был особенно гадок, подл, извращен? Ведь он сожительствовал с собственной дочерью?

Однако инцест — не порождение преступных наклонностей Фабера-человека.

Напротив, он результат обесчеловеченного, отчужденного состояния героя, производное от его роли. С «Homo» Фабером такое не случилось бы. Приключение с Забет не оправдывается, тем более не смакуется, а резко осуждается писателем. В романе оно — то дикое, фатальное недоразумение, которое открывает Фаберу глаза. Он видит всю противоестественность своего существования в маске «делового человека», всю чудовищную обездушенность обступившей его жизни, понимает, сколько зла он принес в мир.

Кровосмесительная любовь еще со времен Софоклова «Эдипа» нередко являлась темой художественной литературы. Этот мотив встречается также в книгах многих современных авторов (например, в «Избраннике» Т. Манна, «Брате и сестре» Л. Франка, «Человеке без качеств» Р. Музиля), что ни в малейшей мере не говорит об упадочности их творчества или тем более о склонности названных писателей к порнографии. Нездоровые стороны жизни — часть самой жизни, и вряд ли фигура умолчания лучший способ борьбы с ними. Важно, конечно, как такие стороны жизни подаются, как оцениваются, для чего изображаются в произведении.

Фриш не щадит Фабера. Однако еще существеннее, что он обвиняет в случившемся общество, те условия окружающей действительности, которые последовательно искореняют в человеке человека. Мотив инцеста у Фриша — разумеется, «провокация» героя, страшная, но необходимая в этом романе.

Вначале Фабер еще пытался насмехаться над словами художника Марселя: «...Техник — это последнее издание белых миссионеров, индустриализация — последнее евангелие вымирающей расы, уровень жизни — заменитель смысла жизни». А в конце он с омерзением наблюдает американских бизнесменов, держащихся как хозяева Кубы: «The american way of life»... они живут, потому что существует пенициллин, вот и все, притом их повадки, точно они счастливы потому, что американцы, потому что им все дозволено притом они всего-навсего долговязые верзилы, шумливые парни вроде Дика, которого я считал для себя образцом!»... И он соглашается со словами Ганны, сказавшей ему: «...Ты обращаешься с жизнью не как с созиданием, а как со сложением, у тебя нет чувства времени оттого, что нет чувства смерти. Жизнь — это созидание во времени».

Может статься, самому Фришу и казалось, что он обрушивается в своем романе на пресловутую «индустриальную цивилизацию». Тем не менее истинный объект фришевской критики — буржуазное общество, капиталистический строй. Это он обессмысливает жизнь, лишает ее радости и цельности; это он отчуждает человека от самого себя. Да и слишком недвусмысленны приметы «материального божества» западного мира, чтобы ошибиться в понимании того, что скрывается под его маской: «американский образ жизни», закабаление слаборазвитых стран под видом «технической помощи».

Марсель говорит про уход «...души из цивилизованных стран нашей планеты, о душе в maquis». Это более чем ясно: «душа» (или истинно человеческое) существует лишь там, где идет борьба, сражение против варварства.

Можно понимать, что окружающий мир устроен дурно, но считать, что это и есть наш единственный мир. Фриш ищет за его пределами.

Когда у Фабера открылись глаза, он увидел сразу два мира — гримасы «индустриальной цивилизации» и то, что существует за ней и вне ее. Именно теперь, перестав опасаться «мистики», он разглядел яркие, поэтические краски природы:

«Скалы в поздних лучах солнца — как золото. Я нахожу, как янтарь, оттого что они матовые и почти прозрачные...»

И он воскликнул:

«Я пою хвалу жизни!»

■

Макс Фриш, подобно дятлу, долбит в одну точку — разбивает кору псевдохарактеров и лжереальностей. Он настолько занят своим делом, что не замечает многого другого. Кроме того, он движим стремлением исправлять, а не изменять. Он рисует жизнь в одном определенном аспекте. В его книгах мы не найдем широкой, объективной, полной картины современной ему буржуазной действительности. Зато из его книг легко понять, в чем состоят ее самые современные пороки. Поэтому Фриш, желая того или не желая, учит своего читателя и тому, как сделать эту действительность другой, уже не буржуазной.

ИТИРО ХАРЮ

О ГЕРОЕ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мы, японцы, издавна питаем глубокое уважение и любовь к русской литературе. Мы извлекли из нее поистине много уроков — как из классической литературы XIX века, так и из книг советских писателей. В произведениях Достоевского, Чехова и Толстого мы находили ответ на главный вопрос: как надо жить. В этих книгах для нас открылась русская душа, которая всецело принадлежала великой матери-России и в то же время потрясла весь мир.

В многочисленных произведениях советской литературы, рожденных временем революции и гражданской войны, а также созданных позже, в годы социалистического строительства, мы встречали вновь и вновь образы людей, которые активно боролись и страдали ради того, чтобы жизнь стала лучше. Все это дает нам основание не столько говорить о влиянии литературы одной страны на другую, сколько обсуждать общие для наших литератур проблемы.

Однако несмотря на такое чувство близости к культуре вашей страны особенности исторического развития Японии повлекли за собою, вероятно, и несколько иное понимание проблемы героя в литературе.

Как известно, слово «герой» имеет два значения: во-первых, это человек, совершивший подвиг, и, во-вторых, герой романа, герой какого-нибудь литературного произведения. Но, мне кажется, в Советском Союзе оба эти понятия довольно тесно слиты между собой.

Прежде всего, для решения проблемы героя надо уяснить, есть ли образ отражение действительности, независимо от того, что описывает романист — человеческие отношения, природу, вещный мир, или реальная действительность это только материал, из которого писатель, пользуясь силой воображения, создает свою субъективную картину жизни.

Среди разнообразных явлений, к которым обращается писатель, человеку принадлежит, разумеется, центральное место, и это ясно каждому. Мне кажется, что человек постоянно стремится раздвинуть границы своего «я», проникнуть в душу другого человека, он вторгается в природу и материальный мир, он стремится открыть неизведанные пути, непрерывно изменяя окружающее. Именно это делает его достойным называться человеком.

Писатель заставляет персонажи, созданные им, действовать в определенных обстоятельствах, заставляет их наталкиваться — хотят они или не хотят — на различные препятствия и трудности и, таким образом, ставит острые, волнующие вопросы, пытаясь пробудить скрытые возможности, дремлющие в душе читателя. Расстановка в произведении второстепенных фигур и действующих лиц, не бросающихся в глаза, в известном смысле важнее, чем сам герой. Писатели знают это лучше, чем кто-нибудь другой. Как бы сложен духовно ни был персонаж, могущий служить для нас примером, все же нельзя воплотить в одном характере все богатство возможностей, которыми обладает человек.

В европейской литературе XIX века композиционным стержнем романа был характер главного героя. Центральный персонаж современного романа обычно не только нельзя назвать «героем», он представляет собою хаотическое переплетение реакций на внешнюю среду и самоуглубленное копание в оттенках собственных переживаний.

Я не жду многого от такой литературы. Хотя — и это вполне естественно — во всех течениях европейской литературы XX века есть прекрасные произведения, мимо которых мы не можем пройти, немало появляется книг, созданных в угоду моде.

В основе статьи лежит доклад, прочитанный И. Харю на встрече японских и советских писателей в Москве (см. об этой встрече статью А. Бочарова на стр. 263).

Впрочем, в мою задачу не входит подробный разбор мировой литературы XX века. Японская литература имеет свою специфику, и я бы хотел остановиться именно на этом.

Как известно, Горький назвал героев европейской и русской литературы XIX века блудными сынами буржуазии. Бальзак, Стендаль, Диккенс, Толстой, Достоевский и другие писатели, избирая своим героем человека, который страдал от отсутствия свободы в буржуазном обществе, остро критиковали противоречия и пороки этого общества. Однако эти писатели не могли указать своим героям выход из тупика.

Известно, что именно эти черты литературы XIX века легли в основу горьковской идеи о критическом реализме.

Если бы мы хотели подойти к японской литературе нового времени с этими критериями, то, к сожалению, пришлось бы признать, что в этой литературе мало «блудных сынов», способных к активному действию.

Герои японской литературы испытывают недовольство окружающим их обществом, в котором господствуют угнетение, пошлость, отжившая мораль, они страдают и мечтают о свободе. Наиболее распространенным типом в японской литературе является человек, который пассивен перед тяжелым гнетом окружающей действительности, он остается недвижным, словно прикованным к одному месту, как прикреплено к одному месту растение, и терпеливо ждет, пока рассеются тучи. Мы находим здесь своеобразное сочетание влияний таких писателей, как Золя, Мопассан, Флобер, со специфически японским фатализмом, со взглядом на земную жизнь как на кратковременное и бренное существование.

Для того чтобы понять, как возникло это мировоззрение, надо упомянуть об особенностях условий жизни в Японии — скученность людей в маленькой островной стране с мягким климатом, где человек близок к природе, но где даже само устройство жилья разобщает его с другими людьми. Однако гораздо важнее влияние не природы, а общества. Главная причина состоит в том, что в Японии, освободившейся от многовековой изоляции и феодализма и одним скачком оказавшейся в ряду великих империалистических держав мира, поиски методов борьбы с утверждавшимся империализмом не поспевали за бурными темпами его развития. Может быть, вследствие этого в новой японской литературе стремление к светлым образам, к ярко выраженным характерам существовало подспудно.

Роман Фтабатэя «Плывущее облако», от которого, как принято считать, ведет начало литература нового времени, написан в 1887 году. Это произведение создавалось под большим влиянием русской классической литературы и русской общественной мысли. Его герой — одинокий интеллигент, «лишний» человек, выброшенный из общества, в котором правят бюрократизм и пошлость. Однако писатель, подвергнув острой критике действительность того времени, не мог указать своему герою путь к активным поискам выхода. Может быть, поэтому Фтабатэй прервал роман на середине, оставив своего страдающего героя.

А в начале XX века Симадзаки Тосон в романе «Нарушенный завет» рассказал, как у молодого человека, принадлежащего к касте отверженных, которая подвергается дискриминации из-за предрассудков, царящих в обществе, пробуждается стремление к свободе, к равенству, к утверждению своей личности. Считается, что это произведение написано под влиянием романа «Преступление и наказание» Достоевского. Как и герой Фтабатэя, герой «Нарушенного завета» не столько активно борется с обществом, с его косными обычаями, сколько боится подвергнуться остракизму.

Литературу такого рода резко критиковал поэт Исикава Такубоку. В своей статье «Политическая обстановка в эпоху застоя» он писал, что стремление к утверждению личности, которое с первых же шагов японская литература нового времени старалась поставить в центре своего внимания, невозможно до тех пор, пока ее герой будет избегать прямой схватки с государством, с властью. Он подчеркивал, что нужно преодолеть мелкие заботы сегодняшнего дня и обратиться к помыслам о дне завтрашнем. Иными словами, Исикава Такубоку говорил о необходимости литературы критического реализма в Японии, и от этих литературных проблем он, естественно, пришел к приятию идеи революции. Но в то же самое время в стихах Исикава Такубоку рядом с настроениями, которые чем-то напоминают энтузиазм русских народников, очень сильны ноты усталости и иронии по отношению к самому себе.

Именно это противоречие между мечтами о лучшем будущем и пассивность перед гнетом действительности, расщепление идей и чувств и составляет одну из характерных особенностей японской литературы нового времени. Для того чтобы наша литература могла создать образ героя с ярко выраженной индивидуальностью, прежде всего надо было преодолеть это противоречие.

Возникшая в начале 20-х годов пролетарская литература в Японии избрала в качестве своего героя массы, участвующие в классовой борьбе. Одним из руководящих критиков пролетарского литературного движения был Корэто Курахара. Он испытывал сильное влияние теорий РАППа, но впоследствии критически их пересмотрел, исходя в своих взглядах на роль искусства из ленинской теории отражения. Литературно-критические работы Курахары сыграли важную для японской литературы роль, так как в этих работах явления искусства рассматривались в свете задач революции.

ИТИРО ХАРЮ
О ГЕРОЕ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Однако в те времена к передовому отряду примыкали лишь немногочисленные радикально настроенные интеллигенты. В 30-е годы, когда Япония становилась все более и более фашистской и начались суровые репрессии против левого движения и коммунистической партии, Курахара утверждал, что писатель должен поддерживать политику коммунистической партии, ушедшей в подполье, и изображать такого героя, который всецело подчинил бы себя задачам партии.

Многие писатели стремились следовать этим требованиям. Но за исключением повести Сигэхару Накано «Предвесенний ветер» произведения большинства пролетарских писателей оказались умозрительными, оторванными от жизни. Особенностью героя стало самопожертвование, центральное место заняло изображение экзальтированного добровольного мученика во имя партии. В обстановке непрекращающихся репрессий и арестов направление пролетарской литературы почти задохнулось. Как раз в это время у нас стала известна теория социалистического реализма.

Теория социалистического реализма была воспринята по-разному. Можно говорить о трех точках зрения на социалистический реализм в Японии того времени.

Первая группа восприняла появление теории социалистического реализма только как освобождение от всесилия догматических требований РАППа, распространенных в Японии до тех пор. Эти писатели по-своему трактовали письма Энгельса, в которых рассматривается проблема типического, и под лозунгом: «Вернемся к Бальзаку, будем наблюдать действительность» стали увлекаться бытописательством. Часть из них вскоре совершенно порвала связь с марксизмом и начала восхвалять агрессивную войну и фашизм.

Вторая группа восприняла социалистический реализм как продолжение теорий пролетарской литературы, существовавших до тех пор. Среди писателей этой второй группы были люди, которые в течение войны долгие годы находились в тюрьме, но не отступили от своих взглядов. Однако, если писатели первой группы, стремясь приблизиться к действительности, вступили на путь компромисса, то вторая группа в своем творчестве игнорировала действительность и думала только о том, чтобы сохранить верность своим принципам. И у тех, и у других идеи не были связаны с жизнью.

Третья группа, органически восприняв теорию отражения и мысль Энгельса о типизации в литературе, которые являются основным стержнем социалистического реализма, пытались применить эти принципы в условиях Японии, столь отличных от условий жизни Советского Союза, связывая задачи литературного движения с задачами международного антифашистского фронта.

Драматург Сакаэ Кубо, который принадлежал как раз к третьей группе, во время японо-китайской войны написал привлекшую внимание пьесу «Вулканический пепел». В этой пьесе, действие которой происходит в деревне в северных районах Японии в те годы, когда правительство требовало от крестьян, чтобы они увеличили производительность труда для нужд войны, рассказано о том, как молодой человек, специалист по сельскому хозяйству, стремясь жить и мыслить как честный интеллигент, неизбежно сталкивается с классовой несправедливостью японского общества тех лет. Пьеса с трудом прошла через военную цензуру. Она заронила в сердца зрителей критическое отношение к войне. С нашей сегодняшней точки зрения, характеры и сюжет пьесы страдают схематизмом, идеи писателя и поступки его героев не всегда связаны органично, но было бы несправедливым сейчас делать упреки в адрес этой пьесы. Нам еще очень и очень не хватает умения создавать такие произведения, которые отвечали бы нашему представлению о социалистическом реализме и в которых объективное видение мира, изображение действительности в ее конкретно-исторических проявлениях было бы тесно связано с пониманием ее революционного развития.

Эта пьеса тем более важна, что в 30-е годы в условиях наступления на социалистическое движение и разрушения привычных устоев жизни часть японской интеллигенции, которая отошла от левой идеологии, мгновенно оказалась во власти идеологии фашизма. Японская литература в это время, с одной стороны, испытывала влияние буржуазной западной литературы с ее стремлением к дегероизации, а с другой стороны, появился герой, несущий идеи шовинизма. И даже так называемая «подлинная литература», которую читали сравнительно немногочисленные эстетствующие интеллигенты, даже эта литература старалась нащупать своего героя. А массовые, популярные романы, печатавшиеся в бульварных журналах и в газетах, заполонили примитивные характеры, агрессивный шовинизм которых их авторы пытались представить как прямое продолжение идей, почерпнутых из легенд и мифов прошлого.

Кроме пьесы «Вулканический пепел» я хочу указать на произведения еще двух писателей. Одно из них — роман «Деревенский дом» Сигэхару Накано. Главный герой его, писатель, занимающийся нелегальной работой, арестован. Затем он освобожден из тюрьмы на основании его заявления, что он болен и никогда в дальнейшем не будет принимать участия в действиях, направленных против правительства. Выйдя из тюрьмы, герой возвращается в свою деревню. Отец поучает сына: «Человек, который отказался от собственных убеждений, уже не человек. Теперь ты не смеешь писать, сломай свое перо». Герой же, чувствуя, что ему нечего сказать в свое оправдание, отвечает: «Да, я понимаю ваши слова, отец, но все-таки я хочу писать и буду писать».

В этом романе, с одной стороны, писатель вплотную подходит к проблеме борь-

бы с фашизмом, с другой стороны, герой, вынужденный покориться властям и оказавшийся в деревне, задумывается над двойственной структурой японского общества, где продолжают сосуществовать развитый капитализм и феодализм, и начинает понимать, что революционное движение, в котором он до сих пор участвовал, тоже недостаточно учитывает этот двоякий характер Японии.

Впоследствии Сигэхару Накано говорил об этом периоде как о времени «революционного пересмотра традиций японского революционного движения». В это сложное время следовало не бежать от действительности и не тонуть в суматохе буден, отбросив былые принципы, а, изучив теорию и практику движения в прошлом, наметить новый курс. Этой идее и служит образ героя, отошедшего от борьбы и вновь увидевшего перед собою цель.

В качестве второго примера я хотел бы назвать произведения, созданные во время войны писателем Дзюн Исикава. Некоторые из них написаны в своеобразной, чисто японской форме «романа о себе», стиль их не избегает архаизмов, и герой склонен мыслить абстрактными категориями. Писатель ставит его над обществом, сохранив за ним только роль наблюдателя. Эта позиция дает ему возможность объективных оценок даже в разгар шовинистических настроений, распространившихся во время войны.

Творчество Сигэхару Накано и Дзюн Исикава, с точки зрения писательской манеры,— два полюса в литературе этого периода. Японская литература тех лет отличалась большим разнообразием направлений, стилей и жанров. Я считаю, что перед второй мировой войной японская литература по своему уровню и затронутым ею проблемам не уступала достижениям мировой литературы.

Для нас, японцев, вторая мировая война предстала как некая роковая сила, от которой мы не могли убежать. Многие японцы были втянуты в агрессивную войну, лишенные свободы в своей стране, они должны были нести другим народам горе и разрушения.

Еще одной особенностью этой войны для нас было то, что, за исключением островов Окинава, война велась за пределами Японии, и мы, японцы, не испытали на себе оккупации, концлагерей, пыток, эмиграции, гражданской войны. Мы были первыми жертвами атомной бомбы, и это вызвало стремление к миру, решимость вести борьбу против войны, желание противостоять уничтожению человечества. Необходимость этой борьбы стала нам совершенно ясна после того, как был развеян миф о том, что все вставшие к концу войны проблемы может решить безоговорочная капитуляция.

Если говорить о разных поколениях японского общества, то в отличие от сорокалетних и пятидесятилетних людей, которые до того, как они были втянуты в войну, знакомились с марксизмом, тридцатилетние с детских лет воспитывались в духе абсолютной веры в императора и восхваления войны. И только сама война впервые научила их видеть вещи в их истинном свете. Существует даже мнение, будто те, кому сейчас тридцать лет, и большинство двадцатилетних, так как они совсем не имеют военного опыта, не способны противиться ремилитаризации Японии и угрозе новой войны.

Но, независимо от этих различий между поколениями, опыт войны является постоянным источником проблем для послевоенной интеллектуальной мысли и литературы, он не исчерпан и сейчас — через двадцать лет после окончания войны.

Писатели так называемого «послевоенного поколения» — Хироси Нома, Риндзо Сиина, Тайдзюн Такэда, Сёхэй Оока начали свой путь в литературе с пересмотра старого. В повести «Темная картина» Хироси Нома изображен разгром студенческого движения в период японо-китайской войны. Один из студентов, хотя он и понимает, что его должны вскоре арестовать, действует самоотверженно, под влиянием ультралевых идей и по велению собственной совести. Другой стремится вступить на путь легальной борьбы. Герой повести, наблюдая за своими друзьями, пытается найти свою собственную дорогу, не примыкая ни к тому, ни к другому. Его позиция состоит в том, чтобы, ощущая себя бесценной и неповторимой личностью, в то же время чувствовать связь с обществом.

Характерной особенностью этой повести является изображение того, как воля и сила мысли раздавленных, замученных людей помогают им разобраться в окружающем мире. Можно сказать, что здесь сочетается задача революционной критики революционного движения изнутри, о которой говорил Накано, с той законченной позицией наблюдателя, которая присутствовала в произведениях Дзюн Исикава, написанных во время японо-китайской войны. Это произведение указало новое направление, нового героя послевоенной литературы.

Писатели, которые до войны выступали под знаменем пролетарской литературы, прошли через отказ от ее идей, через войну и капитуляцию. Общим для них было обращение к «роману о себе»; в этих романах они пытаются проследить, как общественная позиция героя выкристаллизовывается из его личного опыта. Но они не смогли показать убедительно состояние человека в тех исключительных условиях, когда у него отнята свобода и он перестает существовать как личность. Между этой группой японских писателей и группой «Послевоенная литература» развернулась дискуссия вокруг проблемы «политика и литература».

Война в Корее была большим ударом для тех писателей, которые поверили в красивые слова о мирной, демократической,

---

ИТИРО ХАРЮ

культурной Японии. Усиливалась холодная война, наша страна в результате заключения мирного договора между Японией и США превратилась в одну из стратегических баз Соединенных Штатов. В Коммунистической партии Японии под давлением репрессий со стороны американских оккупационных властей, с одной стороны, и из-за расхождения во взглядах на пути развития социализма, с другой стороны, произошел раскол. В обстановке новой войны и репрессий были сделаны попытки критически осмыслить минувшую войну.

Рассказ Мицухару Иноуэ «Ненаписанная глава» и рассказ Тосио Симао «Мелкое приключение» были опубликованы в 1950 году в журнале «Новая японская литература». В первом из них говорится о тяжелом идейном кризисе, который переживал молодой партийный работник. Во втором повествуется об учителе, который, стремясь вырваться из будничной повседневной обстановки, ищет утешение в увеселительных заведениях. Однако из-за того, что вслед за расколом коммунистической партии в те годы в литературном движении тоже наметились глубокие противоречия, оба эти произведения подверглись уничтожающей критике — их обвиняли в искажении действительности, а главных героев — в пошлости и низменных устремлениях. В ответ на такую критику Сигэхару Накано, Масафуми Кубота и другие выступили в защиту этих произведений, не закрывая в то же время глаза на их недостатки. Они писали, что хотя Мицухару Иноуэ в рассказе «Ненаписанная глава» и склонен излишне углубляться в личные переживания героя, в то же время он освещает извращения и разложение, имеющие место в действительности, в реальной жизни партии, и тем самым способствует преодолению этих недостатков. А в рассказе «Мелкое приключение» выведен герой, который вообще ни к чему особенно не стремится и не хочет пошевелить и пальцем, чтобы как-то повлиять на окружающую действительность. Он производит впечатление человека ограниченного. Однако если бы писатель заставил своего героя прийти к отчетливому социальному прозрению, то как бы тщательно ни был написан рассказ, подобное перерождение героя говорило бы о легкомыслии автора в социальных вопросах.

Такой подход Накано и Кубота к этим рассказам свидетельствовал о том, что они решительно отвергли тенденцию к созданию литературных произведений, от которых требуется только политический эффект и наличие героических персонажей.

Оглядываясь назад, видишь, что эти рассказы как бы символизируют две задачи послевоенной литературы — «революционную критику революционного движения» и показ той опасности социальной апатии, которая подспудно таится в наших буднях Впоследствии Мицухару Иноуэ написал «Стихи о сражении на острове Гвадалканар» и роман «Время мертвых», в котором показал, что даже среди молодых людей, слепо веривших в императора и обреченных на смерть во время войны, встречались критически мыслящие личности. Истоком этой критической мысли было чувство солидарности с простыми людьми другого народа. Тосио Симао, написавший сразу после капитуляции ряд произведений в манере сюрреализма, теперь переходит к правдивому изображению повседневной жизни, стремится раскрыть духовный мир современника.

За последнее время в связи с повышением экономического уровня жизни Японии заметно стали развиваться все формы «массовой культуры». В литературе тоже произошли изменения — она перестала быть достоянием узкого круга читателей. После 1955 года в качестве ведущей тенденции следует назвать, во-первых, появление нового типа героя — это молодые люди со склонностью к бунтарству. Таковы герои произведений Синтаро Исихара и Кэндзабуро Оэ, их поистине можно назвать блудными сынами буржуазии. Они решительно выступают против существующих авторитетов и общепринятой морали, стремятся вырваться из будней окружающей их жизни, но в этом порыве они не имеют перед собой настоящей цели, его сменяет неудовлетворенность, их психика оказывается надломленной, и единственная идея, которая у них остается,— это идея служения плоти. Второй тенденцией, заметной в литературе, является попытка вскрыть и показать элементы первобытных обычаев, которые еще имеют место в нашей жизни. Так, писатель Ситиро Фукадзава в рассказе «Напевы Нараяма» повествует о горном селении, где существует обычай ради сохранения запасов пищи уводить в горы и бросать на смерть людей старше шестидесяти лет. Главная героиня рассказа, в отличие от других стариков, пытающихся бороться с этим обычаем, принимает свою судьбу даже с какой-то радостью и покорностью. В рассказе отчетливо противопоставляется жестокость этого антигуманного обычая и смирение самой героини. Читатели остро чувствуют, что подобная психология, которая насаждалась во время войны, когда отряды смертников беспрекословно повиновались жестоким приказам, имеет своих защитников и в настоящее время. Проблемы подобного рода ставят и некоторые рассказы Иосиэ Хотта.

В-третьих, существует ряд произведений, в которых чувствуется стремление показать в характере героя, его психологии, даже в подсознательных процессах связь личности и общества, их взаимозависимость. Эти тенденции представлены в романах Сэй Ито «Наводнение», Хироси Нома «Игра на счастье» и в ряде произведений Юкио Мисима и Синитиро Накамура. Романы Сэй Ито исходят из предпосылки наличия крайнего антагонизма между отдельной личностью и современным коллективом, психология его героя всегда четко социально определена; в произведениях же Хироси Нома, напротив, душевный мир героя, как водоворот смутных, сложных

переживаний и чувств, заполняет собой всю книгу. А в произведениях молодых писателей нередко встречаются герои, похожие на послушных марионеток, существующих словно бы лишь для того, чтобы писатель, приводя их в движение, мог бы таким путем раскрыть перед читателем структуру современного общества.

В заключение мне хотелось бы сказать о некоторых наиболее важных, на мой взгляд, вопросах, стоящих перед японской литературой. Мне кажется, что сейчас мы подошли к поворотному пункту, который будет знаменовать собой конец переходного периода, начавшегося еще в 30-х годах. Вместо галереи аффектированных бунтарей, протестующих «против всех и вся», хочется увидеть в нашей литературе убедительный образ современного человека — обыкновенного человека, а не какого-то сверхгероя. Японская литература нового времени хотя и старалась показать процесс освобождения и утверждения личности, как правило, сосредоточивала внимание на создании образа отрицательного героя. Хотелось бы, чтобы литература не только открыла в простом, обычном человеке героя, достойного встать в центре значительного романа, но и преодолела индивидуализм, открыла путь к новому общению между людьми, стала источником бодрости и воодушевления.

Во-вторых, создавая вымышленный мир, писатель должен в то же время стремиться к тому, чтобы его герой становился посредником, через которого проявляется общественное сознание писателя, выражал стремление изменить окружающую действительность. Нам надо, наконец, разрешить дилемму, постоянно стоявшую перед японской литературой: должен ли писатель основываться на личном опыте и создавать произведения, похожие на «роман о себе», или — понимая личный опыт широко — обратиться к произведениям более объективного характера. И, наконец, в-третьих: в современном обществе отчуждение личности проявляется поистине многообразно, связь между личностью и обществом все более затрудняется. Хотя международные связи становятся все теснее, свобода в одних странах очень часто строится за счет отсутствия свободы в других. Для того чтобы увидеть это отчуждение личности в обществе во всем его многообразии и найти пути к его преодолению, необходимо обладать широким интернациональным кругозором.

Перевод с японского И. ЛЬВОВОЙ

НЕ ЗНАЮЩИЙ РАВНЫХ СРЕДИ БОРЦОВ

К 96-ОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

В феврале 1924 года газета «Известия» обратилась к ряду иностранных политиков, писателей и ученых с просьбой сказать свое слово об Ильиче. Многие из них откликнулись на этот призыв. В том же году в Москве небольшим тиражом вышла книга под названием «Политики и писатели Запада и Востока о В. И. Ленине», включавшая высказывания 70 авторов из 17 стран.

Прежде всего — это мысли наших друзей, горячих сторонников идей Ленина и дел его. Среди них Анри Барбюс, Поль Вайян-Кутюрье, Мартин Андерсен-Нексе. Это и суждения писателей-гуманистов, таких, как Бернард Шоу или Генрих Манн. Даже те из них, кто не принимал идей нашей революции, сумели понять величие Ленина — революционного мыслителя, общественного деятеля, человека. Не могли не отдать должное ленинскому гению и буржуазные политические и общественные деятели, в том числе люди, которые, подобно Штреземану в Германии или Пенлеве во Франции, открыто отстаивали экспансионистские интересы капитализма.

И хотя не все в этих высказываниях бесспорно — вряд ли можно, скажем, согласиться со всеми утверждениями Бертрана Рассела,— все же в каждом из них аккумулирована хранящаяся в сердцах миллионов великая любовь к человеку, деяния которого не только объяснили мир, но и преобразовали его.

Ниже публикуется несколько ответов из этого сборника, давно ставшего библиографической редкостью.

Р. ЛАВРОВ

Анри Барбюс

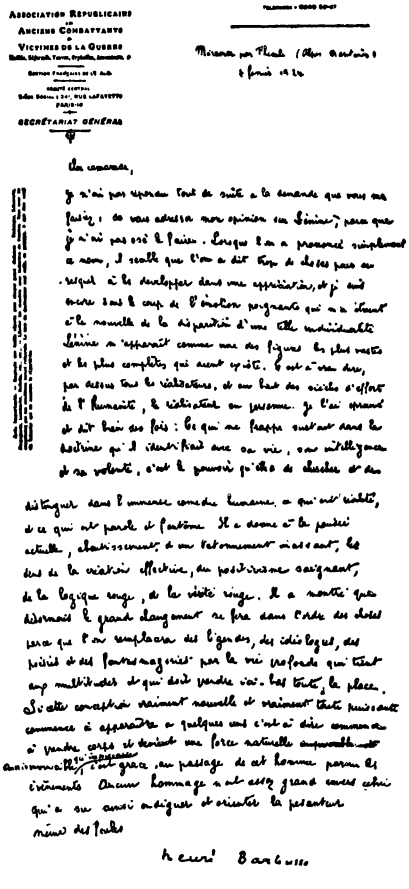
Французский писатель

Дорогой товарищ! Я не ответил вам сразу на вашу просьбу высказаться о Ленине, потому что не осмеливался сделать этого. В одном этом имени содержится слишком много, чтобы можно было позволить себе всему этому давать оценку. Я еще слишком во власти потрясения, которое я испытал при известии об уходе этого великого человека. Ленин для меня одна из самых всеобъемлющих и цельных личностей, которые когда-либо существовали. Он поистине не знает себе равных среди борцов за осуществление вековых усилий человечества. Я неоднократно убеждался в этом и не раз об этом говорил. Что меня в особенности поражает в его учении, неотделимом от самой его жизни, интеллекта и воли,— это способность искать реальное в океане человеческой комедии и отличать его от слова и фантома. Современную мысль, блуждающую в тупике бесперспективного поиска, он вывел на путь творческого созидания, живой практики, оплодотворил ее революционной логикой, революционной правдой. Он показал, что отныне произойдет великая перемена в самом порядке вещей: на смену легенде, мифу, вымыслу, фантасмагории придет реальная живая жизнь масс. Если эта концепция, действительно новая и всемогущая, обретает сегодня плоть, становится реальной силой, столь же несокрушимой, как и непогрешимой, то это потому, что этот человек явился в историю. Можно ли словами или почестями воздать должное тому, кто сумел таким образом устремить в будущее энергию масс!

7 февраля 1924 г.

Жак Садуль

Один из основателей компартии, в то время член ЦК Французской компартии



Автограф письма Барбюса.

Чтобы оценить невосполнимую потерю, понесенную Советской Россией, вспомним, что французский рабочий класс после десятилетних усилий и германский рабочий класс после пяти лет борьбы до сих пор еще не оправились от смятения, в которое их погрузила смерть Жореса, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Но Ленин оставляет нам в наследство то, что не могли оставить ни Жорес, ни Карл, ни Роза. Он нам оставляет великолепную революционную партию, испытанную в 15-летней борьбе, созревшую и выросшую за шесть лет ее пребывания у власти. Он оставляет нам свое имя — символ первого поражения, нанесенного буржуазии, талисман, который принесет мировому пролетариату скорые и великие победы. Он оставляет нам два могучих дредноута, которые его сильные руки построили и пустили в социальный океан: Советскую Россию и Коммунистический Интернационал. Наконец, Ленин оставил сформированному и обученному им экипажу военного флота пролетарской революции чудодейственный компас, а именно, усовершенствованный марксистский метод.

Пусть товарищи, удрученные отчаянием перед лицом смерти Ленина, не предаются пессимизму. Пусть они не думают, что этого компаса недостаточно, чтобы сохранить корабль во время бури. Правда, умер кормчий с холодной головой и железной рукой, несравненный кормчий, способный лавировать с неслыханной гибкостью, маневрировать против всех ветров и всех течений, предчувствовать и обходить все рифы. Он умер, но он оставил свое наследство.

История дает примеры того, что титанические гении, рождающиеся раз в тысячелетие, так сказать, ненасытны и истощают родившую их почву. Это — гигантские дубы, их могучие корни высасывают все соки земли, в громадной тени не могут развиться и погибают молодые деревья. Мировая буржуазия убаюкивает себя мыслью, что за последние шесть лет на необъятном русском горизонте, где революционный энтузиазм

зажег сердца миллионов, не появилось ни одной новой личности на смену Ленину. Она воображает, что великая революция поражена после него бесплодием.

Но она жестоко ошибается. В скором времени мир увидит, что из благословенного лона России выйдет великолепное поколение героев-созидателей. Так было во все времена и во всех странах там, где имеется глубокий союз великих революционеров со здоровым, могучим и жизнеспособным общественным классом, освобождению которого они способствуют.

Исчезновение лучших голов французской Горы дало некогда возможность честолюбию Бонапарта украсть у французского народа тот цвет талантов, свежих и бодрых сил, которые родили последние шесть лет испытаний буржуазной революции. Но русская революция сумела удалить своих бонапартов. Как Ленин выразился в разговоре со мной в мае 1921 года: «Рабочие-якобинцы более проницательны, более тверды, чем буржуазные якобинцы, и имели мужество и мудрость сами себя термидоризировать». Они сумели излечить меньшим злом большее зло. Смелая гомеопатия, которая могла удаться только самому великому властелину дум, которого когда-либо знал мир.

Ленин мертв, но ленинизм бессмертен.

Лучшие ученики Ленина живут. Его преданные помощники, тысячи и тысячи пролетариев, взращенные его гением, крупнейшие и скромнейшие его сотрудники, миллионы горячих ленинистов в старом и новом мире упорно и страстно продолжают его дело. Они несомненно доведут его до конца.

Бронзовый барельеф В. И. Ленина, отлитый немецкими эмигрантами к 7-й годовщине Октябрьской революции (с известной работы скульптора В. А. Андреева).

Автор этой медали — участник Сопротивления Марсель Эти. Коммунисты секции Роменвиль передали медаль в дар Центральному Комитету КПСС с надписью: «Работа выполнена нашим товарищем Марселем Эти, расстрелянным нацистами в Мон-Валериан 11 августа 1942 года за то, что он укрывал патриотов и среди них брата генерального секретаря Мориса Тореза».

Густав Штреземан

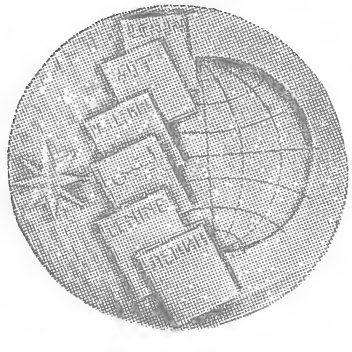
Германский политический деятель и дипломат, неоднократно министр иностранных дел

Ленин обладал великой способностью объединять все силы, направленные к одной цели, и смелостью приводить свои планы в сочетание с достижимым. В этом смысле он был гением и, как таковой, займет свое место в истории.

Поль Пенлеве

Французский буржуазный политический деятель, математик, член парижской Академии наук. В 1917 году был премьер-министром Франции

Ленин — поразительная личность, трудно понимаемая нами, людьми Запада. Мы восхищались его исключительной волей, энергией, всегда живой, не боящейся поражений, всегда полной свежих сил. Во всяком случае, его влияние на мировые события не изгладится никогда.



Медаль, выпущенная французским монетным двором в 1964 году и переданная в дар советскому народу. Ее авторы — А. Блок, Ш. Перлик, А. Монден и Ж. Россланж (внизу — оборотная сторона).

Бертран Рассел

Английский общественный деятель

Смерть Ленина лишает мир единственного действительно великого человека, которого породила война. Можно полагать, что наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось завершить огромную работу синтеза, одному — в области мысли, другому — в действии. Ленин казался мировой буржуазии разрушителем, но не разрушение сделало его известным. Разрушить могли бы и другие, но я сомневаюсь, нашелся ли бы хоть еще один человек, который смог бы построить так хорошо заново. У него был стройный творческий ум. Он был философом, творцом системы в области практики... Он соединял в себе резкую ортодоксальность мысли с умением приспосабливаться к действительности, хотя он никогда не делал таких уступок, которые имели бы другую цель, кроме окончательного торжества коммунизма.

Он произвел на меня впечатление совершенно искреннего человека, лишенного чувства эгоизма. Я убежден, что он заботился только об общественных целях, но не о своей власти; я верю, что он в любой момент остался бы в стороне, если бы мог таким образом двинуть вперед дело коммунизма. Его решимость в действии объясняется его непоколебимой верой. Свойственную ему твердость в убеждениях трудно найти на Западе, полном скептицизма.

Конечно, торжество коммунизма Ленин рассматривал, как нечто предопределенное, научно доказанное, столь же верное, сколь предсказываемые астроно-

мом затмения солнца. Это позволяло ему оставаться спокойным среди трудностей, мужественным среди опасностей, видеть в русской революции эпизод в мировой борьбе... Он был истинным интернационалистом, он чувствовал, что если бы российская революция не удалась, она бы все-таки приблизила мировую революцию.

Эта твердость убеждений Ленина была источником беспощадности и резкости его мировоззрения. Но это именно было источником его силы, и без такой веры он никогда не мог бы овладеть стихийными силами, которые вырвались на свободу в России. Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не больше, чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы видеть равного ему.

Медаль, выпущенная в Японии в связи с завершением переиздания сочинений В. И. Ленина (4-е издание).

Поль Вайян-Кутюрье

Французский писатель

Он входит. Не видишь, как вошел. Его едва разглядишь, он словно в засаде за своим столом. Выступают только плечи и голова. Лысый череп с сильно выпуклым лбом.

Нос более велик, чем предполагаешь, с резкими приплюснутыми ноздрями, крепко припаянными к щекам.

Под ним в блеклой щетине усов и жидкой бородке то, что называют его улыбкой.

Но Ленин не улыбается. Как и не косит. Мне кажется, он часто прищуривает глаз.

Поистине, только тогда можно быть уверенным, что он улыбнулся, когда он разражается коротким смехом.

Под собирающимся в морщины лбом все в движении. Ленин подлинный — только в кино. Ни один портрет не похож на него.

Последовательно сменяют друг друга выражения изумительной молодости и усталости человека, несущего на своих плечах новый мир.

Работа итальянского мастера Л. Гусланди (с рисунка Н. А. Андреева).

Воспроизведенные в этой публикации медали входят в экспозицию Музея В. И. Ленина.

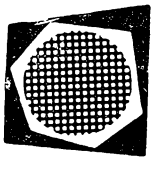
ТРУМЭН КАПОТЕ

ОБЫКНОВЕННОЕ УБИЙСТВО

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

■

Перевод с английского
ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА и ВАЛЕНТИНЫ ЧЕМБЕРДЖИ



шен-драйв, 335 — адрес отеля «Соммерсет» на Майами-бич. Это грязно-белое квадратное строение с лиловыми разводами на стенах. Реклама гласит: «Свободные комнаты — дешевые цены, комфортабельный пляж, свежий морской воздух». Вдоль унылого вида улочки тянется длинный ряд точь-в-точь таких же грязно-белых оштукатуренных отелей. Комфортабельный пляж «Соммерсета» в декабре 1959 года являл собой два зонта, воткнутых в узкую полоску песка позади отеля. На одном из зонтов, розовом, было написано: «Мы обслуживаем мороженым Валентайн». В рождественский полдень в тени этого зонта возлежали, наслаждаясь звуками транзистора, четыре дамы. Под голубым зонтом с повелительной надписью: «Загорайте с кремом Коппертон» обосновались Дик и Перри. Вот уже пять дней они занимали двухместную комнату в «Соммерсете» и платили за нее восемнадцать долларов в неделю.

Перри сказал:

— Ты ни разу не пожелал мне веселого рождества.

— Веселого тебе рождества, детка. И счастливого Нового года.

Дик был в плавках, а Перри сидел совершенно одетый, не сняв даже туфель и носков. Ничто, однако, не мешало ему пребывать в хорошем расположении духа. Дик, пытаясь завладеть вниманием дам под розовым зонтом, занялся гимнастикой. Перри читал газету «Майами геральд». От одной статьи он не мог оторваться. Речь шла об убийстве семьи во Флориде — мистера и миссис Клиффорд Уокер, их четырехлетнего сына и двухлетней дочери. Убийца обошелся без кляпов и веревок, прикончил свои жертвы выстрелами в голову из мелкокалиберной винтовки. Преступление, лишенное улик и немотивированное, было совершено в субботу вечером 19 декабря на ранчо вблизи Таллахасси.

Перри прочитал статью Дику:

— Где мы были в прошлую субботу вечером?

— В Таллахасси, что ли?

— Спрашиваю, кажется, я?

Дик задумался. В четверг вечером они выехали из Канзаса, попеременно меняясь у руля, проехали через Миссури в Арканзас, через Озаркс до Луизианы, где рано утром в пятницу вынуждены были остановиться из-за перегоревшего генератора. (Подержанная запасная часть, купленная в Шривпорте, обошлась им в 22 доллара пятьдесят центов.) В ту ночь они спали в машине где-то у границы Алабамы с Флоридой. На следующий день они меньше торопились и позволили себе обычные для туристов развлечения: побывали в питомниках аллигаторов и гремучих змей, покатались в лодке со стеклянным дном по кристально чистому озеру, съели дорогой обед из омара на вертеле в приморском ресторане. Прекрасный был день! Но добравшись до Таллахасси, они оба порядком устали и решили там заночевать.

— Поразительно! — Перри снова пробежал глазами статью.— Знаешь, я бы совершенно не удивился, если бы узнал, что это дело рук сумасшедшего. Какого-нибудь чокнутого малого, который прочитал о том, что было в Канзасе.

Дик побежал к воде. Он брел по мокрому песку, останавливаясь то там, то тут в поисках морских ракушек. Еще мальчишкой он завидовал соседскому сыну, который поехал отдыхать к океану и вернулся с коробкой, битком набитой ракушками. Дик так возненавидел парнишку, что украл ракушки и раздробил их молотком одну за другой. Он постоянно ощущал зависть; врагом становился тот, кем хотел быть сам

Окончание. Начало в №№ 2, 3.

Дик, или тот, у кого было что-нибудь, чего хотелось Дику. Например, мужчина из гостиницы «Фонтенбло». Дик и сейчас видел окутанные дымкой, расплывчатые контуры башен дорогих гостиниц — «Фонтенбло», «Иден Рок», «Рони Плаза». На второй день их пребывания в Майами он предложил Перри пойти взглянуть на эти злачные места. «Может, удастся подцепить пару богатых баб». Перри колебался, он боялся, что все уставятся на их одежду: брюки цвета хаки и спортивные рубашки. На самом деле их появление в роскошном «Фонтенбло» среди мужчин в шелковых полосатых плавках и женщин с норковыми палантинами поверх купальных костюмов прошло незамеченным. Они зашли в холл, постояли там, потом двинулись в сад и задержались около плавательного бассейна. Там-то Дик и увидел того мужчину. Он был примерно одних с Диком лет, этот человек, и сошел бы за игрока, или адвоката, или чикагского гангстера. Уж он-то изведал прелесть денег и власти. Весь его вид говорил об этом. Блондинка, похожая на Мэрилин Монро, натирала его жидкостью для загара, а он лениво протягивал руку с усеянными перстнями пальцами за запотевшим ото льда стаканом апельсинового сока. Почему все это никогда не будет принадлежать Дику? Почему этому сукину сыну дано все, а ему — ничего? Почему везет именно этому жирному ублюдку? Он, Дик, обладал властью, держа в руке нож. И пусть жирные ублюдки остерегаются, не то он им выпустит кишки. День был испорчен. Виной тому — красивая блондинка, втиравшая лосьон для загара. Он сказал Перри:

— Пошли отсюда к чертовой матери.

Звуки рождественских гимнов, доносившиеся из транзистора — из-под розового зонтика, странно сочетались с яркими лучами солнца над Майами и с неумолчными криками чаек.

Возвышенная музыка в исполнении церковного хора до слез взволновала Перри. И, как всегда в такие минуты глубокого волнения, в голову ему пришла мысль, полная тайного очарования: самоубийство. Опаленные солнцем острова, зарытое золото, синее полыхание моря, в глубины которого ныряет пловец в поисках затонувших сокровищ,— все эти мечты постепенно улетучились. Умер, не успев родиться, и «Перри О'Парсонс», плод необузданной фантазии, звезда сцены и экрана, в существование которой Перри в свое время поверил почти всерьез. На что теперь можно было рассчитывать? Они с Диком участники гонки без финиша — так казалось Перри. Вот и теперь, не проведя в Майами и недели, они собирались вновь двинуться в путь. Дик, проработав один день в автодорожной компании «Эй-Би-Си», где за час платят 65 центов, заявил:

— Майами еще почище Мексики. Шестьдесят пять центов! Это не для меня. Я пока еще белый.

Так что завтра с утра пораньше с двадцатью семью долларами в кармане, оставшимися от добытых в Канзасе, они двинут куда-нибудь на запад, в Техас, в Неваду — в общем, без точного маршрута.

Вернулся Дик. Он кинулся на песок лицом вниз, мокрый и тяжело дышащий.

— Как вода?

— Блеск.

■

С котомками за плечами, в комбинезонах и легких рубашках они стояли на холодном, пронизывающем техасском ветру и ждали. Перри заметил их первым: голосующих на шоссе мальчика и старика.

— Давай остановимся,— сказал Перри.

Дик был против. Подбирать, по его мнению, стоило только тех, кто мог расплатиться деньгами или хотя бы парой галлонов бензина. Но Перри, черт бы подрал этого маленького сердобольного Перри, всегда требовал, чтобы Дик подвозил самых разнесчастных, самых обиженных богом людей. Вот и на этот раз Дику, сидящему за рулем, пришлось остановить машину.

Мальчик, остроглазый светловолосый крепыш лет двенадцати, буквально прыгал от переполнявшей его благодарности, старик с морщинистым лицом бессильно опустился на заднее сиденье и хранил гробовое молчание.

Перри и Дик покинули портовый город Галвестон часом раньше. Они провели там все утро, толкались в разных конторах, искали работу, пытались наняться моряками первого класса. В одной компании их согласились немедленно взять на танкер, отправлявшийся в Бразилию. Приятели плыли бы уже по морю, если бы бдительного хозяина не насторожило то, что у них не было никаких документов. Как ни странно, но разочарование Дика превзошло даже огорчение Перри:

«Бразилия! Они ведь строят там новую столицу! Все заново. Представь себе, если бы мы прибыли к самому началу. Тут каждый дурак заработает миллион».

— Вы куда? — спросил Перри мальчика.

— В Суитуотер.

— А где это Суитуотер?

— Вроде бы где-то здесь. В общем, в Техасе. Вот он, Джонни,— мой дедушка.

Старик закашлялся, чуть повернул голову, приоткрыл глаза, снова закрыл их.

Дик заволновался:

— Эй, послушай, с ним что-то неладно, а?

— Это перемена обстановки,— ответил мальчик,— и дорога. Мы ведь топаем с самого рождества, отмахали, наверно, бóльшую часть Техаса.

Голос мальчика звучал равнодушно и устало. Продолжая растирать руки старика, он рассказывал, что до начала путешествия они с дедушкой и тетей жили на ферме недалеко от Шривпорта в Луизиане. Недавно тетя умерла.

— Ей приходилось тащить на себе весь дом. Джонни плох уже около года, и помочь-то ей кроме меня никто не мог. Как-то мы запасались дровами, корчевали пни. И прямо посреди работы тетя сказала вдруг, что у нее нет больше сил. Может, видели когда-нибудь лошадь, которая падает и больше не поднимается? Я-то видел. С тетей случилось в точности так. За несколько дней до рождества хозяин фермы, которую арендовал дед, вытурил нас. Нам ничего и не оставалось, как поехать в Техас к этой миссис Джексон. Я ее никогда не видел, но она родная сестра Джонни, и ведь должен же кто-нибудь помочь нам найти ее. Ну хотя бы дедушке. Он не может больше идти. В последнюю ночь мы промокли насквозь.

Машина остановилась. Перри спросил Дика, что случилось.

— Этот человек еле дышит,— ответил Дик.

— Ну и что ты собираешься делать? Может быть, выкинешь их, как собак?

— Пошевели мозгами. Хоть раз в жизни.

— Сукин ты сын. Только и всего.

— А если он умрет?

— Он не умрет,— сказал мальчик.— Он теперь уж подождет, раз мы сумели добраться до этих мест.

— А если он все-таки умрет? — настаивал Дик.— Начнут задавать вопросы.

— Плевал я на все это. Тебе охота их выбросить? Валяй! Давай, Дик. Выбрасывай их. И меня заодно.

— О'кей, о'кей, о'кей. Только не забудь, по чьей милости мы влипнем.

Дик дал газ. Вдруг, когда машина уже тронулась, мальчик закричал:

— Останови!

Он выскочил из машины, побежал к обочине дороги, наклонился, подбирая одну за другой пустые бутылки из-под кока-колы, затем вернулся обратно и, довольный, улыбающийся, занял свое место.

— В этих бутылках куча денег,— сказал он Дику.— Мистер, если вы будете ехать медленнее, то я вам гарантирую приличный заработок. Мы с Джонни именно так и питались все это время. Сдавали посуду.

Теперь они втроем — Дик, мальчик и Перри — выскакивали из машины и откровенно соревновались друг с другом.

Мотель предстал перед путниками множеством огней.

Мальчику дали за бутылки двенадцать долларов и шестьдесят центов.

Он тут же разделил деньги: себе половину, остальные Дику и Перри и сказал:

— Знаете что? Мне хотелось бы накормить Джонни, да и сам я не прочь подзакусить. А вы, ребята, не проголодались?

Дик, как всегда, был голоден. Даже Перри после стольких трудов проголодался. Позднее он рассказывал:

— Мы втащили старика в ресторан и усадили за стол. Он выглядел так же, как раньше, живой мертвец. Не проронил ни слова. Но надо было видеть, как он ел. Мальчик заказал оладьи — любимое кушанье деда. Я думаю, дед проглотил их штук тридцать. Плюс по крайней мере два фунта масла и кварту сиропа. Мальчик тоже был здоров пожрать. Он брал только жареную картошку и мороженое, но съел, наверно, по целому возу того и другого. Странно, что он не лопнул.

Изучив карту, Дик сообщил во время обеда, что Суитуотер лежит на сто миль западнее дороги, по которой он собирается добираться — через Нью-Мексико и Аризону в Неваду, точнее, в Лас-Вегас. Все это было правдой, но Перри стало ясно, что Дик просто-напросто хочет отделаться от попутчиков. Намерение Дика мгновенно понял и мальчик. Он был вежлив и сказал только:

— Не беспокойтесь о нас. Здесь многие останавливаются. Мы доедем.

■

В пять часов пополудни, приблизительно через двадцать минут после того, как угнанный «шевроле» оставил позади невадскую пустыню и въехал в город Лас-Вегас, длинное путешествие пришло к концу. Однако это случилось только вслед за тем, как Перри навестил местное отделение связи и получил высланную им самим до востребования большую картонку; ее содержимое — хлопчатобумажные армейские цвета хаки брюки, изношенные рубашки, нижнее белье и две пары сапог с серебряными пряжками — никак не соответствовало сумме, в которую Перри оценил посылку, отправляя ее из Мексики,— ста долларам. Дик, ожидавший Перри на улице, пребывал в радужном настроении, он принял решение, которое, как ему казалось, позволит покончить со всеми трудностями и откроет перед ним новую дорогу, сияющую, словно радуга. Он решил разыграть из себя офицера авиации. Эта мысль уже давно увлекала Дика, и Лас-Вегас был идеальным местом для ее осуществления. Он уже успел выдумать себе офицерский чин и фамилию, которая на самом деле принадлежала бывшему знакомому — начальнику тюрьмы штата Канзас, Трэси Хэнду. В каче-

стве капитана Трэси Хэнда он собирался, щеголяя сшитой на заказ формой, «пройтись по полосе», то есть обойти все круглосуточно действующие игорные дома Лас-Вегаса, тянувшиеся длинной полосой вдоль главной улицы города. Выдавая фальшивые чеки в течение двадцати четырех часов кряду, он рассчитывал собрать три, а то и четыре тысячи долларов. В этом заключалась лишь половина его плана. Другая же половина укладывалась в два слова: «Прощай, Перри». Дика от него уже тошнило — от его губной гармошки, от его предрассудков, от его слезливых, женских глаз, от его вкрадчивого, тихого голоса. Подозрительный, злопамятный, самодовольный, Перри походил на жену, от которой не чаешь как избавиться. А для этого существовал лишь один путь: удрать потихоньку.

Погруженный в свои мысли, Дик не заметил, как полицейская патрульная машина проехала мимо, сбавила скорость и стала вести наблюдение. Не заметил ее и Перри, который спускался по лестнице почты, неся на плече свою мексиканскую коробку,— он тоже пропустил патрульную машину и сидевших в ней Оси Пигфорда и Франсиса Маколи, полицейских, в чьих головах хранились наизусть выученные данные картотеки, в том числе описание черно-белого «шевроле» с канзасским номером JO—16212. Ни Перри, ни Дик не заметили полицейской машины, которая «села им на хвост», когда они отъехали от почты. Дик вел «шевроле», а Перри показывал дорогу; проехав пять кварталов к северу, затем налево, потом направо и еще четверть мили прямо, они остановились перед полувысохшей пальмой и поблекшей от непогоды вывеской, где выцвели все буквы, кроме трех: «АТЫ».

— Тут, что ли? — спросил Дик. Перри кивнул головой — в тот самый миг, когда с ними поравнялась полицейская машина.

■

В сыскном отделении тюрьмы в Лас-Вегасе имеются две комнаты для допросов. С двух часов дня второго января 1960 года обе комнаты были заняты. Именно в это время четыре следователя решили начать допрос Хикока и Смита.

— Я знаю порядок,— сказал Дик.— Мне не впервой.

— Что ж, мистер Хикок...

— Дик.

— Дик, мы хотели бы поговорить с вами о том, что вы делали после досрочного освобождения. По нашим сведениям, вы провернули в районе Канзас-сити по крайней мере две крупные чековые махинации.

— Ага. Роздал целую кипу бумаг.

— Где именно?

Арестованный, явно гордясь своим незаурядным даром — блестящей памятью, перечислил названия и адреса двенадцати канзасских магазинов, кафе и гаражей, не забыл назвать ни одной из произведенных «покупок», а также сообщил точное число курсирующих чеков.

— Вот что мне любопытно, Дик. Почему люди принимают ваши чеки? Мне бы хотелось постичь эту тайну.

— Тайна в том, что люди — болваны.

Рой Чёрч сказал:

— Ну что ж, очень мило, Дик. Очень. А сейчас давайте-ка забудем на время про эти чеки. Расскажите нам что-нибудь о вашей семье, о том, как вы росли.

Дик стал припоминать. Однажды, когда ему было девять или десять лет, заболел отец. У него была малярия. Отец болел несколько месяцев, и все это время семья зависела от церковных подаяний и от щедрости соседей.

— Если бы не они, то, наверное, мы все умерли бы с голода. В остальном детство было нормальным. Денег у нас было немного, но и нищими мы никогда не слыли. Ходили в чистой одежде, и в доме всегда была еда. Отец держал нас в строгости. Родители никогда не ссорились. Не могу припомнить ни одной ссоры. Мать просто замечательная женщина. Отец тоже неплохой мужик. Думаю, они сделали для меня все, что могли.

Школа? Он, пожалуй, смог бы стать одним из лучших учеников, если бы посвятил книгам то время, которое убивал на спорт.

— Бейсбол. Футбол. Я был членом всех сборных. Мог бы после окончания школы поступить в колледж на ту стипендию, которую получал бы, как отличный игрок. Хотел изучать инженерное дело, но на стипендию не проживешь. Короче говоря, я решил начать работать.

Ему еще не исполнилось и двадцати одного года, а он уже успел побывать и путевым обходчиком, и водителем «скорой помощи», и красильщиком машин, и механиком; за это время он женился на Кэрол, девушке шестнадцати лет.

— Кэрол. Ее отец был священником. Он меня до смерти ненавидел. Говорил, что я полное ничтожество. Чего он только не делал, чтобы нам помешать. Но я по Кэрол с ума сходил. И до сих пор схожу. Настоящая принцесса. Только вот дети! У нас их родилось трое. Мальчики. А мы были слишком молоды, чтобы иметь столько детей. Если бы не долги! Если бы я мог заработать побольше! Я старался.

Он начал поигрывать в карты, подделывать чеки, набивал руку на мелких кражах. В 1958 году в Канзасе был осужден на пять лет тюремного заключения за кражу

со взломом. К тому времени он уже расстался с Кэрол. Его невестой стала другая девушка, тоже шестнадцатилетняя.

— Злая, как черт. И вся семья такая. Она разошлась со мной, пока я сидел в тюрьме. Ну что ж, я не жалуюсь. Выйдя из тюрьмы прошлым августом, думал начать новую жизнь. Получил работу в Олейте, ночевал дома. Все шло хорошо...

— До двадцатого ноября,— сказал Най. Хикок, казалось, не понял его.— В этот день все перестало идти хорошо, и вы снова взялись за подделку чеков. Почему?

Хикок вздохнул и сказал:

— Ну, это длинная история. На целую книгу хватит.— Затем, закурив сигарету, предложенную Наем, продолжал: — Перри, мой дружок Перри Смит, был освобожден летом досрочно. Потом, когда меня тоже выпустили, я получил от него письмо со штампом Айдахо. В письме он напоминал мне о деле, которое мы обсуждали с ним сотни раз. Насчет Мексики. Была мысль поехать в одно из тамошних местечек, в Акапулько, купить суденышко и зарабатывать на обслуживании туристов.

— Лодку-то,— перебил Най,— на какие деньги собирались покупать?

— Минуточку. Я еще дойду до этого,— сказал Хикок.— Значит, вот: Перри написал мне, что у него в Форт-Скотте есть сестра. И у нее будто бы хранятся какие-то деньги Перри. Несколько тысяч долларов, которые отец был ему должен за продажу имущества на Аляске. Перри писал, что собирается в Канзас за этими деньгами.

— На них-то вы и хотели купить лодку?

— Точно.

— Но ничего из этого не вышло?

— Перри объявился через месяц. Я его встретил на автобусной станции в Канзас-сити.

— Когда? Назовите день недели.

— В четверг.

— А когда вы поехали в Форт-Скотт?

— В субботу.

— 14 ноября?

В глазах Хикока промелькнул испуг. Зачем это Чёрчу понадобилась точная дата? Поспешно, чтобы не дать зашевелиться подозрениям, следователь спросил:

— В котором часу вы отправились в Форт-Скотт?

— Днем. Мы только подправили мою машину и съели по «чили» в «Вест-сайд кафе». Что-нибудь около трех было, когда мы двинулись.

— Значит, около трех. Сестра Перри Смита ждала вас?

— Да нет, Перри куда-то задевал ее адрес. А телефона у нее не было.

— Как же вы рассчитывали найти ее?

— Мы собирались спросить на почте.

— Ну и спросили?

— Да, Перри все выяснил. Ему сказали, что она переехала, будто бы в Орегон. Но своего нового адреса не оставила.

— Что ж, приятного мало. Особенно, если учесть, что вы рассчитывали на такую крупную сумму денег.

— Конечно, ведь мы уже точно решили податься в Мексику. Иначе стал бы я связываться с этими чертовыми чеками. Но я надеялся, и это чистая правда, что, когда мы начнем зашибать деньгу в Мексике, я смогу оплатить их. Эти чеки.

Инициативу допроса перехватил Най:

— Минуточку, Дик. Мне хотелось бы уточнить кое-что в связи с вашей поездкой в Форт-Скотт,— сказал он.— Когда вы не нашли сестру Смита, что вы стали делать?

— Шатались, пили пиво. Потом поехали обратно.

— Обратно — домой?

— Нет, в Канзас-сити. Остановились в Зесто-Драйв-ин. Ели рубленые бифштексы.

— Ну хорошо, мы дошли до воскресенья. До пятнадцатого ноября. Расскажите нам, что вы делали в этот день.

— Что делали? Позавтракали на стоянке грузовиков около Хэппи-хилл. Потом двинулись в Олейте, и я высадил Перри у отеля, в котором он остановился. Было что-то около двенадцати. Поехал домой и пообедал с родителями. Как обычно в воскресенье. Смотрел телевизор. Баскетбол, а может, футбол. Я чертовски устал тогда.

— Когда вы снова увидели Перри Смита?

— В понедельник. Он пришел ко мне на работу.

— О чем вы говорили? О Мексике?

— Да, все никак не могли расстаться с этой мыслью. И хотя денег для осуществления наших планов не оказалось, мы все же решили рискнуть.

— Действительно стоило, чтобы снова угодить в Лансинг?

— Об этом как-то не думали. Мы ведь не собирались возвращаться в Штаты.

Най, который все время что-то отмечал в блокноте, сказал:

— На следующий день после чековой махинации вы с Перри исчезли. Это было двадцать первого. Теперь, Дик, пожалуйста, расскажите нам, что вы делали, где вы были начиная с того момента вплоть до ареста в Лас-Вегасе. Ну приблизительно.

Хикок свистнул и закатил глаза:

— Вот это да-а-а!

Призвав на помощь свой талант точного воспроизведения событий, он начал рассказ о долгом путешествии — о десяти тысячах миль, проделанных им с Перри за прошедшие шесть недель. Он говорил час двадцать минут. А Най записывал каждое его слово. Это был рассказ о шоссейных дорогах, отелях, реках, мотелях, деревнях, городах — целое созвездие названий. Он назвал имя человека, которому продал свой старый «шевроле» 1949 года, сознался в том, что украл модель поновее в Айове. Он описал множество людей, с которыми им с Перри довелось встретиться.

Кончив говорить, он с довольной улыбкой скрестил руки на груди, будто ожидал похвалы за ясность изложения и за чувство юмора.

Но Най, видимо, не успевавший за рассказчиком, продолжал быстро писать, а Чёрч, лениво похлопывая кулаком по ладони, не проявлял никакого интереса к услышанному, пока вдруг не сказал:

— Думаю, что вы знаете, почему мы здесь.

Улыбка мгновенно исчезла с лица Хикока. Он сжал губы и выпрямился.

— Как вы полагаете, Дик, стоило нам ехать в Неваду ради того, чтобы поболтать с двумя мелкими воришками?

Най закрыл блокнот. Он в упор смотрел на арестованного и заметил, как на лбу у того от напряжения вздулись вены.

— Ну так как, Дик? Стоило?

— Что?

— Ехать сюда из-за каких-то там чеков?

— Я не знаю других причин.

Рисуя кинжал на обложке блокнота, Най спросил вдруг:

— Скажите, Дик, слышали ли вы что-нибудь об убийстве Клаттеров?

Именно об этой минуте Най написал в официальном отчете о допросе: «Подозреваемый изменился в лице, побледнел, в глазах его появился беспокойный блеск».

— Э, нет, постойте! Я пока еще не убийца.

— Вас спрашивают, слышали ли вы об убийстве?

— Может, я и читал что-нибудь об этом,— ответил Хикок.— Подлое преступление. Подлое. Трусливое.

— Сработано почти безупречно,— сказал Най.— Но допустили две ошибки. Первая: вы оставили свидетеля. Живого свидетеля. Он займет свое место на суде и расскажет присяжным, как Ричард Хикок и Перри Смит связали свои жертвы, залепили им рты пластырем и убили четырех беспомощных людей.

Лицо Хикока налилось кровью.

— Живой свидетель! Там не могло его быть!

— Это вы так считаете, потому что думаете, будто избавились ото всех.

— Я сказал «постойте». Никто не может установить связи между мной и этим треклятым убийством. Чеки. Мелкая кража. Но, черт побери, я не убийца.

— Тогда зачем,— возмутился Най,— вы нам лжете?

— Я говорил правду.

— Иногда. Но не всегда. Ну, хотя бы про субботу, 14 ноября. Вы сказали, что поехали в Форт-Скотт?

— Да.

— И, приехав туда, обратились на почту?

— Да.

— Чтобы выяснить адрес сестры Перри Смита?

— Точно.

Най встал, обошел Дика, положил руки на спинку стула, наклонился к арестованному, будто собирался шептать ему на ухо.

— У Перри Смита нет сестры в Форт-Скотте,— сказал он.— И никогда не было. Что же касается субботы, то почта в Форт-Скотте в субботу была закрыта.— Потом он добавил: — Так что подумайте над этим, Дик. На сегодня все. Мы еще поговорим с вами.

■

Только после трехчасовой подготовки решили наконец заговорить о главном.

Дьюи сказал:

— Перри, давайте проанализируем ситуацию. Когда вас досрочно освобождали, вам поставили условие: никогда не возвращаться в Канзас.

— Штат подсолнухов. Я чуть все глаза не выплакал.

— Зачем же вы все-таки вернулись? Для этого должны были быть серьезные основания.

— Я уже сказал. Хотел повидать сестру. Чтобы взять у нее деньги.

— Ну да. Ту самую сестру, которую вы с Хикоком искали в Форт-Скотте. Перри, какое расстояние от Форт-Скотта до Канзас-сити?

Смит пожал плечами. Он не знал.

— Ну ладно, а сколько же времени вы туда добирались?

Молчание.

— Час? Два? Три? Четыре?

Арестованный ответил, что не может припомнить.

— Ну, еще бы вам припомнить! Вы ведь ни разу в жизни не были в Форт-Скотте.

До сих пор ни один из следователей не подвергал сомнению показаний Перри. Он заерзал на стуле и облизнул губы.

— Вы все время врали. Вашей ноги не было в Форт-Скотте.

— Спросите Дика. Он знает.

Дьюи обратился к своему коллеге:

— Кларенс, кажется, пришло время поговорить с Перри начистоту.

— Да, сэр, самое время.

— Слушайте хорошенько, Перри. Мистер Данц расскажет вам, где вы на самом деле были в ночь с субботы на воскресенье. Где были и что делали.

Данц сказал:

— Вы убивали семью Клаттеров.

Смит проглотил слюну, начал потирать колени.

— Вы были в Холкомбе, в штате Канзас. В доме мистера Герберта У. Клаттера. Прежде, чем покинуть дом, вы убили всех, кто там находился.

— Никогда. Я никогда...

— Что никогда?

— Никогда я не знал людей с фамилией Клаттер.

Дьюи назвал его лжецом и затем пустил в ход тот козырь, о котором следователи договорились заранее:

— У нас есть живой свидетель, Перри. Некто, кого вы с Диком проглядели.

Прошла минута. Молчание Перри чрезвычайно радовало Дьюи. Ведь невиновный наверняка спросил бы, что это за свидетель, кто такие Клаттеры, почему следователи считают, что именно он убил их,— короче говоря, сказал бы хоть что-нибудь. А Перри сидел, не шелохнувшись, только сжимал колени.

— Что скажете, Перри?

— Дайте аспирину, у меня его отобрали.

— Вам плохо?

— Колени болят.

В половине шестого Дьюи внезапно прервал допрос.

— Мы продолжим разговор завтра,— сказал он.— Между прочим, знаете, что будет завтра? День рождения Нэнси Клаттер. Ей исполнилось бы семнадцать лет.

■

На следующий день в пять минут четвертого Перри наконец признался, что рассказ насчет Форт-Скотта — ложь.

— Дик так сказал своим, чтобы дома не ночевать. Выпить немного. Ведь папаша глаз с него не спускал, все боялся, как бы он снова не сел. Вот мы и выдумали насчет моей сестры. Просто для того, чтобы мистеру Хикоку было спокойнее.

Что до всего остального, то Перри продолжал настаивать на своем. Данцу и Дьюи никак не удавалось сдвинуть допрос с мертвой точки. Они уличали Перри во лжи, но ничего не могли добиться, разве что выяснили какие-то мелочи.

В прокуренной комнате напротив второй раз допрашивали Хикока. Най и Чёрч применяли тонкую стратегию. За три часа допроса ни один из следователей ни разу не упомянул об убийстве. Это насторожило Дика, он все время находился в состоянии напряженного ожидания. Речь шла обо всем на свете: о религиозных верованиях Хикока («Я отлично знаю, что такое ад. Я там бывал. Может, рай тоже существует. Так, во всяком случае, думают богатые»), о его сексуальных наклонностях («Я всегда вел себя, как любой нормальный человек»); неоднократно возвращались к недавнему путешествию через всю страну («Единственной причиной этой поездки было желание найти работу. И, как назло,— ничего подходящего»). Но о главном молчали. Следователи полагали, что подобная тактика усиливает растущую тревогу Дика. Через некоторое время он закрыл глаза и дотронулся кончиками дрожащих пальцев до век. Чёрч спросил:

— Что-нибудь неладно?

— Голова трещит. Разламывается на куски.

Тогда Най сказал:

— Посмотрите-ка мне в глаза, Дик.

Хикок повиновался. Лицо его, по мнению следователя, выражало мольбу: говорите, обвиняйте и дайте, наконец, возможность сказать твердое «нет».

— Вы, наверно, помните, когда мы обсуждали все это вчера, я сказал, что преступники действовали почти безупречно. Убийцы допустили только две ошибки. Первая — оставили в живых одного свидетеля. Вторая — ну что ж, придется вам показать...

Из угла комнаты Най принес ящик и портфель, приготовленные заранее, до начала допроса. Он извлек из портфеля большую фотографию.

— Это,— сказал он, кладя фотографию на стол,— точное, в натуральную величину, изображение следов, обнаруженных рядом с телом мистера Клаттера. А здесь,— он открыл коробку,— ботинки, оставившие эти следы. Ваши ботинки, Дик.

Хикок посмотрел и отвернулся. Облокотившись на колени, он уронил голову на руки.

— Смит,— продолжал Най,— оказался еще более неосторожным. Его ботинки у нас тоже есть, и они оставили другие следы — кровавые.

Чёрч подошел поближе:

— Знаете, что ждет вас, Хикок? Вас отправят обратно в Канзас. Вы будете обвинены в зверском убийстве по четырем пунктам. Пункт первый: 15 ноября 1959 года некто Ричард Юджин Хикок нарушил закон, совершая кражу, и, преднамеренно и умышленно, лишил жизни Герберта У. Клаттера. Пункт второй: 15 ноября 1959 года этот же самый Ричард Юджин Хикок нарушил закон, совершая кражу...

— Перри Смит убил Клаттеров,— сказал Дик. Он поднял голову и начал медленно выпрямляться, словно боксер, встающий на ноги после нокдауна.— Это Перри. Я не смог его остановить. Он убил их всех.

■

Клэр, почтмейстерша, наслаждаясь кофе в кафе Хартмена, была очень недовольна тем, что радио говорило так тихо.

— Включите погромче,— потребовала она.

Радио работало по программе станции Гарден-сити. Миссис Клэр услышала:

«...После того, как Хикок, рыдая, сделал свое драматическое признание, допрос был прерван. Хикока вывели, но в коридоре он упал в обморок. Агенты КБР едва успели подхватить его. Хикок, по словам агентов, заявил, что он и Смит проникли в дом Клаттеров в надежде найти там сейф с десятью тысячами долларов по меньшей мере. Не найдя сейфа, они связали Клаттеров и убили их одного за другим. Смит не подтверждал, но и не отрицал соучастия в преступлении. Когда ему сообщили о том, что Хикок подписал признание, Смит сказал:

— Я бы хотел взглянуть на заявление моего дружка.

Но просьба была отклонена. Власти отказываются дать сведения о том, кто именно убил Клаттеров, Хикок или Смит. Они всячески подчеркивают, что заявление Хикока — это лишь его версия. В настоящее время следователи покинули Лас-Вегас и на машинах доставляют преступников в Канзас. Их прибытие в Гарден-сити ожидается в среду. Тем временем прокурор графства Дуэйн Уэст...»

— Одного за другим,— повторила миссис Хартмен.— Вы только представьте себе. Я лично нисколько не удивляюсь, что этот гад хлопнулся в обморок.

«...Как сказала почтмейстерша Холкомба миссис Мэртл Клэр,— передавало радио,— жители городка очень довольны тем, что преступление наконец разгадано. Однако многие из горожан продолжают выражать опасения в том, что в убийстве замешаны и другие лица. Миссис Клэр сказала, что все двери запираются на замок, а оружие всегда наготове...».

— Ах, Мэртл,— засмеялась миссис Хартмен,— кому ты это говорила?

— Репортеру из «Телеграм».

Знакомые мужчины обращались с миссис Клэр так, будто она тоже была особой мужского пола. Может быть, потому, что она одевалась, как мужчина. Один из фермеров хлопнул ее по спине и сказал:

— Черт побери, Мэртл, дружище. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь из нас связан с этим делом?

Именно так и думала миссис Клэр. И если обычно ее точка зрения не разделялась другими, то на этот раз Мэртл не была одинока. Жители городка, прожив семь недель в атмосфере нездоровых слухов, взаимного недоверия и подозрительности, почувствовали явное разочарование, узнав, что убийцу не надо искать среди своих.

■

По шоссе в Аризоне среди покрытой полынью пустынной равнины с возвышающимися кое-где красными скалами мчатся две машины. Первую ведет Дьюи. Перри Смит сидит рядом с ним; Данц расположился на заднем сиденье. Смит в наручниках, они короткой цепью прикреплены к поясу — это настолько стесняет движения Перри, что он не может даже закурить без посторонней помощи. Дьюи самому приходится раскуривать для Перри сигареты и вкладывать ему в рот. Это глубоко отвратительно Дьюи, потому что напоминает нечто очень интимное, то, что делаешь только для близкого человека, для жены...

Арестованный ни на что не реагирует, хотя его пытаются вывести из равновесия, воспроизводя отрывки из записанного на магнитофон часового признания Хикока.

— Он говорит, что пытался остановить вас, но не смог. Говорит, что вы чуть было не убили его самого. Да, Перри, вина только ваша. Сам Хикок, по его словам, и мухи не обидит.

Но ни одно из этих сообщений не задевает Перри. Во всяком случае внешне он остается совершенно спокоен. Продолжает созерцать окрестности, читать рекламы у обочин дороги и считать валяющиеся у заборов ранчо скелеты койотов.

Не рассчитывая вызвать особую реакцию, Дьюи говорит:

— Хикок сообщил, что вы прирожденный убийца. Убить кого-нибудь вам легче легкого. Он рассказал, как однажды в Лас-Вегасе вы напали с велосипедной цепью на негра. И забили его до смерти. Просто так.

К изумлению Дьюи, арестованный охнул. Он резко повернулся и сквозь заднее стекло посмотрел на вторую машину:

— Кремень! Железный человек!

И вновь уставился на темную полосу пустынного шоссе.

— Я думал, вы меня хотите купить. Не верил вам. Не верил, что Дик раскололся. Кремень! Примерный мальчик! Мухи не обидит! Зато запросто задавит собаку.— Перри плюнул.— В жизни я не убивал никакого черномазого.

Так оно и было. Данц изучил все случаи убийств в Лас-Вегасе и знал, что Перри не убивал негра.

— В жизни я не трогал черномазого, но Дик-то думает, что я его убил. Я точно знал, что, если нас когда-нибудь схватят и Дик расколется, он обязательно скажет про этого негра.— Перри плюнул со злостью.— Выходит, Дик меня боялся? Смешно. Просто сдохнуть можно от смеха. Он-то не догадывается, что я и в самом деле чуть было не прикончил его.

Дьюи раскурил две сигареты, одну для себя, другую для Перри.

— Расскажите нам об этом, Перри.

Смит курит с закрытыми глазами.

— Я думаю. Стараюсь припомнить, как все это было.— Он помолчал немного.— Значит, так. Началось с письма, которое я получил в Бьюле, Айдахо. Может, в сентябре, а может, и в октябре. Письмо было от Дика, он писал, что у него есть на примете одно дельце. Верняк. Я не ответил. Он снова написал мне, чтоб я возвращался в Канзас и мы с ним вместе обделаем это дельце. Но он ни разу не объяснил, что там такое. Повторял без конца, что это верняк, и все. В общем, я решился. Дик ждал меня на автобусной станции в Канзас-сити. Мы поехали к его родителям. Но они встретили меня в штыки. А я все чувствую. Я всегда знаю, о чем люди думают. Ну, хотя бы вы.— Перри сказал это, не глядя на Дьюи.— Вас просто тошнит, когда вы даете мне сигарету. Дело ваше. Я вас не виню. Так же, как не виню мать Дика. Она мне очень даже понравилась. Но она знала, кто я такой: дружок по тюрьме. Поэтому в ее доме для меня не оказалось места. Я, честное слово, был до смерти рад, когда ушел оттуда. Поселился в отеле в Олейте, Дик меня туда отвез. Там мы купили пива, взяли его в номер, и тогда наконец Дик выложил, что было у него на уме. Он рассказал, что после того, как я вышел из Лансинга, он сидел с одним типом, этот тип когда-то работал в западном Канзасе на богача фермера Клаттера. Дик начертил мне план дома Клаттеров. Он помнил наизусть, где там что было: двери, холл, спальни. Одна комната на первом этаже служила кабинетом, и в нем находился сейф. По словам Дика, сейф был необходим мистеру Клаттеру, потому что он постоянно держал дома большие суммы денег. Не меньше, чем десять тысяч долларов. План состоял в том, чтобы очистить сейф, а если нас кто увидит... ну, в общем, тому будет крышка. Дик миллион раз повторял: «Никаких свидетелей».

— Сколько же свидетелей Дик рассчитывал отправить на тот свет? — спросил Дьюи.— Я хочу сказать, многих ли он полагал встретить в доме Клаттера?

— Я тоже спрашивал его про это. Но Дик не мог ответить точно. Самое меньшее, четырех. А может, и шестерых. Кроме того, он предполагал, что у Клаттеров могут быть гости. В общем, настроился на двенадцать человек.

Дьюи застонал, Данц присвистнул, а Смит, устало улыбнувшись, прибавил:

— По-моему, тоже перехватил. Двенадцать человек. Но Дик говорил, что все это пустяки. Он сказал: «Мы залепим все стены волосами». Настроение у меня было такое, что я поддался на уговоры. Да и кроме всего — буду честен — я верил в Дика. Он казался мне очень практичным, как говорят, стопроцентным мужчиной. В деньгах я нуждался не меньше его. Мне хотелось раздобыть их, чтобы уехать в Мексику. Но я надеялся обойтись без насилия. Я думал, это возможно, надо только надеть маски. Из-за этого мы поспорили. По пути в Холкомб я все время хотел остановиться, чтобы купить черные шелковые чулки,— мы бы закрыли ими лицо. Но Дик считал, что чулок ему не поможет: все равно его узнают. По глазам. Сразу же после ленча мы двинулись в Эмпорию. Купили там пару резиновых перчаток и моток веревки. Нож, охотничье ружье, патроны — все это Дик захватил еще из дому. Но идти за черными чулками ему не хотелось. Мы чуть не поругались. Потом мы, не останавливаясь, ехали до Грейт-Бенда. Там купили липкий пластырь. Пообедали. Наелись — будь здоров. Я заснул. Проснулся, когда въехали в Гарден-сити. Ну и местечко. Ни одной живой души. Остановились заправиться у бензоколонки.

— В котором часу это было?

— Около полуночи. Дик сказал, что до Холкомба еще семь миль. Когда мы въехали в Холкомб, я не поверил своим глазам — до чего крошечный городишко! Мы пересекли железнодорожные пути. Вдруг Дик сказал: «Вот оно! Это должно быть здесь». Мы въезжали на частную дорогу. По бокам росли деревья. Дик выключил фары. Они были не нужны. Луна светила вовсю. На небе ни облачка. В общем, светло, как днем. Мы проехали немного по дороге, и Дик сказал: «Нет, ты только посмотри! Сколько земли! Амбары! У этого Клаттера денег куры не клюют». Но мне было не по себе, атмосфера какая-то неподходящая. Мы остановили машину в тени деревьев. Пока мы там сидели, зажегся свет — не в главном доме, а в другом, отстоящем от главного ярдов на сто. Дик сказал, что это дом наемного рабочего: он знал все из плана. Но чертов дом, сказал он, оказался ближе к дому Клаттеров, чем должен был быть. Потом свет погас. Мистер Дьюи, живой свидетель, о котором вы говорили,— тот наемный рабочий?

— Нет. Он не слышал ни звука. Но его жена кормила больного ребенка. Всю ночь то и дело приходилось вскакивать.

— Больного ребенка. Понятно. А я было подумал... Пока мы оставались в машине, свет еще раз зажегся и погас. Мне стало муторно, я сказал Дику, чтоб он на меня не рассчитывал. Если уж решился на такое, пусть действует один. Он завел мотор, мы поехали, и я подумал: слава богу. Я всегда полагался на свою интуицию, и она не раз спасала мне жизнь. Но, проехав половину пути к выезду, Дик остановился. Он разозлился как черт. Я прекрасно понимал, о чем он думает: я, Дик, нашел потрясающее дело; мы ухлопали уйму времени, пока доехали сюда, и в последний момент этот гад идет на попятный. Он сказал: «Ты думаешь, у меня кишка тонка проделать все это одному? Так вот ты увидишь, у кого она тонка». В машине было припрятано спиртное. Мы выпили, и я сказал: «О'кей, Дик. Я с тобой». Повернули обратно. Остановили машину там же, где в прошлый раз. В тени дерева. Дик натянул перчатки. Я уже надел свои. Он взял нож и карманный фонарик. Я — ружье. В лунном свете дом выглядел громадным и пустым. Я, помню, надеялся, что дома никого не окажется. Дверь была не заперта. Боковая. Через нее мы вошли в кабинет мистера Клаттера. Там мы немного подождали в темноте, прислушались. Слышали только шум ветра. На улице дул небольшой ветерок. Он колыхал деревья, и листья шелестели. На окнах были спущены жалюзи, но лунный свет пробивался сквозь них. Я прикрыл их поплотнее, и Дик включил карманный фонарик. Мы увидели письменный стол. Сейф должен находиться позади стола, в стене. Но его не было видно. Только книги и карты в рамках. На полке я обнаружил сногсшибательный бинокль. Решил взять его с собой, когда будем уходить. А вот сейфа мы так и не нашли. Дик погасил фонарик, в темноте мы вышли из кабинета и двинулись через прихожую в гостиную. Дик зашипел на меня, чтоб я шел потише. Но сам он гремел дай бог. Каждая ступенька, на которую мы ступали, скрипела. Мы дошли до холла и остановились у какой-то двери. Дик сказал, что согласно плану это должна быть дверь в спальню. Он зажег фонарик и открыл дверь. Мужской голос спросил:

— Это ты, дорогая?

Внезапно ослепленный светом фонаря, Клаттер не мог ничего разглядеть.

— Дорогая, это ты? — повторил он.

Дик спросил его:

— Мистер Клаттер, это вы?

Он окончательно проснулся, сел и спросил:

— Кто здесь? Что вам надо?

Дик в высшей степени любезно начал говорить с ним, как будто мы были коммивояжерами.

— Нам бы хотелось побеседовать с вами, сэр. Желательно в кабинете.

Мистер Клаттер, босиком, в пижаме, пошел с нами в кабинет. Мы зажгли там свет. До тех пор он не мог разглядеть нас как следует. Думаю, что когда наконец он увидел нас, ему стало здорово не по себе.

— Ну а теперь, сэр,— сказал Дик,— единственное, что нам от вас нужно,— ваш сейф.

Но мистер Клаттер спросил:

— Какой сейф?

Он сказал, что никакого сейфа у него нет. И я сразу понял, что это правда. Такое уж у него было лицо. Лицо человека, всегда говорящего правду. Но Дик заорал:

— Не ври, сукин ты сын! Я знаю, у тебя есть сейф!

Я подумал, что, наверно, еще никто никогда так не разговаривал с мистером Клаттером. Он посмотрел Дику в глаза и мягко повторил, что очень сожалеет, но у него никогда не было сейфа. Дик слегка ткнул его ножом в грудь и сказал:

— Покажи мне, где сейф, или тебе придется сожалеть еще больше.

Мистер Клаттер, конечно, испугался, но голос его звучал мягко и ровно. Он продолжал утверждать, что не знает ни про какой сейф. Тем временем я отключил телефон в кабинете — оборвал провода. Потом спросил мистера Клаттера, есть ли у них еще телефон. Он ответил, что есть на кухне. Я взял фонарик и пошел туда. Кухня была на приличном расстоянии от кабинета. Нашел телефон, снял трубку и кусачками перекусил шнур. Возвращаясь обратно, я услышал шум. Какой-то скрип там, наверху. Я застыл у лестницы, ведущей на второй этаж. Тьма была кромешная, но я не рискнул зажечь фонарик. Могу поручиться, что на верхней лестничной площадке кто-то был. Я видел чей-то силуэт на фоне окна. Какую-то фигурку. Потом она исчезла.

Почем я знал, может быть, этот человек был вооружен. Но Дик и слушать меня не хотел. Он увлекся своей ролью. Орал на мистера Клаттера, приказывая ему сделать то одно, то другое. Теперь он тащил мистера Клаттера обратно в спальню, рассчитывая найти деньги в его бумажнике. Там оказалось тридцать долларов. Дик швырнул пустой бумажник на кровать и заорал:

— У тебя в доме денег побольше, это уж точно! У такого богача, как ты, они должны быть. При твоей-то жизни.

Мистер Клаттер ответил, что в доме нет больше денег. Что все дела он ведет с помощью чеков. И предложил выписать нам чек. Дик взорвался:

— Да за кого ты нас принимаешь? За дикарей, что ли?

Я подумал, что сейчас Дик съездит ему по физиономии, и сказал:

— Послушай, Дик. Кто-то наверху проснулся.

Мистер Клаттер объяснил, что наверху могут быть только его жена, сын и дочь. Дик заявил, что хочет узнать, сколько денег у жены Клаттера. Мистер Клаттер ответил, что если даже у жены и есть деньги, то очень немного, быть может, несколько долларов. Он умолял не тревожить ее из-за таких пустяков. Она очень больна, больна уже давно. Но Дик настоял на своем. Мистера Клаттера он заставил идти первым. У лестницы тот остановился, зажег свет и сказал:

— Не понимаю, зачем вам все это? Что я вам сделал? Я вас никогда в жизни не видел.

— Заткнись,— одернул его Дик.— Когда мне надо будет, чтобы ты заговорил, я дам знать.

В холле наверху никого не оказалось, все двери были закрыты. Мистер Клаттер показал нам, где находятся комнаты его дочери и сына. Потом открыл дверь в спальню жены, зажег лампу рядом с кроватью и сказал:

— Все хорошо, родная. Ты только не бойся. Просто этим людям нужно немного денег.

Она заплакала, не успев даже открыть глаза. Такая тоненькая, хрупкая женщина в длинной белой ночной рубашке. Она сказала мужу:

— Но, милый, у меня нет денег.

Он тихонько поглаживал ей руку.

— Не плачь, родная. Тебе нечего бояться. Я уже отдал этим людям все деньги, которые у меня были, но они хотят еще. Они почему-то уверены, что у нас в доме есть сейф. Я им объяснил, что его нет.

Дик поднял руку, словно собираясь двинуть ему в челюсть, и сказал:

— Разве я не велел тебе заткнуться?

Миссис Клаттер плакала:

— Но, клянусь господом, муж сказал чистую правду. У нас нет никакого сейфа.

— Я-то знаю, что он у вас есть. И не уйду отсюда, пока не найду его. Будьте уверены!

Дик спросил миссис Клаттер, где ее кошелек. Он лежал в ящике секретера. Дик выдвинул ящик. Нашел какую-то мелочь и один или два доллара. Я позвал его в холл. Хотел обсудить положение. Мы вышли, и я сказал:

— Они говорят правду. Если кто наврал, так это твой дружок Флойд Уэллс. Сейфа у них нет. Пошли отсюда к чертям.— Но Дику было слишком стыдно согласиться со мной. Он заявил, что не поверит этому, пока не обшарит весь дом. Он сказал, что на то время, пока мы будем искать сейф, всех их надо связать. Спорить с ним не имело смысла. Он был на взводе. Возбужден сознанием, что сейчас все в его власти. Рядом с комнатой миссис Клаттер была ванная. Идея заключалась в том, чтобы запереть родителей в ванной, разбудить детей и запихнуть туда же. А затем выводить их оттуда по-одному и связывать каждого в разных частях дома.

— А уж когда найдем сейф, мы перережем им глотки,— сказал Дик.— Стрелять не будем — слишком много шума.

Перри наморщил лоб и потер колени скованными руками.

— Дайте подумать. Потому что с этого момента все как-то запуталось. Сейчас вспомню. Да, да. Я взял из холла стул и поставил его в ванной. Для миссис Клаттер, раз она такая больная. Когда мы запирали их там, миссис Клаттер повторяла сквозь слезы:

— Прошу вас, не трогайте никого. Прошу вас, не трогайте детей.

Муж обнял ее и стал утешать:

— Родная, эти ребята не хотят никого обижать. Им нужны только деньги.

Мы пошли в комнату сына. Он не спал. Лежал в кровати. Казалось, он не в силах шевельнуться. От испуга. Дик велел ему подняться, но он не двигался или двигался слишком медленно. Тогда Дик, ударив его, стащил с кровати. Я сказал:

— Не бей его.

Я велел мальчику надеть штаны — он был в одной рубахе. Он натянул на себя джинсы. И как раз когда мы запирали его в ванной, появилась девушка. Она вышла из своей комнаты, полностью одетая, будто проснулась уже давно. На ней были брюки, домашние туфли и халат, волосы покрывал цветной платок. Девушка попыталась улыбнуться.

— Господи помилуй, что тут происходит? Какая-то шутка?

По-моему, она прекрасно понимала, что ни о каких шутках не могло быть и речи. Во всяком случае, после того, как Дик отпер дверь в ванную и втолкнул ее внутрь, она поняла это наверняка.

Дик стоял на страже у двери в ванную, пока я занимался поисками. Обшарил комнату девушки и нашел там сумочку. Она была как игрушечная. Внутри оказался серебряный доллар. Каким-то образом я его выронил, и он закатился под стул. Мне пришлось встать на колени, чтобы достать его оттуда. И вдруг я увидел себя со стороны. Словно в каком-то дурацком фильме. Мне стало противно. Меня просто затошнило. Дик с его трепотней о сейфе богача — и поиски доллара, отнятого у ребенка. Одного доллара. И я ползаю на четвереньках, чтобы достать его.

Перри сжал руками колени и попросил аспирина.

— Но раз так, ничего не поделаешь. Я обшарил комнату мальчика. Ни гроша. Правда, там был маленький транзистор, и я решил взять его. Тут я вспомнил про бинокль, который видел в кабинете мистера Клаттера. Спустился вниз, чтобы прихватить и его. Потом отнес приемник и бинокль в машину. Прохлада приятно освежала. Я подумал: почему бы мне не уйти? Проголосовать на шоссе! Возвращаться в дом мне не хотелось, это уж точно. И все же... как бы это вам объяснить? Было такое впечатление, будто я смотрю на все происходящее со стороны, будто читаю книгу. И еще мне хотелось узнать, чем это кончится. Короче, я пошел обратно наверх. И вот тогда... нет, погодите... да, именно тогда мы и связали их. Сначала мистера Клаттера. Мы вызвали его из ванной, я связал ему руки. Потом стал спускаться с ним в подвал.

— Один и без оружия? — спросил Дьюи.

— У меня был нож.

В подвале имелось два помещения, одно похожее на комнату для игр, другое — с отопительной системой. Я повел Клаттера туда. Тут я заметил прислоненную к стене огромную картонную коробку из-под матрацев. Мне было как-то неловко предлагать ему ложиться на голый пол, поэтому я и притащил эту коробку.

Потом я связал ему ноги. Привязал руки к ногам. Спросил, не туго ли. Он ответил, что не туго, и опять умолял не беспокоить жену. Не надо ее связывать, она не станет кричать и не попытается убежать из дому. Он сказал, что она давно болеет и только в последнее время ей стало наконец немного лучше. Такая история может, конечно, вызвать рецидив болезни. Я знал, что смеяться не стоило, но все же рассмеялся, когда он произнес это слово, «рецидив». Затем занялся мальчиком. Привел его вниз, в ту же комнату, где был отец. Привязал за руки к отопительной трубе, идущей поверху. Потом я подумал, что это, пожалуй, опасно. Он, чего доброго, освободится и поможет отцу. Или наоборот. Поэтому я отвязал его и отвел в другую часть подвала, в комнату для игр. Там стояла довольно удобная на вид кушетка. Я привязал его за ноги к кушетке, связал ему руки, потом конец веревки затянул узлом вокруг шеи, так что если б он стал дергаться, то сам себя удушил бы. Пока я работал, я положил нож на сундук для приданого, что ли. Видимо, его только что покрыли лаком, весь подвал пропитался этим запахом. Мальчик попросил меня не класть нож на сундук. Потому что это свадебный подарок, который он сам смастерил для кого-то, для сестры, что ли. Когда я уходил, он слегка закашлялся и я сунул ему под голову подушку. Выключил свет.

Обеих женщин я связал в их спальнях. Миссис Клаттер все плакала и расспрашивала меня о Дике. Он не внушал ей доверия. Но про меня она сказала, что я сразу показался ей очень порядочным.

— Я уверена, вы порядочный,— повторила она. И заставила меня дать обещание, что я не позволю Дику никого трогать. Думаю, прежде всего она имела в виду дочь. Я и сам беспокоился. Мне тоже казалось, что Дик что-то замышляет. Я бы этого не потерпел. Я крепко связал миссис Клаттер. Дик в это время отвел девушку в спальню. Она лежала в кровати, а он сидел на краешке и разговаривал с ней. Я прекратил это, велел ему пойти поискать сейф, пока я буду ее связывать. Когда он вышел, я связал ей ноги, руки скрутил за спиной. Потом накрыл ее одеялом, закутал так, что снаружи осталась только голова. Рядом с кроватью стоял маленький мягкий стульчик, и мне захотелось на минуточку присесть. Ноги горели как в огне, из-за того, что я все время сгибал их в коленях. Я спросил Нэнси, есть ли у нее дружок. Она ответила, что есть, старалась изо всех сил держаться мило и приветливо. Мне она очень понравилась. Действительно, славная девушка. Очень хорошенькая и совершенно неизбалованная или что-нибудь в этом роде. Она рассказала мне о себе. О школе, о том, как поступит в университет и будет изучать музыку или изобразительное искусство. О лошадях. Сказала, что после танцев больше всего любит ездить верхом. Тогда я рассказал ей, что моя мать была постоянной участницей родео, чемпионкой. Потом мы заговорили о Дике. Мне очень хотелось знать, о чем это он с ней болтал. Оказывается, она спросила его, почему он занимается такими делами. Почему обворовывает людей. И тут, о господи, он начал заливать, что он-де сирота, вырос в сиротском доме, и никто его никогда не любил, и родных-то у него никаких нет, если не считать сестры, которая жила со всеми мужиками подряд. Все то время, что мы разговаривали, до нас снизу доносился шум. Этот псих искал сейф. Смотрел за картинами. Простукивал стены. Тук. Тук. Тук. Как дятел. Когда он вернулся, я из вредности спросил, нашел ли он сейф. Ясное дело — не нашел. Но зато в кухне он наткнулся еще на одну сумочку, и в ней оказалось семь долларов.

— А когда же вы пустили в ход пластырь? — спросил Данц.

— Сразу же после этого. Начали с миссис Клаттер. Я заставил Дика помогать мне, потому что не хотел оставлять его наедине с девушкой. Я отматывал от пластыря длинные ленты, и Дик обертывал ими голову миссис Клаттер, как это делают с мумиями.

— Ну что ты ревешь все время? — спросил Дик.— Ведь тебе же никто ничего не сделал.

Он выключил свет и сказал:

— Доброй ночи, миссис Клаттер. Спите спокойно.

Когда мы проходили мимо комнаты Нэнси, он сказал:

— Сейчас употреблю девчушку.

Я ответил:

— Пожалуйста. Только тебе придется сперва прикончить меня.

Он глянул на меня так, будто не расслышал или не поверил своим ушам:

— Тебе-то что? Можешь тоже.

Вот чего я не перевариваю. Такую невоздержанность. Надо же уметь держать себя в руках. Ненавижу это. Я сказал ему напрямик:

— Оставь ее в покое. Или тебе придется иметь дело со мной.

Он взбеленился, но тут же понял, что не время устраивать свалку. И сказал:

— Ну, если тебе это не по нутру...

В результате мы даже не обмотали ей лицо пластырем, только потушили свет и спустились в подвал.

— Перри,— спросил Данц,— я все время слежу за тем, что вы говорите о свете. Выходит, что, когда вы выключили свет наверху, дом погрузился в полную темноту.

— Правильно. И мы больше не зажигали света. Разве что карманный фонарик. Дик светил мне, когда я обматывал пластырем мистера Клаттера и мальчика. Прежде, чем я залепил ему рот, мистер Клаттер заговорил со мной — и это были его последние слова. Он хотел узнать, что с его женой. Я ответил, что она чувствует себя прекрасно, вот-вот заснет. Сказал ему, что уже недалеко до рассвета, а утром их найдут. И тогда все это — я, Дик и прочее — покажется им дурным сном. Я не издевался над ним. Мне и вправду не хотелось причинять вред этому человеку. Он казался очень милым джентльменом. Мягким, приветливым. Я думал так до того самого момента, когда перерезал ему глотку. Хотя подождите, я опять сбился.

Перри хмурится, потирает, позвякивая наручниками, свои колени.

— Залепив рты им обоим, мы с Диком отошли в угол, чтобы обсудить положение. Я уже говорил вам, что мы чуть не поссорились. Меня затошнило, когда я подумал, что раньше восхищался им. Слушал разинув рот его бахвальство. Я спросил:

— Что, Дик? Малость страшновато?

Он не ответил.

— Оставишь их живыми,— сказал я,— крепко сядешь. Лет на десять по крайней мере.

Он молчал. Я попросил нож, который Дик держал в руках. Он передал его мне, и я сказал:

— Что ж, Дик, начнем.

Сказал это несерьезно, просто хотелось разозлить его, уязвить, доказать всю его трусость и фальшь. Некоторое время мы словно испытывали друг друга. Кто кого?! Я опустился на колено рядом с мистером Клаттером, и боль от того, что я согнул ногу, сразу напомнила мне этот проклятый доллар. Стыд. Отвращение. Говорили же мне, чтобы я не возвращался в Канзас. Я не понимал, что делаю, пока не услышал странный звук. Как будто кто-то тонул. Захлебывался под водой. Я протянул нож Дику. Сказал ему:

— Кончи его. Это придаст тебе бодрости.

Дик попытался. Или сделал вид, что пытался. Но Клаттер был сильнее десятерых, он уже наполовину освободился от веревок, высвободил руки. Дик обезумел от страха. Хотел бежать куда глаза глядят. Но я не дал ему удрать. Этот человек все равно умер бы, я не мог его так оставить. Попросил Дика посветить мне фонариком. Направить свет. Затем прицелился из ружья. Комната взорвалась. Хлестнуло синим — будто молния сверкнула. Ей-богу, мне не понять, как это все жители на двадцать миль вокруг ничего не слышали.

От этого выстрела у Дьюи звенит в ушах — звенит так, что до него еле доносится тихий поток слов, произносимых Перри. Но голос не умолкает, рождает новые звуки и картины: Хикок, ищущий выброшенную гильзу; голова Кеньена в луче света, заглушенная мольба, и снова Хикок, ползающий в поисках очередной гильзы; комната Нэнси; сама Нэнси, прислушивающаяся к топоту сапог по твердому дереву лестницы; скрип ступенек, по которым они к ней приближаются; глаза Нэнси; Нэнси, следящая за тем, как луч фонарика нащупывает свою цель (она молила: «О нет! Пожалуйста! Нет! Нет! Нет! Нет! Не надо! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста!» — Я дал ружье Дику. Сказал, что сделал все, что смог. Он прицелился, а она отвернулась к стене); темный коридор, по которому убийцы спешат к последней двери. Возможно, Бонни, слышавшая все, была рада их приближению.

— Эту последнюю гильзу нашли еле-еле. Дику пришлось лезть под кровать, чтобы достать ее. Потом мы закрыли дверь комнаты миссис Клаттер и спустились вниз в кабинет. Постояли там молча, так же, как тогда, когда вошли впервые. Посмотрели сквозь жалюзи, не шатается ли где-нибудь их рабочий. Или кто-нибудь еще, кто услышал выстрелы. Но все было по-прежнему. Ни звука. Только ветер да Дик, который дышал так, будто за ним гнались волки. Именно там, за несколько секунд до того, как мы выбежали на улицу, я решил, что лучше всего застрелить Дика. Он же сам вдолбил мне в голову: никаких свидетелей. А я подумал: Дик и есть свидетель. Не знаю, что остановило меня. Видит бог, зря я не сделал этого. Тюкнуть. Влезть в машину и мчаться до тех пор, пока не затеряюсь где-нибудь в Мексике.

Молчание. Десять миль или более никто в машине не заговаривает.

Наконец Данц спрашивает у Смита:
— Сколько же всего денег вы отобрали у Клаттеров?
— Что-то около сорока-пятидесяти долларов.

IV. В «углу»

Тюрьмы — важная статья дохода графства Ливенуэрт, штата Канзас. В графстве находятся обе тюрьмы штата — мужская и женская; кроме того, здесь расположены тюрьма Ливенуэрт — главная в стране федеральная тюрьма, в Форт-Ливенуэрте, и дисциплинарные бараки военно-воздушных сил и армии США — крупнейшая военная тюрьма страны. Если выпустить на волю всех обитателей этих учреждений, ими можно было бы заселить небольшой город.

В южной части тюремного ансамбля находится небольшое странное здание — темное, двухэтажное, оно имеет форму гроба. Это строение, официально именуемое «зданием изоляции и сегрегации», представляет собой тюрьму в тюрьме. Среди заключенных нижний этаж известен под названием «ямы» — место ссылки «упрямых» заключенных, тех, кого время от времени надо «приводить в чувство». К верхнему этажу ведет железная винтовая лестница. Там, наверху, находятся камеры смертников. Убийцы Клаттеров впервые поднялись по этой лестнице дождливым субботним вечером в конце апреля.

«Новичков» раздели, помыли, постригли ежиком; затем выдали грубую хлопчатобумажную одежду и мягкие шлепанцы (в большинстве американских тюрем это обычная обувь осужденных). Вооруженный конвой провел их сквозь моросящую мглу к гробообразному строению, погнал вверх по винтовой лестнице и запер в двух камерах из двенадцати, составляющих «галерею смертников» Лансинга. Камеры похожи одна на другую как две капли воды. Размер — семь на десять футов. Освещение — ввинченная в потолок лампочка, горящая от зари до зари. Окна камеры предельно узки; в дополнение к обычной решетке они перекрыты густой проволочной сеткой, черной, как траурная вуаль. Стена сложена из грубого камня, в ее расщелинах гнездятся голуби. Ржавые железные ворота, расположенные в части стены, доступной взорам заключенных, резким скрипом петель будоражат голубей. Эти ворота ведут в пещероподобный склад, в котором даже в самый жаркий день воздух сыроват и холоден. Здесь свалены груды разных вещей: куски металла, из которых заключенные делают автомобильные номера, тес, старые станки, принадлежности для бейсбола. Здесь же стоит деревянная некрашеная виселица, слегка пахнущая сосной. Это — место казни. Когда сюда уводят преступника, заключенные говорят, что он «пошел на угол», или «отправился на склад».

В соответствии с приговором суда Смит и Хикок должны были «отправиться на склад» — через шесть недель — в ноль часов одну минуту в пятницу 13 мая 1960 года.

В апреле 1960 года в тюрьмах США ожидали приведения приговора в исполнение сто девяносто человек, пятеро из которых, включая убийц Клаттеров, находились в Лансинге. Иногда важному гостю предлагают, как выразилась одна высокопоставленная особа, «совершить небольшую экскурсию по галерее смертников». Если он соглашается, ему выделяют охранника, который, сопровождая экскурсанта по железному настилу вдоль камер смертников, читает ему нечто вроде лекции о демонстрируемых «экспонатах».

— Вот это,— говорил он, возможно, посетителю в 1960 году,— не кто иной, как мистер Перри Эдвард Смит. А вот тут, по соседству, вы видите его дружка, мистера Ричарда Юджина Хикока. Вон там — мистер Эрл Уилсон. А за ним мистер Бобби Джо Спенсер — познакомьтесь. Что до этого джентльмена, то я не сомневаюсь, вы уже узнали его: это знаменитый Лоуэлл Ли Эндрюз.

Два года назад Лоуэлл Ли Эндрюз, грузный, близорукий юноша восемнадцати лет, носивший очки в роговой оправе и весивший почти триста фунтов, был второкурсником биологического факультета Канзасского университета — он учился отлично. Несмотря на его молчаливость, замкнутость и скрытность, знакомые Эндрюза как по университету, так и дома, в Уолкотте, в штате Канзас, считали его очень мягким человеком, «добрейшим из добряков» (позже одна из канзасских газет напечатала о нем статью под заголовком «Самый милый мальчик Уолкотта»). Но за внешностью ученого тихони, всегда аккуратно посещавшего церковь, скрывалось существо с извращенным жестоким умом, полностью лишенное обычных человеческих чувств. Его семья — родители и старшая сестра Дженни Мэри — были бы потрясены, узнав, какие планы вынашивал Лоуэлл Ли летом и осенью 1958 года. Прекрасный сын и обожаемый брат обдумывал способ отравить всю свою родню.

Старший Эндрюз был относительно богатым фермером; его счет в банке был не особенно велик, но принадлежащие ему земли оценивались в двести тысяч долларов. Видимо, желание унаследовать отцовские владения и привело Лоуэлла Ли к мысли уничтожить всю семью. Лоуэлл Ли, носивший личину стеснительного, набожного студента-биолога, втайне воображал себя хладнокровнейшим преступником-профессионалом. Ему хотелось носить, подобно гангстерам, шелковые рубашки,

сидеть за рулем красных спортивных автомобилей. Он хотел, чтобы в нем видели вовсе не очкастого книжного червя, не упитанного юнца. Хоть он и не питал неприязни ни к кому из своих родных — по крайней мере осознанной,— ему казалось, что убийство — самый быстрый и наиболее целесообразный способ осуществления владевших им помыслов. Он выбрал мышьяк. Задумал отравить всех, уложить мертвых в постели, и поджечь дом. Тем самым Лоуэлл Ли надеялся пустить следствие по ложному следу — могла возникнуть версия о пожаре, как о несчастном случае. Однако одна мысль не давала ему покоя: что, если на вскрытии обнаружатся следы мышьяка, ведь тогда можно будет заподозрить в убийстве его, Лоуэлла? К концу лета он принял другое решение. Три месяца обдумывал все детали. Наконец морозной ноябрьской ночью настала пора действовать. Лоуэлл Ли проводил каникулы дома; была дома и Дженни Мэри, умная, но внешне простоватая девушка, которая училась в колледже в Оклахоме. Двадцать восьмого ноября, около семи часов вечера, Дженни Мэри сидела с родителями перед телевизором; Лоуэлл Ли, запершись в своей спальне в конце коридора, дочитывал последнюю главу «Братьев Карамазовых». Кончив чтение, он побрился, надел свой лучший костюм, зарядил полуавтоматическую винтовку 22 калибра и револьвер марки «рюгер» того же калибра. Сунув револьвер в кобуру, прикрепленную специальным ремешком на уровне внутреннего кармана пиджака, и перекинув винтовку через плечо, он пошел по коридору к погруженной в темноту гостиной, где светился голубой экран телевизора. Он включил свет, прицелился из винтовки, спустил курок и прямым попаданием между глаз убил сестру. В мать он выстрелил трижды, в отца — дважды. Мать с расширенными от ужаса глазами и вытянутыми руками, шатаясь, пыталась приблизиться к сыну, она пробовала что-то сказать, ее рот открылся и закрылся, но Лоуэлл Ли процедил сквозь зубы: «Заткнись!». Затем он выстрелил в нее три раза, чтоб она послушалась наверняка. Мистер Эндрюз был еще жив; он со стонами полз к кухне. На пороге кухни сын вынул из кобуры револьвер и разрядил его в отца. Выстрел, второй, пятый, десятый... Всего он выпустил в отца семнадцать пуль.

■

Пятница, тринадцатое мая 1960 года, день, на который была намечена казнь Перри и Хикока, прошел спокойно: Верховный суд штата Канзас разрешил отсрочку до пересмотра дела в новом составе суда в соответствии с апелляцией. В это же время приговор, вынесенный Эндрюзу, тоже рассматривался Верховным судом.

Камеры Перри и Дика были соседними, они переговаривались без труда, даже не видя друг друга. Все же Перри мало разговаривал с Диком, хотя они и не стали врагами — обменявшись вялыми упреками, они теперь относились друг к другу терпимо, словно сиамские близнецы, которым волей-неволей приходится сосуществовать. Перри разговаривал мало потому, что он — осторожный и подозрительный — не хотел, чтоб его «личные дела» становились достоянием стражи и других заключенных, особенно Эндрюза, или Энди, как его здесь называли. Интеллигентный выговор Эндрюза, его ум, образование, полученное в колледже,— все это было бельмом в глазу Перри, который, хоть и проучился всего лишь три класса но считал себя более образованным, чем большинство его знакомых, и любил исправлять их ошибки, особенно когда дело касалось произношения и грамматики. А тут вдруг — на тебе! — появляется какая-то малявка, у которой молоко на губах не обсохло, и она, эта козявка, смеет поправлять его, Перри. Нет ничего удивительного, что он и рта не раскрывает. Эндрюз, в сущности, ничего плохого не думал, он поправлял Перри не из вредности, но тем не менее Перри его не выносил. Он долго не хотел признаваться в этом. Не желал, чтобы кто-нибудь угадал, почему однажды, после очередного унижения, он надулся и отказался от еды, которую приносили в камеры три раза в день. В начале июня он вовсе отказался от пищи. Перри сказал Дику:

— Ты, если хочешь, можешь дожидаться веревки. А я — нет.

С этого дня он не притрагивался к еде и питью, не произносил ни единого слова. Пост длился пять дней, пока начальник тюрьмы не счел необходимым обратить на Перри внимание. На шестой день он приказал перевести Перри в тюремную больницу. Но и это не поколебало решимости Перри: когда его пытались накормить насильно, он отчаянно сопротивлялся, мотал головой и стискивал челюсти так, что они казались окаменевшими. Дело дошло до того, что его пришлось связать и кормить при помощи зонда, введенного через нос. Тем не менее за последующие девять недель вес его упал со ста шестидесяти восьми до ста пятнадцати фунтов; начальника тюрьмы предупредили, что насильственным питанием сохранить жизнь заключенному не удастся.

Хотя сила воли Перри произвела на Дика впечатление, он никак не мог поверить, что Перри в самом деле хочет покончить с собой. Когда распространился слух, будто Перри в тяжелом состоянии, Дик сказал Эндрюзу, с которым успел подружиться, что его напарник притворяется:

— Он просто хочет, чтоб они подумали, будто он сошел с катушек.

Эндрюз, отчаянный гурман (за время пребывания в «галерее смертников» он испещрил весь блокнот разнообразнейшими меню — там было все, от клубничного торта до жареного поросенка), сказал:

— Может, он и в самом деле сошел с ума. Так морить себя голодом!..

— Он просто хочет вырваться отсюда. Строит из себя психованного, чтоб его поместили в сумасшедший дом.

Проснувшись однажды вечером, Перри увидел у постели начальника тюрьмы.

— У меня есть кое-что для тебя. От твоего отца. Я подумал, тебе будет интересно взглянуть.

Не дождавшись ответа, начальник положил цветную открытку на постель и удалился. Ночью Перри прочитал открытку. Адресованная начальнику тюрьмы, она была отправлена из Блю-лейка, в Калифорнии. Знакомым нескладным почерком на ней было выведено: «Дорогой сэр, насколько мне известно, мой сын Перри находится у вас. Напишите мне, пожалуйста, что он сделал плохого и смогу ли я увидеть его, если приеду. У меня все в порядке и у вас, надеюсь, тоже. Текс Дж. Смит».

Перри разорвал открытку, но ее слова врезались ему в память. Она пробудила в нем чувства — и любовь, и ненависть, напомнила ему, что он все-таки жив, хоть и пытался убить себя. «И я решил — буду жить,— рассказывал он потом одному знакомому.— У меня хотят отнять жизнь, но я им помогать не стану. Нет уж, пусть сами стараются». К октябрю врач Роберт Мур счел его достаточно окрепшим для того, чтобы вернуться в «галерею смертников».

Когда он возвратился, Дик встретил его словами:

— С приездом, дорогуша.

■

Прошло два года.

Ушли Уилсон и Спенсер, оставив Хикока, Смита и Эндрюза один на один с вечно горящими лампочками и закрытыми проволочной сеткой окнами.

Перри казалось, что он живет «где-то глубоко под водой». Возможно, это объяснялось тем, что в «галерее смертников» было тихо, как на дне морском; туда не проникал ни единый звук, кроме похрапывания, покашливания, шарканья ног, обутых в мягкие шлепанцы, да похлопывания голубиных крыльев. Так бывало обычно, но не всегда. «Иногда тут такой шум и гам, что не слышишь собственных мыслей»,— жаловался Дик в одном письме к матери. «Некоторых заключенных запирают в камеры на первом этаже — здесь это называется «ямой». Многие дерутся как бешеные, попадаются и настоящие сумасшедшие. По дороге в «яму» они ругаются, орут. Просто жуть, выдержать невозможно. Тогда все начинают вопить, чтобы те заткнулись. Я бы очень хотел, чтобы ты прислала затычки для ушей. Только мне, наверно, все равно не разрешат ими пользоваться. Как говорят, грешным нет покоя».

Маленькое здание, построенное больше века назад, реагировало, как барометр, на любые изменения погоды: зимний холод проникал в пористый камень, а летом, когда температура превышала 100 градусов по Фаренгейту, старые камеры превращались в вонючие котлы.

«Такая жара, что горит кожа,— писал Дик в письме от 15 июля 1961 года.— Я пытаюсь не двигаться. Сижу на полу. Постель вся пропитана потом, лечь противно, а вонь такая, что тошнит: моемся только раз в неделю и носим одну и ту же одежду. Никакой вентиляции, а от лампочек делается еще жарче. Всякие жуки и другая нечисть стукаются об стены».

В отличие от обычных заключенных, смертники не работают; они могут использовать свое время, как хотят — целыми днями спать, как Перри, или ночами напролет читать, как Эндрюз. Он прочитывал в среднем пятнадцать—двадцать книг в неделю; от откровенной макулатуры до поэзии Роберта Фроста, Уитмена, Эмили Дикинсон и Огдена Нэша. Дик тоже стал книжным червем. Правда, его интересы ограничивались двумя темами — сексом и юриспруденцией. Он часами перелистывал книги юридического характера, собирая сведения, которые, как он надеялся, помогут отменить приговор. С этой же целью он посылал письма в Американский совет гражданских свобод и в Ассоциацию адвокатов и юристов штата Канзас. В этих письмах он называл суд над собой и Перри «издевкой над процедурой суда» и просил адресатов помочь ему добиться пересмотра дела. Ему удалось уговорить Перри писать подобного рода прошения, но когда Дик посоветовал то же самое Эндрюзу, тот ответил:

— Ты о своей шкуре беспокойся, а я как-нибудь позабочусь о своей.

На самом деле не столько «шкура» в эту пору волновала Дика, сколько нечто другое: «Волосы у меня вылезают целыми клочьями,— писал он матери,— прямо с ума схожу. Мне помнится, в нашей семье не было лысых, и я страшно боюсь, что сделаюсь старым и лысым уродом».

Осенним вечером 1961 года ночная смена караула принесла новость.

— Ну,— сказал один из караульных,— кажется, к вам прибывает пополнение.

Смертники сразу поняли, что речь идет о двух военнослужащих, которых недавно судили за убийство канзасского железнодорожника.

— Ага,— подтвердил другой караульный,— им вынесли смертный приговор.

— Ясное дело,— ответил Дик.— Популярная это штука в Канзасе — смертный приговор. Присяжные раздают его направо и налево, все равно как конфеты детишкам.

Одному из военнослужащих, рядовому Джорджу Рональду Йорку, было восемнадцать лет; его приятель, Джеймс Дуглас Лэтам, был на год старше. Было в них обоих

что-то необычное, поэтому в зал суда набились целые полчища девиц. Хотя молодых людей приговорили к смерти за одно убийство, они хвастали, что во время своего краткого путешествия по стране отправили на тот свет семерых.

Ронни Йорк, голубоглазый блондин, родился и вырос во Флориде. Его отец был известным водолазом, и труд его хорошо оплачивался. Семья Йорков жила дружно, а Ронни, всеми любимый сын и брат, всегда был в центре внимания. Прошлое Лэтама было тяжелым и безрадостным, ничуть не менее мрачным, чем детство Перри. Родившись в Техасе, в многодетной, бедной семье, где мать и отец постоянно скандалили, он вскоре оказался брошенным на произвол судьбы, так как родители разошлись, не позаботившись о детях. В семнадцать лет Лэтам, лишенный крова, добровольцем вступил в армию; через два года он был посажен за решетку военной тюрьмы в Форт-Худе: ходил в «самоволку». Там он и встретил Ронни Йорка, отбывавшего наказание за такое же нарушение устава. Хотя они ничем не походили друг на друга — Йорк — флегматичный парень высокого роста, а Лэтам — низенький, с лисьими глазами, оживлявшими хитрое личико,— по одному вопросу их мнения абсолютно совпадали: наш мир — ненавистное, отвратительное место, и людям лучше всего быть мертвыми.

— Весь мир протух, кругом одно дерьмо,— говорил Лэтам.— Единственный ответ на зло — это зло. Люди ничего другого не понимают. Только зло. Сожги человеку сарай — это он поймет. Отрави его собаку. Убей его.

Ронни соглашался: «Да, Лэтам прав на все сто». И добавлял при этом:

— Кого ни убей, ты сделаешь человеку одолжение.

Первыми, кому они решили сделать одолжение, были две женщины из штата Джорджия, домохозяйки, имевшие несчастье встретить Йорка и Лэтама вскоре после того, как те удрали из военной тюрьмы, угнали пикап и отправились в Джексонвилл, во Флориде, родной город Йорка. Встреча произошла у бензоколонки на темной окраине Джэксонвилла: это было ночью 29 мая 1961 года. Рядом с ними заполняла бак другая машина; в ней сидели две будущие жертвы, возвращавшиеся в маленький городок около границы Флориды с Джорджией после целого дня, проведенного в магазинах Джэксонвилла. К сожалению, они заблудились, а Йорк, к которому они обратились за помощью, проявил к ним исключительную предупредительность:

— Следуйте за нами, мы вас выведем на верную дорогу.

Однако он вывел их вовсе не на ту дорогу — маленькая боковая дорожка постепенно сошла на нет в болотистой местности. Тем не менее дамы в своей машине неуклонно следовали за пикапом, пока он не остановился. В свете фар женщины увидели, как два любезных молодых человека вылезли из машины и приблизились к ним, держа в руках по черному кнуту, какими пользуются, чтобы погонять рогатый скот. Кнуты принадлежали хозяину угнанного пикапа, скотопромышленнику; Лэтам предложил использовать их как гарроту, так они и сделали, предварительно ограбив женщин. В Нью-Орлеане парни приобрели пистолет и вырезали на его рукоятке две насечки.

В течение последующих десяти дней количество насечек увеличилось сначала в Таллахоме в штате Теннесси, где бандиты стали владельцами красной спортивной машины марки «додж», убив ее хозяина, коммивояжера; и затем на окраинах Сан-Луи, где они убили еще двоих. Канзасской жертвой, последовавшей за этой пятеркой, стал некий Отто Циглер. Это был крепкий старик шестидесяти двух лет, очень отзывчивый,— словом, не такой человек, чтобы бросить в беде автомобилиста, попавшего в аварию. Естественно, мистер Циглер сразу же остановился, когда, проезжая по канзасской автостраде одним прекрасным июньским утром, заметил спортивную машину, стоящую у обочины, и двух симпатичных молодых людей, копавшихся в моторе. Откуда мог знать добряк Циглер, что машина — в полном порядке, что все это — лишь ловушка для добрых самаритян, которых хотят обокрасть и убить? Его последние слова были: «Могу ли я чем-нибудь помочь?» Йорк, находившийся в двадцати футах от старика, выстрелом из пистолета раскроил ему череп, а потом, повернувшись к Лэтаму, сказал:

— Какова точность! А?

Последняя их жертва вызывала особую жалость. Восемнадцатилетняя девушка служила горничной в Колорадском мотеле. Там убийцы переночевали и заодно разделили с ней ложе. Они сказали, что едут в Калифорнию.

— Махнем все вместе,— уговаривал ее Лэтам,— может, станем кинозвездами.

Девушка, захватив багаж — картонный, наспех собранный чемодан,— закончила свой путь на дне оврага близ Крэйга в Колорадо. Но вскоре после того, как ее застрелили и выбросили из машины, убийцы действительно выступили перед кинокамерой.

Нашлись свидетели, запомнившие приметы пассажиров красного «доджа», проезжавшего там, где был убит старый Циглер, и дали соответствующее описание, которое было разослано полицией в западных и среднезападных штатах. Вертолеты патрулировали шоссе, кое-где установили контрольно-пропускные пункты. На одном из таких пунктов в штате Юта и были задержаны Йорк и Лэтам. Потом в Солт-лэйк-сити полиция разрешила местной телекомпании заснять на пленку интервью с двумя арестованными. Если посмотреть отснятую пленку, выключив звук, создается впечатление, что два жизнерадостных здоровяка обсуждают хоккей или бейсбол — словом, что угодно, кроме убийства или той роли, которую они сыграли, по их собственному хвастливому признанию, в судьбе семерых людей.

— Зачем? — спрашивает журналист.— Зачем вы это сделали?

И Йорк с самодовольной улыбкой ответил:

— Мы ненавидим весь мир.

Обитатели «галереи смертников» встретились с новыми соседями второго декабря 1961 года. Конвойный, проводив смертников в камеры, представил их:

— Мистер Йорк, мистер Лэтам, позвольте познакомить вас с мистером Смитом. А вот это — мистер Хикок. А это — мистер Лоуэлл Ли Эндрюз — «самый милый мальчик Уолкотта».

Когда конвойный прошел, Хикок, услышав тихий смешок Эндрюза, спросил:

— Что этот сукин сын сказал такого смешного?

— Ничего,— ответил Эндрюз,— но я просто подумал, если сложить моих трех с вашей четверкой да еще прибавить их семерку, то получается четырнадцать на пять. Если разделить четырнадцать на пять, выходит в среднем...

— Четырнадцать на четыре,— поправил его Дик.— Здесь четверо убийц и один несправедливо осужденный. Я не какой-нибудь проклятый убийца. Я никого не тронул и пальцем.

■

Рассмотрев апелляцию Хикока и Смита, Верховный суд штата Канзас отклонил ее как необоснованную и назначил новую дату приведения приговора в исполнение — четверг, 25 октября 1962 года. Казнь Лоуэлла Ли Эндрюза, чье дело дважды доходило до Верховного суда США, была назначена на месяц позже. Убийцы Клаттеров, получив еще одну отсрочку от председателя федерального суда, ускользнули от свидания с виселицей. Эндрюз пришел на свидание точно в срок.

Даже посредственный адвокат может тянуть дело годами, ибо система апелляций, существующая в Америке, есть не что иное, как своего рода колесо фортуны, азартная, нескончаемая игра. Она играется сперва в судах штатов, затем в федеральных судах, а потом и в высшей инстанции — в Верховном суде Соединенных Штатов. Адвокат Эндрюза сражался до последнего, и все же его клиент отправился на виселицу в пятницу, 30 ноября 1962 года.

— Ночь была холодная,— рассказывал Хикок журналисту, с которым переписывался и которому время от времени разрешали навещать его.— Холодная и сырая. Дождь лил как из ведра. Бейсбольное поле превратилось в кашу. Когда Энди повели «на склад», мы все стояли у своих окон и смотрели: Перри, я, Ронни Йорк, Джимми Лэтам. Только что пробило полночь, и «склад» сиял, как елка на рождество. Ворота настежь. Мы могли видеть свидетелей, конвойных, врача, начальника тюрьмы — в общем, все, кроме самой виселицы. Она была где-то в углу. Правда, видели ее тень. Тень на стене, как тень боксерского ринга. Энди вели четверо конвойных и священник. Когда они дошли до дверей «склада», все остановились. Энди смотрел на виселицу — это просто чувствовалось. Он был в наручниках. Вдруг священник протянул руку и снял с Энди очки. Какой-то у него стал жалкий вид. Энди без очков. Они повели его внутрь, и я подумал, интересно, сумеет ли он без очков подняться по лестнице? Было очень тихо. Только собака лаяла где-то далеко. Верно, в городе. Потом мы услышали этот звук, и Джимми Лэтам спросил:

— Что это?

Ну, я сказал ему, что это такое,— звук, когда пол проваливается под человеком. Потом стало очень тихо. Только все та же собака лаяла. Старик Энди долго болтался на веревке, никак не хотел умирать.

Криво улыбаясь и засовывая сигарету в рот, Хикок продолжал:

— Чудной он парень, этот Энди. Как я сказал ему однажды, он плевал на всех людей, даже на себя. Когда за ним пришли и мы попрощались, я сказал ему: «До скорого, Энди, ведь мы наверняка окажемся в одном и том же месте. Так что ты поищи, нет ли тенистого уголка под деревьями там, внизу». Он рассказал, что к нему приезжали тетя и дядя. Они пообещали увезти его гроб на кладбище на севере Миссури, где лежали останки тех троих, кого он убил. Тетя с дядей собирались похоронить его рядом с родителями. Он сказал, что, услыхав это, чуть не лопнул со смеху. А я ответил ему: «Знаешь, тебе-то повезло с могилой. А ведь нас с Перри наверняка отдадут в анатомический музей». Так-то мы и шутили, пока его не увели.

Хикок вынул еще одну сигарету из пачки «Пэлл-Мэлл».

— Я пытался бросить курить. А потом подумал: какая разница? Учитывая мое положение... Может, если чуть-чуть повезет, заболею раком и лишу палача удовольствия. Некоторое время я курил сигары Энди. В то утро, после того, как его повесили, я проснулся и позвал его: «Энди!» — будто ничего не произошло. Потом вспомнил, что он вместе с тетей и дядей уже на пути в Миссури. Посмотрел в коридор. Убирали его камеру, и все было свалено на полу. Матрац, шлепанцы, альбом с рисунками разной жратвы — Энди называл его своим холодильником. И еще коробка сигар «Макбет». Я сказал охраннику, что Энди хотел их отдать мне. Завещал вроде. В конце концов я их не смог выкурить — может, потому, что они мне напоминали Энди. Вообще-то у меня от них живот болел. Что можно сказать о смертной казни? Я — не против. В сущности, это месть. Что, разве мстить плохо? По-моему, без этого нельзя. Если бы я был близок Клаттерам или кому-нибудь из тех, кого убили Йорк и Лэтам, мне не было бы покоя, пока виновные не качались бы на Больших Качелях. Взять хотя бы тех, кто

пишет письма в газеты. На днях было два таких письма в топекской газете. Одно написал священник. Он писал, что это издевательство, судебный фарс! Почему эти два сукиных сына Смит и Хикок все еще продолжают жрать за счет налогоплательщиков? Почему их до сих пор не повесили? Что ж, я его понимаю. Он злится, что не получает того, чего хочет,— возможности отомстить. И не получит, если только я смогу помешать этому. Я за смертную казнь. Лишь бы казнили не меня.

Но его казнили.

Прошло еще три года. За это время два выдающихся канзасских адвоката сумели, прибегая к повторным апелляциям, трижды отсрочить приведение приговора в исполнение: 20 октября 1962 года, 8 августа 1963 года и 18 февраля 1965 года. Трижды хитроумные адвокаты доходили до Верховного суда Соединенных Штатов — до «Главного хозяина», как его называли смертники. Но в каждом из этих случаев Верховный суд, никогда не объяснявший в подобных ситуациях причин, по которым он принимает то или иное решение, отклонял апелляцию. В марте 1965 года, после того, как Смит и Хикок провели почти две тысячи дней и ночей в «галерее смертников», канзасский Верховный суд постановил, что их сердца должны перестать биться между полуночью и двумя часами ночи в среду 14 апреля 1965 года.

Среди двадцати собравшихся на «церемонию» был и Дьюи. Он никогда раньше не присутствовал при казни и, войдя в «склад» после полуночи, был несколько удивлен обыденностью обстановки — устрашающее впечатление производила только сама виселица с двумя качающимися петлями.

Внезапно по высокой крыше «склада» застучал частый дождь. Этот звук, напоминавший торжественный треск барабанов, возвестил о появлении Хикока в сопровождении шести конвойных и шепчущего молитвы священника. Дик вошел в «склад»; он был в наручниках, уродливый кожаный хомут прикреплял его руки к торсу. У подножия виселицы начальник тюрьмы зачитал официальный документ о приведении приговора в исполнение. Пока зачитывался документ, глаза Дика, ослабленные почти пятью годами тюремной мглы, блуждали по лицам собравшихся. Не найдя того, кого искал, Дик шепотом спросил у ближнего конвойного, присутствует ли здесь кто-нибудь из семьи Клаттеров. Услышав отрицательный ответ, он как будто огорчился, словно ритуал мести не был выдержан до конца. Дочитав документ, начальник тюрьмы, как положено, спросил осужденного, не хочет ли он сделать последнее заявление.

Хикок кивнул.

— Я просто хотел сказать, что я ни на кого не в обиде. Куда бы вы меня сейчас ни отправили, это будет место получше, чем наш мир,— уж точно.

Палач кашлянул, нетерпеливо надвинул свою ковбойскую шляпу. Хикок, подталкиваемый одним из сопровождающих, поднялся на помост.

— Бог дает, бог отнимает,— причитал священник под дробный стук дождя, а осужденному надевали петлю на шею и черную повязку на глаза.—Да святится имя его.

Люк провалился, и Хикок в течение двадцати минут висел у всех на виду, пока тюремный врач наконец не сказал:

— Этот человек мертв.

Рой Чёрч, один из тех, кто выследил Дика, покачал головой.

— Никогда бы не подумал, что парня хватит на это. Был уверен, что он — трус.

Тот, к кому он обращался, ответил:

— Слушай, Рой, это же мразь. Сволочь. Он получил по заслугам.

Чёрч все так же задумчиво продолжал качать головой.

Пока свидетели ждали второй казни, репортер спросил конвойного:

— Это ваша первая казнь?

— Я видел Ли Эндрюза,— ответил конвойный.

— А для меня это впервые.

— Ну, и как вам? — поинтересовался конвойный.

Репортер скорчил гримасу и сказал:

— В оффисе никто не хотел ехать сюда. Я тоже. Но, в общем, думал, будет страшнее. Все равно, что нырять с вышки. Только с веревкой на шее.

— Они ничего не чувствуют. Провалился. Хрясь. И точка. Ничего не чувствуют.

— Вы уверены? Я стоял рядом и слышал, как он хватал воздух ртом.

— Ага. Но он ничего не чувствовал. Иначе было бы негуманно.

— Наверно, им еще дают и таблетки. Успокоительные средства.

— Черта с два. Это против правил. Вот и Смит.

— Ну и ну! Я не думал, что он такая букашка.

— Верно. Он коротышка. Но тарантул тоже не ахти какой великан.

Когда Смита ввели в «склад», он узнал своего старого врага Дьюи, перестал на миг жевать резинку, ощерился и подмигнул — этакий бесшабашный весельчак. Однако выражение его лица стало серьезным, когда начальник тюрьмы спросил, не хочет ли он что-либо сказать. Его выразительные глаза пристально вглядывались в присутствующих, затем наткнулись на почти скрытого тенью палача, уперлись в собственные, в наручниках, руки. Он посмотрел на свои пальцы, перепачканные чернилами и краской: последние три года пребывания в «галерее смертников» он проводил за рисованием отличных автопортретов и портретов детей, чаще всего это были детишки заключенных. Он делал портреты с фотографий, которые ему давали.

— По-моему, просто позор — вот так отнимать у человека жизнь,— сказал он.— Я против применения смертной казни, против — и морально, и юридически. Может быть, я смог бы что-то дать, что-то такое...— он как-то вдруг сник; застеснялся, голос стал глухим, еле слышным.— Наверно, нет смысла извиняться за то, что сделал. Даже неуместно. Но я прошу прощения.

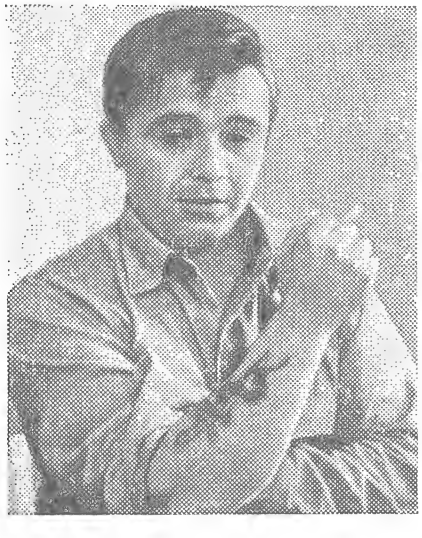
Вверх по лестнице. Петля. Повязка. Дьюи закрыл глаза и не открывал их до тех пор, пока не услышал глуховатый треск ломающихся позвонков. Как и большинство американских блюстителей закона, Дьюи был убежден, что смертная казнь является мерой, пресекающей рост серьезных преступлений. Он также считал, что если кто и заслуживал смертной казни — так это Перри и Дик. Предшествующая казнь оставила его равнодушным; но Перри Смит, хотя он и был настоящим убийцей, вызывал в нем другое чувство. Дьюи вспомнил первую встречу с Перри на допросе в Лас-Вегасе: полумальчик-полумужчина, чем-то похожий на карлика, сидел на металлическом стуле, не доставая до пола своими обутыми в сапожки ногами. И теперь, открыв глаза, он увидел те же слегка кривоватые, болтающиеся в пустоте детские ноги.

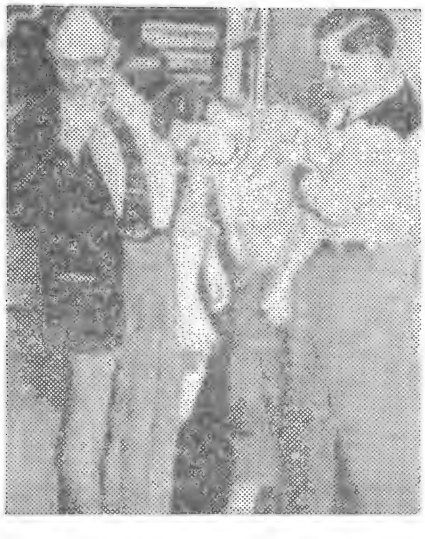
А ведь Дьюи думал, что со смертью Смита и Хикока он испытает облегчение, чувство выполненного долга, удовлетворение...

Семья Клаттеров. Их дом.

Перри Смит

Дик Хикок





Он вспомнил случайную встречу, которая произошла почти за год до казни преступников, на кладбище «Вэлли Вью»; мысленно возвратившись к этой встрече, Дьюи подумал, что для него именно она логически завершала дело Клаттеров.

В дальнем тенистом углу кладбища, почти на границе с широким простором пшеничного поля, среди деревьев, под простым серым камнем похоронены четверо убитых. Когда Дьюи подошел к могилам, он увидел другого посетителя — гибкую девушку в белых перчатках, с копной блестящих темно-рыжих волос и длинными стройными ногами.

Она улыбнулась ему, но Дьюи не мог вспомнить, кто это.

— Вы не помните меня, мистер Дьюи? — спросила она.— Я — Сьюзен Кидвэлл.

Она рассмеялась. Рассмеялся и Дьюи.

— Сью Кидвэлл, ну, конечно же! — воскликнул Дьюи.

Он не видел ее с самого первого суда, а тогда она была еще ребенком.

— Как дела? Как мама?

— Спасибо, все хорошо. Мама по-прежнему преподает музыку в холкомбской школе.

— Давно я там не был. Что-нибудь изменилось?

— Поговаривают, что неплохо бы вымостить улицы. Но вы же знаете Холкомб... А вообще-то я там редко бываю. Я поступила в Канзасский университет. А сейчас приехала на несколько дней, надо же навестить маму.

— Это замечательно, Сью. Что ты изучаешь?

— В основном искусство. Мне так нравится в университете. Я просто счастлива. Мы ведь хотели учиться там вместе с Нэнси. Собирались жить в одной комнате. Иногда я думаю об этом, особенно когда чувствую себя счастливой.

Дьюи посмотрел на серый камень, на котором были выгравированы четыре имени убитых и дата четырех смертей — 15 ноября 1959 года.

— Ты часто приходишь сюда?— спросил он Сьюзен.

— Нет, не очень. Господи, ну и жара...

Она надела темные очки.

— Помните Бобби Раппа? Он женился на красивой девушке.

— Да, я слышал об этом.

— К сожалению, мне надо бежать! Было очень приятно повидаться с вами, мистер Дьюи.

— И мне тоже, Сью. Желаю удачи! — крикнул он вслед удалявшейся фигурке.

Сью спешила. Такой же была бы сейчас Нэнси.

Дьюи пошел домой мимо деревьев, оставив за собой просторы неба и пшеничных полей, по которым гулял ветер.

АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

В короткой заметке, опубликованной в газете «Нью-Йорк таймс», не было ничего сенсационного. Обычная заметка об обычном убийстве. Таких можно найти до двух десятков, если внимательно перелистать все двести сорок страниц воскресной нью-йоркской «Таймс». Где-то, за тысячу миль от Нью-Йорка, в штате Канзас, кем-то была убита семья преуспевающего фермера Клаттера. Очередная заметка об очередном убийстве, только и всего.

Вряд ли в тот день среди восьми миллионов жителей Нью-Йорка нашлось много таких, кто задумался над трагедией никому здесь не известной семьи Клаттеров. Как бы ни были ужасны обстоятельства убийства, они не потрясли никого, кроме жителей крохотного Холкомба и его окрестностей. Нигде, кроме Холкомба и соседнего города Гарден-сити, не вызвали сенсации ни поимка убийц, ни суд над ними. И совершенно справедливо канзасская газета «Телеграмм» писала:

«Можно было бы предположить, что сейчас, когда начинается процесс об этом сенсационном убийстве, глаза всей нации обращены к Гарден-сити. Ничуть не бывало. На сто миль западнее, в Колорадо, вы едва ли найдете людей, которые вообще слыхали об этом убийстве, другие с трудом припомнят, что были убиты несколько человек в какой-то семье. Это довольно наглядно свидетельствует о состоянии преступности в нашей стране. С тех пор, как были умерщвлены четверо из семьи Клаттера, в разных концах страны имело место несколько подобных случаев массового убийства. В течение всего лишь нескольких дней, которые оставались до начала процесса, газеты поместили не одно сообщение о новых убийствах, опять-таки не одного, а нескольких членов семьи сразу. В результате всего этого и само преступление, и

начинающийся процесс — **это события, вполне ординарные, из тех, о которых читают и которые вскоре забывают...»**

Однако трагическим событиям, разыгравшимся в маленьком фермерском городке Холкомб, не суждено было остаться забытыми Среди тех немногих, кто в ноябрьский день 1959 года задержал свое внимание на заметке в «Нью-йорк таймс», был молодой писатель Трумэн Капоте. В тот же вечер он позвонил своему другу детства писательнице Харпер Ли, только что закончившей роман «Убить пересмешника».

— Мы разговаривали с ним до глубокой ночи.— вспоминает Харпер Ли.— Заметка натолкнула его на мысль написать книгу о самом обыкновенном убийстве. В конце концов он уговорил меня бросить на время все дела и поехать с ним в Холкомб.

Капоте провел в Канзасе около трех лет. Он разговаривал с родственниками и соседями убитых, с жителями города, с полицейскими и фермерами, с убийцами, после того как их поймали, с их родственниками, с судьями, присяжными заседателями и охранниками тюрьмы.

На арендованной машине писатель отправился по маршруту преступников от Канзас-сити до Холкомба, от фермы Клаттера до Мексики, от Мексики до Канзас-сити и, наконец, к воротам тюрьмы в графстве Ливенуэрт. Он заходил во все магазины и лавчонки, которые упоминались в протоколах допроса убийц, ел в тех же харчевнях, ночевал в тех же отелях, где останавливались герои его будущей книги. Он разыскал коммивояжера из Омахи, которого собирались ограбить и убить Перри и Дик и который, до встречи с писателем, даже не предполагал, что был на волосок от смерти.

В общей сложности шесть лет понадобилось Капоте, чтобы написать книгу о «самом обыкновенном убийстве». Он закончил работу над ней в конце прошлого года. Сперва появилась публикация в четырех номерах журнала «Нью-йоркер», где Капоте когда-то был репортером. В январе 1966 года книгу выпустило издательство «Рэндом Хауз», а спустя месяц вышло массовое дешевое издание. Кинокомпания «Колумбия пикчерз» договорилась с автором об экранизации книги «Обыкновенное убийство» переводится во многих странах мира.

Журнал «Ньюсуик» поместил статью о Капоте и его книге под кратким, но выразительным заглавием: «Обыкновенное убийство» — американская трагедия». Как говорится в этой статье, в документальном повествовании Капоте — «плоть и кровь самой жизни».

Плоть от плоти общества, где он родился и вырос, и Перри Смит, этот «полумальчик, полумужчина», мать которого умерла, захлебнувшись в собственной пьяной блевотине.

Все круги преисподней успевает пройти за свою короткую жизнь этот впечатлительный юноша, ненавидимый всеми и ненавидящий всех, кроме маленьких детей. Потрясает рассказ о желтом попугае, который является Перри во сне, чтобы защитить его от мучителей и отомстить за мучения. Желтый попугай, «побольше, чем сам господь», так же нереален, как всевышний; недаром спасение приходит к Перри только во сне.

— Перри был убийцей,— вспоминает Харпер Ли,— и все же было в нем что-то такое, что вызывало симпатию. Мне кажется, что каждый раз, когда Трумэн смотрел на Перри, он вспоминал свое собственное детство.

Перед казнью Перри, запинаясь, говорит: «Может быть, я смог бы что-то дать...» Он не только ничего не дал людям, он лишил четырех людей жизни. Перри стал убийцей, и в том, что это случилось, была своя логика, страшная логика искалеченной судьбы одного из обитателей американского «дна». Лишь один раз в жизни Перри был удостоен вниманием власть имущих: его наградили бронзовой медалью за участие в корейской войне. Быть может, приобретенный там опыт убийства ни в чем не повинных людей пригодился ему в страшную ночь с 15 на 16 ноября.

Ненависть и зависть сжигает Дика Хикока, квалифицированного автомеханика, с улыбкой «хорошего американского парня». «Я отлично знаю, что такое ад,— говорит Дик Хикок.— Я там бывал. Может, рай тоже существует. Так, во всяком случае, думают богатые». «Он постоянно ощущал зависть,— пишет о нем Капоте,— врагом становился тот, кем хотел стать сам Дик, или тот, у кого было что-нибудь, чего хотелось Дику... Но он никогда ничего не получит».

Ненавидят весь мир солдаты Йорк и Лэтам. Их мнения на этот счет совершенно одинаковы: «Наш мир — ненавистное, отвратительное место, и людям лучше быть мертвыми».

Ненависть свила гнездо и под крышами Холкомба, где живут внешне респектабельные люди. «Все соседи — это змеи подколодные,— говорит о них почтмейстерша Трют.— Все они, подлецы, только и ждут, чтобы захлопнуть дверь перед твоим носом». Жители города, добавляет автор, почувствовали явное разочарование, узнав, что убийцу не надо искать среди своих.

А как беден, как убог духовный мир молодых людей, выросших в этой среде. Мечты «практичного» Дика не поднимаются выше собственного автомобиля, дома, скаковой лошади и «побольше кошечек-блондиночек». «Романтические» россказни Перри о Кокосовом острове, о потонувших кораблях сводятся к одному: к способам быстрейшего обогащения. Студент университета Эндрюз мечтает «носить подобно гангстерам, шелковые рубашки, сидеть за рулем красных спортивных автомобилей». Самые что ни на есть «разамериканские» мечты!..

Книга рассказывает о том, как калечит души молодых людей проповедь расизма, культ насилия, секса, насаждаемый кино и телевидением. Вспомните воспитательницу детского дома, которая называла Перри «черномазым» и говорила, что никакой разницы между «черномазым» и индейцем нет. Вспомните Дика, который отказывается работать за 65 центов в час, потому что он «пока еще белый». Наконец, вспомните выдуманную Перри историю убийства негра («Ясно, я убил его. Но ведь это черномазый»).

А чего стоит рекламная статья в журнале для мужчин об острове Косумель, где можно «скинуть одежду, улыбаться, жить, как индийский раджа, и иметь столько женщин, сколько душе угодно,— и все это за пятьдесят долларов в месяц!». Или фильм о золотоискателях в Сьерра-Мадре. («Так почему бы им не купить пару вьючных лошадей и не попытать счастья в Сьерра-Мадре?»).

Но ведь все это иллюзии, мираж, обман! Дик не может прокормить жену и троих малышей. («Если бы не долги! Если бы я мог заработать побольше! Я старался!»)

Дик и Перри, как выразился один из них,— «участники гонки без финиша». «Участники гонки без финиша»! Это сказано не только о Перри и Дике. Это о миллионах американских парней.

Трумэн Капоте давно мечтал написать книгу, где, по его словам, «беллетристика сочеталась бы с журналистикой».

— Мне казалось,— замечает Капоте,— что литература становится все более и более субъективной, что писатели все более и более удаляются в глубины собственного «я», и я понял, что сам тоже все чаще занимаюсь изображением самого себя. И тогда я решил изменить свою творческую жизнь так, чтобы в большей мере жить в том мире, где живут другие люди.

Определяя жанр своей книги, Капоте назвал ее« романом без вымысла».

— Я всегда чувствовал,— рассказывает Капоте,— что если соединить искусство романиста с техникой репортера, художественное мастерство с точными фактами — можно добиться особой глубины и особенного впечатления.— Ему пришлось немало поработать, совершенствуясь в этой технике, специально тренируя память: он никогда ничего не записывал в присутствии собеседника.

— Записная книжка в ваших руках во время беседы создает совсем не ту атмосферу,— говорит Капоте,— она способна все испортить.

Шесть тысяч страниц составили записи Капоте, сделанные им по памяти сразу же после бесед.

Между прочим, Перри, который знал, что Капоте собирается писать книгу, как-то сказал ему:

«Если ты что-нибудь соврешь обо мне, я встану из могилы, чтобы убить тебя».

Американские критики сейчас много рассуждают о творческом методе Капоте. В особенности о том, что именуется «невмешательством» автора в дела и судьбы его героев. Творческий метод Капоте определяют с помощью сравнения: уподобляют кинокамере, которая бесстрастно и точно фиксирует все, что попадает в объектив. Считается, что писатель констатирует факты, ничего не объясняя, даже не пытаясь объяснить.

В своем отказе от анализа, от рассуждений, книга сверхсовременная, пишет «Ньюсуик». Ибо современные писатели «с подозрением относятся ко всем легким ответам, а многим из них сегодня все ответы кажутся легкими».

Да, Капоте признает только факты. Но факты, которыми он располагает, выстраиваются в его книге в страшный ряд. Семилетний Перри видит убийство в своих детских снах: его желтый попугай убивает истязающих мальчика монашек. Дик мечтает выпустить кишки «жирным ублюдкам». «Он, Дик, обладал властью, держа в руке нож». Студенту Эндрюзу, хоть он и не питал неприязни ни к кому из своих родных, убийство отца, матери и сестры представляется единственным способом к достижению богатства и могущества.

Книга Капоте не только ставит вопросы, волнующие современную Америку, но и побуждает искать ответы на них. Вольно или невольно Капоте сам участвует в этих поисках, хотя критики, отказывающие литературе в праве такого участия, предпочитают этого не видеть.

«Микробы насилия и убийства живут в воздухе наших городов и поселков». Эти слова сказал человек, родившийся и выросший в Америке, чистокровный американец, всю сознательную жизнь занимающийся изучением психики своих соотечественников — профессор Кунлейц.

За восемь лет моей жизни в Америке я прочитал, по крайней мере, восемь тысяч сообщений и репортажей об убийствах. (Это лишь те, что попались мне на глаза. На самом деле их было гораздо больше). В 1958 году — за год до преступления в Холкомбе — по данным главы ФБР Гувера и тогдашнего министра юстиции Роджерса, каждые 64,2 минуты совершалось убийство, каждые 36,1 минуты — изнасилование, каждые 7 минут — вооруженный грабеж.

О том, что эта статистика отнюдь не устарела, свидетельствует недавнее — середины марта — послание президента США Линдона Джонсона конгрессу, в котором приводятся еще более устрашающие цифры: теперь уже каждые 26 минут совершается изнасилование, каждые

5 минут — ограбление, каждые 28 секунд — воровство.

За три месяца, по данным 1965 года, в Нью-Йорке зарегистрировано 43 724 крупных преступления — убийства, надругательства над женщинами, нанесение увечий, вооруженные грабежи. Положение стало настолько угрожающим, что жители города организовали демонстрацию у резиденции мэра, требуя защиты от преступников.

«В войне против преступности,— писала 23 апреля прошлого года газета «Нью-Йорк геральд трибюн»,— американский народ терпит поражение самое тяжелое за всю его историю». Преступность в США, как сообщала газета, растет в пять раз быстрее, чем население страны. «Статистика показывает,— продолжала «Нью-Йорк геральд трибюн»,— что число людей, убитых и раненых преступниками, уже превзошло потери США в первой мировой войне, причем число жертв преступлений увеличивается с каждым днем».

Каждый вечер я видел не меньше десяти зверских убийств на экране телевизора. В каждом третьем фильме, шедшем в Нью-Йорке, показывалось убийство. Четырнадцатилетний подросток, зарезавший своего друга, объяснил репортерам: «Я тысячу раз смотрел это в кино и по телевидению. Мне захотелось испытать это самому».

Я видел заснятую на кинопленку и показанную по телевидению перестрелку девятнадцатилетнего солдата Чарльза Старкветера и его пятнадцатилетней подружки Кэрол с отрядом полиции на горной дороге в штате Вайоминг. За два дня пути из Небраски в Вайоминг они убили девять человек. Заправщика на газолиновой станции, хозяина продуктовой лавочки, студента и его невесту, попросивших подвезти их до соседнего города, служащего мотеля, где Чарли и Кэрол ночевали, старика, у которого они спросили дорогу, троих школьниц, ехавших по обочине дороги на велосипеде. Смертельно раненная в перестрелке с полицией Кэрол сказала, что за всю свою жизнь была счастлива только эти два дня. «Как в кино!..» — были ее последние слова.

Не́людьми не рождаются. Нелюдьми становятся. В том, что Чарльз и Кэрол стали нелюдьми, повинно не только кино и телевидение, но и весь американский образ жизни. Перри и Дик, герои книги Капоте, сродни Чарльзу и Кэрол. Перри, безмятежно засыпающий под бормотание транзистора в то время, как его сапоги отмачиваются в раковине и вода розовеет от крови; Дик, после убийства спокойно смотрящий по телевизору баскетбольный матч,— уже не люди. А ведь и они могли быть людьми...

Не перечислить всех книг об убийствах, изданных в Соединенных Штатах. Хитроумные издатели, понаторевшие в рекламе, снабжают обложки этих книг обращением к читателю: «Прежде чем читать, загляните под кровать, проверьте задвижки на дверях и окнах. Не читайте, если у вас больное сердце или ваши нервы не в порядке». Большей частью — это откровенная халтура, неудобоваримое чтиво, густо замешанное на патологии и сексе. В лучшем случае — это обычный детектив.

Книга Капоте другого рода. Он не смакует ужасы. Его повествование о другом, оно шире и глубже. Это рассказ о нравственных проблемах общества. О том, как бесчеловечная социальная система порождает в людях не только равнодушие, но и жестокость, подчас звериную. Это попытка ответить на вопрос: почему так дешево ценится человеческая жизнь в Америке?

Читатель представляет себе не только Перри и Дика, но и ту социальную и моральную атмосферу, которая рождает все новых и новых Диков, Перри, Эндрюзов, Йорков и Лэтамов, Чарльзов и Кэрол, усугубляя трагедию современной Америки, трагедию, которой пока еще нет конца.

Борис Стрельников

А. БОЧАРОВ

СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРОЙ В ЛИТЕРАТУРЕ

«Человек в современном мире — такова тема нашего симпозиума. Как литераторы обеих стран раскрывают образ современника, каким они видят человека и чего ждут от него?» — так определил центральный вопрос, обсуждавшийся во время трехдневной встречи японских и советских писателей, главный редактор журнала «Вопросы литературы» В. Озеров.

В этом первом большом диалоге литераторов двух стран приняли участие около тридцати человек, причем преобладали прозаики, и естественно, что разговор велся в основном на материале прозы; к тому же прозаические произведения в обеих странах больше переводились и потому были лучше знакомы выступавшим.

Впрочем, лучше — еще не значит хорошо.

Можно, пожалуй, сказать даже, что мы (за исключением специалистов, владеющих языком) совсем худо знакомы с японской литературой. Отдельные японские книги, переведенные у нас за последние годы, конечно же, не могут создать сколько-нибудь ясного представления о противоречивых и сложных процессах, протекающих в этой развитой литературе, с богатыми традициями, да еще существующей в стране, где необычайно сложно переплелись самые разные тенденции, конфликты, духовные устремления.

Японские литераторы, приехавшие на встречу, несколько лучше знали современную советскую (и еще лучше русскую классическую) литературу. Свидетельством интереса к нашей литературе может служить хотя бы появление на японском языке журнала «Советская литература», редактируемого большим энтузиастом японо-советской дружбы профессором Тацуо Курода.

Но несистематическое (хотя и более обильное. чем у «советской стороны») знакомство с творчеством наших писателей обусловило некоторые предвзятые или поспешные выводы. Ну, скажем, наши коллеги твердо верили, будто в советской литературе неразделимы понятия литературного героя и образцового человека. «Мне кажется,— всерьез разъяснял Синитиро Накамура,— что совершается ошибка, когда смешиваются две проблемы: человека, активно действующего в жизни, и литературного героя». Нельзя сказать, что такое мнение о герое нашей литературы совсем уж безосновательно — ведь находились же у нас и в теории и в творческой практике недальновидные поборники ходульного идеального героя,—но оно совсем не соответствует истинному положению дел. Тем не менее советской стороне пришлось потратить немало времени и сил на то, чтобы убедить наших японских коллег в узости и предвзятости такого взгляда на героя советской литературы, все настойчивее стремящейся выразить многообразие человеческих характеров.

По той же причине несистематического знакомства книги В. Аксенова, А. Солженицына, Е. Евтушенко представлялись подчас противостоящими остальной советской литературе.

Нет возможности да и надобности подробно пересказывать содержание всех или хотя бы части выступлений. Были здесь и серьезные теоретические наблюдения, и искренний рассказ о своих творческих трудностях и поисках, и короткие темпераментные высказывания по частным вопросам. И очень хорошо, что дискуссия не превра-

тилась в серию монологов, заранее заготовленных, где дискутирующие напоминают глухарей на току, а нарушалась репликами, вопросами, шутками — это ведь и было живым выражением того свободного духа, той заинтересованности, которые создавали дружественную обстановку, непринужденность дискуссии.

Что же объединяло участников, чем объяснялись откровенность и темпераментность разговора, что определяло основной пафос всей дискуссии?

На этот вопрос можно ответить коротко: единство основных устремлений. Эта встреча (открывшаяся докладом Итиро Харю*) еще раз показала, сколь неразумно делить все только на «у нас» и «у них», сколь сложные процессы происходят в современном мире, какие мощные центробежные силы отрывают всех честных писателей от массива «господствующей» литературы и искусства в буржуазном обществе.

Прямо и непосредственно на вопрос, что же сближает нас, ответил, в частности, Таку Эгава: «Первое: и советские и японские писатели, собравшиеся за этим столом, в равной степени желают мира всему миру и желают светлого будущего всему человечеству. Это очень тривиальные слова, но когда мы признáем эту тривиальную истину своим общественным и профессиональным долгом, она перестанет быть тривиальной».

Второе, что сближало участников встречи при всей разноречивости их писательских взглядов,— интерес к активной, самостоятельно думающей, осознающей свою социальную ответственность личности. Для японских литераторов, в частности, это было связано в первую очередь с раздумьями о причинах и характере минувшей войны, с сегодняшней борьбой против атомной бомбы и угрозы новой войны. Поэтому так обоснован и актуален устойчивый интерес прогрессивных японских литераторов к типу борца против неблагоприятных жизненных обстоятельств.

В наше время, когда на планете столько острых нерешенных проблем, славен не тот, кто ищет покоя,— это удел слабых,— а тот, кто решительно борется за свои идеалы. Позиция борца — самая современная позиция! — в этом были единодушны, пожалуй, все участники.

Не удивительно, что проблема литературного героя — во всех ее аспектах — заняла центральное место в дискуссии.

Наиболее, может быть, широкую формулу предложил Сиро Хасэгава: «В моем понимании герой — это человек, человек в естественных условиях, человек в историческом плане, человек в общественном бытии, человек, находящийся в государстве». Тем самым проблема изображения человека тесно смыкается с проблемой правдивости литературы, проблемой изображения реалистического героя.

Между прочим, по этой причине так много было сказано на симпозиуме и о документальной прозе. О хронике, о «документальном методе» горячо говорил Дайхати Идзуми, к проблемам документальной прозы обратился Ю. Трифонов, расширив свою концепцию до утверждений общеэстетического характера: «Факт, документ, конкретность обладает своей собственной, громадной и взрывчатой силой. В документальной прозе лишь два героя: один из них автор с его мировоззрением, другой — правда. Документальная проза — это прапроза. С нее все началось».

И не соглашаясь с теми или иными преувеличениями, звучавшими на дискуссии, нельзя не видеть само тяготение к реалистическому, возможно, более точному и правдивому изображению жизни, ибо правда всегда революционна.

Много и единодушно говорилось о том, что нельзя сводить воздействие литературы и выявление позиции автора только к образу героя (эта «оговорка» особенно была необходима, поскольку объявленная тема дискуссии могла сделать разговор несколько однолинейным). Искусство свободно в выборе самых разных персонажей, ибо оно в состоянии дать каждому из них, даже независимо от чисто сюжетного исхода его судьбы, нравственную оценку, определяющую отношение читателя к изображенному. Суд искусства — не всегда суд сюжетный, но всегда — суд моральный. Даже «сюжетно побежденный» герой может остаться морально непобежденным или победителем. А главное, он может внушить читателю желание остаться непобежденным в аналогичных обстоятельствах или желание переделать эти неблагоприятные обстоятельства.

Наконец, общим было признание воспитательной роли литературы. Конечно, не той прямолинейной роли, когда героя выводят за ручку и навязывают читателям: берите пример с этого пай-мальчика,— а настоящей воспитательной роли, когда литература развивает в человеке л и ч н о с т ь. Может быть, в том-то и состоит сегодня ответственность литературы перед обществом, чтобы показывать человеку смысл и значение его каждодневного преобразующего воздействия на жизнь, активно спорить с заблуждением, будто он бессилен изменить что-либо, не давать ему замкнуться только в кругу личных забот, тревог, переживаний. Если искусство не надеется раскрыть перед человеком более сложный, многогранный и богатый мир, чем он сам видит, то зачем оно?

По многим вопросам, вставшим в ходе дискуссии, участники ее высказывали разные точки зрения. Некоторые японские литераторы, например, сводили борьбу за мир к пацифизму или ставили на одну доску США и СССР как «большие» державы в их от-

---

* Статья, написанная на основе доклада, публикуется в этом номере журнала.

ношении к «малым» нациям (с чем советские участники, естественно, не могли согласиться). Еще больше касалось это творческих вопросов. Но здесь нечему удивляться, если принять во внимание исторически сложившееся национальное и социальное своеобразие наших литератур. Так, Синитиро Накамура делился намерениями, совершенно чуждыми нашим литераторам: «Для того, чтобы отразить все, что заключено в моем авторском сознании, я создам одного героя. Внутренним миром этого героя и только этим миром будет заполнен весь роман. Я начну с самых высших сторон душевного мира этого героя, проблем религиозного характера. Затем я постараюсь отразить торжество здравого смысла и рациональное начало и, наконец, мир подсознательного. Я постараюсь показать, как этот мир подсознательного становится более могучим, чем личное сознание, и даже становится каким-то коллективным сознанием».

И. Эренбург утверждал с известной горячностью: «Лучше писать каракулями по-новому, чем тщательно пользоваться приемами XIX века». С неменьшей горячностью возражал ему Е. Евтушенко: «То, что в современной литературе сейчас преобладает некий телеграфный стиль,— это как раз, может быть, свидетельство не силы, а слабости современной литературы».

«Сострогивать много лишних слов, придавая бесформенному материалу четкие очертания,— это и есть творчество»,— сказал Тосио Симао, посвятивший свое выступление работе над словом. Основываясь на собственном опыте, В. Аксенов обобщал: «Мы начинаем все смелее применять в своей ежедневной практике метод гиперболизации». А Ю. Трифонов — «ортодокс и враг нового», как шутливо определил он себя,— говорил об опыте классиков, о неисчерпаемых изобразительных возможностях «традиционного» реализма.

Но будучи столь разными в своих взглядах на преимущества той или иной творческой манеры, писатели были едины в понимании общественной роли искусства, обращающегося к жизни современников.

«Искусство всегда в разведке, а не в обозе» — этот тезис И. Эренбурга был поддержан всеми. А в наше время особенно возросла социальная ответственность писателя за то, чтобы пробуждать народное самосознание, чтобы показать, не лукавя и не прикрашивая, серьезные социальные потрясения современного общества, чтобы не одурманивать мозги низкопробным чтивом. «Писатель должен не красоваться на вершине жизненной пирамиды,— сказал Дайдхати Идзуми,— а находиться внизу, испытывая на себе всю ее тяжесть и видя всю пирамиду. Только тогда появится у него образ героя в полном смысле слова — активного, положительного, способного изменить действительность».

Гуманистическая вера в человека, стремление активизировать его в борьбе за мир и социальный прогресс — вот что прочно связывало всех участников дискуссии, свидетельствуя о том, какой мощной силой может быть литература, если она объединит свои усилия в нравственном совершенствовании личности.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

РАЗГОВОР О ЛИТЕРАТУРАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

«Вопросы литературы» № 12, 1965 г.

Многие видные писатели из Болгарии и Венгрии, ГДР и Польши, Румынии и Советского Союза, Чехословакии и Югославии приняли участие в этом разговоре о сегодняшнем дне братских литератур, о важнейших тенденциях их развития. Таким образом на страницах журнала «Вопросы литературы» состоялась широкая заочная встреча писателей социалистических стран Европы.

Прав В. Озеров, утверждающий во вступительной статье, что, «как бы ни были различны избранные авторами темы и угол зрения на них, во всех выступлениях отчетливо звучали мысли о дружбе и единстве наших народов, о социалистическом братстве наших культур». Это действительно отправной пункт, из которого исходят авторы в своих размышлениях о литературных процессах нашего времени. Социалистическая действительность родила и рождает общие — при всех национальных особенностях и различиях — закономерности развития братских литератур. И неудивительно, что наблюдения и выводы большинства писателей и критиков, полученные на основе анализа тех или иных явлений своей национальной литературы, зачастую «формулируют» общие процессы, характерные и для других социалистических стран.

«Укрепление дружеских связей между литературами стран социалистического лагеря — наша общая задача. Особенно дорога нам дружба с советской литературой...» — пишет болгарский писатель И. Волен. И это мысль, которой, в конечном счете, окрашены все выступления в журнале, потому что дружба и сотрудничество между народами и их культурами неотделимы от самой сущности социализма, от великих идеалов, которые нас объединяют. Здесь — залог и нашей успешной борьбы за решение социально-политических задач современности, и плодотворного развития самих литератур на подлинно передовой, социалистической идейной основе.

Читая статьи и ответы на анкету журнала «Писатель и время», видишь, какое первостепенное значение придают наши соратники по литературному делу борьбе за высокую социалистическую идейность искусства, за его гражданский пафос и боевую, партийную целенаправленность. Отвергая догматическое, упрощенное толкование этих понятий, нередко проявлявшееся в литературной теории и практике прошлого, писатели братских стран убежденно отстаивают принципы партийности и народности. Создавать «литературу общественного звучания, активно борющуюся за действительно социалистическое общество»,— такова позиция, например, чешского писателя И. Кршижа, подчеркивающего — в соответствии с конкретными условиями своей литературной действительности — необходимость защищать эту позицию в споре с теми, кто свою «неспособность шагать в ногу прикрывает судорожным кривлянием». «Да, я за людей, шагающих в ногу,— заключает писатель свои размышления.— За добрых, хороших людей. Я хочу, чтобы именно они определяли направление развития мира.

Хотя бы потому, что они активно созидают его. И не отказываются от ответственности за его будущее». Важнейшие для художника проблемы видения, познания действительности органически сочетаются в большинстве выступлений с проблемой общественного идеала, которому следует писатель, его мировоззренческих позиций и социальной ответственности. Так, споря со сторонниками внесоциальной, лишенной гражданской окраски «сверхсовременности», болгарский критик Е. Каранфилов справедливо утверждает, что новое в искусстве не может создать художник, «лишенный острого социального мировоззрения».

Интересны в этом отношении статьи А. Клейна и Ю. Бонка, в которых анализируются новые произведения прозаиков Германской Демократической Республики. У социалистической немецкой прозы есть ближайший объект для сопоставлений и сравнений — творчество западногерманских романистов, осуждающих фашизм, милитаризм, господство монополий, но не стоящих на последовательно прогрессивных позициях. И это сопоставление, проведенное, в частности, А. Клейном, достаточно красноречиво: если многие западногерманские писатели, наблюдая (и осуждая) возрождение милитаризма, усиление политической реакции у себя в стране, с тоской и тревогой говорят об «извечном повторении и возвращении явлений», то новая немецкая проза, создаваемая в ГДР, выдвинула убедительную антитезу этим пессимистическим концепциям, показывая реальные, живые процессы рождения на немецкой земле нового мира и нового человека.

Этот процесс рождения нового отнюдь не идиллический, и достоинство лучших книг последних лет, таких как романы Э. Штриттматтера, К. Вольф, Э. Нейча, М. В. Шульца, Ю. Брезана, заключается и в том, что они решительно опровергают всякие тенденции к идеализации, схематизму, упрощению сложных и противоречивых жизненных явлений.

Очевидно, для всех братских литератур сейчас характерно повышенное внимание к проблемам морали, которые исследуются как один из важнейших плацдармов борьбы за нового человека, за торжество социалистических отношений между людьми. Применительно к опыту венгерской литературы об этом вдумчиво и содержательно рассказывает М. Саболчи. Он показывает, как в романах, повестях, пьесах идет развенчание живучей индивидуалистической, мелкобуржуазной морали и, одновременно, утверждение новых нравственных принципов, рожденных борьбой за социализм. Вместе с тем автор вполне справедливо говорит «нет» проповеди абстрактной, внеклассовой нравственности, оторванной от реальной исторической почвы, от социально-политических проблем своего времени,— а произведения с такими концепциями появляются в венгерской (да и только ли венгерской?) литературе. В частности, М. Саболчи обоснованно возражает против ложной, несостоятельной постановки проблемы «мораль и власть», при которой эти понятия трактуются как взаимоисключающие. Во многих случаях, справедливо утверждает М. Саболчи, абстрактное, идеалистическое решение этой темы (в том духе, что, дескать, «власть сама по себе — враг «чистой морали») оборачивается грубым искажением правды и используется для тенденциозных нападок на социалистический строй.

Общее обнаруживается и в вопросе об утверждающем и критическом начале в современной литературе социалистического общества. Настороженность в отношении схематических, прямолинейных трактовок воспитательной роли искусства и сущности положительного героя, звучащая в размышлениях многих писателей и критиков, вполне оправдана — она продиктована сложным опытом преодоления бесплодных догм, мешавших развитию социалистического искусства. Но, отрицая дидактизм, бесконфликтность, иллюстративность, заданность героя, писатели братских стран усматривают главный пафос своего творчества именно в правдивом «изображении нового современного человека» (Т. Ружевич), в соотнесении любых явлений действительности с социалистическими идеалами (А. Клейн), в утверждении «веры в справедливость нашего строя» (Г. Гараи), в убедительном раскрытии перспективы общественного развития, которая дает почву и основание для исторического оптимизма и веры в человека-творца (Е. Каранфилов). Для этого не надо ни упрощать, ни подмалевывать действительность или смягчать противоречия, возникающие на тех или иных этапах развития нового общества. Отсюда и нетерпимость к теневым сторонам жизни, попытка аналитически разобраться в причинах и условиях, делающих возможным их существование. Но есть критика разрушающая и критика творческая, созидательная, и, отстаивая вторую, писатели социалистического общества решительно отрицают первую. «Как бы ни были густы тени, они, вместе с тем, подчеркивают светлое начало в нашей жизни,— пишет Е. Каранфилов.— Старая истина, дошедшая до нас еще от Ювенала: критиковать имеет право лишь тот, кто любит,— не устарела и сегодня».

«Мы вступили в пору возмужалости, взрослых чувств»,— пишет А. Дравич, автор превосходной статьи о современной польской прозе. Это сказано по частному поводу, но слова критика хочется повторить, когда, пытаясь обобщить, думаешь об основной направленности писательских раздумий, отраженных в материалах номера. Да, возмужалость социалистической художественной мысли, коллективного опыта братских литератур очень живо ощущается читателем. За два десятилетия братские литературы накопили огромный идейный и художественный опыт, завоеванный в борьбе со всякого род шатаниями и чуждыми

влияниями, с догматическими и ревизионистскими извращениями. Литературное творчество стало полнее и глубже схватывать правду жизни в ее подлинно диалектическом понимании, гибче, многограннее и потому содержательнее стали многие эстетические понятия, которые помогают ориентироваться в сложных вопросах искусства и его взаимоотношений с действительностью.

С высоты сегодняшних рубежей яснее видны слабости и ошибки прошлого, но видно и то, что развитие литературы как тогда, так и теперь происходит на основе нерасторжимой идейно-политической связи литературы с делами и помыслами народа, вдохновленного идеалами социализма и коммунизма. (Об этом, в частности, говорит И. Шотола, указывая на активную связь современной чехословацкой литературы с развитием социалистического общества и «со всем, что было в ней прогрессивного на протяжении послевоенного двадцатилетия, с лучшими прогрессивными традициями чешской и словацкой довоенной литературы».) Отсюда — зрелое понимание участниками разговора главной, определяющей линии сегодняшнего литературного развития; полемический пафос их размышлений на конкретные творческие темы направлен как против догматической узости и скованности, так и против той идейной неопределенности и расплывчатости, эклектической «всеядности», которые явственно сказываются в более чем сомнительных поисках иных литераторов.

В самом деле, как не присоединиться, например, к точным ироническим словам А. Дравича, в которых суммируются не слишком плодотворные итоги модных поветрий, еще недавно тревоживших сердца известной части молодых польских прозаиков? «Мы переживали,— вспоминает он,— несколько раз повальные увлечения, нечто вроде массового гипноза: вначале некоторые молодые литераторы дружно брюзжали, выражая недовольство внезапно сделанным открытием, что мир устроен не так идиллически, как представлялось иным ура-оптимистам. Потом пришло массовое увлечение автобиографиями и путешествиями в буколическую страну детства, что позволило достичь эффектных контрастов: наивный взгляд широко открытых детских глаз и отражающаяся в них жестокость мира взрослых. Затем молодую литературу заселили Гамлеты карманного формата, ни к чему, по сути дела, не способные, студнеобразные, сомнамбулические, расщепляющие на части собственную личность; очень хотелось как следует их встряхнуть. Был еще в моде так называемый «креационизм» (от слова kreacja — воплощение образа); сторонники этого направления помещали героев в условной действительности, старательно очищенной от всякой конкретности, где каждый жест, слово и ситуация должны были иметь универсальное и символическое значение. По принципу контраста после этого увлечения наступил — и частично продолжается по сей день — период пристрастия к конкретности, к земной повседневности, период так называемого «малого реализма»: люди встают, идут на работу, возвращаются, у них есть трудности и заботы, они едят, ложатся спать, снова встают. Это написано добросовестно, солидно, честно, но скучно; не хватает широкого дыхания, хочется спросить: «Отлично, но что из этого следует?»

Подобные увлечения и веяния, подходя к делу с полной объективностью, могут, хотя бы в неоформленном виде, отметить у себя исследователи и не одной лишь польской молодой прозы; тенденции знакомые, хотя и принимающие разную форму на той или иной литературной почве. Итог их едва ли не повсюду один и тот же; во всяком случае, ироническая интонация критика в отношении этих «исканий» вполне оправдана, когда он упоминает о них после обстоятельного разбора книг, ставших подлинными достижениями современной польской прозы,— таких, как «Современный сонник» Т. Конвицкого, «Агнешка, дочь Колумба» В. Маха, новые книги Ю. Хена, Э. Брылля, Э. Глуховского, и других авторов.

И едва ли не самое интересное в статьях, а особенно в писательских ответах на анкету журнала,— мысли о ведущих тенденциях художественного развития, связанные, в конечном счете, со всемирным спором о реализме и противостоящих ему модернистских направлениях. Здесь поистине примечательна глубокая уверенность подавляющей части авторов в том, что художественная сила и правда — на стороне гражданственного, высокоидейного реалистического искусства. И настойчивость, с которой сегодня писатели разных биографий и разных творческих склонностей высказываются за реализм, окрыленный социалистическими идеалами, заслуживает быть отмеченной как особо важная черта того форума, который состоялся на страницах «Вопросов литературы».

В своих размышлениях и высказываниях писатели не стремились к точным формулам, определяющим понятие художественного метода или направления. При всем этом их эстетическая программа не оставляет на свой счет никаких сомнений и неясностей. «Я убежден,— пишет Г. Гаран,— что наиболее характерная и плодотворная тенденция современной венгерской литературы — широко понимаемое направление социалистического реализма» («широко понимаемое», как объясняет ниже автор, значит включающее в себя все многообразие традиций, определяемых именами Горького, Маяковского, Элюара, Незвала, Брехта, Аттилы Йожефа и других революционных художников). «После 9 сентября 1944 года,— свидетельствует М. Исаев,— основным методом болгарской литературы стал социалистический реализм. Даже у писателей, которые в прошлом не были коммунистами и не смогли сразу освоить метод социалистического реализма, социалистические идеи стали основой творчества».

Иные авторы, не употребляя термина «социалистический реализм», тем не менее

убежденно говорят о том, что самым верным и плодотворным путем развития их литератур является реализм, освещенный передовым мировоззрением. «Мне кажется, что именно это реалистическое направление,— утверждает, например, Я. Ивашкевич,— наиболее плодотворно и сулит в будущем нашей литературе серьезные достижения». А. Инголич, говоря о разнообразии направлений в литературе своей страны (в том числе и таких, которые «окончательно теряют себя в узком индивидуализме и герметизме»), считает, что «писатели-реалисты намного правдивее и художественно убедительнее изображают нашу действительность, сложную и противоречивую». Близкие к этим мысли высказаны и в выступлениях И. Шимона, И. Волена и других писателей.

Чрезвычайно интересна в этом смысле статья югославского критика М. Юрковича «Пути, опыт, горизонты». Здесь много вдумчивых суждений о сложном опыте развития литературы Югославии в послевоенные годы, о серьезных ее достижениях и борьбе противоречивых тенденций, не прекращающейся и в настоящее время. И вот — один из итогов, сформулированный автором: «От больших литературных боев, которые велись у нас в 50-е годы и в которых одна сторона хотела доказать другой, что реализм износился и устарел и что нужно сбросить его с палубы литературного корабля, югославскую литературу отделяет уже немало времени. А реализм не только не отброшен, но писатели, которые и своим творчеством, и помимо него высказывались за реализм и тогда и позднее, дали югославской литературе лучшие ее книги и стоят ныне в первых рядах этой литературы».

Итак, и в этой литературе, где, по словам самих югославских критиков, еще сильны течения, исповедующие иррационализм и неверие в человека, убедительнейшие творческие победы и подлинные перспективы развития принадлежат именно реализму.

Не будем впадать, конечно, в упрощение и тем более в идиллические тона. Как отмечают, например, представители польской литературы, в ней и сегодня можно встретить «и примеры далеко идущего анти реализма, и образцы чисто реалистического жанра» (Я. Ивашкевич). О некоторых венгерских писателях, которые придерживаются иной, чем социалистический реализм, ars poetica, упоминает Г. Гараи, замечая вместе с тем, что в той мере, в какой эти художники учатся у самой действительности, постигая ее правду, они «волей-неволей приходят к социалистическому реализму». О сложной «дифференциации взглядов, эстетических концепций и творческих методов» в современной чехословацкой литературе и даже о том, что такой «свободный спор» разных течений и концепций необходим для «закалки» и расцвета подлинно здоровых и плодотворных начал социалистической литературы, говорят в своих выступлениях И. Шотола и И. Кршиж. А югославский писатель Л. Кракар идет еще дальше и утверждает, что существование различных, даже противоположных идейно-художественных направлений и ожесточенные битвы между ними создают атмосферу, которая «нашей литературе пошла на пользу» (частично этого мнения, впрочем, придерживается и М. Юркович, считающий, что в условиях борьбы с многочисленными противниками югославский реализм обогатился и обрел более современные формы выражения).

Конечно, такие утверждения следует воспринимать с учетом реальных условий, существующих в той или иной литературе, своеобразия ее исторического развития и художественных традиций. И все же, думается нам, попытки доказать правомерность существования в социалистической литературе откровенно враждующих (и не могущих не враждовать) между собой творческих методов или направлений являются по меньшей мере спорными. Ведь речь идет не только о формах эстетического выражения, но и о том идейно-философском видении мира, которое составляет душу любого творческого метода или литературного направления. Отвечает ли хоть в какой-либо степени познавательным и общественно-преобразующим задачам социалистического искусства то, скажем, возвеличивание «неразума» и «антиразума», которое считается модным в некоторых течениях югославской литературы, и действительно ли это «идет на пользу» ее основному реалистическому направлению? Подобных вопросов можно задавать немало. Сама жизнь, и в частности опыт развития братских литератур за последние 10—12 лет — а токами этого опыта пронизано все содержание писательского разговора, состоявшегося на страницах «Вопросов литературы»,— подтвердила и подтверждает не только все возрастающее значение социалистического реализма как самого прогрессивного творческого метода, но и невозможность, немыслимость эклектического «совмещения» его с модернизмом, с теми или иными ответвлениями декаданса.

Относительно же того, как многообразно воплощаются творческие принципы социалистического реализма на различной национально-литературной почве, как серьезны его новаторские свершения и как враждебны живому духу этого метода всякие умозрительные каноны и нормативы, читатель находит убедительный материал в статье Т. Мотылевой «Роман социалистического реализма за рубежом», а также в ряде других статей, развивающих или уточняющих темы, поставленные на страницах журнала.

Следует лишь пожелать, чтобы интересный коллективный разговор писателей социалистических стран, состоявшийся в журнале «Вопросы литературы», был продолжен и в дальнейшем.

Л. НОВИЧЕНКО

ТКАЧ ИЗ БЕНАРЕСА

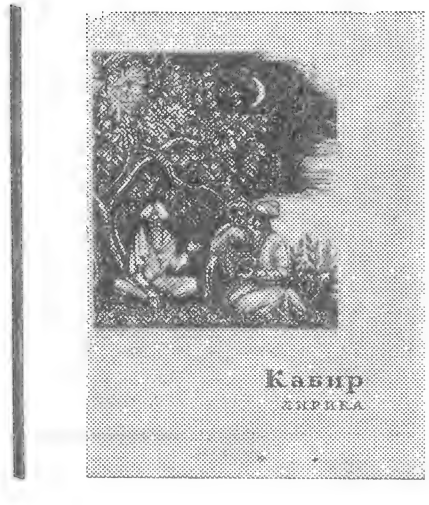
Кабир. Лирика. Перевод с хинди С. Липкина. Вступительная статья С. Липкина, И. Рабиновича. Составление и примечания И. Рабиновича. Подстрочные переводы И. Рабиновича, И. Серебрякова. Москва, «Художественная литература», 1965. 172 стр.

Жители города Бенареса издавна хранили свои богатства в тайниках, для опознания которых они обычно составляли одним им понятные шифры-указатели («биджак» на языке хинди). Этим же словом назвал сборник своих поэтических произведений великий поэт Индии Кабир, желая, по-видимому, подчеркнуть, что в этой книге заключены одному ему понятные сокровища. Этот бесценный клад еще при жизни Кабира обнаружили его соотечественники.

Вот уже пять веков с огромной любовью и уважением произносят простые люди Индии имя Кабира, поют его песни, читают его стихи, многие из которых органически слились с устным народным творчеством.

Недавно поэт С. Липкин с помощью индологов И. Рабиновича и И. Серебрякова также включился в поиски кабировского сокровища, и вот оно перед нами в виде изящно изданного сборника стихов, выпущенного издательством «Художественная литература» в серии «Сокровища лирической поэзии». Произведения «прославленного ткача из Бенареса», как назвал Кабира Джавахарлал Неру, заняли, таким образом, достойное место на нашей книжной полке рядом с творениями таких замечательных поэтов-лириков Востока, как Рудаки, Саади, Хафиз, Хайям, Джами.

Имя Кабира называется всегда в связи с постановкой вопроса о так называемом индийском Ренессансе. Кабир родился примерно через столетие после смерти Данте и Петрарки, он был современником Эразма Роттердамского, Франсуа Рабле, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Андрея Рублева. Однако вопрос о каком-либо влиянии на его творчество общественной мысли и литературы европейского Возрождения совершенно исключен.



Критикуя взгляды видного английского индолога Дж. Э. Грирсона, считавшего, что многие демократические идеи религиозно-реформаторского движения в средневековой Индии возникли под влиянием христианства, известный индийский литературовед Хазарипрасад Двиведи подчеркивает народность творчества Кабира и других поэтов, принадлежавших к этому движению. «Если мы обратимся к литературе хинди, созданной за последние пять веков,— пишет ученый,— то у нас не останется ни малейшего сомнения в том, что она является продуктом естественного развития народных тенденций. Творения Кабира, Сурдаса, Тулсидаса до сего времени пользуются огромной популярностью в Индии, привлекая к себе сердца индийцев».

Поэзия Кабира отразила изменения, происходившие в средневековой индийской культуре под влиянием религиозно-реформаторского движения — бхакти. Это движение являлось идеологической основой растущего протеста ремесленников, торговцев, городской и деревенской бедноты против феодально-брахманской верхушки, против социальной несправедливости и феодального гнета. Недовольство народных масс кастовым и социальным гнетом выражалось в развитии сект и религиозных ересей, принимавших форму культа бога Вишну, олицетворяющего добро, красоту, правду, закон. Движение бхакти, знаменующее кризис средневекового схоластического мировоззрения, реакцию против догматической философии индуизма, стимулировало развитие литературы на народных разговорных языках и диалектах Индии, литературы, которая в большинстве своем носила ярко выраженный народный характер. Важнейшей особенностью социального и культурного развития Индии этого периода, отраженной в поэзии бхакти, является синтез религиозно-философских идей индуизма и ислама, обусловивший обогащение индийской культуры.

Было бы, конечно, неверно думать, что Кабир, как и другие поэты, выражающие идеологию бхакти, целиком порвал с религиозно-схоластическим мировоззрением. В его творчестве отражается сложный противоречивый характер развития народно-демократической и феодально-брахманской тенденций, вся неустойчивая, полная противоречий жизнь средневекового индийского общества. Однако, несмотря на противоречия, говорит индийский ученый Пракашчандра Гупта, «поэзия Кабира наполнена духом борьбы против всех искусственных барьеров, разъединяющих людей, в ней звучит революционный протест против феодальной эксплуатации, суеверия и фанатизма».

Созданные пять веков назад замечательные творения Кабира и сегодня глубоко современны. «Мы должны учиться у Кабира,— говорит Пракашчандра Гупта,— смелости и мужеству, с которыми поэт бо-

ролся против социальной несправедливости... Мы должны учиться у Кабира тому, как нужно самоотверженно бороться против общественной деградации, никогда не склоняя головы перед тиранией и жестокостью, не примиряясь с действительностью».

Чем глубже мы проникаем в тайники кабировского наследия, тем больше убеждаемся в гуманистической основе его поэзии. Божественная сущность человека у Кабира, как правило, отступает на задний план, и перед нами предстает обыкновенный земной человек со всеми его чувствами и переживаниями.

С. Липкину удалось воссоздать мятежный дух поэзии Кабира, наполненной страстным протестом против всего, что унижает достоинство человека, лишает его воли к борьбе за свободу и счастье. Кабир восстал против одного из самых страшных проклятий индийского общества — кастового строя. Возрожденческие тенденции проявляются также в стихотворениях Кабира, направленных против религиозного догматизма и фанатизма. Поэт заявляет, что человек не может познать истинное счастье и освобождение, поклоняясь бездушным идолам, слепо веря в религиозные предрассудки. Зло высмеивает поэт религиозных святош, будь то индусы или мусульмане, брахманы или муллы. Беспощадно срывая с них маску ханжества и лицемерия, он камня на камне не оставляет от их мнимой святости и добропорядочности.

Мерзавцы живут в Бенаресе, корзины
еды поедая,
Но мы назовем ли аскетом мошенника
и негодяя?

Не меньше достается от Кабира и мусульманским муллам:

Не ищет бога, кто намаз
читает каждый день пять раз.
Мулла, твоя молитва — ложь,
намазом правду ты убьешь!

Утверждая, что бога нет ни в Каабе, ни в Мекке, ни в мечетях, ни в индуистских храмах, Кабир заявляет: «...да и не нужен бог тому, кто правды в сердце не сберег!» Истинная святость и правда жизни — в человеке, в его бескорыстии, в доброте, честности и справедливости. Кабир восклицает:

О брат, живи разумно, сознавая:
Твое освобожденье — жизнь живая.

Вместо мистической любви к богу как единственному средству избавления от горя и страданий, несправедливости окружающей действительности у Кабира появляется земная любовь, которая вдохновляет человека на подвиги, созидание прекрасного при жизни на земле.

Стихи-молитвы, обращенные к богу, нередко звучат у Кабира как страстный любовный призыв к соединению с возлюбленным.

Войди в мои глаза скорее,
а я закрою их, любимый мой:
Лишь ты один мне будешь виден,
ты будешь виден только мне
одной.

В воспевании возвышенного и благородного чувства поэт доходит до утверждения, что лишь одна любовь в этом мире бессмертна, даже бог по сравнению с ней теряет свое величие и могущество:

Счастье только в правде и любви,
Все другое — беды и тревоги.
Смертен ты и мудрецы твои,
Смертны демоны, и смертны боги.

Перевод средневековой индийской поэзии на русский язык — задача, требующая от переводчика проникновения в совершенно иной мир религиозно-философских воззрений, специфических особенностей быта, нравов и обычаев средневековой Индии, раскрытия многих понятий, связанных с совершенно иным миропредставлением.

Академик А. П. Баранников свой научный перевод классического памятника средневековой литературы хинди «Рамаяны» Тулсидаса, выпущенный в 1948 году, снабдил огромным количеством комментариев. С. Липкин ставил своей целью дать художественный перевод поэзии Кабира и, естественно, не мог пойти по этому пути. Нам представляется, что без излишнего упрощения, прибегая к минимуму комментариев, С. Липкину удалось в переводе добиться очень многого.

В своем подавляющем большинстве переводы стихотворений Кабира, выполненные С. Липкиным, весьма близки по форме к оригиналу. Поэзия Кабира отличается чрезвычайно экономным расходованием языковых средств. Однако за внешней простотой и лаконичностью его поэзии скрыто глубокое философское содержание. Эту особенность кабировского творчества сумел бережно сохранить С. Липкин в переводе на русский язык.

Ты один, ты один у того,
У кого — никого, никого,
Но всего, но всего господин,
У кого — ты один, ты один.

Этот крепко сделанный русский стих в то же время очень характерен для кабировской поэзии, по своей неповторимой музыкальности, по той особой эмоциональной насыщенности, которая в данном случае создается путем повторов слов и внутренней рифмы.

Одна из особенностей поэзии Кабира, отразившей синтез индусской и мусульманской культуры,— органическое слияние размеров и форм классического персидского и индийского классического стиха. Это слияние у Кабира, в частности, проявляется в изменении традиционной газели путем нарушения привычной системы парной рифмовки. Эта особенность формы кабировской поэзии также находит свое отражение в русском переводе.

Весьма интересными и удачными нам также представляются попытки передать новаторские поэтические эксперименты Кабира, направленные как против канонизированной индийской классической поэтики, так и про-

тив риторической поэтики Корана. В русском переводе рифмуются такие, например, слова, принадлежащие к различным стилям, как «святыне» и «скотине», в переводе бережно сохраняются столь характерные для Кабира предметы труда и быта ремесленников и крестьян, помогающие выразить сложные, отвлеченные понятия.

Луна и солнце в ткани мира основой
стали и утком,
Вот почему земля и небо мне ткацким
кажутся станком.

Или еще:

Кабир говорит, что корысть — маслодел:
весь мир выжимает, как масло
из семени.
Спасется лишь тот, кто расстаться посмел
с богатством и ложью — с пороками
времени.

Все эти находки русского перевода помогают воссоздать ту народную стихию, которой пронизано творчество Кабира, помогают лучше понять его своеобразие.

Выход в свет сборника избранных стихотворений Кабира — хорошее начало освоения творческого наследия этого великого поэта Востока.

Е. ЧЕЛЫШЕВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ПРОЩАЛЬНЫЙ СВЕТ

Johannes Bobrowski. Levins Mühle. Roman. Berlin, Union Verlag. 1964.
Johannes Bobrowski. Boehlendorff und Mäusefest. Berlin, Union Verlag, 1965.

В сентябре 1965 года в возрасте сорока восьми лет умер немецкий поэт и прозаик Иоганнес Бобровский. В первых же сообщениях о его смерти было заметно очень личное, тревожно-острое ощущение утраты. Утрата была велика. С этим были согласны все.

Слава этого писателя еще только начиналась, первая его книга (сборник стихов «Сарматские дни») была напечатана лишь четыре года назад. Она сразу сделала его имя известным. За ней вышли новые книги Бобровского: второй сборник стихов, роман и небольшая книга новелл. Это все, что он успел напечатать.

Роман Бобровского «Мельница Левина», на первый взгляд, мало современен. Один из критиков, писавших об этой книге, вспомнил имя Фонтане. Для Германии это имя звучит так же, как для нас звучало бы имя Тургенева. В «Мельнице Левина» есть сходство с романами XIX века. Может быть, это сходство в ритме прозы: спокойном и неспешном. Медленно едет фура, которая везет деда из деревни в окружной городок; и так же медленно движется рассказ. («Дед» это герой романа Иоганн из деревни Боброво; а мельница, о которой речь идет в заглавии, принадлежит Левину, с которым у деда особые счеты). Бобровский дает возможность читателю не торопиться и подумать. Замечание о Фонтане принадлежит западногерманскому критику; если сравнить прозу Бобровского с нервной и острой западногерманской прозой, то замечание это в самом деле оправданно.

Но здесь нужна оговорка. Бобровский не подражает никому. Роман XIX века оставил большое наследство, и подражатели еще и сегодня могут кормиться крохами с чужого стола. Они успешно усваивают секреты чужого мастерства; шлифуют свой и без того гладкий стиль. Бобровский не любит идти по чужому следу. Он сторонится всякой литературности. Он пишет «Мельницу Левина» как большой устный рассказ, очень спокойный и непринужденный, с непрерывным, устойчивым ритмом. Он так дорожит этим ритмом, что не желает отделять речь героев от своей собственной речи; он никак не обозначает диалог; такие знаки, как тире или кавычки, в его романе почти совсем отсутствуют.

Кто же он, сам рассказчик? Это внук, который рассказывает историю своего деда. «Мельница Левина» не похожа на обычный роман; зато она в прямом родстве с теми устными историями, которые испокон веков рассказывают в деревнях. Автор только кратко отмечает явления природы и нигде не говорит, как выглядят его герои. Но сама земля, весь этот край с его медленными реками, просторными лугами и негустыми, пронизанными светом рощами — все это написано отчетливо и ясно. Вместо наглядности описания — здесь есть наглядность слова. Мы слышим голоса героев, и этого достаточно, чтобы их увидеть.

Дед говорит как человек, понимающий свою силу: на его стороне закон, у него союзники, он защищен государственной властью. Левин молод, неуверен в себе, подавлен неудачей. В одной деревне не должно быть двух мельников, и дед незаконным путем избавился от конкурента; и все же он прав, а Левин не может доказать свою правоту. Здесь обнажается самая сердцевина книги; теперь ясно, почему современному писателю понадобилось писать роман о какой-то никому не известной деревне с точно обозначенной датой действия: лето 1874 года. (Эпилог книги теряется где-то среди смутных последних десятилетий XIX века.) Рассказывая об одной небольшой деревне в Западной Силезии, захваченной Пруссией, о деревне, для которой окружной городок Бризен с церковью и ратушей — уже столица, Боб-

ровский дает малую модель всей германской империи, той, которая через каких-нибудь 30 или 40 лет попытается по своему усмотрению решать судьбы Европы и мира.

Пока все гораздо скромнее. Семь недель, которыми ограничено действие романа,— это семь недель судебного процесса, который Левин безуспешно пытается возбудить против деда. Пока все скромно; но суд в Бризене, с его точными ссылками на дату постановления и параграф закона, с его судьями и секретарями и с непременным желанием очернить невиновного — все это уже напоминает некоторые ситуации Кафки. И дед, читая берлинский журнал с невиннейшим названием «Гаргенлаубе» — «Беседка в саду», находит там статью, требующую принять меры против евреев. Он пишет в Берлин письмо с предложением выселить из Германии евреев, как он выселил из деревни Левина. Это прошлое похоже на предсказание того, что еще должно будет произойти.

Но в книге Бобровского нет безнадежности. Он ищет и находит искру человечности в людях, обиженных жизнью, но не затаивших на нее никакой обиды: в нищих, бродягах, цыганских музыкантах, пьяных и полупьяных неудачниках. Можно ли, например, забыть флейтиста Иоганна Владимира Гете, славного музыканта и смелого человека, который недаром носит такую громкую фамилию? Или цыгана по прозвищу Благодарю Тебя, или итальянца Скарлетто, который устраивает необыкновенные цирковые представления с выступлениями дрессированной крысы Тоски? Он талантлив, как все итальянцы, и неважно, что его отца зовут Ян Марцинчук, и говорит он на хорошем польском языке. Когда Бобровский пишет о любви, то это не сюжетный ход, придуманный для того, чтобы увлечь читателя, это настоящая любовь, и невозможно забыть ту летнюю ночь, когда Левин и его возлюбленная Мария сидят на лугу под дождем и считают, сколько на кого попадет капель.

Автор не смотрит на своих героев свысока, он не учит их уму-разуму; с каждым из них он на «ты» и говорит со всеми как равный. Это лишь подчеркивает его глубокую внутреннюю честность: ведь все беды, о которых он говорит, случились не только с другими людьми, но и с ним тоже. Когда он говорит о своем деде, разве не чувствуется, что внук ощущает себя плотью от его плоти? Самому автору пришлось надеть военную форму гитлеровской армии и воевать на русском фронте. Его роман был задуман еще в 1941 году и начат десятью годами позже; писатель работал над ним пятнадцать лет. Может быть, именно эта глубоко личная тема расчета с прошлым и привлекла к роману Бобровского такое серьезное внимание в Западной Германии. (Все книги Бобровского были изданы одновременно в обоих германских государствах — случай достаточно редкий в современной немецкой литературе.)

В сборнике новелл «Бёлендорф и празднество мышей» талант Бобровского раскрывается с новой стороны. Каждая новелла — это краткий и острый фрагмент. Может быть, лучшие из рассказов посвящены прошлому Германии; в каждом из них заключен скрытый вопрос: почему гибли самые молодые, самые честные люди? Дерзко написан рассказ «Памяти Пиннау», где настоящим героем оказывается молодой бухгалтер, разночинец, поэт Пиннау, а трезвым обывателем — не кто иной, как кёнигсбергский философ Иммануил Кант.

В новелле о поэте Бёлендорфе Бобровский в одной поэтической метафоре называет ту силу, которая погубила Бёлендорфа и ему подобных. «Это дождь. Дождь идет. За дождем пустота. Она кажется белой. Белые волосы какого-то безглазого существа, которое приподнимает свое белое лицо над кромкой». Этот поэтический образ кажется причудливым, но он вполне точен: это «безглазое существо» погубило таких людей, как Гёльдерлин, Клейст, Ленау, на которых похож и герой Бобровского, Бёлендорф. Это была вполне реальная и страшная сила, которую Маркс называл «немецким убожеством».

Совсем коротко — о стихах Бобровского. Если поэзия есть прежде всего искусство создавать в каждом стихотворении законченный кристалл человеческого опыта, мысли, страсти; если она неотделима от энергии слова, которую она излучает; если она есть единственный способ выразить то, что вообще возможно выразить только стихами,— то такая поэзия присутствовала в стихах Бобровского неизменно. Она лишь освободилась от слишком подчеркнутой сдержанности, которая в ранних стихах иногда граничила с сухостью. И она приобрела права «жизни, прожитой дважды». Бобровский, который всегда — и особенно в стихах — выделяет острые грани предметов, острые контуры слова, со всей открытостью рассказал о самом страшном, что ему пришлось пережить: о годах войны. Обе его книги — «Сарматские дни» и «Земля теней и рек» — полны видениями войны; очень многие стихи посвящены нашей стране, куда Бобровский пришел как солдат, но он увидел эту землю глазами поэта. Он пишет о граде Китеже и о сожженных селах, о новгородской Софии, которая встает над зимней черной рекой, зияя пустыми окнами в самом сердце разрушенного города. «Славянское» для него синоним «человеческого»; может быть, это отзвук детства, проведенного в Литве, где он часто мог слышать славянскую речь.

Бобровский писал, чтобы приблизить время, о котором в его стихах сказано: «Однажды будут наши ладони полны света». Слово «гуманизм», иногда тускнеющее от долгого употребления, снова обретает живой смысл, когда думаешь о таком писателе, как Бобровский.

Г. ГРОМАН

РАССКАЗЫ СЛАВОМИРА МРОЖЕКА

Sławomir Mrożek. Opowiadania. Krakow. Wydawnictwo Literackie, 1964.

Sławomir Mrożek. Ucieczka na Południe. Warszawa, Iskry, 1965.

Не так давно «Литературное издательство» в Кракове выпустило объемистый том рассказов Славомира Мрожека, в который вошли многие его сатирические произведения разных лет. Кроме того, переиздана его ранняя юмористическая повесть «Бегство на юг». Перед нами, таким образом,— основные вещи Мрожека, если не считать пьес, составляющих как бы вторую сторону его творчества (они тоже сравнительно недавно вышли отдельной книгой) и, несомненно, заслуживающих специального разговора.

Старт Мрожека в литературе напоминал стремительный взлет: в 1958 году вышел сборник его сатирических рассказов «Слон», принесший ему широкую известность, потом почти одновременно появились еще два томика — «Свадьба в Атомицах» (1959) и «Прогрессист» (1960), прочно закрепившие первоначальный авторский успех. О Мрожеке польская критика заговорила как о вполне сформировавшемся, зрелом писателе, мастере сатирического жанра.

Легкие, напоминавшие акварели, иронические миниатюры и зарисовки в сборнике «Слон» затрагивали, казалось, незначительные, «боковые» проблемы польской действительности, нередко отталкивались от анекдота, курьеза. В плане веселой шутки выдержана была и повесть Мрожека «Бегство на юг» (1961), в которой рассказывалось о забавных похождениях трех юных друзей, странствующих по Польше вместе с необыкновенной человекообразной обезьяной, умеющей отлично говорить. С героями книги происходят всякого рода казусы, они становятся свидетелями многих «гримас быта»: то знакомятся с работой обувной фабрики, выпускающей продукцию (и, разумеется, сверхпланово) на одну левую ногу, то взирают, потрясенные, на громадную заводскую трубу, которая немилосердно дымит. Самого завода, правда, нет, так как смета его еще не утверждена, но «штат» при трубе давно укомплектован...

Читатели сразу уловили за шутками Мрожека нечто большее: сатирик брал под огонь своей иронии бесхозяйственность и головотяпство, недоверие и перестраховку, самодовольство и фанфаронство — все те отрицательные явления общественной жизни, с которыми начиналась решительная борьба. И писатель, хотя и отталкивался от смешного случая, нередко наталкивал своих читателей на весьма серьезные раздумья.

...Детвора лепит снежную бабу (рассказ «Дети»). Эта невинная забава представляется некоторым взрослым весьма подозрительной. Пьянице-продавцу кажется, что такая деталь, как нос-морковка у чучела, явный намек на его пристрастие к бутылке; председатель городского совета, под чьими окнами слепили злополучную «бабу», и вовсе усматривает в этом «карикатуру на органы народной власти». Дети, несправедливо наказанные отцом, на следующий день снова лепят снежную бабу, на этот раз уже полные мстительных чувств.

Автор, видимо, еще недостаточно доверяет проницательности читателя и спешит сам пояснить ему, что хорошо и что плохо. Позднее Мрожек начисто отказался от этого и не случайно: морализаторство, как и прямое, дословное толкование событий, происходящих в его рассказах, противоречит самому характеру его сатиры. Вспоминаются в этой связи «меткие», по выражению Ленина, слова Фейербаха: «Остроумная манера писать состоит, между прочим, в том, что она предполагает ум также и в читателе». Манера Мрожека, несомненно, «предполагает» известную интеллектуальную подготовленность читателя, который как бы настраивается на определенную авторскую волну.

Своеобразие и оригинальность манеры Славомира Мрожека некоторые критики объясняют тем, что он успешно развивает традиции великих сатириков прошлого — от Свифта и Гоголя до Чапека,— оставаясь в то же время писателем очень польским (язык которого Ивашкевич назвал «превосходным, чарующим своей стилизованной иронией»).

Есть, однако, у Мрожека и еще один объект осмеяния, значительно расширяющий адрес его сатиры и выводящий ее за рамки чисто польской проблематики,— современное мещанство, мещанство как общественное, социальное явление.

Современный мещанин многолик. Его изменяющийся, ускользающий облик бывает трудно распознаваем. Но Мрожек умеет разглядеть мурло мещанина, выставить на всеобщее обозрение его внутреннюю пустоту и несостоятельность, зыбкость и неустойчивость его общественно-гражданской позиции.

Для Мрожека осмеяние мещанства — одна из «сквозных» тем творчества. Духовное капитулянство мещанина перед грубой силой — часто повторяющийся мотив многих его одноактных пьес, таких как «Кароль», «В открытом море», а также целого ряда рассказов.

Неизвестный прохожий в рассказе «Встреча» останавливает героя на улице (он был «выше меня ростом и гораздо шире в плечах»,— спешит тотчас заметить рассказчик). Тоном, не терпящим возражений, неизвестный приказывает герою явиться к нему и произвести уборку квартиры. Тот, разумеется, поначалу негодует, потом хорохорится, уже больше для видимости, робко заявляя, что не привык мыть пол холодной водой, так как страдает ревматизмом, и, наконец, вовсе смиряется. Подобно трусливому воплю вырывается у него последняя фраза, когда неизвестный удаляется: «Ведь он не оставил мне своего адреса!»

Повествование в рассказах Мрожека чаще всего ведется от лица именно такого маленького, незаметного человека. Однако его «маленький человек» — отнюдь не вызывающий симпатию персонаж из чаплинских фильмов. «Маленький человек» Мрожека — мещанин, в душе которого дремлют честолюбивые помыслы, мечты о неограниченной власти. Казалось бы, герой новеллы «Mon général» — тишайшая личность, преисполненная благородных стремлений всячески «развивать свою индивидуальность». Одно плохо, жалуется он генералу, которого случайно спас от беды,— «среда заела». Простодушный вояка понимает смысл этих сетований слишком прямолинейно: в знак благодарности он приставляет к своему спасителю личную охрану — двух дюжих армейцев. И герой рассказа, еще полный как будто возвышенных дум, уже с удовольствием наблюдает, как зазевавшийся швейцар, не успевший вовремя распахнуть перед ним дверь, получает увесистую оплеуху от одного из верных «ангелов-хранителей». Вкусивши прелесть власти, герой дает понять своим заступникам, что подобным же образом надо встретить и замешкавшегося разносчика молока.

Внимательным взглядом сатирика Мрожек присматривается к облику мещанина с разных сторон, изучает его в различных, подчас самых невероятных, обстоятельствах фантастического гротеска, к которому он особенно тяготеет последнее время.

Следует заметить, что в ряде своих гротесков Мрожек варьирует мотив почти добровольного отказа некоторых представителей рода человеческого от своей сущности. Мысль о духовной капитуляции малодушного индивида перед грубой силой как бы получает свое дальнейшее развитие: постепенная деградация завершается здесь уже окончательным вырождением. Хозяин громадного пса («Верный страж») незаметно превращается в раба своей собаки, и наконец наступает день, когда он становится на четвереньки. Еще немного, и он, вероятно, начнет лаять...

Мне кажется, что повторяющийся мотив этот порою обретает у Мрожека характер навязчивой идеи. В рассказе «Шах», например, на стадионе, превращенном в шахматное поле, два маньяка-шахматиста разыгрывают замысловатую партию с помощью... человеческих фигур. Роли «королей» и «ферзей» выполняют старики-пенсионеры, послушно, как автоматы, передвигающиеся по полю: этим они прирабатывают себе на жизнь. Едва ли оправданно в данном случае такое ироническое «уравнивание» людей с шахматными фигурками. Закоченевшие от холода старики производят скорее жалкое, нежели комическое впечатление.

Главный редактор журнала «Шпильки» А. Мостович, представляя Славомира Мрожека советскому читателю, писал, что «его сатира порой принимает характер болезненной операции». Самая болезненная литературная операция оправданна, если ясно виден источник, очаг болезни. Щедрин, говоря о сатире, справедливо указывал на два фактора, определяющих ее действенность: «Во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало».

Мрожек — конечно, талантливый и опытный писатель. Вопрос, однако, в том, всегда ли точно используются им ирония, гротеск и насмешка, всегда ли автор позволяет читателю ясно почувствовать тот идеал, от которого он отправляется, приступая к своим «болезненным операциям». Такие новеллы, как упоминавшийся уже выше «Шах» или «Падение Орлиного гнезда», где нарочито смещены акценты и спутаны сатирические адреса, где автор, как бы единой шутки ради, уравнял своих героев с предметами неодушевленными, заставляют думать, что здесь сами приемы превращаются для писателя в самоцель, в своего рода литературную забаву. Но ведь одного этого слишком мало для подлинной сатиры.

Конечно, следует учитывать, что в рецензируемый том, куда вошли рассказы Мрожека разных лет, попали наряду с прекрасными новеллами и вещи менее удачные, а может быть, и те, которые являются свидетельством его новых художественных поисков, подчас связанных с определенными издержками и просчетами.

Ведь Мрожек сам однажды шутливо заметил, что хотя он родился три десятка лет назад, процесс этот до настоящего времени «не завершился». Как видно, и особый мир, созданный силой его творческого воображения,— мир сатиры и гротеска — еще пребывает в движении, в развитии.

С. ЛАРИН

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

НАЧАЛО ТРИЛОГИИ

Австрало-азиатское общество книги, пропагандирующее прогрессивную национальную литературу, выпустило новый роман известного прозаика и драматурга Лесли Хейлена «Большой Ред». Герой книги, семнадцатилетний паренек Ред Дэнверс, живет на ферме в маленьком провинциальном городке с типично австралийским названием — Кууии Кууии. Автор уделяет много внимания повседневной жизни небогатой фермерской семьи. О бедствующих фермерах Хейлен всегда пишет с глубоким сочувствием, показывая принципиальную разницу — в социальном положении, во взглядах, нравах — между ними и крупными землевладельцами-скваттерами.

События романа развертываются накануне второй мировой войны, когда экономический кризис в Австралии погнал тысячи горожан в глубь страны на заработки, когда участились столкновения между рабочими и предпринимателями. Ред становится свидетелем того, как стригальщики овец борются за повышение заработной платы; постепенно он начинает принимать участие в рабочем движении.

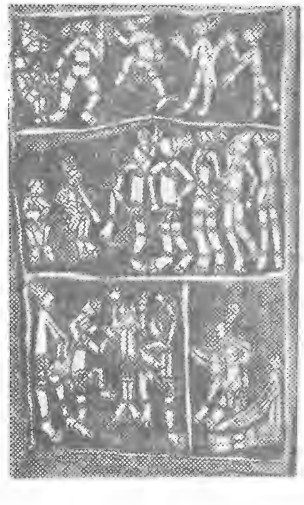
Любознательному, пытливому юноше, «пожирателю книг» — Реду недоступны университеты и колледжи. Но перед ним неожиданно открывается счастливая возможность учиться, когда в городке поселяется бывший преподаватель университета.

Большую роль в «воспитании чувств» Реда, его общественных взглядов сыграло знакомство с аборигеном Джонни, которого большинство горожан из-за расовых предрассудков третирует как человека неполноценного. Ред и его друзья становятся защитниками черного Джонни.

История Реда, пишет рецензент еженедельника «Трибюн», «поможет юным читателям понять особенности жизни в тот исторический период и напомнит старшим о делах минувших дней». Но история эта еще не закончена. «Большой Ред» — первая часть задуманной писателем автобиографической трилогии.

Живопись австралийских аборигентов до сих пор мало изучена. Ученые разных стран мира заняты детальным анализом этих уникальных произведений искусства коренных обитателей Австралии. На воспроизводимом нами снимке изображены сцены из жизни австралийских племен.

(Газета «Таймс»)



АЛЖИР

ФИЛЬМ ОБ АЛЖИРСКОЙ МАТЕРИ

Показывая туристам маленький городок Мзилу в трехстах километрах от города Алжира, гиды называют его первым оазисом Сахары или дверью пустыни. Местные жители помнят время, когда Мзила была последним этапом перед французским концентрационным лагерем Джорф.

Недавно в Мзиле закончил съемки художественного фильма «Ветер с Ореса» алжирский кинорежиссер Мухаммед Лахдер Хамина. Фильм повествует о страданиях народа во время недавней войны против французских колонизаторов.

Во время съемок городок снова принял фронтовой вид: мэрия стала французской охранкой, ее окружила колючая проволока, у входа — вооруженные часовые. На улицах — броневики с французскими опознавательными знаками...

Мухаммед Лахдер Хамина рассказал корреспонденту еженедельника «Жён Африк»:

— Во время войны я снимал документально-хроникальные фильмы о борьбе нашего народа за независимость. Теперь настало время перейти к следующему этапу: осмыслить войну, вспомнив страдания, которые она принесла. Теперь уже мало одной ненависти, надо найти какие-то новые слова, чтобы рассказать о горе тех, кто пострадал от войны. В первую очередь я думаю о матерях, о тысячах матерей в Алжире, Африке, Азии, во всем мире, которые страдали и умирали, не будучи в силах пережить гибель своих детей.

Мой фильм посвящен алжирской матери,— продолжал Хамина. — Простая крестьянка, она боится за судьбу своего сына, брошенного в концлагерь Джорф за связь с партизанским подпольем. Она решается разыскать сына и отправляется в лагерь Джорф. И там, за колючей проволокой, по которой пропускали ток высокого напряжения, она увидела сына. К проволочному заграждению никого близко не подпускали, но для матери было достаточно, что сын жив. Каждый день мать приходила сюда и часами смотрела издали, как он работает Даже часовые привыкли к ней. Они называли ее «сумасшедшей старухой» и не обижали. Но однажды мать не увидела сына на привычном месте. Вместо него работал другой заключенный. Мать ждала несколько дней, металась вокруг лагеря, пыталась расспрашивать часовых. Ее не понимали, а может быть, не хотели понять. И однажды ночью, обезумев от горя, она бросилась к лагерю, громко крича, зовя сына. Прожекторы осветили женщину. Часовые пытались отогнать ее от заграждения. С криком: «Мой сын!» мать бросилась на проволоку. Яркая вспышка — и ее страдания кончились...

Фильм «Ветер с Ореса» вскоре выходит на экраны страны.

АНГЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПАМЕЛЫ ХЭНСФОРД ДЖОНСОН

Вышел сатирический роман Памелы Хэнсфорд Джонсон «На Корк-стрит, рядом со шляпным магазином». Он снабжен интригующим подзаголовком «Роман в дурном вкусе».

Писательница высмеивает театр ужасов и абсурда. Сюжет романа вкратце сводится к следующему. На Корк-стрит, в изысканном книжном магазине, регулярно собирается группа интеллектуалов, обсуждающих животрепещущие вопросы современной культуры. Один из героев, молодой ученый по имени Том, настолько возмущен театром ужасов и абсурда, что решает проучить его сторонников и покровителей. Он пишет пьесу «Консервированная креветка», настолько отвратительную, бессмысленную, заполненную непристойностями, что, как ему кажется, она должна отрезвить даже самых заядлых «авангардистов». Даже лучший его друг, прочтя рукопись, говорит: «Действительно, чего только тут ты не нагородил!»

Автор приходит в отчаяние, когда узнает, что пьеса... принята к постановке! Не удалось ему отрезвить поклонников «абсурда» — пьеса не только идет, но имеет грандиозный успех у снобов. Том пытается воспрепятствовать ее дальнейшему показу, но все тщетно. Критики превозносят до небес и пьесу и ее наивного автора, мечтавшего, что его отвратительная стряпня положит конец эпохе «абсурда и ужасов» в театре.

В английской печати появились многочисленные рецензии на роман, в которых отдается должное остроумию автора «На Корк-стрит, рядом со шляпным магазином».

ГЕРОЙ АГАТЫ КРИСТИ ПРОСИТСЯ... НА ПЕНСИЮ

Престарелая английская писательница - миллионерша Агата Кристи, автор бесчисленных детективов, один из героев которых — вездесущий и во все вникающий бельгийский сыщик Эркюль Пуаро, никак не решается расстаться со своим детищем, принесшим ей славу и богатство. Как известно, сходная литературная ситуация сложилась в свое время у Конан Дойля, пытавшегося несколько раз «убить» Шерлока Холмса, но вынужденного под давлением читателей (и обстоятельств) вновь воскрешать его к жизни.

В последних детективах Агаты Кристи Эркюль Пуаро сообщил, что намерен уйти на отдых, «бросить дела».

В связи с этим корреспонденты обратились к писательнице с вопросом: «В самом деле, поскольку Пуаро появился на свет сорок лет назад (и в тот момент ему было уже 50 лет), то не пора ли девяностолетнему старцу сыщику на покой?!» Возможно, здесь был намек и на то, что писательнице, которая ненамного моложе своего героя, тоже, быть может, следует отдохнуть...

— Нет,— решительно возразила Агата Кристи.— Имелся в виду лишь временный отдых великого Пуаро. Он полон сил и будет с неослабевающей энергией и прозорливостью разоблачать и вылавливать преступников!

В самом деле, не увольнять же на пенсию литературного героя, приносящего автору такие доходы!

«УСПЕХ И НЕУДАЧА ПИКАССО»

В английском издательстве «Пенгвин букс» вышла книга известного критика и искусствоведа Джона Бергера «Успех и неудача Пикассо». Корреспондент газеты «Дейли уоркер» Чарльз Моррис взял интервью у автора книги, который рассказал об основных положениях своей работы. Ниже приводятся выдержки из интервью.

МОРРИС: Опыт Пикассо красноречиво свидетельствует о том, что успех и почести, которыми окружают

художника в буржуазном обществе, не должны никого обманывать,— и в этом я полностью с вами согласен. Произведения Пикассо пользовались успехом — который бывал и больше и меньше — в течение полустолетия. Один из ваших тезисов сводится к тому, что именно это помешало ему целиком раскрыть свою творческую индивидуальность?

БЕРГЕР: Да, это действительно основная часть моего тезиса — и одна из главных причин, побудивших меня написать эту книгу. ...Неудача Пикассо, невозможность обрести полную силу были особенно очевидны в конце двадцатых годов, и это совпадает с периодом, когда успех художника отдалил его от конструктивного критицизма реальной действительности.

МОРРИС: Не кажется ли вам, что проблема Пикассо, бесплодные поиски темы, потребовавшие напряжения всех его сил, единственная в своем роде? А может быть, это та цена, которую мы платим за иллюзию абсолютной свободы творчества в наше время?

БЕРГЕР: В революционный период, в историческую переходную эпоху одна из функций большого художника состоит в том, чтобы своим выдающимся примером помогать пониманию основных противоречий своего времени.

«Абсолютная свобода» современного художника в буржуазном обществе сравнима с теоретической свободой безработного. Это поистине очень горькая свобода.

На первый взгляд это сравнение может показаться странным, поскольку Пикассо и многие другие художники имели возможность продавать свои полотна за крупные суммы.

Однако их полотна продавались и покупались, как товар: можно сказать, что стоимость их определялась в зависимости от спроса и предложения на рынке. Они покупались и продавались, как предметы, не состоявшие в какой-либо связи с намерениями и целями художника.

Таким образом, подобно любому продукту труда, произведение искусства отчуждается от художника.

Все, что он хотел сказать в своей работе, его самовыражение, игнорируется; плод его труда переходит в исключительную собственность другого человека... становится трофеем богатого коллекционера.

По сути дела, артистический талант не находит себе применения... «Абсолютная свобода» современного художника — составная часть обмана буржуазного общества. Подобная свобода представляет собой невероятное бремя для художника...

БОЛГАРИЯ

ПЕРВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»

Весной прошлого года сельскохозяйственный кооператив «Октябрьская победа» в селе Поликраište Великотырновского округа Болгарии учредил ежегодную литературную премию за лучшую художественную и публицистическую книгу, посвященную жизни современного болгарского села.

Жюри, в которое входят представители Союза болгарских писателей, Союза болгарских журналистов, редакция газеты «Коопера-

БЕЛЬГИЯ

Гравюры Франца Мазерееля, обличающие пороки современного капиталистического общества, легли в основу короткометражного фильма, посвященного творчеству этого знаменитого бельгийского художника. Фильм под названием «Осеано Нокс» был снят молодыми кинематографистами Патрисом Готье и Анри Ланжем. Но зрители не увидят этого фильма: как сообщает печать, он запрещен цензурой. На снимке: одна из гравюр Мазерееля, вошедших в запрещенный фильм.

(Еженедельник «Франс нувель»)

тивное село» и правление кооператива в Поликраište, рассмотрело представленные на соискание премии книги, вышедшие в 1965 году, и решило:

Первая премия (400 левов) присуждается писателю Стояну Ц. Даскалову за книгу «Райские птицы» — сборник рассказов, ярко и правдиво отражающих различные стороны жизни болгарского села.

Вторая премия (200 левов) присуждается Константину Колеву за повесть «Зеленый рассвет», талантливо описывающую современную сельскую действительность.

Помимо денежной премии лауреаты получают право на месячную творческую командировку в кооператив Поликраište.

СБОРНИК «БАЛКАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ»

Почти два года назад, в мае 1964 года, в Софии состоялась встреча писателей балканских стран, на которой представители литератур Болгарии, Румынии, Турции, Греции, Югославии и Албании поделились своими взглядами, настроениями и мечтами о дружбе и солидарности стран Балканского полуострова. Еще не так давно, как сказал писатель Людмил Стоянов, многие называли этот полуостров «кратером вулкана» и «пороховым погребом».

В соответствии с планами, намеченными на этой встрече, софийское издательство «Народна култура» выпустило литературный сборник «Балканские писатели», в котором стихами, рассказами, отрывками из романов, эссе, репортажами и статьями представлены тридцать четыре писателя балканских стран — участники встречи.

«Хотя эти писатели принадлежат к различным литературным направлениям и школам,— писал по этому поводу корреспондент еженедельника «Литературен фронт»,— всех их роднит тема борьбы за правду, любовь к простому человеку, гуманизм, миролюбие и мечты о лучшей жизни. Их произведения говорят о стремлении балканских писателей показать духовный мир человека — нашего современника, проблемы нынешнего дня, веру в великие идеи нашего века, в человеческий разум и гуманизм, в победу мира и прогресса и отвращение к варварским, истребительным войнам».

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

СОЗДАНА ФЕДЕРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ ЧЕТЫРЕХ СТРАН

В столице Республики Верхняя Вольта Уагадугу состоялось учредительное заседание Федерации деятелей изобразительных искусств четырех африканских стран — Верхней Вольты, Берега Слоновой Кости, Дагомеи и Нигера. В интервью ежемесячному журналу «Реалитэ африкэн» избранный на этом заседании президент Федерации дагомейский художник Морис Кампоно сказал, что главной целью новой организации будет пропаганда изобразительного искусства четырех стран за рубежом, а также поощрение и развитие национальных форм искусства. «Известно,— сказал, в частности, Кампоно,— что в результате многих не зависевших от наших народов причин традиционные виды искусства пришли в упадок. Это относится к резьбе по дереву, которой давно славились народы Западной Африки, ручным работам по домотканому холсту «ветсе». Мы хотим возродить эти замечательные образцы африканской культуры».

«Помимо этого,— продолжал президент Федерации,— мы будем всемерно поощрять приобщение наших стран к современным формам искусства, таким как живопись и кино. С этой целью созданы соответствующие секции. Следует, однако, учитывать, что у нас практически нет технических средств для нормального функционирования киностудии... Трудности, которые нас ждут,— сказал в заключение Кампоно,— велики. Однако начало положено, и это всех нас воодушевляет».

ГДР

«СИЛА СЛАБЫХ»

Таково название нового, только что вышедшего сборника рассказов Анны Зегерс. «Иностранная литература» уже сообщала (№ 5, 1964 и № 5, 1965) о том, что писательница работает над этим сборником. Герои ее рассказов — люди с виду «мало приметные». То, что они совершают в жизни, можно назвать «тихим героизмом». Но это люди действительно настоящие, способные на под-

Анна Зегерс. Рисунок художника Гебеля из газеты «Берлинер цейтунг».

виг. Их главные качества — верность долгу, выдержка, стойкость. И Зегерс не скрывает, что им в то же время присущи обыкновенные человеческие слабости.

Среди героев новых рассказов Зегерс много женщин. Одна из них — маленькая, незаметная Агата Швейгерт — вслед за сыном едет на фронт в Испанию, защищать республику. Она становится медсестрой, находит для себя большое, настоящее дело. Другая героиня Зегерс, Марта Эмрих, спасает жизнь антифашисту.

Особую группу в сборнике составляют легенды, в которых писательница обращается к историческим событиям. Она использует

мотивы древних мифов и саг, что придает ее рассказам, по оценке критики, особую поэтичность.

«И в рассказах, и в легендах сборника выражено восхищение писательницы величием маленьких людей, желание привлечь внимание читателей к их судьбам, уверенность в том, что в их делах — будущее социалистического общества»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг».

«В новых рассказах Зегерс,— отмечает обозреватель литературного приложения к газете «Нейес Дейчланд» «Литература-66»,— ощущается большая вера в человека, большая любовь к нему, добрая и требовательная».

В основу фильма «Облава», снятого по сценарию известного греческого драматурга Герасимоса Ставру в постановке режиссера Адониса Киру, положено подлинное историческое событие—грандиозная облава, проведенная гитлеровцами в августе 1944 года в рабочем квартале Афин—Коккинье. Греческая критика расценивает этот фильм как значительное кинопроизведение о национальном Сопротивлении.
На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Димократики аллаги»)

ФРГ

...НЕОЖИДАННАЯ РАЗГАДКА

В Штутгарте недавно состоялось присуждение премии за лучшее произведение изобразительного искусства, созданное молодым художником. При этом не обошлось без курьеза.

На конкурсе было 290 экспонатов, созданных 112 молодыми художниками. Жюри, в которое входили искусствоведы, критики, философы, работники музеев, большинством голосов высказалось за присуждение первой премии скульптурной работе молодого художника Йохена Хилтмана, носящей звучное итальянское название «Стерко д'элефанте» и представляющее собой крупные бронзовые лепешки.

Один из членов жюри, известный критик, археолог, директор Вюртембергского общества изобразительного искусства, доктор Дитер Хониш следующим образом охарактеризовал произведение лауреата: «Хилтман экспонировал сочетание круглых предметов, полных напряжения и космической силы. Ощущение движения материального тела и пространства слиты в единое целое...»

Не отстал от него и другой критик-искусствовед, доктор Ульрих Герц, выступивший на торжественной церемонии вручения премии с ученым трактатом на тему о современной немецкой скульптуре и о «важности понимания идеи, заложенной в произведении искусства». После этого счастливцу скульптору была вручена премия в 10 тысяч марок.

Один любознательный корреспондент, присутствовавший на церемонии, решил, для расширения собственного кругозора, поинтересоваться, что же означает звучное название скульптуры. Каково же было его изумление, когда, заглянув в словарь, он выяснил, что название премированного произведения означает буквально «Помет слона». Получив дополнительное подтверждение своего открытия от итальянского консула в Штутгарте, корреспондент пригласил на выставку «специалиста», но уже не в области искусства, а, так сказать, по данному узкому предмету — человека, ходившего за слоном в местном цирке. «Специалист», внимательно обозрев бронзовые кругляши, подтвердил, что они действительно весьма похожи на натуральные...

Это было началом скандала. Штутгартские «знатоки искусства» шумно возмущались проделкой Йохена Хилтмана, обвинив его в том, что он «предал» авангардизм, оказался «грубым реалистом»...

ГРЕЦИЯ

ЛИШЕНЫ ПОДДЕРЖКИ

Минувший год принес греческим литераторам немало разочарований. Законопроект свергнутого правительства Папандреу, предусматривавший материальную помощь писателям, художникам, работникам кино и театра, сунули под сукно. Вопрос о предоставлении им пенсий отложен на неопределенное время. Больше того, ежегодные правительственные ассигнования на государственные закупки книг и на литературные премии были израсходованы властями на другие цели...

ИЗБРАННИК ЕЕ ВЫСОЧЕСТВА ПОЭЗИИ

«Счастлив народ, имеющий такого поэта,— пишет в статье о Костасе Варналисе в связи с выходом нового сборника его стихов «Свободный мир» поэт Тасос Ливадитис.— ... Варналис познакомил с поэзией народ, до него поэзия была привилегией лишь узкого круга литераторов. Благодаря Варналису впервые в Греции Ее Высочество Поэзия обнялась с Его Величеством Народом».

Достигнув вершины греческого Парнаса, став при жизни классиком для своих современников, Варналис не покидает боевого поста на фронте поэзии, пишет далее Ливадитис. Вооруженный богатейшим жизненным опытом, неутомимый поэт-борец по-прежнему «метко стреляет в цель». Новый сборник стихотворений Варналиса «Свободный мир» направлен против всего того, что враждебно греческому народу. Бесстрашно обнажает поэт гнойные раны «свободного мира», обличает господствующие в нем ложь, бесчестие, предательство и невежество.

ИНДИЯ

АББАС: «БОЙКОТИРОВАТЬ АМЕРИКАНСКИЕ ИЗДАНИЯ»

«Мы должны запретить импорт литературной макулатуры, которой завалены сегодня индийские книжные магазины, так как она развращает и отравляет умы нашей молодежи. Мы должны бойкотировать все американские издания, которые прославляют преступления и грубую силу, проповедуют циничные, антиобщественные взгляды на жизнь и наживают капитал на сексуальной одержимости и развращенности своих героев». С таким призывом на страницах еженедельника «Блиц» выступил известный индийский писатель и режиссер Ходжа Ахмад Аббас.

Необходимость подобных мер, по словам Аббаса, вызвана тем, что в настоящее время в Индии продаются десятки тысяч такого рода карманных изданий, не считая комиксов. Бойкот, по его мнению, должен быть распространен и на сомнительного качества американские фильмы, которые наводнили кинотеатры страны, а также на грампластинки.

Вместе с тем Аббас подчеркивает, что все эти меры ни в коем случае не должны затронуть настоящих художественных произведений американской литературы.

РИСУНКИ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

Как в Индии, так и за рубежом многим хорошо известен Тагор — поэт, писатель, философ, просветитель и музыкант. Однако он менее известен как художник. Рабиндранат Тагор увлекся живописью в преклонном возрасте. В ту пору ему было 69 лет, и он был в зените поэтической славы.

Недавно в Национальной галерее современного искусства в Дели с большим успехом прошла выставка рисунков Тагора. 175 работ — оригиналы и репродукции — довольно полно, по отзывам обозревателей, представили талант автора и показали размах его художественного творчества.

Рисунок пером Рабиндраната Тагора «Танцующая фигура».

(Газета «Таймс оф Индиа»)

Критики указывают на бесспорную связь поэзии Тагора с живописью. «Переходя от картины к картине, от рисунка к рисунку,— пишет рецензент газеты «Таймс оф Индиа»,— многократно убеждаешься в том, что это творения поэта».

Мы предлагаем вниманию читателей один из рисунков Рабиндраната Тагора.

ИСПАНИЯ

НОВЫЕ ТЕМЫ В ЛИТЕРАТУРЕ

В Испании главная литературная премия года «Надаль» присуждается роману, написанному на испанском языке, независимо от гражданства автора. За 1965 г. премию получил колумбийский писатель Эдуардо Кабальеро Кальдерон за роман «Дикий прыжок» (о жизни южноамериканских студентов в Латинском квартале Парижа).

Редакция еженедельника «Дестино», основавшая двадцать два года назад эту литературную премию, рассмотрела 143 представленных на конкурс романа. Как отмечают литературные обозреватели, фоном для большинства романов служит гражданская война в Испании. «Эта тема, которую еще недавно так избегали наши писатели, с каждым днем занимает в их творчестве все большее место»,— констатируется в одном из обзоров.

Второе место занимают романы, поднимающие вопрос о нашествии иностранных туристов на Испанию, вся жизнь которой приспосабливается теперь к этому выгодному бизнесу. Один из критиков иронизирует: «Роман прежних лет свернул с городских улиц в мир солнечных пляжей, баров и ночных клубов».

Именно на эту тему написан роман Хулио Манегата «Испанские развлечения», получивший вторую премию года — «Планета». Критик «Дестино» называет

этот роман «криком протеста против современного положения в Испании, где солнце и кастаньеты каждодневно продаются туристам на килограммы».

Обозреватели констатируют, что среди представленных на конкурс произведений преобладают реалистические книги, раскрывающие социальную и духовную стороны жизни современной Испании.

ИТАЛИЯ

ГОЛОДОВКА ДАНИЛО ДОЛЬЧИ

Внимание печати было недавно привлечено к голодовке Данило Дольчи, объявленной этим сицилийским писателем, лауреатом Международной Ленинской премии мира в знак протеста против бездействия властей в борьбе с мафией. Еще осенью прошлого года Дольчи передал парламентской комиссии по борьбе с мафией строго документированные материалы, доказывающие, что деятельность мафии в Сицилии продолжается и что эта преступная организация тесно связана даже с некоторыми лицами из правительственных кругов (в частности, в материалах называется имя министра, христианского демократа Маттарелллы). Дольчи указывает, что арестов отдельных главарей мафии недостаточно. Для искоренения мафии нужна широкая борьба с нищетой и отсталостью Сицилии, решительные меры против терроризма.

Домик в селении Кастелламаре-дель-Гольфо, где находился писатель, объявивший недельную голодовку, стал местом паломничества сотен людей. О солидарности с Дольчи заявили многие общественные и политические деятели; специальные резолюции в поддержку требований, выдвинутых Дольчи, приняли региональные конференции Итальянской компартии в Палермо и Риме.

Представители компартии в парламенте внесли запрос премьер-министру, в котором протестуют против полицейских преследований Дольчи: полиция в целях запугивания привлекает Дольчи к судебной ответственности за «оскорбление правительства и парламента», якобы содержащееся в написанной Дольчи листовке, в которой он призывает к борьбе с мафией; полицейские окружили домик писателя и записывают фамилии всех, кто к нему приходит выразить свою солидарность.

ДЕ ФИЛИППО: «ПОКАЗЫВАТЬ ПОРОКИ ОБЩЕСТВА»

В римском театре «Квирино» с успехом идет новый спектакль Эдуардо Де Филиппо «Два дня, не похожие друг на друга», состоящий из двух одноактных пьес. Первая пьеса «Горе под замком», написанная драматургом в 1959 году, уже знакома советскому зрителю. Пьеса ставилась в Неаполе, римский зритель увидел ее впервые. Вторая пьеса, трагикомедия «Цилиндр»,— последняя работа Де Филиппо. Именно она, как отмечает печать, обеспечила успех всему спектаклю.

Сюжет ее вкратце таков. Нескольким неаполитанским беднякам, в том числе супругам Родольфо и Рите, нечем заплатить за квартиру, им грозит выселение. Чтобы добыть денег, они прибегают к следующему хитроумному способу. Рита, молодая и миловидная женщина, изображает из себя проститутку, завлекает к себе в комнату прохожих, заставляя их заранее заплатить. Тут она «с ужасом обнаруживает» в постели еще теплый «труп» мужа (который, естественно, и не думал умирать). В этот момент появляется друг Риты и Родольфо — Агостино с нелепым цилиндром на голове, из-под которого выбиваются взлохмаченные волосы. (роль Агостино блестяще сыграл сам Эдуардо). Это действует безотказно: «клиенты» в смятении исчезают, оставив деньги в руках Риты. Но однажды, когда подобным образом была почти собрана нужная сумма, к Рите явился немолодой, очень богатый человек, на которого не произвели ни малейшего впечатления ни теплый «труп» в постели, ни ужасающий вид Агостино. Он разгадал уловки бедняков и захотел во что бы то ни стало овладеть Ритой. Клиент предложил полмиллиона лир. Перед такой суммой, обеспечивавшей выход из бедственного положения, супруги не в силах были устоять, и Родольфо оставил жену наедине с миллионером...

«Это кульминационный и наиболее драматический момент спектакля,— писал критик газеты «Паэзе сера».— Несмотря на шутливый и, казалось бы, благополучный финал пьесы (богатый синьор засыпает в ожидании Риты, а проснувшись, быстро удаляется, ничего не требуя), зрители уходят из театра, потрясенные жизненной правдой пьесы и силой таланта Эдуардо Де Филиппо». «Это одна из самых сильных вещей Эдуардо-драматурга,— отмечал обозреватель газеты «Унита».— Пьеса изображает общество, в котором деньги являются мерой всех человеческих ценностей, чувств и достоинств — все это может быть куплено, как обыкновенный товар».

— Я хотел,— сказал по поводу своей новой пьесы сам автор,— на одном частном случае показать пороки всего нашего общества.

Сразу после окончания работы над спектаклем Эдуардо Де Филиппо вернулся к работе в кино. Он приступил к экранизации своей пьесы «Голоса изнутри». Главную роль в фильме будет исполнять Марчелло Мастройанни.

ГУТТУЗО — СКУЛЬПТОР

На художественной выставке Квадриеннале в Риме известный итальянский художник Ренато Гуттузо представил свою новую работу — цветную скульптуру «Человек с газетой». Это первый опыт Гуттузо-скульптора. Итальянская печать живо заинтересовалась этим начинанием, на страницах газет появились круп-

Скульптура Ренато Гуттузо «Человек с газетой».

(Еженедельник «Вие нуове»)

ные заголовки: «Почему Гуттузо, оставив свои полотна, принялся за создание гигантской скульптуры, весящей десять центнеров?», «Гуттузо стал скульптором?», «Не оставит ли художник кисть и краски?».

Корреспондент еженедельника «Вие нуове» обратился к Ренато Гуттузо за разъяснениями.

«Нет, я остаюсь художником и пока не намерен бросать живопись ради скульптуры,— заявил Гуттузо.— А мой «Человек с газетой» — это осуществление моей старой идеи, которую я вынашивал долгие годы. Я рассматриваю эту скульптуру как продолжение серии моих картин».

Новая работа Гуттузо пользуется большим успехом у посетителей выставки.

КИТАЙ

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПЕКИНСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Недавно в Национальной художественной галерее в Пекине открылась выставка современного изобразительного искусства, на которой представлено более 300 работ, созданных китайскими мастерами с 1949 по 1964 год. Среди экспонатов — рисунки, картины, скульптуры. Они рассказывают о жизни китайского народа до революции и отражают преобразования в КНР после освобождения. Половина этих произведений, отобранных на различных выставках по всей стране, создана их авторами в последние несколько лет. В их числе — уже известные мастера, но в основном, как сообщает корреспондент журнала «Чайниз литерачер», это художники среднего поколения, которым сейчас около тридцати лет; среди них немало представителей национальных меньшинств Китая.

Выставка современного изобразительного искусства в пекинской галерее носит характер постоянной экспозиции. Она и в дальнейшем будет пополняться новыми экспонатами.

НАХОДКИ В ТИБЕТЕ

В последнее время в различных районах Тибета обнаружены редкие древние книги на санскрите, в том числе труды по истории, языку и литературе, философии и другим предметам. Среди них имеются уникальные экземпляры, написанные на листьях деревьев патра более тысячи лет назад. Найденные книги прекрасно сохранились.

Ученые мира располагают очень немногими книгами на санскрите, которые, как правило, находятся в плохом состоянии. Тем ценнее находки в Тибете, которые хранятся в настоящее время в Музее рукописей Тибетского автономного района.

ПОЛЬША

«СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ШКОЛА ПОЛЬСКОГО ТЕАТРА?»

Под таким заголовком в еженедельнике «Культура» опубликована статья критика Витольда Филлера, посвященная современному состоянию польского театра.

«Существует ли школа польского кино? Безусловно да,— пишет Филлер.— Она переживает периоды упадка, дает критикам пищу для размышлений, но она — объективный факт...

Существует ли школа польского театра? Ответ на этот вопрос не будет столь определенным. Слишком многое отделяет эпический размах постановок Окопинского от продуманных тонкостей Аксера, грубоватую веселость быта спектаклей

Бронислава Домбровского от пунктуальной тщательности сценических зрелищ Свинарского».

И все же, продолжает критик, если сторонний наблюдатель, особенно иностранец, посмотрит спектакли различных театров, то он скажет непременно, что «все они очень польские...» Действительно, соглашается Филлер, существуют польские Брехт и Кафка, Чехов и Шекспир.

Признаком принадлежности к школе польского театра, по словам автора статьи, является «склонность к конкретизации мысли, которую театр должен от имени драматурга донести до зрителя... Сценическая постановка должна быть на что-то нацелена, должна решать какие-то проблемы». Только тогда она «принадлежит к школе», является истинно «польской» и о ней «стоит говорить».

Однако, пишет далее Филлер, существует известнейший польский режиссер, творчество которого заслужило всеобщее признание. Имя его — Деймек. Поставленные им спектакли — «Барбара Радзивиллувна», «Слово о Якубе Шеле», «История чудесного воскресения господня», «Жизнь Юзефа» — не отвечают, по словам критика, признакам «школы», но олицетворяют собой польский театр...

Таким образом, констатирует Филлер, существует школа польского театра и одновременно с ней существует польский театр.

Представители обоих направлений не проходят мимо главных проблем жизни, мимо человека. Однако у театра, представленного Деймеком, глубина и широта взглядов, а также перспективы на будущее ничуть не меньше, а порой — намного больше, чем у «школы».

Пусть будущий историк театра знает, пишет в заключение Филлер, что в Польше 60-х годов существовал незаурядный театр. Среди его деятелей были такие, кому хотелось всех поучать. Но были и другие, не столь торопливые. «Пусть будущий историк театра рассудит, кто из них был прав!»

Один из известных польских художников-плакатистов Рослав Шайбо.

(Фото ЦАФ)

ИСКУССТВО, БЬЮЩЕЕ В ЦЕЛЬ

Искусство польского плаката получило широкое признание в мире. Работы польских плакатистов часто удостаиваются премий на международных конкурсах. Праздники и будни, исторические события, борьба против угрозы атомной смерти, анонсы новых спектаклей и кинофильмов, призывы к соблюдению правил уличного движения — все это находит выражение в плакате. Плакат в Польше стал привычным, неотъемлемым атрибутом улицы.

Выпуском плакатов занимается варшавское Издательство художественной графики (ВАГ), которое отметило недавно 15-летие своей деятельности. Была организована юбилейная выставка, где экспонировалось около 400 плакатов и среди них — работы Генрика Томашевского, Рослава Шайбо, Вальдемара Свежи, Войцеха Замечника.

По случаю юбилея ВАГ редакция еженедельника «Культура» пригласила к себе художников и искусствоведов, которые вместе с журналистами повели разговор о польском плакате сегодня. В беседе участвовали Клеменс Бялецкий, Януш В. Новицкий, Густав Маевский, профессор Юзеф Мрощак, Ежи Олькевич, Кшиштоф Теодор Теплиц и Ежи Васьневский.

Критик К. Т. Теплиц в своем выступлении сказал: «Если мы попытаемся определить, в каком состоянии находится в данный момент развитие польского плаката, то следует со всей определенностью сказать, что наши художники нашли результативную творческую форму контакта с людьми, для которых эти плакаты делаются; язык этого искусства сложен, но люди понимают его. В этом заключается успех польских плакатистов, творчество которых имеет также воспитательное значение и сыграло важную роль в формировании художественного вкуса нашего общества».

ПИСЬМА ЮЛИАНА ТУВИМА

Один из последних номеров журнала «Паментник литерацки» содержит интересную публикацию: 19 писем Юлиана Тувима к Ярославу Ивашкевичу. Первое из этих писем датировано 6 декабря 1918 года, последнее — 29 июля 1953 года. В этом последнем письме в постскриптуме есть фраза: «Ты очень красиво и умно написал в «Жице Варшавы» о Налке» (Зофье Налковской.—*Прим. ред.*).

В письмах Тувима, пишет корреспондент газеты «Жи-

це Варшавы», можно найти много интересных подробностей о литературной жизни тех лет. Публикация подготовлена Янушем Страдецким.

РУМЫНИЯ

НА ЭКРАНЕ — «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

Французский кинорежиссер Анри Кольпи закончил на студии «Бухарест» съемки совместного франко-румынского фильма «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастиана, ставившейся несколько лет назад в советских театрах.

Еженедельник «Контемпоранул» поместил интервью с Кольпи о его работе над фильмом. Режиссер рассказал, что пьеса Себастиана, прочитанная им два-три года назад, когда он работал над первым совместным франко-румынским фильмом «Кодин», сразу захватила его и он вскоре приступил к созданию сценария по этой пьесе. Работа была завершена в соавторстве с румынским драматургом Александром Миродаком. В сценарии сохранены фабула и композиция пьесы Себастиана, особенности творческой индивидуальности автора.

Воссоздавая в фильме общую атмосферу провинциального румынского городка эпохи 30-х годов нашего века, режиссер несколько модернизирует характеры героев: главный герой пьесы, робкий учитель Миройю, превращается в человека более энергичного, его взгляды на жизнь становятся вполне современными. Героиня фильма Мона, которую играет известная французская актриса Марина Влади, из особы несколько капризной и легкомысленной превращается в серьезную и вдумчивую женщину, обладающую чувством собственного достоинства. Режиссер по-новому осмыслил роль единственного друга Мироюю, старика учителя Удри, который в фильме стал как бы вторым Мироюю, но значительно старше его. Эту роль играет известный румынский комик Г. Бирлик.

В заключение Кольпи отметил, что совместная работа над фильмом проходила в исключительно благоприятных условиях, созданных кинематографистами Румынии.

Марина Влади в фильме «Безымянная звезда».

(Еженедельник «Чинема»)

США

ПЬЕСА, ШЕДШАЯ ТОЛЬКО ПЯТЬ ДНЕЙ

Известный американский драматург Эдвард Олби, автор пьес «Смерть Бэсси Смит», «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Малютка Алиса» (см. «Иностранную литературу» № 6, 1964 и № 4, 1965), создал новое произведение для сцены. Его пьеса «Малколм» была недавно поставлена на Бродвее.

Однако она тут же провалилась. Через пять дней после широко разрекламированной премьеры «Малколма» сняли со сцены... Публика и критика были на редкость единодушны в негативных оценках новой «загадки Эдварда Олби».

Пьеса написана по мотивам произведения американского писателя Джеймса Парди. Ее герой — юноша Малколм, который проводит время, сидя на скамейке перед гостиницей. Он ничего не знает о жизни, ничего не знает о себе самом, ему неизвестно даже, сколько ему лет; знакомых у него нет, родителей тоже. Малколм — блондин приятной наружности, чистый и наивный юноша. И вдруг какой-то профессор, заинтересовавшись Малколмом, «открывает» ему глаза на «смысл жизни». Малколм сталкивается с самыми отвратительными и низменными сторонами жизни, предается разврату, становится алкоголиком и вскоре умирает...

«Этот банальный и скучный урок морали,— пишет нью-йоркский корреспондент газеты «Монд»,— угнетает ужасающей пустотой. Никто не понимает, что автор хотел этим сказать. Хорошая игра и отличная постановка только подчеркивают ничтожность пьесы. Редко можно увидеть в театре, чтобы столько усилий было потрачено зря».

Мир пьесы Олби—смрадный и беспросветный — населен подонками, отбросами общества. Таким, по мнению критиков, драматург видит человеческое общество: же-

стоким, извращенным, циничным.

Вторая подряд неудача (после памятного провала «Малютки Алисы») талантливого драматурга вызывает недоумение в театральном мире. Ведь об Эдварде Олби привыкли говорить как об одном из лучших молодых представителей современной американской драматургии...

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕТЕКТИВ РЭКСА СТАУТА

До сих пор американский писатель Рэкс Стаут считался рядовым автором более или менее стандартных детективных романов. Постоянный герой его книг Ниро Вулф не делал ничего такого, что отличало бы его от других героев-сыщиков. Однако недавно Рэкс Стаут написал свой двадцать второй по счету детектив под названием «Зазвонил дверной звонок». Эта книга, по словам корреспондента газеты «Уоркер», произвела сенсацию, так как в ней автор откровенно высмеивает ФБР и его руководителя Эдгара Гувера. Это тем более любопытно, что Рэкс Стаут поддерживает политику правящих кругов США. Грязные методы «работы» ФБР и его шефа не раз были темой разоблачительных политических книг, но детективный роман... Такого на литературной арене США еще не было!

Редакция газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» поспешила направить к Рэксу Стауту своего корреспондента.

Писатель не слишком утруждал себя выбором выражений и заявил, в частности, об Эдгаре Гувере следующее:

— Он одержим манией величия. Я считаю, что он — истинный враг демократии. К тому же, мне кажется, у него уже наступил старческий маразм. С каждым днем он становится все глупее. Уже много лет я отношусь к Гуверу с подозрением, с тех пор как мне стало известно, что он ездил на скачки вместе с покойным сенатором Маккарти.

Рэкс Стаут, по его собственным словам, очень доволен тем, что наконец показал американскому читателю, каков из себя агент ФБР. Он не тот «герой», каким его обычно изображают в детективах. На мысль написать этот роман, по словам Стаута, его навела нашумевшая книга-памфлет Фреда Кука «ФБР, которого никто не знает». Героиня романа «Зазвонил дверной звонок» — некая состоятельная дама, которая закупила в огромном количестве книгу Фреда Кука и начала распространять ее среди знакомых. В результате она попала в «черные списки» ФБР, за ней установили слежку. Агент ФБР Ниро Вулф играет в этой истории самую гнусную роль. «Не забыт» и шеф агентов ФБР.

«Увлекательнейшее, злое и остроумное чтиво»,— так отозвался о книге Стаута литературный обозреватель газеты «Уоркер».

ПИСЬМА ДЖЕКА ЛОНДОНА

Американский издатель Кинг Хендрикс и литературовед Ирвинг Шепард выпустили в свет сборник писем Джека Лондона; книга сразу привлекла к себе внимание литературной общественности США. Печать указывает, что это — самое полное собрание писем Лондона: в него вошли все когда-либо публиковавшиеся письма, а также многие вновь обнаруженные, в том числе письма к родным, друзьям, писателям и редакторам.

«Книга сослужит великолепную службу тем, кто еще заботится о престиже нашей литературы,— пишет в этой связи рецензент журнала «Ньюсуик».—Ведь как это ни парадоксально, один из величайших писателей Америки почти полностью забыт в своей родной стране; в то же время он — один из наиболее читаемых авторов в Советском Союзе. Возродить интерес к незаслуженно забытому художнику — на наш взгляд, главная цель, которую преследовали составители книги». Рецензент подчеркивает, что собранные письма всесторонне показывают Лондона как писателя, человека, прошедшего трудный путь от самых низов до вершин популярности.

Письма расположены в хронологическом порядке. Большой интерес представляют письма Лондона собратьям по перу, в частности Джозефу Конраду-Коженевскому. Они показывают, что Лондон ценил талант Конрада и восхищался его произведениями. Критика отмечает также несколько писем Максиму Горькому, которого Лондон глубоко уважал.

ФРАНЦИЯ

ОДИН ИЗ «БЕССМЕРТНЫХ»...

Недавно во Франции членом Французской Академии избран Тьерри Мольнье, известный критик и эссеист, один из сотрудников газеты «Фигаро». Таким образом, в стране стало больше на одного «бессмертного» (так именуют во Франции членов Французской Академии).

Газета «Юманите» напечатала комментарий к выбору Французской Академии. Она процитировала следующее высказывание Мольнье, сделанное еще до начала второй мировой войны: «Не следует считать, что наша логика убедительней, чем логика немецких пангерманистов. По сути, их доводы стоят наших. А если и незаконно, что французы лишатся части своей территории, на которой они утвердили свою расу, свои традиции, свою культуру, то ведь надо учесть, что вовсе не легко приходится и шестидесяти миллионам немцев, поставленным в худшее положение и ограниченным территорией, в которой они задыхаются.

Право на автономию имеет не больше оснований, чем право на гегемонию. Справедливо, что высшая цивилизация побеждает. Нормально, что низшая исчезает... Даже если мы окажемся в конфликте с новой Германией, нам представляется своевременным заявить со всем спокойствием, что мы чувствуем себя ближе, скорее найдем общий

язык с немецкими национал-социалистами, чем с французскими пацифистами».

«В этих строках,— иронизирует «Юманите»,— и заложено все то ценное, что для этого сотрудника «Фигаро» предопределило его избрание в «бессмертные»...

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ДЖАКОМЕТТИ

Американскому журналисту и коллекционеру Карлтону Лейку удалось взять интервью, оказавшееся последним, у знаменитого, недавно умершего французского художника и скульптура Альберто Джакометти. Высказывания художника, опубликованное в американском журнале «Атлантик», стали чем-то вроде его творческого завещания.

Выступая в защиту реалистического искусства, Джакометти, в частности, сказал:

— Мне кажется, многие нынешние художники опасаются, что их сочтут старомодными, поэтому они боятся следовать натуре. Они думают, что, если создадут изображение головы, напоминающее голову, если действительно достигнут сходства с натурой, их назовут импрессионистами. А если голова будет «слишком» реалистической, их назовут эпигонами, обвинят в отсутствии оригинальности. Фактически дело обстоит как раз наоборот. Смешно считать реализм «неоригинальным»; просто люди в этом плохо разбираются. Иные считают древнеегипетскую скульптуру или шумерийские статуи стилизованными. Но это не так. Это искусство максимально правдивое. Чем правдивее произведение, тем самобытнее его стиль.

Последние четыре года Джакометти работал над книгой литографий.

— В ней собрано 150 литографий, показывающих все то, что меня окружает, что я вижу ежедневно,— мою студию, улицы Парижа, мою квартиру, кафе, в которые я захожу, вокзалы, пригороды, все, что мне попадается на глаза. Книга эта уже закончена,— рассказал художник.

В 1965 году ему была присуждена высшая французская премия в области изобразительного искусства — «Гран при насьональ», как одному из лучших скульпторов современности. Приветствуя его по этому поводу, газета «Юманите» писала тогда о «могучем реализме» Джакометти, об огромной выразительной силе его творений.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

О ПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИ

Проблемы современной молодежи — одна из главных тем сегодняшней чехословацкой кинематографии, выпускающей в настоящее время четыре десятка фильмов в год. Вслед за фильмом Милоша Формана «Любовь одной блондинки» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1966) вышла картина «Свадьба с условием» известного писателя Павла Когоута. Это первая режиссерская работа Когоута в кинематографе.

Недавно на экранах кинотеатров начал демонстрироваться новый фильм о молодежи «Никто не будет смеяться» режиссера Хинека Бочана по одноименной новелле Милана Кундеры из сборника «Смешные любовные истории». Этому фильму была присуждена Большая премия на кинофестивале в Маннгейме за 1965 год.

В ролях главных героев фильма Карела Климы и Клары Новотной снимались известные актеры чехословацкого кино Ян Качер и Штепанка Ржехакова.

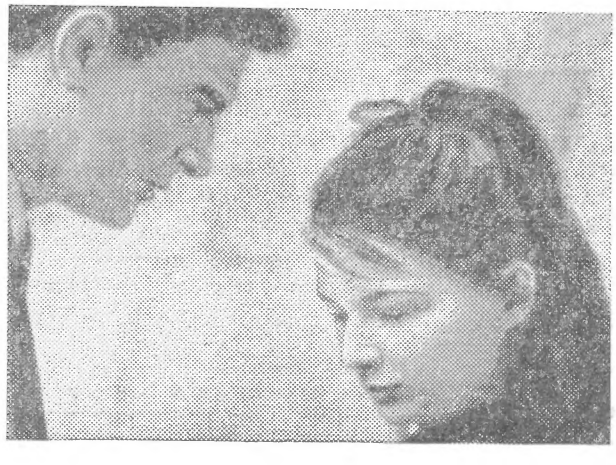
ЯПОНИЯ

АНТОЛОГИЯ ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Недавно предпринято интересное издание антологии послевоенной японской литературы под названием «Наша литература». Намечено выпустить 22 тома. В них будут включены произведения Хироси Нома, Кобо Абэ, Сюсаку Эндо, Юкио Мисима, Кэндзабуро Оэ, Сёхэй Оока, Иосиэ Хотта, Такэси Кайко, Тайдзюн Такэда и многих других писателей, начавших творческую деятельность после второй мировой войны.

Издание это имеет несомненный интерес, так как, по словам корреспондента журнала «Гундзо», дает законченное представление о литературном процессе в послевоенной Японии.

Кадр из фильма «Никто не будет смеяться».
(Еженедельник «Литарни новины»)



Авторы этого номера

ТИБЕРИУ УТАН — TIBERIU UTAN (род. в 1930 г.).

Циклом стихов румынского поэта Т. Утана, лауреата литературной премии Академии Румынской Социалистической Республики, открывается эта книжка журнала

Его произведения составили несколько поэтических сборников. В последние годы вышли «Стихи» («Versuri», 1961), «Книга мечтаний» («Carte de vise», 1965).

Главный редактор еженедельника «Газета литерарэ» («Gazeta literarâ») Тибериу Утан переводит на румынский язык произведения советских, итальянских, испанских поэтов. Из советских поэтов им переведены стихотворения Л. Мартынова, Р. Гамзатова, Э. Межелайтиса и др.

■

МАКС ФРИШ — MAX FRISCH (род. в 1911 г.).

С этим видным швейцарским писателем — прозаиком и драматургом — «Иностранная литература» впервые познакомила советских читателей, опубликовав его антифашистскую по духу пьесу «Бидерман и поджигатели» (№ 5, 1965).

Романом «Homo Faber» (1957) мы представляем читателям Фриша-прозаика. Нравственные проблемы, которые ставит этот писатель в своих произведениях, в сочетании с увлекательной беллетристичностью принесли ему мировую известность.

Макс Фриш пишет на немецком языке. В последние годы вышли его пьеса «Андорра» («Andorra», 1961), роман «Пусть мое имя будет Гантенбайн» («Mein Name sei Gantenbein», 1964).

Творчеству писателя посвящена публикуемая в этом номере статья «Homo Макс Фриш» советского критика Д. Затонского.

■

ПЕДРО ДЕ ОРАА — PEDRO DE ORAA (род. в 1931 г.)

Публикуемое в этом номере стихотворение «19 апреля» («19 de abril»), посвященное победе кубинского народа на Плайя-Хирон 19 апреля 1961 года, было напечатано на плакате выпущенном Союзом писателей и художников Кубы, с воспроизводимым в нашем журнале рисунком художника Карлоса Гамеса.

Педро де Ораа, техник-строитель по образованию, дебютировал в литературе в 1952 году. В следующем году вышел его первый сборник стихов «Цветущее мгновение» («El instante cernido»). Его перу принадлежат многие другие произведения.

■

ИТИРО ХАРЮ (род. в 1925 г.).

Осенью 1965 года в Москве состоялся симпозиум советских и японских писателей на тему «Современный герой в литературе». Одним из докладчиков с японской стороны был критик Итиро Харю, чью статью «О герое японской литературы» читатель найдет в этом номере. И. Харю — автор книги «Искусство авангарда», редактор журнала «Синнихон бунгаку» («Новая японская литература»).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **З. Ф. Лактионов** Технический редактор **Л. Д. Богданова**

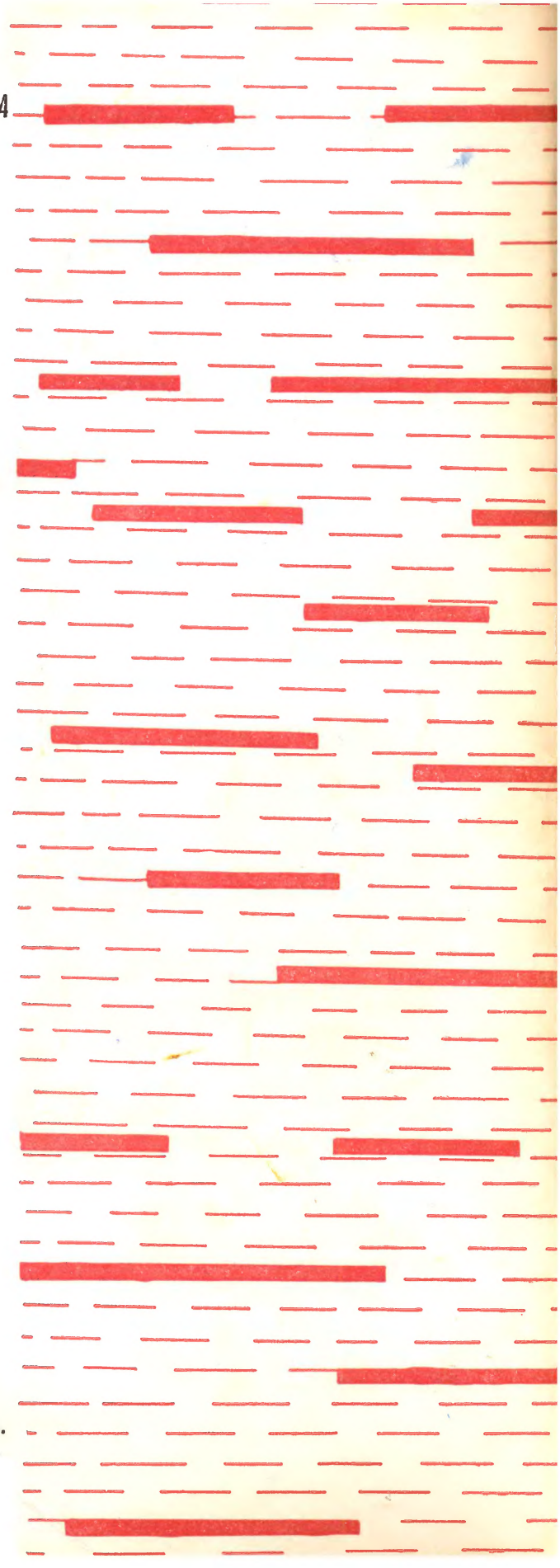
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д 41. Телефон: В 3-51-47.

А 11431. Сдано в производство 11/II-66. Подписано к печати 7/IV-66 г.

Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л.; печ. л. 27,4. Зак. 525.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5

ИНДЕКС 70394



Цена 80 коп.